XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

# СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

Национальный комитет славистов
Российской федерации

# СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

## XI Международный съезд славистов

Братислава, сентябрь 1993 г.

Доклады российской делегации

Ответственный редактор
академик Н.И. Толстой

МОСКВА НАУКА 1993

ББК 81
С 47

Редакционная коллегия:
доктор филологических наук *Ж.Ж. Варбот*,
академик *Н.И. Толстой*, академик *О.Н. Трубачев*

Рецензенты:
доктор филологических наук *В.Б. Силина*,
кандидат филологических наук *Т.Ф. Иванова*

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

**Славянское** языкознание. XI Международный съезд славистов.
С 47 Доклады российской делегации: Сб. докладов (Отд. лит-ры и языка РАН; Национальный комитет славистов Российской Федерации) / Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: Наука, 1993 — 351 с.
ISBN 5-02-011532-0

Сборник докладов "Славянское языкознание" к XI Международному съезду славистов в Братиславе объединяет исследования славянских языков по всем традиционным уровням: фонетика—фонология, грамматика, словообразование—морфология, лексика—терминология. Описательный подход сочетается со сравнительно-историческим и типологическим. Неизменно актуальным остается для наших славистов и генезис литературых языков, а равно и дальнейшая активизация диалектологических предприятий разного масштаба. В значительной мере характерным для настоящего сборника докладов русских славистов является выдвижение на первый план моравско-паннонского комплекса проблем, связанных как с наследием Кирилла и Мефодия, так и с выявлением ранних славянских этноязыковых группировок на Среднем Дунае.

Для лингвистов широкого профиля, историков.

С $\frac{4602000000-216}{042(02)-93}$ **Без объявления** **ББК 81**

ISBN 5-02-011532-0

© Коллектив авторов, 1993
© Российская академия наук, 1993

# I

*О.Н. Трубачев*

## ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ НА ДУНАЕ (ЮЖНЫЙ ФЛАНГ). ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Недавняя публикация моей книги "Этногенез и культура древнейших славян (лингвистические исследования)" (М., "Наука", 1991, тираж 1.000 экз.) до известной степени освобождает от необходимости подробно освещать все вопросы, поскольку тема и книги, и нынешнего доклада во многом совпадает. Поэтому представилось желательным ограничиться сейчас в основном одним аспектом, который при изучении славянского этно- и топогенеза по-прежнему остается, пожалуй, и наименее изученным и неизменно актуальным: это южный фланг древнего славянского ареала по данным языкознания. При этом мы кратко коснемся далее и темы *Morava* (проблема "Великая Моравия", практически первая проблема в программе этого съезда славистов, и необходимость трактовать ее особо — не в составе славянского среднедунайского исходного центра, а в плане славянской миграции из этого центра на Юг — нашла довольно подробное отражение в вышеназванной книге). Поскольку существенное значение сохраняет для нас диалог с научной литературой, позволим себе — в преамбуле — совсем кратко выделить один-два момента, важных тем, что относятся они к языку и культуре славян и — к уровню отражения того и другого в литературе. Отрадно отметить, что фундаментальная оппозиция 'свои' — 'чужие' пользуется заслуженным вниманием (1). Сам факт существования этой оппозиции и маркирования всей окружающей действительности как 'своего' или 'не своего', бесспорно, доносит до нас идеологию родового общества и побуждает соответственно к критическому пересмотру других опытов реконструкции. Неслучайно поэтому мы рассматриваем в качестве первой заповеди древнеродового устройства славян выражение **znajь svojь rodъ*, основой которого могла послужить еще более монолитная figura etymologica — индоевропейское **ĝnō- su̯om ĝenom*, с тем же, естественно, празначением 'знай свой род'. Я надеюсь, понятно после этого то недоверие, которое у меня вызывают утверждения, будто первой заповедью древнеиндоевропейского общества было нечто другое, а именно: "Тебе надлежит чтить богов" (2). Осторожно трезвый подход к реконструкциям сложного богопочитания уже у праиндоевропейцев, гораздо бóльшее вероятие безымянности древних предметов культа, их слияния с природой и, следовательно, полная неприемлемость формулы-заповеди "Тебе надлежит чтить богов" для праиндоевропейской эпохи как откровенной модернизации — таковы, как кажется, выводы,

к которым может привести чтение моей вышеназванной книги, к которой — для краткости — отсылаю, рассчитывая вслед за этим сразу перейти к другим вопросам.

Прежде чем обратиться к этнонимии славян, с преимущественным вниманием к их южному флангу, а также в соответствии с нашей концепцией славянского исхода из среднедунайского пространства, позволю себе кратко задержать внимание читателя на трагической по-своему судьбе следов этого среднедунайского ареала славян. Скудость письменных свидетельств усугубляется суровостью комментаторов. Невольно вспомнишь старое изречение: quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini, разве что заменив имя кардиналов Барберини, вольно обращавшихся с древностями, на позднейших и нынешних комментаторов (... fecerunt commentatores). Вот пример, вызвавший болезненную реакцию с моей стороны.

В рамках весьма полезного и своевременно изданного "Свода древнейших письменных известий о славянах", т. I (I—VI вв.), (отв. ред. Л.А. Гиндин и др., М.,1991), опубликована эпитафия св. Мартину Турскому, принадлежащая перу Мартина Бракарского (VI в.). Краткий этот документ привлекает внимание рядом особенностей. Среди народов, объединенных именем Христа, встречается упоминание Sclavus, Nara. Знаменательно, что оба Мартина были родом из Паннонии, причем Мартин Турский, живший и умерший в IV в., считался зачинателем славянской миссии. Это дает право предположить у него хорошее знакомство с краем и принять с доверием имена Sclavus, Nara, причем точно в такой последовательности, когда второй член имени уточняет, какой славянин имеется в виду, ср. особенно многочисленные примеры такого именования славянских племен в каролингских документах после разгрома Аварского каганата: Sclavi Margenses, Sclavi Beheimi, Sclavi Carantani, Sclavi Carniolenses, Sclavi Pannonii, Sclavi Dalmatini, Sclavi Cruati, Sclavi Sorabi, Sclavi Abodriti (3). После этого ясно, что разделительная запятая между Sclavus и Nara в используемом нами издании отпадает как лишняя, речь идет об одном племени Sclavus Nara, перечисляемом в стихотворной эпитафии наряду с прочими: ..Alamannus, Saxo, Toringus, / Pannonius, Rugus, Sclavus Nara, Sarmata, Datus, / Ostrogotus, Francus, Burgundus, Dacus, Alanus ... Переводить (толковать) вышеозначенное место надлежит при этом не "славянин из Норика" (так Скржинская, цитируемая в комментарии), а 'славянин-нарец', что полностью созвучно загадочному до недавнего времени свидетельству древнерусской Повести временных лет (Лавр. лет., л. 2 об.): Нарци еже суть словѢне. Созвучие это, думаю, трудно сейчас переоценить. Мне остается только отметить, что об этом подтверждающем соответствии не обмолвился ни звуком комментатор "Эпитафии" С.А. Иванов, проявив недобросовестность в упомянутом умолчании. Я не удивляюсь, что славян этот комментатор не пускает в Центральную Европу дальше Моравии и приписывает Мартину Бракарскому, что славяне были для этого ученого паннонца "синоним дикости" (из перечня племен подобное допущение совсем не явствует, но говорит — самое большее — о неприязни к славянам самого

комментатора) (4). Подобный уровень комментирования делает понятным, что С.А. Иванов, конечно, проходит не задерживаясь и мимо фонетических различий формы *Nara* и стандартного римсколатинского *Noricum,* которые в наших глазах весьма знаменательны сами по себе. Дело в том, что вокализм *Nara* придает этому имени статус чисто славянской формы с закономерным слав. *a*<*ō*, свидетельствуя одновременно о долготе корневого гласного в лат. *Noricum* (или его туземном субстрате). Вспомним о том, какое значение придавал Ю. Удольф именно "отсутствию славянского развития *ō* >*a*" на примере гидронима *Mur/Mura* на смежных территориях, полемизируя против моего тезиса о ранних славянах в Паннонии (5). Актуальность нашего нынешнего наблюдения над отношением *Noricum: Nara, нарци* заключается в том, что "славянское развитие" *ō*>слав. *a* констатируется к западу от Паннонии, в Норике, а это, согласимся, не лишено интереса для вопроса о ранних славянах на данных территориях.

О появлении славян к югу от Дуная мы получаем информацию также главным образом в виде их племенных названий. Когда я в свое время занимался проблемой ранних славянских этнонимов (6), я имел возможность убедиться, что в нашем распоряжении находится едва ли больше полусотни таких этнонимов, в их числе — всеобъемлющее **slověne,* затем неоднократно повторяющиеся *sьrbi, *xъrvati, *sěver'ane и им подобные и наконец — племенные названия местного характера. В принципе такая же картина наблюдается в исторически новых славянских землях на юг от Дуная. Совершенно естественно, что при этом реализуется лишь часть известного нам славянского этнонимического фонда. Впрочем, и здесь на первом месте оказывается не претерпевшее никаких ограничений в употреблении общеславянское самоназвание *slověne,* обозначающее людей, объединенных славянским языком, а также целые области, населенные этими людьми, как, впрочем, и совершенно конкретные места, урочища (ср. приводимое у И. Дуриданова название деревни *Слоештица* из более древнего *Словѣньщица* в бассейне реки Вардар). В византийской практике особенно употребительным оказалось название Σκλαυινία, сначала служившее обозначением территорий на Среднем Дунае, включая позднейшую Валахию (7, с. 59; 8, с. 67, 69), потом специально закрепившееся за славянами, осевшими в Македонии (7, с. 87; 9, с. 82; 10, с. 81). Мы не видим никакого противоречия между мнением Миклошича, что имя **slověne* сначала относилось только к тем славянам, которые двинулись в VI в. на юг (7, с. 41), и этимологией нашего макроэтнонима, принимаемой также нами, а именно: **slověne* как отглагольное производное от **slovǫ, *sluti,* собственно, 'понятно, ясно говорящие' (см. неоднократно в нашей книге "Этногенез и культура древнейших славян", а также см. 11, с.5, с более ранними публикациями). В чисто славянской среде это самоназвание часто и не требовалось; свою родовую (племенную) принадлежность сознавали и без него, причем обходились простейшими самоидентификациями *мы, наши.* Но ближе к племенным границам, а тем более за их пределами маркированность славянства

намного возрастала... В этом я вижу прежде всего возможность примирить эндогенную природу имени славян и его преимущественно периферийную употребительность, хотя некоторые из моих коллег неоправданно противопоставляют одно и другое (12, с. 61—62). В связи со сказанным мне остается еще указать на этимологию названия албанцев, которая по-прежнему является, как я думаю, наиболее естественной: *Shqiptar* от алб. *shqip* 'ясно, понятно', несмотря на все возражения (из них не самое удачное см. 13). Если принять при этом во внимание достоверно вторичное появление албанского этноса на исторической арене, а также типологически вторичный, как и повсюду, характер единого этнического названия, то я готов оставить открытым вопрос — не является ли для нас этноним *Shqiptar* косвенным свидетельством (отражением) былой этимологической прозрачности этнонима *slověne* в этом регионе?

Следующие по значению славянские этнонимы на территориях к югу от Дуная — это, конечно, имена сербов и хорватов. Об этнониме болгар я не могу сказать ничего нового: с точки зрения славянской этнонимии он является местным и заимствованным. Но и два других вышеупомянутых этнонима представляют собой — с этимологической точки зрения — иноязычные заимствования, хотя и не носят локального характера. Тем самым я оспариваю укоренившийся в славистике взгляд на имя **sьrbi* 'сербы' как на производное от глагола **sьrbati* 'сосать, хлебать' (12, с. 44, и др.) и хотел бы восстановить старое мнение о существовании связи между именем собственно славянских сербов и так называемых "античных" сербов на Северном Кавказе. Короче говоря, соответствующее свидетельство Σέρβοι (Ptol. Geogr. V. 9. 21) знаменует собой наиболее продвинутый к востоку случай имени сербов — первоначально вероятно индоарийского по природе, исходный пункт которого — по логике индоевропейского расселения — лежал на Западе, судя по упоминанию о некоем племени по имени *Serri* (Amm. Marc. XXVII, 5, 3) в Южных Карпатах, IV век (14, I, с. 99), таким образом, уже в непосредственной близости от исторической области позднейших — славянских сербов. Что касается удвоения *-rr-*, вместо группы согласных *-rb- (Serri* ~ Σέρβοι), то оно выглядит уже совершенно на балканский манер. Ниже мы еще вернемся к этому небезразличному для славистики сюжету о возможных встречах индоарийского и дако-фракийского этносов в районе Карпат. Здесь же нас, естественно, прежде всего интересует факт заметного проникновения имени сербов довольно глубоко в греческие пределы (см., с соответствующей критикой по этому поводу, 15, с. 319—320). Как бы то ни было, подобные случаи усугубляют пестрый облик славянского заселения южной части полуострова. То же можно сказать и о случае Χαρβάτι, равным образом в Греции (15, там же). В последнем примере представлен славянский этноним **хъrvat(in)ъ*,мн. **хъrvati*, имеющий свою собственную длинную историю и — в отличие от этнонима *сербы* — иранскую этимологию (подробнее см. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 8. М., 1981. с. 149 и сл.).

Своеобразно сложилась судьба скудно засвидетельствованного сла-

вянского племени по имени *sěver'ane, то есть 'северные', на северном, левом берегу Дуная (в Банате); лишь позднее это племя появится на востоке Болгарии (7, с.92). Традиция называния левого дунайского берега 'северным' представляется потенциально древней, ср. свидетельство баварского географа IX века — Descriptio civitatum et regionum ad *septentrionalem* plagam Danubii, где *septentrionalis* равнозначно *sinistra (plaga)* 'левый (берег)'. Далее, наряду с этнонимом *смолѣне* на крайнем юго-западе Болгарии, начиная еще с протоболгарской эпохи, с точным древнерусским соответствием, которому мы специально уделяем внимание в другом месте, следует упомянуть замечательную пару имен — Δρουγουβῖται, название племени на запад от Солуни (Фессалоники), и другие Δρουγουβῖται , название древнерусского племени в позднейшем белорусском регионе (оба названия представлены в византийско-греческих источниках X века). Самое интересное при этом то, что оба эти этнонима (в том числе и другувиты в Северной Греции!) этимологизируются только на белорусской языковой почве, поскольку представляют собой производное от исключительно белорусского, восточнославянского диалектного слова *дрыгвá* 'топь, болото', праслав. диал. *drъgъva (16, с. 87 и сл.).

Оставляя в стороне несколько проблематичные в отношении своей славянской принадлежности племенные названия далматинского побережья у Константина Багрянородного, De adm. imp. (Ζαχλοῦμοι, Τερβουνιῶται, Καναλῖται, Διοκλητιανοί, 'Αρεντανοί), а дальше на юг, в непосредственных окрестностях Фессалоники, наталкиваясь на еще более проблематичные вроде 'Ρυγχῖνοι (15, с. 177) и Σαγουδάτοι (там же), формы, которые трудно признать славянскими, мы переходим к прочим случаям славянской этнонимии в византийско-греческом ареале. Почти на всех них лежит иноязычный отпечаток, так, strumenci (у Нидерле), по всей видимости, калькирует административно-греческое Στρυμονιοι. Относительно более живую форму представляет племенное название *пиканци, Пиканьць,* по течению Брегалницы, в Восточной Македонии (7, с. 64; 10, с. 142), поскольку мы здесь наблюдаем участие славянской народной этимологии, а именно — соотнесение имени местного античного варварского племени Παίονες с подлинно славянским словом *рьјапъ, пьяный.* Вряд ли чисто славянское образование представляет собой название племени Βαιουνῖται в Эпире (15, с.20). Далее, поучительны названия, засвидетельствованные на крайнем юге Пелопоннеса, — Μηλιγγοί и Ἐζερῖται (Конст. Багр. De adm. imp. 50). Форма 'Εζερῖται , несмотря на явное сходство со слав. *ezero* 'озеро', образует пару с названием племени *Oseriates*, близ озера Балатон, причем в отношении последнего все еще не решена окончательно дилемма славянской или иллирийской принадлежности. Что же касается имени милингов, то благодаря этимологии Штибера — название деревни *Mlądz,* под Варшавой, из *mьlęg- от дославянского *miling- — мы теперь знаем, что вначале они были, скорее, совершенно иллирийским племенем. В Пелопоннесе эти оба племени — милинги и езериты — предстают перед нами как уже несомненно славянские, но их славянство — плод развития.

По-прежнему этнонимы славян, расселившихся в византийском

ареале, таят в себе немало загадочного. Но ясно одно: диалектные и даже языковые различия этих славян-новоселов были значительно больше, чем это готов был допустить наш великий предшественник Фасмер (я имею в виду его книгу "Die Slaven in Griechenland", увидевшую свет более 50 лет назад, а в ней в особенности — его рассуждения о результатах исследования апеллативов). Имена собственные, в их числе — этнонимы, конечно, не совсем подходят для этого по причине своей исключительной знаковости. Часто их значение совсем невелико для суждений о языковой принадлежности стоящих за ними этносов, ср. например германский характер названия славянского племени Βελεγεζήται в Фессалии (17, с. 94; 18, с.301, с литературой) или темное до сих пор имя *Brsjaci,* в Западной Македонии (19, I, с. 104), территория которых в древности носила имя *Берзития* (8, I, с. 285). Последние два имени мы теперь относим — в соответствии с достаточно сложным историческим прошлым — к Βερζιλία, βερζίτικον, названию хазарской области на севере Дагестана (см. наше примечание в: 20, с. 178, сноска), в связи с аварами эпохи осад Солуни.

Сравнительная скудость славянских данных, особенно из раннего времени славянского занятия Балканского полуострова, заставляет нас не отграничивать строго старых ономастических фактов от старых фактов нарицательных, в противном случае мы имели бы дело с крайне скудным материалом. Тем драгоценнее при этом редкие лексические свидетельства ранних веков, вроде тех, что имеются в путевом описании Приска , к тому же, в последнем случае вообще невозможно провести строгого различия между занятием "новых" территорий и древним поселением (Приск рассказывает о местности, в которую он прибыл вскоре после переправы через Дунай и некоторые его притоки с юга на север). Что касается названия напитка μέδος в греческой записи у Приска, то исследователи более или менее сходятся в том, что это слово, услышанное от здешнего населения где-то на территории теперешней Воеводины около середины V века, было, скорее всего, славянским (18, с.93). Иранский (сарматский) и какие-то другие местные индоевропейские языки отпадают в качестве возможных источников слова по лингвистическим соображениям. Практически из того же места и из того же столетия (приуроченность ко двору Аттилы и его кончине) идет известие о другом туземном слове — *strava(m),* что у Иордана (Getica) совершенно точно значит — тоже на здешнем языке — 'поминальное пиршество'. Затянувшийся спор о том, почему это слово не может считаться вполне славянским, так как слав. **sŭtrava (*sъtrava)* было бы записано по-латыни иначе, тогда как *strava* как отражение славянского **jьztrava* встречает будто бы хронологические затруднения (18, с. 161 и сл.; см. еще специально: *Гиндин Л.А.* К вопросу о хронологии начальных этапов славянской колонизации Балкан // Linguistique balkanique, XXVI, 1, 1983, passim; *Он же.* Обряд погребения Аттилы (Iord. XLIX, 256—258) и "тризна" Ольги по Игорю (ПВЛ, 6453 г.) // Сов. славянов. 1990. № 2. С. 65 и сл.). Автор склоняется к мысли о славянскости слова *strava,* с допущением древнего "*s* подвижного", в чем, думаю, нет необходимости) — этот длинный

спор я резюмирую сейчас в духе своей же прежней концепции в Этимологическом словаре славянских языков (вып. 9, с. 81). Я считаю по-прежнему, что здесь можно серьезно говорить только об исходной форме **jьztrava,* о чем нас достаточно авторитетно учат древнерусские и русские диалектные формы типа *истра(ʼ)ва* 'издержки, расходы', исходная форма с префиксом *sъ-* здесь вообще не существовала. Западнославянское *strava,* восходящее к древнему **jьztrava,* реально существует, например, в словацком и означает 'корм для скота'. Применительно к слову *strava* у Иордана можно было бы говорить скорее о паннонскославянском (17, с. 142), непосредственно примыкавшем к собственно западным славянам, чем о дакославянском, о котором будет еще речь дальше. И еще, пожалуй, главное к вопросу, почему в записи Иордана отсутствует *i-* начальное (*strava,* а не **istrava*)? Лично мне ситуация напоминает славянско-тюркские отношения вроде *Странджа* — *Istranca* [istrandža] (о горах Instranza в европейской Турции см. 21, с. 247): в глазах болгар начальное *i-* выглядело слишком по-турецки (гласная протеза перед начальной группой согласных, нетерпимой в турецком). Нечто подобное можно было бы ожидать и со стороны информаторов (источников) Иордана, только на этот раз гиперкорректный ригоризм был направлен против гуннов, а заодно и всего того, что могло бы ошибочно сойти за "гуннское". И совсем уже общая мораль этого эпизода может быть сформулирована таким образом, что, решая лингвистические задачи типа иордановского *strava,* мы не должны, видимо, подходить к материалу и условиям явно многоязычных районов (а таким районом была древняя Воеводина) с меркой закономерностей исключительно одного из языков (ср. выше затронутый в дискуссии вопрос о чисто славянской хронологии процесса *jьz-* >*s-* в известной позиции). Необходима бывает поправка на межъязыковые факторы. Кстати, еще одним примером с вероятными западнославянскими ассоциациями из античной Паннонии может послужить эпиграфическое *Dobrates/tis,* имя божества, засвидетельствованное в надписи начала н.э. в паннонском городе *Intercisa* на Дунае, к югу от Будапешта. Этот теоним, персонифицированное 'Добро', полностью покрывается по своему словообразованию и значению с зап.-слав. (праслав. диал.) **dobrotь* 'добро, доброта', о чем подробнее у меня в кн. Этногенез и культура древнейших славян, с. 100—101 (с литературой).

Тем временем мы вернулись в Среднее, в том числе левобережное, Подунавье, поэтому не должно удивлять, что признаки раннеславянского присутствия встречаются чаще. Кратко остановимся на них, точнее — на спорных по сей день вопросах нашей науки. "Что стоит за якобы славянским звучанием имен Pelso, Ulca - Hiulca, Urbate, Σερβίνον, Bolia, Dierna-Ζέρνης, Bersovia и — как их еще там? Ничего, кроме подтверждения того, что здесь жили иллирийцы и фракийцы..." (22). Несмотря на то, что сила скепсиса этих слов Рамовша, сказанных шестьдесят лет назад, едва ли убавилась, очевидно, пришло время для того, чтобы не зачеркивать вообще этот материал, а подвергуть его спокойному анализу. Конечно, отдельные примеры выглядят явно как иллирийские (Ulca) и должны быть

поэтому устранены из списка славянских элементов. Другие же носят вторичный славянский отпечаток: такова дакская Berzovia, обратившаяся в рум. Bîrzava лишь после того, как прошла славянскую стадию *Bьrzava* (17, с. 59; 21, S. 220—221). Но едва ли имеет смысл предполагать особое местное индоевропейское **kᵘ̯ersnā* 'черная', во всем практически тождественное слав. **čьrnъ*, ж.р. **čьrna* (из **kr̥sno-*, **kr̥snā*) и при этом якобы совершенно независимое от последнего, если принять во внимание, что нам в общем достаточно хорошо известно дакское обозначение черного цвета в виде существенно отклоняющегося индоевропейского диалектного варианта **kr̥s-* > **kris-*, ср. локальный гидронимический комплекс античного *Crisia* ~ венг. *Körös*. Итак, что же тогда такое эта *Dierna/Cerna*? Случайное славянское созвучие? Или уже славянское поселение, стоянка (statio) III в. н.э.? (7, с. 56).

Участие местных балканскоиндоевропейских субстратных языков в формировании (южно)славянских языков несомненно. Но мы очень мало знаем о том, как и в каких размерах это совершалось. Причина тому — ограниченность нашего знания самих субстратных языков. Существующие пособия по реликтам иллирийского и дако-фракийского языков для этого недостаточны. В свое время высказывалось мнение, что славизация балканских стран осуществилась столь полно потому, что ассимилированные наречия сами были весьма близки к славянскому. Будучи само по себе вполне приемлемо, это предположение, к сожалению, лишено конкретного содержания, и это сохранится до тех пор, пока не будет проведена систематическая этимологизация. И все же мы получаем с разных сторон интересующие нас сигналы. Уже упоминавшееся дакское *Berzovia* предположительно тождественно этимологически со слав. **berzovъ* 'березовый' (ЭССЯ, вып. 1, с. 206). Имя острова в Эгейском море, близ фракийского побережья Анатолии, Λέσβος восходит, по-видимому, к дако-фракийскому **lĕsu̯os, *lĕsou̯os*, этимологически тождественному слав. **lěsovъ* 'лесной, лесовой' (ЭССЯ, вып. 14, с. 245). **Berzovъ, *lěsovъ* (русск. *березовый, лесовóй* и т.д.) — это широко распространенные славянские слова. Но, пожалуй, не менее интересны древние диалектные образования, имеющие, к тому же, соответствия в субстрате. Едва ли случайно сходство сербохорв. jȁpād ж.р. 'тенистое место', по-видимому, архаическое сложение префикса (*j*)*a-* в значении приблизительности и корня *pad-* 'падать', ср. функционально близкое **zapadъ* 'заход солнца, запад' (ЭССЯ, вып. 1, с. 71; 23, I, с. 754—755), и названия самого западного племени в Иллирии — *Iapodes*, примыкавшего к современной Хорватии с запада (24, 2, стб. 1319). Тем самым одновременно обретает прозрачность данный реликтовый индоевропейский этноним (*Japodes, Japudes, Japyges*), углубляется и наше понимание структуры иллирийского языка. Замечательный по-своему случай представляет собой сербохорватский диалектный предлог *med* (при литературном *mèđu*) 'между' (Воеводина, Славония, кайкавский, а также словенский), по всей вероятности, еще праславянский диалектизм из и.-е. **medo-* то же. То, что здесь речь не идет о поздней инновации сербохорватского, наглядно демонстрирует

сербохорватский топоним *Medbara*, собственно говоря, продолжение еще античного *Metubarris, Metubarbis,* буквально 'Междуболотье', местность на Саве, с корнем **barb-* и уже знакомым нам фонетическим развитием *rb* >*rr* (17, с. 133, 135, 142; 25, с. 174). Преимущественно южнославянский апеллатив *bara* 'поток, ручей; лужа; луг; болото' относят сюда же (ЭССЯ, вып. 1, с. 153—155), и он тоже предполагает иллирийско-фракийско-албанское развитие **barb-* > **bar(r)-* (ср. выше Serri); ср. еще *Kolu-bara*, название притока Савы.

В отличие от предыдущего, слово **vьrtъръ* /*vьrtoръ* 'пещера; воронкообразное углубление; водоворот' принадлежит преимущественно восточной части южнославянского (старославянский, болгарский, македонский, восточносербский). Из славянского оно попало в румынский — vîrtóp, hîrtóp 'яма', представлено также в топонимии Румынии, Албании, Греции (Βουρτόπη) и в явно дославянских местных названиях Фракии (Burdapa) и Восточной Сербии (Βούρδωπες) (17, с. 117, 155; 19, I, 212; 14, II, с. 2, 61; 26, с. 47; 27, с.218). Небезынтересно для нас утверждение Селищева, что "к северу от Албании, в областях сербских славян, нет таких названий". Понятно, что известное русское слово *вертéп* 'пещера; (разбойничий) притон и т.д.' целиком принадлежит литературному языку, будучи генетически церковнославянским элементом. Менее ясны несколько случаев из диалектной лексики, которые обозначают различные труднодоступные, крутые места (28, 4, с. 151; 29), но известно, что и словарный состав русских народных говоров подвергался влиянию церковнославянского. Южнославянское слово имеет вполне славянский вид, у нас есть для него солидная этимология Георгиева — из и.-е. **u̯rt-* 'вертеть' и **up-* 'вода, река', но приведенные выше предположительно фракийские формы, которые, со своей стороны, явно претендуют на ту же индоевропейскую этимологию, настраивают нас на осторожный лад. Равным образом родство балтийской формы — лит. *Vìrt-upė*, гидроним в Литве (30, с. 388), сложение тех же этимологических компонентов, заставляет нас склониться к выводу, что вначале здесь был, по-видимому, фракийский. Кстати, при этом можно было бы высказать общее наблюдение, что ввиду наличия признанно древних дако-фракийско-балтийских черт близости ряд этимологических балтийских соответствий, вскрываемых особенно в болгарском словарном составе, нуждается порой в несколько иной характеристике, а именно — с точки зрения традиции фракийского субстрата, а не гипотетичного болгарско-балтийского соседства, как это нередко представляется в литературе.

Следующий затем случай интересен в том отношении, что фракийская природа при этом совершенно вероятна, но балтийский фон отсутствует. Болг. диал., макед. *глух, глуф, глýшец* 'мышь, крыса; полчок' (31, с. 50, 405), по косвенным признакам — архаический диалектизм (32, с. 63), было убедительно проэтимологизировано как первоначальное **glišь* < и.-е. **g(ə)lī*, ср. лат. *glīs, glīris* 'полчок, соня', алб. *gjer* 'соня, сурок, белка', др.-инд. *giri* 'мышь', что все вместе ввиду красноречивого отсутствия этого слова в остальных славянских языках делает вероятным его происхождение из балканско-

го субстрата (древне-македонский, иллирийский или дако-фракийский) (19, I, с. 253; 33, I, с. 607: славянских форм не приводит). Сюда же может принадлежать, вопреки скептическому отношению Томашека (14, II, с. 4), фракийское ἄργιλος · ὁ μῦς, если предположить в нем искажение первоначального *(a)gliros под влиянием форм вроде ἄργελλα · οἴκημα Μακεδονικόν или ἄργιλος· λευκόγειος (Hes.).

Два нижеследующих слова целиком принадлежат славянскому, и в том, что дело дошло все-таки до заимствования турцизмов, повинна своеобразная судьба этих славянских слов в балканских странах. Я имею в виду две родственные лексемы еще индоевропейского происхождения *u̯lnā 'волна' и *u̯l̄nā 'шерсть-во́лна', последнее — с акутовой долготой (34, с. 1139, 1143). Абсолютно ясно, что второе из них произведено от первого: шерсть-во́лна́ была названа метафорически как нечто 'волнистое, струящееся', ср. например нем. *Vließ* 'руно': *fließen* 'течь'. Индоевропейские отношения продолжаются в точности в славянском: праслав. *vьlná I (русск. *волна́*) характеризуется краткостью корня и конечным ударением, а *vьlna II (русск. *во́лна*) — производной долготой врдхи в корне. В неблагоприятных условиях развития в южнославянском, когда имелась тенденция к фиксации ударения на корне, как правило утрачивался старший член оппозиции: праслав. *vьlná I 'волна' вытеснено в сербохорватском и словенском синонимом *val*, сохранилось только сербохорватское vȕna 'шерсть' (23, III, с. 636—637). В болгарском, похоже, старые отношения сохранились только в литературном языке (по образцу русского?): *во́лна* 'шерсть' и *вълна́* 'волна'; в живом народном языке ввиду откровенно слабой позиции последнего слова произошли изменения и замещения. Так появились диалектное *далга́* из турецкого dalga (19, I, с. 315; 31, с. 399) и этот своеобразный турецкий грецизм *тала́з* 'волна' (35, с. 628).

Отношения славянского и балканскоиндоевропейского перестают быть предметом исключительного интереса специалистов по балканистике, они все больше и больше затрагивают существо славистики. Достаточно красноречивый пример этого — судьба славянского названия тиса: праслав. *tisъ — русск., укр. *тис,* русск.-цслав. *тиса* 'сосна, кедр', болг. *тис,* сербохорв. тȉс 'тис, лиственница', словен *tȉs,* чеш., слвц. tis, польск. *cis,* в.-луж. *ćis,* н.-луж. *śis.* Признание родства этого славянского названия дерева *Taxus baccata* и лат. *taxus* 'тис' кажется неизбежным. Но их отношения до такой степени затруднительны и невыяснены, что славянское слово до сих пор остается признанно темным; американский ученый прибег даже к иероглифической реконструкции индоевропейского *tVk̂so- 'тис', в которой *V* может означать любой гласный (36, с. 121 и сл.), что, естественно, не явилось ощутимым шагом вперед в этом вопросе. Ситуация, при которой родственные отношения нельзя ни отрицать, ни доказать, явно говорила о заимствовании, что предполагалось и ранее, с той разницей, что язык-источник оставался неизвестен (37, IV, с. 61, 857). От естествоиспытателей мы знаем, что особенно богата тисом Центральная Европа (38, с. 407; 39, с. 575). Другое дело — Восточная Европа, а вместе с ней и восточные славяне;

относительно последних говорят лишь о "книжном знакомстве" с этим незаурядным деревом (40, с. 24). Это видно и по приведенному выше русско-церковнославянскому примеру из Срезневского, где значение, приписываемое слову *тиса* — 'сосна, кедр' (?), свидетельствует именно об этом не очень хорошем знакомстве (ведь тис прежде всего — не хвойное дерево!). До недавнего времени особенно много тиса было в Карпатах. Как уже сказано, славянское название тиса практически не имеет этимологии, потому что брюкнеровское сближение *tisъ и польск. *cigiędź* 'чаща' (см. так же 40, с. 51) — это не выход из положения. Целесообразно поэтому вернуться к нашей паре **tisъ: taxus* с тем, чтобы еще раз заняться этими отношениями. Загадка заключается в самом этом отношении вокализма *a : i*. Именно здесь коренятся закономерности неизвестного нам языка-источника славянского слова.

На юге Болгарии, в исторической Фракии, есть и сейчас известный город Пловдив, название которого восходит точно к древнему *Pulpu-deva,* что значит на языке фракийцев-бессов 'город Филиппа'. Кроме того, хорошо засвидетельствован фракийский апеллатив δέβα 'город' (эмендация из λέβα) у Гесихия, проэтимологизированный из и.-е. **dhēu̯ā* 'поставленное, основанное' (14, с. 9). Таким образом, и.-е. *ē* долгое сужалось во фракийском в *ī* (41, с. 115), ср. еще один пример с тем же корнем — *Recidiva,* Кодекс Юстиниана, новелла XI (21, с. 324). Но это еще не все. Кроме некоторого количества фракийских названий городов на *-deva* (все — на юг от Дуная), к северу от этой реки, то есть в Дакии, представлены гораздо более многочисленные названия на *-dava* (41, с. 119). Иногда встречаются (на Юге) также дублеты вроде Συκι-δάβα наряду с Ζικί-δεβα (Прокопий), в Добрудже (41, там же). Не оставляет сомнений связь всех этих форм, при этом формы *-dava* рассматриваются как дальнейшее развитие форм *-deva,* обратные же изменения в дакском ставятся под вопрос (Дуриданов, см. 41, passim). Но возможность шире взглянуть на вещи дает нам название самих даков, прежде всего — в составе имени их царя — Δεκέ-βαλος, *Deci-balus,* что, собственно, есть титул: 'дакский царь'. У Томашека на этот счет можно прочесть о сомнениях как раз по поводу *e* из *a* (14, II, 2, с. 31). Но вот еще один пример этого рода: согласно Страбону, один дакский пророк в царствование Буревисты назывался Δεκαίνεος. Томашек (14, там же), оставляет его практически без объяснения: "Wz. dek̑-?" Но, по всей видимости, первоначально было *Δακ-αίνεος, тоже, скорее, титул, чем имя собственное — что-то вроде 'дакский святой', причем второй компонент этого имени мы находим еще в названии священной горы в Дакии, в постпозиции — Κωγαίονος 'гора' + 'святая'. У Иордана (Getica) встречается имя этого святого человека в огласовке *Dicineus* (14, 2, с. 31). Из этого можно было бы заключить, что фонетический переход *a* > *e* > *i* был все-таки возможен на дако-фракийской языковой почве, и такая констатация могла бы оказаться полезной в дальнейшем исследовании вопроса о *taxus* ~ *tisъ*. А именно: дако-фракийский прототип **tiso-* (из и.-е. **tāk̑so-*) в значении 'тис' попал в отдаленном

прошлом в соседний праславянский где-то в районе между Средним Дунаем и Карпатами. Тем самым обретает дополнительный смысл мнение Селищева — в связи в его оценкой славянского характера алб. *tis* и рум. *tisă* 'тис' — о том, что на всем Балканском полуострове называют *Taxus* славянским именем (27, с. 164). И — прямо наоборот — мы могли бы сейчас утверждать, что, прежде чем распространиться по всему праславянскому ареалу, прототип праславянского слова **tisъ* был заимствован славянским из дако-фракийского. Поэтому нельзя считать окончательным решением отрицательное мнение Шахматова по поводу старой уже догадки Ростафинского о том, что слово **tisъ* пришло к славянам от фракийцев (A. Schachmatov. Slavische Wörter für Epheu // Festschrift V. Thomsen zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres am 25. Januar 1912. Leipzig, 1912. S. 195—196). Ясно одно — сейчас уже нельзя отрицать контакты праславян с фракийцами только на том единственном основании, что подобные контакты до V в. н.э. в придунайских районах по-прежнему кажутся сомнительными отдельным ученым (я имею в виду один из главных контраргументов Дуриданова в его критике моей версии о фракийском происхождении слав. *kobyla*, [см.: И. Дуриданов. Произход на слав. kobyla и на тракийското селищно име Καβύλη // Славистичен сб. БАН, 1988. С. 195 и сл., там же дальнейшая литература]).

Переселение масс славянского населения с берегов Дуная в глубь полуострова не могло не расшатать существовавшие там гидронимические системы. Правильно в общем замечено, что все важные реки в этом районе носят не славянские, а, как правило, дославянские названия. Таковы, как обычно считается, *Дунав (Дунай), Сава, Драва, Мура, Соча, Тиса, Тамиш, Купа, Уна, Врбас, Босна, Дрина, Неретва, Зета, Ибар, Морава, Тимок, Вардар , Струма, Вит, Искър, Етър (Янтра), Марица, Тъжа (Тунджа)* и — не только они (17, с.173). И все же номенклатура в землях на юг от Дуная претерпела существенную славянизацию. Анализ этого фонда вскрывает немалое участие славянского словарного состава, включая ряд архаических элементов, ср. (42, passim). Правда, мы не встречаем здесь переноса целых гидронимических ландшафтов как следствия этнической миграции. Практически не имело места повторение дальше к югу гидронимов с правого (так сказать, "неславянского") берега Дуная (ряд из которых назван выше), если судить по гидронимии бассейна реки Вардар и прилегающих долин Албании, то есть стран на юге, которые были ославянены значительно раньше, чем греческие территории и даже — чем Болгария. Оттуда можно привести отдельные случаи форм, продолжающих название Дуная, напр. *Дунавец* в южной Албании (27, с. 56, 242) и *Морава*, там же. Правда, из них именно *Морава*, обычно зачисляемая однозначно в дославянские названия (см. перечень выше), привлекала уже наше внимание как эндемичная центральноевропейская форма с древнеевропейскими гидронимическими связями и непрерывностью ее продолжения в славянском (5, с. 245). Любопытно, что именно *Морава* ощутимо "вторглась" на Юг и вполне реально, что это она дала начало

славянскому гидронимическому типу на *-ава* в бассейне Вардара (42, с. 299—300).

Из проблем собственно топонимических назовем здесь два эпизода, которые привлекли наше внимание тем, что наглядно отражают длительный характер локальных традиций. Первый из них представлен названием античной области *Дардания* (приблизительно северная часть республики Македонии и южная Сербия), убедительно проэтимологизированным в связи с алб. *dárdhë* 'груша', *dardhán* 'крестьянин', собственно 'тот, кто выращивает груши' (17, с. 83—84, с литературой; 14, I, с. 25). Сегодня никто и не вспоминает ни в Македонии, ни в Сербии о давно забытой Дардании, но поныне живут там топонимы *Крушево, Крушевац,* объяснимые не одним только славянским названием груши, но и — некогда живой памятью о Дардании, "грушевой стране".

Второй топонимический эпизод не лежит в такой степени на поверхности вещей, как вышеназванный, но он тем более интересен, по-моему. Когда я заинтересовался проблемой славянского названия Трансильвании, из справочной литературы я вынес впечатление, что такого названия вообще не существует. Лично для меня проблема эта интересна тем, что речь идет о территории, близкой к Среднему Дунаю, — праславянскому ареалу (в моем представлении), тем более, что ниже говорится еще об одном возможном плацдарме, или, вернее сказать, "мысе" раннеславянского заселения — в нынешнем Банате. Правда, если смотреть из Среднего Подунавья, Трансильвания лежит несколько в стороне, за Тисой, и "близко" это кажется только на карте, главное же — наполнение праславянской ойкумены остается для нас во многом вещью в себе, объектом нашей реконструкции. И все же отсутствие старого славянского названия Трансильвании остается странным, нуждается в объяснении. Поэтому уделим несколько внимания специальной теме: "местная традиция называния Трансильвании". В специальной литературе дело представлено таким образом, что ответственность за этот способ называния — 'за лесом (находящаяся)' — несет венгерское название области *Erdély* (с XII в.); позднелатинское *Trans-sylvania* является лишь слепком венгерского названия (43). В Румынии известны оба названия — *Ardeal* (из венгерского) и лат. *Transilvania.* А мы, славяне, не упустившие случая калькировать своими славянскими языковыми средствами даже такие явно поздние образования, как *Siebenbürgen, — Семигра́дье, Семи́город, Siedmiogród,* так и не обзавелись эквивалентом, дабы передать представление об этой местности 'за лесом', внутри Карпатской дуги (под 'лесом' при этом подразумевают горы Бихар). К тому же, совершенно исключено, чтобы этот тип называния Трансильвании был моложе, чем упомянутое 'Семиградье'. Тогда перед нами встает задача отыскать потенциальный прототип в местном субстратном материале. В качестве такового, я полагаю, можно рассматривать топоним *Porolissum* / Πορόλισσον / Παράλισσον в северозападной Дакии. По нему получила название *Dacia Porolissensis,* самая северная часть Дакии (24, 4, стб. 1062; 44, с. 375).

Что касается этимологии, едва ли удачна мысль Томашека о том, что Πορό-λισσον родственно в первом компоненте с *-para,* πάρος в значении 'базарное место, село' (14, II, 2, с. 63, 65). Из его анализа достоверно одно: членить надо *Poro-lisso-*. В остальном мы расходимся с знаменитым фракологом, поскольку видим в *poro- / para-* скорее префикс (относительно двойственного рефлекса и.-е. *ŏ* краткого как *o / a* в дако-фракийском см. 45, с. 95), а корнем слова считаем *-liss-,* и нам остается индентифицировать последнее как лексему 'лес', ср. то, что было сказано выше о названии острова Λέσβος и его фракийской принадлежности. В названии *Porolissum* мы могли бы, таким образом, предположить субстратное дакское выражение, значившее примерно 'за лесом' и одновременно — прототип для модели *Trans-sylvania,* отодвинув тем самым начало этой традиции наименования намного глубже, чем XII век. И все же спрашивается, почему славянский не участвовал в этом назывании?* Думается, что контакты, а с ними и необходимая коммуникация (понятия, представления) между славянами и неславянами попросту иногда отсутствовали — так, как они могут отсутствовать между обитателями долин и горными жителями. Балканские индоевропейцы (правда, не все) были по преимуществу горцами. Напр. фригийскоязычные пеоны селились в речных долинах, что оставило отпечаток в их названии ('луговые'). Но македонцы, как много позднее после них албанцы, спустились с гор. Об албанцах практически не было слышно вплоть до позднего средневековья. Замкнутая жизнь высоко в горах, отсутствие интереса — культурного и экономического — к жизни в долинах, не говоря уж о морском деле, — это тоже причины того, что албанцы, этот древний туземный балканскоиндоевропейский народ, попали так поздно в поле зрения истории. Чтобы объяснить это, большие расстояния и этнические перемещения не нужны. Исследователи, которые пользуются последними, желая ответить на вопрос "где селились предки албанцев?", похоже, забывают о такой вещи, как культурная стадия. Таким (или примерно таким) образом можно попытаться объяснить затронутый нами выше пробел в раннеславянской номинации, то есть и в данном случае — не обязательно по причине скудости источников.

Этнолингвистические древности Балкан таят в себе еще много неразгаданного. При этом славянская доля участия выглядит порой проблематичной и вторичной, что, однако, никогда не означает, будто итоги общей балканистики и индоевропеистики безразличны для славистики в собственном смысле. Выше мы приводили пример с так называемыми (на мой взгляд, индоарийскими) "античными" сербами, которых донес до нас в завуалированном виде — в южнокарпатских Serri — Аммиан Марцеллин. Существует ряд указаний о следах индоарийского (то есть праиндийского) присутствия от Западных Карпат (соответствующая этимология названия города *Nitra*)

*Можно было бы ожидать, скажем, слав. **per-lěsьje,* весьма близкое этимологически к дакскому *poro-lisso-,* или в крайнем случае — слав. **zalěsьje,* но такие славянские названия Трансильвании мне неизвестны, хотя, напр., в чешско-моравской топонимии встречается название *Zálesí* 'залесье', с местной привязкой.

дальше на юг, ср. топонимический элемент *-nad* как в словацком гидрониме *Hornád*, так и в местных названиях Трансильвании и Баната (к др.-инд. *nadī* 'река'). В некоторых случаях индоарийские влияния можно констатировать у фракийцев-бессов, следовательно, довольно далеко на юге. В одном примере речь может идти о явном заимствовании из индоарийского именно на юге: *Uscu-dama,* фракийско-бесское название города Адрианополя (в настоящее время Эдирне в европейской Турции), в котором *uscu-* — предположительно 'вода' по-фракийски (44, с. 349), а второй компонент может быть только др.-инд. *dhā́man* '(населенное) место' (и.-е. **dhēmn̥* дало бы во фракийском в лучшем случае **dēmen* > **dīmen*). Дальнейшие индоарийско-фракийские этимологии принадлежат еще Томашеку, который сблизил Σάτραι· ἔθνος Θρᾴκης (Гекатей, Стефан Византийский) и арийское *kṣatra-* 'господствующая часть народа' (14, I, с. 68) и, что не менее интересно, Βησσοί, название части фракийцев-сатров, в эпиграфике — BESUS, а также VESUS, — с др.-инд. *veśá-* 'член того же рода, служитель' (14, I, с. 72—73), что может быть для нас бесценным свидетельством отголосков арийского кастового деления на кшатриев и вайшьев в Восточных Балканах. Эти несколько экзотические, с точки зрения славистики, свидетельства были даны здесь как бы в виде целой серии с тем, чтобы исключить возможные подозрения в случайности.

Возвращаясь на славянскую языковую почву, мы едва ли вправе думать, что здесь мы до такой степени "дома", что все гипотетическое уступает место уверенным суждениям. Непрекращающиеся споры о южнославянском языковом единстве (вторично или изначально? — последнее едва ли, а первое тоже так и не было достигнуто полностью) говорят об обратном. Как славяне заселяли балканский регион? Преодолевался ли при этом Дунай на нескольких или многих местах своего среднего, а также нижнего течения? Особенно популярной была идея двух главных потоков славян, один — на среднем течении Дуная, другой — на нижнем его течении. И в рамках сербокроатистики предпринимались попытки выявить два возможных этнокультурных потока, но результат слишком уж смахивает на единый нормально функционирующий языковой и культурный ареал, где инновации занимают центр, а архаизмы оттесняются на периферии. Для сербохорватской исторической диалектологии характерно северно-южное направление главных изоглосс (17, с. 143—144, 379). Несомненно существование главного людского потока, который направлялся со Среднего Дуная на Юг и изливался в долину Вардара (Аксиоса). Этим путем на Юг шли не только славяне, но и другие индоевропейские племена в гораздо более раннее время. Дорийская миграция по этому пути с дунайских равнин в Эгеиду берет начало в неолите (25, с. 98—99). Можем ли мы приписывать такую же достоверность и второму, восточному потоку славян на Юг? Внешне казалось, что — да, и прежде всего — по причине этих значительных структурных различий между сербохорватским, с одной стороны, и всей восточной частью южнославянского, болгаро-македонской группой — с другой. Так возникла остроумная теория Н. Ван-Вейка, которая предполагала между обеими частями

южнославянского наличие целой промежуточной зоны с субстратным (романским) населением в Восточной Сербии и Западной Болгарии. Вопрос о первоначальном ареале балканского романства стал, возможно, определяющим и для последующей науки. Однако обычно акцентируемые при этом структурные различия между сербохорватским и болгаро-македонским носят все-таки вторичный характер. И промежуточная зона Ван-Вейка не помешала славянам засслить Болгарию как раз со стороны Македонии. Ибо это был магистральный путь. Не так давно польский романист В. Маньчак, известный своими неортодоксальными взглядами, предпринял попытку объяснить так называемое "румынское чудо", другими словами, выявить причины, почему именно там сохранил свое господствующее положение романский элемент. Его ответ гласит: двух славянских потоков в балканские страны не было, был только один миграционный поток — на Западе, и это спасло романский элемент на Нижнем Дунае. Болгарские славяне пришли в Румынию с юга и не раньше VIII—IX вв. (46, с. 21 и сл.). Совершенно независимо от Маньчака к такому же выводу пришел на своем собственном топонимическом материале другой специалист — покойный болгарский лингвист Й. Заимов. По его мнению, топонимия не подтверждает этот так называемый "пролом на заселването" (прорыв заселения) через Нижний Дунай. Наоборот — все известные факты говорят в пользу того, что славяне вначале дошли со Среднего Дуная до Македонии и лишь оттуда часть из них направилась на восток — северо-восток, в будущие болгарские земли (47). Со своей стороны, замечу, что изложенные взгляды перспективны не только для концепции славянского южного фланга и его динамики, но для среднедунайского раннеславянского ареала — больше, чем для какого-либо другого.

Большая работа предстоит и в собственно славянской этимологии, географии и истории слов. Мы унаследовали в этой области немало стереотипов, давно нуждающихся в свежем взгляде. Внешне вполне традиционно выглядит такой пример, как рум. zăpádă 'снег', несомненно славянское заимствование, конкретный славянский источник которого, однако, до сих пор не установлен (48, с. 229). Это привело к тому, что здесь предположили имитацию "дакского" названия снега славянскими языковыми средствами, но на почве румынского языка (17, с. 76). Но слово zăpádă — это не румынская инновация или специализация, как это иногда пытаются осмыслить (49, с. 69). Форма с таким значением в самом деле отсутствует в южнославянских и как будто в остальных славянских языках (повсюду в наличии *zapadъ 'заход солнца, запад'), и все же мы в состоянии напасть на след давно искомого слова в северновеликорусских говорах: *запáд тропы* 'засыпание тропы снегом', в Архангельской губернии (28, 10, с. 295). Стоит обратить внимание и на место ударения: *запáд,* при рум. *zăpádă*, в отличие от исконно начального ударения *зáпад* (сторона света). Выходит, что рум. *zăpádă* и стоящее за ним славянское слово — вовсе не калька (имитация) "дакского" или алб. *dë-borë* снег': *bie* 'падать', а как раз наоборот. Точно так же, вероятно, рум. *nisip* 'песок' было заимствовано не из слав. *пасуръ/ь* с самым

общим значением 'насыпь, дамба' (так см. 17, с. 199), а скорее — из совершенно конкретного славянского названия песка, ср. и в этом случае северновеликорусское *нáсыпь* ж.р. 'куча прибрежного песку' (28, 20, с. 212). Не может быть объяснено из южнославянского специфическое слово *oxabă* наследуемая усадьба, свободная от податей', лежащее в основе местных названий *Ohaba, Ohabiţa* в Западной Румынии (17, с. 121). Любопытно при этом общее наблюдение, что корень **xab-* представлен главным образом в севернославянских языках (50, с. 153—154). Но наиболее точное соответствие, включающее и общность префикса, и социальную близость значения, представлено как будто в др.-русск. *охабити* оставить, покинуть' (Словарь русского языка XI—XVII вв. 14, с. 80, с цитатой из Переяславской летописи, где повествуется о князе, который оставил без надзора свою землю). В свою очередь обнаруживает севернославянские (а не южнославянские) связи такое фондовое слово, как *lapă* 'рука', попавшее — и на этот раз в Западной Румынии — в румынский из одного местного славянского туземного диалекта с явными старыми севернославянскими чертами, но позднее, так сказать, "южнославянизированного" и известного в славистике как современный карашевский сербский диалект. В связи с этим говорят (Попович, Райхенкрон) о дакославянском — как о забытом особом славянском языке в юго-западной Румынии (Банат), который носил предположительно севернославянский и вместе с тем туземный характер (17, с. 45, 121, 137, 285, 301, с предшествующей литературой). Повод для этого дают как будто ряд лексических изоглосс вроде перечисленных выше и, кроме того, приводимые также в литературе морфологические особенности.

Собственно славянские черты, архаизмы и изоглоссы, на которых мы намеренно сосредоточились в предыдущих примерах, курьезным образом оказались материалом, выявляемым из румынского, но такова уж балканославянская специфика, причем важность петрифицирующего фактора иносистемного языка особенно возрастает. Поэтому еще последний пример такого рода. Рум. *mînjí* 'мазать', по мнению Скока, заимствованное из слав. *mazati* с инфигированным *n* перед *z*, можно было бы объяснить и иначе — как своеобразную контаминацию двух ступеней чередования **maĝ-* и **amĝ-*, причем имеет место что-то вроде продолжения незасвидетельствованного слав. диал. **mǫz-* в ряду других известных славянизмов румынского с незасвидетельствованными славянскими прототипами (ЭССЯ, вып. 18, s.v. **mazati*). Едва ли более вероятно другое объяснение *mînjí* (а *mânjí*) — как чисто дакского слова (45, с. 142).

Наши привычные представления о южнославянском и его словарном составе постепенно меняются. Еще недавно слово **sosna* считали лексемой, неизвестной в южнославянских языках. Лишь детальные исследования Е. Русеком старшей болгарской письменности и македонской топонимии (в том числе ороним *Сосна*) — в работах Т. Стаматоского (51, с. 223—255) показали нам, что все обстоит иначе. К лесному делу принадлежит и слово **zabělъ*, о котором думали, что, кроме ст.-серб. *забѣль* 'дерево, помеченное снятием коры', сербохорв. *zabio*, диал. *zabel*, ср.-болг. *забѣль* и довольно обильного

наличия в Македонии, в том числе в старших письменных памятниках, оно больше нигде не известно (17, с. 26, 378; 27, с. 254; 51, с.222). Теперь мы можем назвать в этом ряду еще др.-русск. *забѣль* ж.р. 'недостаток древесины, вызванный обдиранием коры' (Словарь русского языка XI—XVII вв., 5, с. 133).

Дальнейшие случаи представлены словами, которые раньше считались исключительно южнославянскими, даже балканскими, что теперь требует коррективов. Довольно интересно в этом отношении **gaziti, *gazъ:* сербохорв. *gaziti* 'ступать', *gaz* 'брод', словен. *gaziti* 'ступать, наступать', *gaz* 'дорога (в снегу)', болг. *гáзя* 'идти (по грязи)'. Ввиду такой его южнославянской исключительности предпринимались даже попытки определить это слово как потенциальное заимствование из фракийского (19, I, с. 224; 17, с. 17). Но вышеназванное ограничение отпало, как только было обращено внимание в этой связи на блр. диал. *газ* 'брод' (ЭССЯ, вып. 6, с. 113). Судьба славянского слова **kopylъ* запутана почти так же, как и этимологическая литература о нем. Я имею в виду болг. *копúл, кóпиле* 'внебрачный ребенок', а также *кóпеле* 'побег, отросток, стебель', макед. *копиле* 'внебрачный ребенок', сербохорв. *kȍpīl* 'внебрачный сын', но также *kȍpīle* 'подпорка кофейной мельницы', слвц. *kopyľ* 'внебрачный ребенок', далее, н.-луж. *kopeю* 'мотыга для навоза', польск. *kopył* 'копыто', др.-русск. *копыль* 'стояк у санных полозьев', русск. *копы́л* 'стояк, подпорка', укр. *кȍпúл* 'стояк у саней', 'внебрачный ребенок', блр. *капы́л* 'сапожная колодка'. Существует и сейчас разделяемая многими версия, которая рассматривает южнославянское *kopil* 'незаконнорожденное дитя' изолированно от прочих приводимых выше значений и толкует его как заимствование из алб. *kopíl* 'внебрачный ребенок', рум. *copíl* 'дитя'. Мы не станем здесь вдаваться в особую албанско-индоевропейскую этимологию Йокля, Хубшмида и др. Достаточно указать на то, что значение 'внебрачный, незаконнорожденный' типологически вторично и притом непротиворечиво объясняется из крестьянской психологии как '(лишний) побег, который отсекают'. Это наилучшим образом объясняет и все прочие приведенные выше значения, возводимые при этом к слав. **kop-, *kopati,* также 'рубить, обрубать' и т.п. и мотивирующие необходимость реконструкции слав. **kopylъ* (ЭССЯ, вып. 11, с. 30 и сл.). Так, в итоге оказывается одним "дакским" словом меньше. Албанский и румынский заимствовали это слово у соседей-славян, не наоборот.

Иван Попович в своей фундаментальной "Истории сербохорватского языка" приводит в качестве примера словенско-чакавско-южнодалматинско-черногорских лексических соответствий образование *ptič* и т.д. с общим значением 'птица' при литературном штокавском *ptić*, ст.-слав. пътишть 'птенец' (17, с. 322). Сравнительная славянская грамматика дает характеристику суф. *-itjo-* как форманта уменьшительных имен и обозначений малых существ, детенышей, особенно в церковнославянском (уже упомянутое пътишть и т.д.) (52, IV, с. 332, 333). Тем загадочнее тогда для нас два места из древнерусского Слова о полку Игореве: Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божия не минути 'ни хитрому, ни речистому, ни речистой птице суда божьего не избежать'; Уже бо бѣды его пасетъ птиць по дубию

его беду подстерегает уже птица на дубах'. Этот **птичь гораздъ* (с северновеликорусским *ц* вместо *ч*) совершенно очевидно не является деминутивом (*гораздъ* — 'речистый, умный', то есть взрослый!), во всем остальном будучи совершенно тождественным южнославянским образованиям на *-itjo-*.

Наше обозрение славянского "южного фланга" в плане выявления ряда южнославянских и других славянских особенностей как ономастического, так и апеллативного характера, а также их словообразования и семантики (включая сюда и чисто балканскоиндоевропейские аспекты) подходит к концу. Мы преследовали также цель обратить внимание на такие случаи, которые пока не нашли доступа в более систематичные и гораздо более полные изложения. И еще один тезис я приберег к концу, собственно даже — повторение моего прежнего тезиса, который у меня созрел лет двадцать назад, при изучении лексических итогов Фасмера в его книге о славянах в Греции (6, с. 63 и сл.). Великий младограмматик Фасмер откровенно не знал, что делать со всеми этими неюжнославянскими славизмами в топонимии Греции: Κονίσπολις (ср. польск. *Koniecpol* и — ничего похожего в южнославянском), несколько случаев Ὄζερος (в южнославянском только *jezero,* в отличии от вост.-слав. *озеро*), топоним Ζγκάρι в Фессалии, больше соответствующий укр. *Згар(ь),* чем чисто южнославянскому *Izgar,* рядом со Ζγκάρι — топоним Τολπίτσα, родственный русск. *толпа* 'множество людей', но лишенный болгарских и сербохорватских соответствий, Μπαλαμούτι — с исключительно севернославянскими соответствиями, при полном отсутствии южнославянских, Πολοβίτσα, совершенно неизвестное южнославянскому словарному составу. Есть основания полагать, что. во-первых, от этой серии случаев просто отмахнуться уже нельзя, во-вторых, есть вероятие, что число подобных случаев еще умножится (исследование Фасмера далеко не исчерпало славянский пласт греческой топонимии, как показывает хотя бы работа Ф. Малингудиса). В 1974 г. я сформулировал упомянутый свой тезис в том смысле, что селившиеся в Греции ранние славяне характеризовались немалой этнической и языковой пестротой, и это напомнило мне русское освоение Сибири, в котором, кроме признанной северновеликорусской (новгородской) колонизации, принимали участие также целые южновеликорусские зоны (напр. семейские, то есть жители с берегов Сейма), а также смешанные говоры (ну, и, разумеется, еще украинцы!). Относительное сплочение в таких ситуациях приходит вторично. Но дело не только в том, что по этому вопросу я думаю сейчас то же, что думал двадцать лет назад. Значение симптомов исходной диалектной пестроты славянского "южного фланга" видится гораздо бо́льшим, ибо оно приоткрывает перед нами диалектную сложность изначального славянского ареала на Среднем Дунае.

1. *Popowska-Taborska H.* Językowe wykładniki opozycji swoi — obcy w procesie tworzenia etnicznej tożsamości // Językowy obraz świata. Lublin, 1990. S. 61 и сл.

2. См., вслед за Лайстом (*Leist B.W.* //Alt-arisches ius gentium. Hrsg. von W. Meid. Innsbruck, 1978), *Леман В.П.* Новое в индоевропенстических исследованиях // ВЯ. 1991. № 5. С. 24.

3. *Katičić R.* Die Ethnogenesen in der Avaria // Typen der Ethnogenose mit

besonderer Berücksichtigung der Bayern. Teil. 1. Veröffentlichungen der Kommission für Frühmittelalter forschung. Bd. 12. Wien, 1990. S. 126.

4.Подробнее см. упомянутый "Свод...". С. 357 и сл., особенно 359—360.

5. См. далее: *Трубачев О.Н.* Этногенез и культура древнейших славян. С. 127, 230 (сноска).

6. *Трубачев О.Н.* Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян // ВЯ. 1974. № 6. С. 48 и сл.

7. *Нидерле Л.* Славянские древности. М., 1956 (русский перевод книги, к сожалению, изобилуют ошибкамн).

8. Historija naroda Jugoslavije. I. Zagreb, MCMLIII.

9. *Наследова Р.А.* Македонские славяне конца IX — начала X в. // Византнйский временник. Т. XI. М., 1956.

10. *Славева Л.* Дипломатичко-правните споменици за историјата на Полог и соседните краеви во XIV век // Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија. Т. III. Уредник Вл. Мошин. Скопје, 1980.

11. *Schelesniker H.* Slavisch und Indogermanisch. Der Weg des Slavischen zur sprachlichen Eigenständigkeit. Innsbruck, 1991 (= Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Vorträge und Kleinere Schriften 48).

12. *Popowska-Taborska H.* Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka. Wrocław, etc. 1991.

13. *Polák V.* Considérations étymologiques sur l'alb. *Shqiptar* 'Albanais' // Slavia. Ročn. 59. 1990. Seš. 4. S. 347 и сл.

14. *Tomaschek W.* Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung. Unveränderter Nachdruck. Wien, 1980.

15. *Vasmer M.* Die Slaven in Griechenland[2]. Leipzig, 1970.

16. *Трубачев О.Н.* В поисках единства III // Русская речь. 1991. № 4.

17. *Popović I.* Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960.

18. Свод древнейшнх письменных известий о славянах. Т. I (I—VI вв.). Отв. ред. Л.А. Гиндин, Г.Г. Литаврин. М., 1991.

19. Български етимологичен речник. София, 1971—.

20. Этимология. 1980. М., 1982.

21. *Schramm G.* Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. Stuttgart, 1981.

22. *Ramovš F.* Über die Stellung des Slovenischen im Kreise der slavischen Sprachen // Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. B.T. XXVII. Helsinki, 1932. S. 69. Перепечатано в: Die slawischen Sprachen, Bd. 27 (Salzburg), 1991.

23. *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971—.

24. Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike. München, 1979.

25. *Katičić R.* Ancient languages of the Balkans. Part I. The Hague; Paris, 1976.

26. *Григорян Э.А.* Словарь местных географических терминов болгарского и македонского языков. Ереван. 1975.

27. *Селищев А.М.* Славянское население в Албании. Nachdruck besorgt von R. Olesch. Köln; Wien, 1978.

28. Словарь русских народных говоров. Л.

29. *Войтенко А.Ф.* Лексический атлас Московской области. М., 1991, карт. № 117 (пункт 254).

30. *Vanagas A.* Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.

31. *Mazon A.* Documents, contes et chansons slaves de l'Albanie du Sud. Paris, 1936.

32. *Popowska-Taborska H.* Problem południowosłowiańskiej peryferii językowej w dociekaniach nad etnogenezą Słowian // Etnogeneza i topogeneza Słowian. Warszawa; Poznań, 1980.

33. *Walde A., Hofmann J.B.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch[4]. Heidelberg, 1965.

34. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Bern; München, 1959.

35. *Младенов С.* Етимологнчески и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.

36. *Friedrich P.* Proto-Indo-European trees. The arboreal system of a prehistoric people. Chicago and London, 1970.

37. *Фасмер М.* Этимологнческий словарь русского языка[2]. М., 1986—1987.

38. *Hehn V.* Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe. New ed. by J. Mallory. Amsterdam, 1976.

39. Большая советская энциклопедия[3]. Т. 25. М., 1976.
40. *Moszyński K.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław; Kraków, 1957.
41. *Дуриданов И.* Езикът на траките. София, 1976.
42. *Duridanov I.* Die Hydronymie des Va·darsystems als Geschichtsquelle. Köln; Wien, 1975.
43. *Kiss L.* Földrajzi nevek etimológiai szótára[4]. I k. Budapest, C. 422.
44. *Detschew D.* Die thrakischen Sprachreste[2]. Wien, 1976.
45. *Reichenkron G.* Das Dakische (rekonstruiert aus dem Rumänischen). Heidelberg, 1966.
46. *Mańczak W* Pourquoi la Dacie, au contraire des autres provinces danubiennes, n'a-t-elle pas été slavisée? // Vox Romanica 47, 1988.
47. *Заимов Й.* Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. София, 1967. С. 100 и сл.; *Он же.* Български географски имена с *-jь*. София, 1973. С. 63, 186; *Он же.* Българските водни имена като извор за етногенезиса на българския народ // Hydronimia słowiańska. Wrocław etc., 1989. С. 118.
48. *Miklosich F.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Neudruck. Amsterdam, 1970.
49. *Buck C.D.* A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages[3]. Chicago; London, 1971.
50. *Popowka-Taborska H* Schaby czyli o ciągach zmian znaczeniowych // Problemy opisu gramatycznego języków słowiańskich. 1991 (отд. оттиск).
51. *Стаматоски Т.* Македонска ономастика. Скопје, 1990.
52. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. IV. La formation des noms. Paris, 1974.

*Ж.Ж. Варбот*

# ИСТОРИЯ СЛАВЯНСКОГО ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО ГНЕЗДА В ПРАСЛАВЯНСКОМ СЛОВАРЕ

Общепризнано, что преимущества словарной формы сообщения и получения информации (простота структуры словаря, компактность изложения) способствовали возникновению и развитию характерной для современной лингвистики тенденции к словарному оформлению сведений относительно различных уровней языка, а не только лексического. В собственно лексических словарях увеличивается количество характеризуемых параметров слова, в том числе и за счет тех, которые традиционно включались в сферу грамматики[1]. При всей прагматичности словарной формы следует, кажется, обратить внимание на один ее недостаток, который проистекает из самой специфики пословной подачи информации — определенную случайность расположения информации, зависящую от алфавитного по преимуществу порядка статей, и связанные с нею расчленность информации, отсутствие последовательно конструируемой картины системных связей между словами, достижимой в грамматиках, лексикологических и семантических описаниях. Соответственно, облегчая получение информации о конкретном слове и его положении в системе (или системах), словарь затрудняет знакомство с самой системой. Как средство преодоления этого недостатка словарной формы в различных типах словарей используются различного рода сопроводительные

служебные очерки, таблицы и т.п. — аппарат, к которому отсылают пометы в словарных статьях, но наличие которого создает в сущности двухчастную структуру словаря—грамматики. Актуальной задачей современной лексикографии представляется поиск для каждого типа словаря (определяемого предметом и целью описания) наиболее экономных и достаточных способов отражения системной организации материала.

Этимологический словарь в объясняющей части статей содержит информацию о происхождении лексики того или иного языка (или группы языков), что предполагает наличие у его составителей данных о генетических связях слов этого языка, о генетической организации лексики. Ее основой являются этимологические гнезда ("этимологические" в широком смысле слова, то есть включающие все генетически связанные слова, независимо от степени прозрачности этих связей на современном уровне; здесь и далее речь идет лишь об исконной лексике). Соответственно этой специфике проблема отражения системной организации материала конкретизируется в проблеме преодоления противоречия между постатейной структурой словаря и системным характером этимологического содержания. Представляется, что именно это объективное противоречие обусловило характерное для истории этимологической лексикографии славянских и индоевропейских языков методическое колебание между гнездовой и полексемной структурной объясняемой части. Это колебание, периодическое воспроизведение обоих структурных принципов в словарях отдельных языков не может объясняться ни целевой ориентацией на специалиста (— гнездовая структура) / неспециалиста, любителя (— полексемная структура)[2], ни даже только бóльшей трудоемкостью полексемной структуры или недооценкой этимологической самоценности, единичности каждого слова (при гнездовой структуре)[3]. Суть методических расхождений заключается скорее в структурно-обусловленной необходимости выбора между акцентом на этимологической характеристике одного слова и акцентом на реконструкции генезиса целой этимологической системы — гнезда. Следование этимологических словарей славянских языков, созданных в послевоенные годы и создаваемых сейчас, различным структурным принципам (преимущественно полексемный — в словарях Фасмера, Славского, Полянского, белорусском под ред. Мартынова, преимущественно гнездовой — в словарях Махека, болгарском под ред. Георгиева, украинском под ред. Мельничука) и явное стремление к их сочетанию свидетельствует против однозначной оценки одного из структурых принципов как худшего и устаревшего (обычно о гнездовом, хотя иногда — и о полексемном), а другого — как лучшего и более современного (обычно о полексемном)[4]. Каждый из этих двух структурных принципов имеет свои преимущества в решении одной из двух задач этимологического словаря: информирование о генезисе слова и информирование о генезисе лексической системы — гнезда, и выбор одного из двух принципов (с выработкой методики оптимальной нейтрализации сопутствующих трудностей в решении

неприоритетной задачи) определяется спецификой языка—предмета исследования и состоянием изучения.

Все сказанное выше относится к праславянскому этимологическому словарю. Этот тип словаря как словарь, словник (= совокупность объясняемых) которого представляет собою реконструкцию праславянского фонда, а объясняющая часть статьи содержит информацию о происхождении слова, сложился во второй половине нашего века и реализуется в двух продолжающихся изданиях: Słownik prasłowiański. Pod red. F. Sławskiego. T. I—VI. Wrocław etc., 1974—1991 (далее — SP) и Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Под ред. О.Н. Трубачева. Вып. 1—19. М., 1974—1992 (далее — ЭССЯ). Принципиально новой в лексикографии является решаемая словарями этого типа задача реконструкции праславянского лексического фонда в форме, максимально приближенной к реально функционирующему словарному составу, то есть как совокупность слов, различных по словообразовательным характеристикам (равно непроизводных и производных), существование которых предполагается для конца праславянского периода (что и позволило рассматривать начало работы над словарями ЭССЯ и SP как возникновение праславянской лексикографии[5]). Этот фонд выступает в словаре уже как словник, подлежащий этимологизации, но и сам словник не есть данное, а является результатом сравнительного и этимологического анализа лексики отдельных славянских языков, осуществляемого (имплицитно и эксплицитно) в объясняющей части словаря. Реконструкция праславянского лексического фонда, отраженная в словнике, составляет первостепенную по важности задачу праславянского словаря[6]. Поэтому нельзя не согласиться с позицией О.Н. Трубачева (лежащей в основе методики составления ЭССЯ), заключающейся в признании полексемной структуры словника (слово = статья) наиболее соответствующей задачам, решаемым праславянским словарем[7]. Этой спецификой определяется и равноценность для словника праславянского словаря как этимологически "темных", так и "прозрачных", мотивированных производных[8]. Но из этого следует также, что для праславянского словаря актуальна проблема достижения оптимального отражения — при полексемно-алфавитной структуре объясняемой части словаря — информации о системе этимологических связей славянской лексики, то есть об истории этимологических гнезд.

Строго говоря, при всем интересе этимолога к реконструкции отдельного праславянского слова и его индивидуальной этимологии, его удовлетворение возможно лишь при изучении всех доступных исследователю связей слова, как системных, так и случайных (с точки зрения истории данного слова), охватываемых понятием морфо-семантического поля (термин П. Гиро), что осуществляется методом рассмотрения слова в составе различных лексических групп, выделенных по различным принципам. Решением этимологической задачи относительно конкретного слова признается определение последнего (с точки зрения образования этого слова) словообразовательного и / или семантического "шага" от производящей основы к производному, но

реконструируемая связь включает слово, через производящую основу, как отдельное звено в цепь генетических связей, образующих определенное этимологическое гнездо (большего или меньшего объема, различной разветвленности, с различной по структуре — корневой или потенциально более сложной — исходной основой). Выход при этимологизации слова на этимологическое гнездо дает, как правило, новые критерии проверки реальности реконструированного "шага" путем соотнесения его со структурой и семантикой представленных в гнезде связей[9]. Соответственно вхождение слова в определенное гнездо представляет первостепенный интерес и для читателя (независимо от степени его научной подготовленности). Поэтому, хотя никак нельзя согласиться (особенно в отношении праславянского словаря) с мнением Малькеля о научной бесполезности полексемного описания в этимологическом словаре (см. прим. 4), следует признать и факт некоторой информационной потери при фиксации для каждой лексемы в статье полексемно организованного словаря лишь непосредственно создавшего эту лексему "шага". Разумеется, в каждой словарной статье, посвященной одному слову, невозможно воспроизведение описания всего этимологического гнезда, но очевидна необходимость учета всех гнездовых связей слова и оптимального распределения их рассмотрения в структуре словаря: его словнике и объясняющей части, относящихся к лексике одного гнезда.

Образующие этимологическое гнездо словообразовательные связи при полексемной структуре словаря должны рассматриваться с позиций одного слова. Эти связи различны по степени их обязательности. Для каждого слова есть в определенном гнезде производящая основа. Все остальные связи факультативны, для одного слова они могут существовать, для другого — отсутствовать. В данной работе все они принимаются во внимание как потенциальные. В диахронически-словообразовательном плане слово в гнезде непосредственно связано с более древним производящим и более поздними собственными производными, а опосредованно — и с предшественниками производящей основы и производными последующих звеньев. Отношения соотносительности или преобразования (= диахронические) связывают слово с его вариантами. Слово соотносится также со структурно параллельными (имеющими ту же производящую основу) образованиями и с гомогенными омонимами. Семантическая близость может связывать слово с самыми различными (с точки зрения диахронических и словообразовательных отношений с анализируемым) членами гнезда. Место репрезентации многих из этих отношений в словаре праславянского языка определяется временнóй ориентацией словника. Реконструкция праславянского словарного фонда ориентирована в SP на "период, непосредственно предшествующий древнейшим историческим данным, следовательно — приблизительно VII—VIII вв. н.э."[10], по формулировке ЭССЯ — "временные рамки реконструкции праславянского лексического фонда — это в известном приближении эпоха конца существования праславянского языка"[11]. Следовательно, целью обоих праславянских словарей является синхронный словник праславянского языка конца праславянского периода. Но если даже

для словаря современного языка синхронность весьма условна, то тем более следует признать неизбежность известной диахронической глубины для реконструированного словника праславянского языка. Подробный анализ этого аспекта был предложен мною ранее[12]. Тогда же были охарактеризованы некоторые практические следствия этой диахронической глубины для состава словника. Возвращаясь к ним, я рассмотрю теперь эти следствия с точки зрения полноты информации об этимологическом гнезде.

Начнем с производящей основы. Разумеется, она указывается для каждого слова, входящего в словник, в корпусе словарной статьи. Производящие основы слов, реконструируемых для праславянского фонда, диахронически и структурно различны. Те из них, которые реконструируются как лексемы для конца праславянского периода, входят также и в словник праславянского словаря, поэтому в тексте статьи о производном слове целесообразна ссылка на статью, посвященную слову производящему (такова практика ЭССЯ и, хотя менее последовательно, SP). Нередко в качестве производящей основы праславянской лексемы может быть указана лишь индоевропейская основа (или корень), имеющая продолжения в родственных индоевропейских языках, но не получившая ни самостоятельности как лексема, ни заметной словообразовательной активности в праславянском языке. В этом случае в статьях даются отсылки к этимологическим индоевропейским словарям и исследованиям. Принципиально отличен иной тип образования: для праславянской лексемы предполагается производность от основы, структурно соответствующей праславянскому и иногда имеющей также другие праславянские производные, но не подтверждаемой как самостоятельная лексема непосредственными продолжениями в славянских языках. Подобная основа может быть рефлексом раннепраславянского слова, утраченного в конце праславянского периода. Поскольку время утраты неопределенно, а для реконструированного словника следует допустить известную диахроническую глубину, представляется правомерным включение таких основ (с условной, но аргументированной реконструкцией в форме лексем) в словники праславянских словарей: например, **čiti* — в SP. Такое же включение было бы достаточно обоснованным и в отношении **dǫbravъ* (SP), **boditi, *ękti, *lopystь, *mati* (ЭССЯ), реконструированных как производящие основы для **dǫbrava, *bodidlo, *ęča/*ęčaja, *lopystьka, *manǫti,* но не перешедших в словники. Часто на базе производных невозможна реконструкция производящей основы как целостной лексемы и приходится ограничиваться формой основы или даже корня: см. толкование праслав. **kǫdъkъ* 'кусок' и **kǫsati* как производных от **kǫd-* в ЭССЯ. Подобные основы не встречаются в праславянских словниках опубликованных томов ЭССЯ и SP, поскольку они ориентированы на реконструкцию цельнооформленных лексем. Представляется, однако, что затруднительность реконструкции целостной лексемы не изменяет принципиально диахронически-словообразовательного статуса таких основ как возможных осколков лексем, функционировавших в более ранний период праславянского языка, и они также могли бы включаться

в праславянский словник. Наиболее мотивировано это для производных по структуре основ, служащих необходимым звеном между двумя праславянскими лексемами и не имеющих точных индоевропейских соответствий. Так, например, праслав. *motriti 'смотреть' однозначно толкуется как отыменный глагол, производный от именной основы на -r-. Эту основу все исследователи считают не сохранившейся в славянских языках ни в свободной, несвязанной форме, ни в иных производных, кроме *motriti, и в большинстве случаев отождествляют ее генетически с лит. *matrùs, išmatrùs* 'осторожный, осмотрительный'. Далее наиболее убедительно усматриваются связи с гнездом слав. *mesti, *motati, лит. *matýti* 'смотреть', лтш. *mast* 'ощущать'. Значение 'смотреть' выводится из первичного значения гнезда *met-/*mot- 'бросать' через ступень 'бросать взгляд, окидывать взглядом'. Однако, как заметил О.Н. Трубачев, при ближайшем сопоставлении словообразовательных цепочек слав. *motati 'бросать' — основа на -r- — *motriti 'смотреть' и лит. *mãtas* 'мера' — *matýti* 'смотреть' — *matrùs* 'осторожный, осмотрительный' сходство гипотетической славянской и литовской основ на -r- оказывается чисто типологическим, их генетическое отождествление невозможно[13]. С другой стороны, как еще одно производное от праславянской именной основы на -r- может быть рассмотрено русск. диал. ср.-урал. *мо́тровой* 'вязаный'[14]. Прилагательное с суф. -ov- должно быть производным от имени существительного с основой *motr-, образованного, в свою очередь, от *motati или *motъ при помощи суф. -r-. Для истории русского языка образование такого существительного невозможно, а на праславянском уровне оно сопоставимо с *bag(ъ)rъ, *čexrъ, *kostra. Следовательно, можно предполагать как праславянский диалектизм именную основу *motr-, словообразовательно связывающую *motati, *motъ с *motriti. Семантика этой основы реконструируется как *'нечто намотанное, обметанное'. Невозможность ее отождествления с лит. *matrùs* и ее место в цепи *motati, *motъ — *motr- — *motriti достаточно надежно определяют статус основы *motr- как собственно праславянского образования, а наличие лишь русского производного может быть истолковано как свидетельство сохранения соответствующей лексемы вплоть до самого конца праславянского периода. Как репрезентант этой лексемы основа *motr- сопоставима с рассмотренными выше *dǫbravъ, *boditi и т.п., и соответственно возможно ее включение в праславянский словник. Расширение словника праславянского словаря за счет подобных структур—реконструкций второй степени означает разработку его как словника словаря исторического типа и приближает реконструкцию к реальному состоянию языка; одновременно увеличивается и этимологическая информативность словника. Тем более оправдано и этимологически существенно включение в словник праславянского словаря лексем, реконструированных по поздним (не праславянским) производным, которые не вводятся в словник: таковы *bělizъ, *beluzъ, *br̥lь (SP)[15], *kъrmixa (ЭССЯ). Каждая из этих реконструкций в словнике оказывается единственным связующим звеном между индоевропейским этимологическим гнездом и целой группой слов, известных в истории отдельных славянских

языков. Следует лишь формально отметить в словнике подобные реконструкции второй степени (например, двумя астерисками; при обозначении прочих реконструкций — одним).

Производные от праславянской лексемы, входящей в словник, упоминаются в составе статьи, ей посвященной, как правило, в тех случаях, когда эти производные подтверждают предполагаемые структурные особенности анализируемой лексемы (например, основу на *-у-*, редкий суффикс) или семантику или расширяют лингво-географические границы слова, причем это касается как производных, относящихся к праславянскому состоянию, так и производных, рассматриваемых как образования собственно отдельных славянских языков. Такова практика и ЭССЯ, и SP[16]. Особенно существенно оптимальное использование этих последних лексем, которые не входят как потенциально поздние в словник праславянского словаря. Например, для упоминавшегося выше глагола **motriti* и его префиксального производного **sъmotriti* обычно указываются непосредственные продолжения лишь из южно- и восточнославянских языков. Представляется, что круг рефлексов **sъmotriti* может быть расширен путем привлечения производного, известного чешскому и словацкому языкам: здесь есть глагол *šmátrati* (чеш.) 'щупать, брести ощупью'[17], *šmátrat'* (словац.) 'шарить, искать (обычно в потемках); щупать'[18]. Он толкуется обычно как родственный с чеш. *chmatati, hmatati, matati* и восходящий в конечном счете к гнезду и.-е.**mā-* 'махать; манить, обманывать'[19], но картина связей всех этих глаголов достаточно сложна, особенно семантически (ср. *hmatati* 'щупать' и *matati* 'обманывать, пугать'), и вряд ли сводима к одному корню. С чешско-словацкой группой *šmátrati, šmátrat'* может быть сближено не только словен. *mátrati* 'слегка задевать; стремиться'[20], но и чеш. клад. *šmátrat se* 'брести'[21], словац. *šmotrat' sa* 'медленно идти, тащиться; медленно что-либо делать, копаться'[22], которые возводятся к гнезду *motati*[23]. О связи *šmátrat(i)* с *motati* свидетельствует, возможно, и удививший Махека корневой вокализм в ступени *e* в чеш. диал. *šmétrat* 'касаться при движении' *(nešmétré s tém po zemi)*[24]. В таком случае чеш.-словац. *šmátrat(i)* может быть генетически итеративом с корневым удлинением к праслав. **sъmotriti*, а сопоставление их значений позволяет уточнить путь развития значения 'смотреть' из 'мотать': не исключено, что промежуточной ступенью было не образное 'бросать взгляд' (как обычно предполагается), а 'шарить (= метать) руками, искать' → 'искать (= метать) глазами'. Существует в фольклоре и связь между поисками и мотком пряжи (ср. выше об основе **motr-*), который указывает путь герою сказки.

Еще несколько примеров: русск. забайкал. *пропáр* 'дважды вспаханное поле'[25] можно толковать как подтверждение первичной семантики праслав. **parъ* 'паровое поле' — *'вспаханное'[26]; польск. *zaznoba* 'маленький колышек на конце дышла'[27] — свидетельство первичного значения 'колоть' для глагола **znobiti*; кашуб. *vĩstepka* 'остров'[28], возможно, обнаруживает следы древнейшей семантики 'возвышение' для слав. **stьpь* на западнославянской территории[29].

Нельзя пренебрегать производными, которые подтверждают нали-

чие в определенном языке исходной для анализируемого слова семантики, хотя она не сохранилась у прямых продолжений самого этого слова. Так, для словац. *prostý* фиксируются значения 'простой, обычный' *(p. l'ud, p-á žena),* 'лишенный чего-либо'[30], а исходная семантика праслав. **prostъ(jь)* 'прямой, ровный' (ср. чеш. *prostý nos*) подтверждается для словацкого прилагательного только производным глаголом *naprostit'* 'выровнять, выпрямить' (...krivú knošku *naprostíme*)[31]. Поэтому целесообразно упоминание глагола словац. *naprostit'* в статье **prostъ(jь),* даже если **naprostiti* будет представлено самостоятельной статьей.

Проблема места вариантов лексем в праславянском словаре имеет несколько аспектов. Во-первых, что считать вариантами? Вопрос касается нескольких типов структурного различия семантически тождественных лексем, которые могут рассматриваться как вариантность: это фонетические различия в корнях и аффиксах, парадигматические различия имен существительных, различные основообразующие элементы в глаголах (не связанных отношениями производности), слова с тождественными суффиксами, но различными (хотя и родственными) производящими основами, слова с тождественными производящими основами, но с вариантными суффиксами. Во-вторых, встает вопрос о генетическо-хронологическом соотношении потенциальных вариантов лексем, а именно — о наличии отношений параллелизма в образовании вариантов (хотя бы и с некоторыми диахроническими различиями в пределах праславянского) или отношений преобразования. При вероятности параллельного образования выбор способа подачи таких лексем как вариантов в одной позиции словника или в разных может быть достаточно свободен и различаться для разных типов вариантности, но желательно последовательное соблюдение принятого для каждого типа структурного принципа. В SP преобладает объединение вариантов в одной словарной позиции, типа **boboniti: *baboniti, *brękadlo: *bręcadlo, *ežica: *ežika, *edla: *edlь, *dvęčiti: *dvękati: *dvękovati, *butati: *butiti, *dǫbьje: *dǫbovьje, *ežica: *eževica, *dьždživъ: *dьždžьlivъ,* причем варианты, следующие за первым в заглавии статьи, включаются также и как самостоятельные позиции в словник, хотя и без разработки, а только с отсылкой к общей для всех вариантов статье. Ср., однако, подобные по отношениям варианты, представленные только в разных позициях: **dǫbьnica* и **dǫbьnika, *ěza* 2 и **ězъ* 2, **ežina* и **eževina.* В ЭССЯ преобладает разделение потенциальных вариантов (за исключением фонетических вариантов и парадигматических вариантов имен существительных) по различным позициям в словнике, но ср. случаи их объединения типа **kъrtati / *kъrtěti / *kъrtiti, *lolotati / *lolotěti / *lolotiti,* без упоминания непервых в подобных рядах вариантов в самостоятельных позициях словника. Представляется, что интересам полноты праславянского словника более соответствует включение в словник каждого варианта в качестве самостоятельной позиции, хотя бы без разработки, но с отсылкой к статье, где все варианты рассматриваются подробно. Групповой анализ вариантов имеет, помимо обычных преимуществ групповой этимологизации, также особое значение при

ограниченности фиксаций каждого из вариантов, когда праславянская древность может быть признана скорее не за каждым вариантом, а за вариантной группой, за лексемой в вариантной форме, как в случае **lolotati / *lolotěti / *lolotiti.* С точки зрения информации об этимологическом гнезде в целом, полезны и взаимные отсылки в статьях о вариантных формах, если каждая из них разрабатывается самостоятельно. Так же существенны и взаимные отсылки в статьях о структурно параллельных образованиях: семантически различных родственных глагольных основах; именах, образованных от одной и той же прозводящей основы с помощью разных суффиксов, независимо от семантических отношений лексем, или именах, производных от родственных основ с помощью одного и того же суффикса, но различающихся семантически, типа **lotajь, *lototь* и **lotarь* (все три имени — названия калужницы, в ЭССЯ), **ědmo* и **ědro* (в SP и ЭССЯ), **mokošь* и **mokrošь* (в ЭССЯ). Сопоставления такого рода подтверждают словообразовательное членение каждого имени, отождествление производящей основы и суффикса, активность основы и определяют актуальные связи в этимологическом гнезде. Менее удачным представляется, учитывая ориентацию праславянского словаря на слово, помещение параллельных однокоренных синонимичных образований в одной позиции словника, с общей разработкой в соответствующей статье (правда, при введении не-первых образований из заголовка этой статьи в словник в качестве самостоятельных отсылочных позиций), типа **bojьnь: *bojevь* (SP).

При наличии между вариантами лексемы отношений преобразования способ их размещения в словаре должен соответствовать принципу исторического тождества слова, так что представляется логичным объединение таких вариантов в одной статье. Если преобразование предполагается для праславянского периода, при заглавном слове — исходной форме следует помещать как вариант преобразованную форму, см. такое расположение **domyslъ: *domyslь* (последнее — преобразование по аналогии с **myslь*), **bagatь: *bagatьje, *dolǫgъ: *dolǫžьnь* (расширения, в SP), **lopotati / *lopьtati, *krъvopija / *krъvopijьca / *krъvopijьcь* (в ЭССЯ), но ср. и случаи включения преобразованных вариантов в словник в качестве самостоятельных позиций: **badyl'ь* (независимо от**bodyl'ь* в SP и ЭССЯ, хотя вероятно преобразование вокализма в **bodyl'ь* под влиянием **badati*), **kysalь(jь)* и **kysělь(jь)* независимо. от **kys(ь)lь(jь)* в ЭССЯ, хотя возможна вторичная тематизация формы **kys(ь)lь(jь).* Варианты, возникшие в результате преобразования праславянских лексем в истории отдельных славянских языков, могут быть приведены лишь в объясняющей части статей, по типу: **ěstel'ь* в словнике, а русск.-ц.-слав. *ѣститель, ꙗститель* — в корпусе статьи **ěstel'ь* как вторичное (в SP). Разумеется, четкая хронологическая приуроченность преобразования не всегда достижима. Следует считаться с распространенностью определенных типов преобразований во многих славянских языках, создающей иллюзию праславянского преобразования: это относится, например, к парадигматическим преобразованиям основ на согласные типа **mata* 'мать' (болг., словен. и русск., в ЭССЯ в качестве

самостоятельной позиции) и к преобразованию различных глагольных основ в инфинитивные *-i-* основы типа **dьlbiti* (возможно, из **dьlbti* или **dolbiti* под влиянием **dьlbati,* в SP и ЭССЯ в качестве самостоятельной позиции).

Связь проблемы омонимов и их лексикографической трактовки с этимологией общепризнана. Неоднократно рассматривалась омонимия и с позиций праславянской лексикологии и лексикографии, причем освещался преимущественно аспект дифференциации гетерогенных и гомогенных омонимов[32], но также отмечалась и лексикографическая проблема соотношения многозначности слова и гомогенной омонимии[33]. Решение этой последней проблемы, лежащее в чисто семантическом плане, затруднительно даже для современного языка[34] и вряд ли достижимо для реконструируемого праславянского. Поэтому для решения вопроса многозначности / омонимии в праславянском словаре существенно использовать диагностирующие возможности словообразовательного критерия, который при анализе современного языка отходит на второй план[35]. Отмечалось уже, что за гомогенностью лексем как тождеством корня и форманта может скрываться различие в конкретных путях образования в пределах одного и того же гнезда — образование от разных производящих основ или одной и той же основы, но в разных значениях. В этих случаях различие значений производных образований оказывается диахронически более глубоким, нежели разобщение многозначности, и может с бóльшими основаниями рассматриваться как омонимия. Например, **motyl'ь/*metyl'ь* как обозначение сора, гноя, навоза и **motyl'ь/*metyl'ь* как название бабочки вряд ли связаны переходом значений. Русск. *помет* 'навоз' свидетельствует о наибольшей вероятности образования названия сора от **mesti / *motati* в значении 'бросать, выбрасывать' (с первичной мотивацией для существительного — 'отбросы'), тогда как значение 'бабочка' связано отношениями производности с другим аспектом семантики глагола — 'метаться, двигаться неупорядоченно, разнонаправленно'. Вероятность подобного словообразовательного параллелизма гомогенных омонимов делает обоснованным их разделение по самостоятельным позициям в словнике, ср. разделение как двух омонимов **kosa* 'заплетенные волосы' и **kosa* 'орудие для срезания травы' (в ЭССЯ), связанных с разными значениями глагола **česati:* 'расчесывать волосы' и 'драть, скрести'; разные статьи **ědovitь* 'прожорливый; съедобный' и **ědovitь* 'содержащий яд' (в SP). Поэтому представляется весьма проблематичным объединение в одной праславянской лексеме **ědьkъ(jь)* значений 'съедобный', 'резкий острый' и 'гневный' (см. SP и ЭССЯ): ср. замечание Вайяна о связи 'едкий, резкий' с *ěsti* в значении 'разъедать, разрушать', а 'гневный' (с.-хорв. *jédak*) — с с.-хорв. *jéditi* 'сердиться, гневаться'[36] (см. в ЭССЯ и SP **ěditi* — производное от **ědь* 'яд'). Аналогично, если для **krątьnъ(jь)* 'вьющийся' возможно и образование от **krątiti,* и преобразование из **krątь(jь),* то для **krątьnъ(jь)* 'жестокий, сильный, крепкий' более вероятно преобразование из **krątь(jь),* где эта семантика преобладает. Во всяком случае, в праславянском словаре проблема

омонимии любого типа может решаться только на фоне всего этимологического гнезда.

Один из важнейших типов семантических отношений лексем в этимологическом гнезде — отношения синонимии. Семантическая мотивация слов в гнезде обладает свойством воспроизведения на разных хронологических уровнях и в разных словообразовательных моделях. Однокоренные синонимы свидетельствуют о сохранении известного семантического ядра гнезда, а поэтому их указание в статье праславянского словаря дает не только дополнительную аргументацию этимологического решения, но и характеристику семантических приоритетов данного гнезда. Например, вероятность происхождения праслав, **xytrъ(jь)* в значении 'быстрый' из гнезда глагола **xytiti* подтверждается более поздими однокоренными укр. *хватки́й* 'поспешный, скорый'[37] и польск. *w dochwytky, w dochwatki* 'наспех'[38]; принадлежность праслав. **virъ* к гнезду **vьrěti* — праславянским **jьzvorъ* и польск. диал. *zwarka* 'речной омут'[39]; родство праслав. **pьstrъ(jь)* с **pьsati* — словенским *písan* 'пестрый'[40]. Особенно показателен параллелизм в воспроизведении нескольких значений в сходных однокоренных словообразовательных структурах, типа **torъ* 'пробитая, проложенная дорога' — **tarъ* то же (кашуб.-словин. *tar* 'торная дорога'[41]) и **obtora* 'мякина' — **obtara* то же (польск. диал. *otara* 'пустые обмолоченные колосья'[42]) в гнезде **terti.*

Полексемная структура статей в праславянском словаре, сосредоточение внимания на непосредственных словообразовательных связях слова, не говоря уже об отражении других его связей, влекут за собою необходимость отсылок к другим статьям словаря, где, в свою очередь, могут быть отсылки, отражающие иные отношения. В результате даже восстановление словообразовательной цепочки, связывающей производное праславянское слово с древнейшей непроизводной лексемой этого гнезда, нередко требует утомительной переборки многих статей. Представляется, что с чисто практической точки зрения, без ущерба для решения задачи объяснения конкретного способа образования слова, анализируемого в статье, было бы полезно указание в каждой статье на этимологическое гнездо, к которому принадлежит это слово.

Специфика словника праславянского словаря как результата этимологизации и реконструкции определяет гипотетичность многих его позиций и в отношении формы, и с точки зрения хронологической характеристики — принадлежности к праславянскому состоянию, что нередко отмечается так или иначе составителями словарей. Тем более естественны поэтому расхождения в словниках различных праславянских словарей. История славянской этимологии, как и всякой научной дисциплины, — это история выдвижения и последующей критики (с признанием или отрицанием) тех или иных этимологических решений, вплоть до обнаружения мнимости некоторых реконструкций. Поскольку праславянский словарь как тип словаря выдвигает на первый план реконструкцию лексического фонда, репрезентируемого в форме словника, большой интерес для праславянской лексикологии представляет учет и критика в каждом праславянском словаре

праславянских реконструкций из различных этимологических исследований и тем более из словника другого словаря (последнее широко представлено в SP, для которого является в этом отношении преимуществом отставание по алфавиту реконструкций его выходящих в свет томов от выпусков ЭССЯ). См., например, в ЭССЯ дискуссии о правомерности реконструкций **brusna, *marěna* II (название растений), в SP — **ěsna* и **ěsn'a* I (реконструкции Эккерта), **ęmьсь* и **ękti* (из ЭССЯ). Весьма существен подобный анализ и с точки зрения пополнения этимологических гнезд и хронологической характеристики входящих в них образований.

Реальность и многообразие внутригнездовых связей лексем, их существенность для суждения о происхождении каждой лексемы и ее месте в этимологическом гнезде, а также методическая сложность отражения этих связей в полексемных статьях праславянского словаря определяют практическую и теоретическую необходимость гнездового этимологического анализа славянской лексики как одного из этапов работы над праславянским словарем.

[1] См., например: *Apresyan Yuriy D.* The dictionary in an integrated linguistic description // Budalex' 88 Proceedings. Papers from the EURALEX Third International Congress Budapest, 4-9 September 1988. Akadémiai Kiadó. Budapest [1990]; *Апресян Ю.Д.* Типы лексикографической информации об означающем лексемы // Типология и грамматика. М., 1990. С. 96—107.

[2] См. такое толкование соотношения словарей типа *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (21. unveränderte Auflage, Berlin; New York 1975) и *Duden K.* Etymologie der neuhochdeutschen Sprache, mit einem ausführlichen etymologischen Wörterverzeichnis (Münster, 1893) в: *Mayrhofer Manfred.* Zur Gestaltung des etymologischen Wörterbuches einer "Grosscorpus-Sprache" (=Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, 368. Band. Veröffentlichungen der Komission für Linguistik und Kommunikationsforschung, Heft 11). Wien, 1980. S. 16 (Далее — *Mayrhofer.* Zur Gestaltung).

[3] См. критические замечания о гнездовой структуре: *Sławski F.* Wstęp // SP I. S. 9 (о затерянности производных в гнездах словаря Бернекера); *Трубачев О.Н.* Этимологический словарь славянских языков и Праславянский словарь (опыт параллельного чтения) // Этимология. 1976. М., 1978. С. 16—17 (Далее — *Трубачев.* ЭССЯ и ПС) и *Mayrhofer.* Zur Gestaltung. S. 14—15, 24.

[4] См. мнение о полексемном принципе структуры как более совершенном и современном: *Untermann J.* Etymologie und Wortgeschichte. Institut für Sprachwissenschaft [der] Universität Köln, Arbeitspapier Nr. 25 (Yuni 1975). S. 15 (цит. по: *Mayrhofer.* Zur Gestaltung) и *Mayrhofer.* Zur Gestaltung. S. 13—15, 22. Ср. убеждение в преимуществах гнездового принципа как более научного (полексемный принцип характеризуется как "научно бесполезный"): *Malkiel Y.* Etymological dictionaries. A tentative typology. Chicago; London, 1976. P. 4, 47 (Далее — *Malkiel.* Typology).

[5] *Трубачев О.Н.* ЭССЯ и ПС. С. 14—15. В цитируемой работе преимущественное внимание обращено на различия между SP и ЭССЯ в методике подбора материала, словниках, структуре статей и этимологизации. В предлагаемом докладе акцентируется общее в решаемых задачах и трудностях, связанных с рассматриваемым аспектом — отображением истории славянского этимологического гнезда, и материал обоих словарей используется для обобщения опыта и определения методики решения этой проблемы.

[6] Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Проспект. Пробные статьи / Сост. О.Н. Трубачевым. М., 1963, С. 13. (Далее — ЭССЯ. Проспект).

[7] *Трубачев.* ЭССЯ и ПС. С. 14—15.

[8] Там же. Ср. мнение Малькеля о меньшей ценности для словаря происхождения

слов структурно прозрачных лексем с легко выводимыми значениями, чем лексем с более запутанным строением: *Malkiel.* Typology. P. 63, что может быть признано справедливым в отношении этимологического словаря живого языка.

[9] Это определяет необходимость гнездовой этимологической разработки до включения отдельных лексем в словарь.

[10] SP I. S. 6.

[11] ЭССЯ. Проспект. С. 13.

[12] *Варбот Жанна Ж.* Словник праславянского словаря в диахроническом аспекте // Budalex' 88 Proceedings... С. 518—520.

[13] *Трубачев О.Н.* Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966. С. 107.

[14] Словарь русских говоров Среднего Урала. Свердловск, 1971. Т. II. С. 143.

[15] См. об этой проблеме специально в предисловии к SP I. S. 7.

[16] См. о включении производных в качестве сравнительного материала в словарную статью в предисловии к SP I. S. 8.

[17] *Kott F. Št.* Česko-německý slovník. Pr., 1880. D. II. S. 914.

[18] Slovník slovenského jazyka / Ved. red. Št. Peciar. Bratislava, 1964. IV. D. Š. 432 (Далее — SSJ).

[19] *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Druhé vydání. Pr., 1968. S. 617 (Далее — *Machek*[2]); ЭССЯ 17, С.235—236.

[20] Slovar slovenskogo jezika. Ljubljana, 1975. Kn. II. S. 711.

[21] *Machek*[2]. S. 617.

[22] SSJ IV. S. 433.

[23] Machek[2]. S. 617.

[24] *Svěrák F.* Brněnská mluva. Brno, 1971. S. 122. Ср. *Machek*[2].S. 617.

[25] *Элиасов Л.Е.* Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980. С. 337.

[26] *Варбот Ж.Ж.* К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. VII // Этимология. 1977. М., 1979. С. 28.

[27] *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego. Warszawa, 1927. T. VIII. S. 365 (Далее — Warsz.).

[28] *Sychta B.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław etc. 1973. T. VI. S. 83.

[29] См. реконструкцию развития семантики *степь*: Меркулова В.А. Заметки по истории и этимологии слов // Этимология 1968. М., 1971. С. 90—91.

[30] SSJ III. S. 634.

[31] SSJ II. S. 272.

[32] См. *Трубачев О.Н.* Лексикография и этимология // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973. С. 295—297 (Далее — *Трубачев.* Лексикография); *Аникин А.Е.* Опыт семантического анализа праславянской омонимии на индоевропейском фоне. Новосибирск, 1988. С. 10.

[33] *Трубачев.* Лексикография. С. 296.

[34] *Zgusta L. in cooperation with V. Černý, Z. Heřmanová-Novotná, D. Heroldová* [et al.]. Manual of lexicography. Prague, 1971. P. 87—88; *Шмелев Д.Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973. С. 81—98 (Далее — *Шмелев.* Проблемы).

[35] *Шмелев.* Проблемы. С. 81—83.

[36] *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. Paris, 1974. T. IV. P. 460.

[37] *Гринченко Б.Д.* Словарь украинского языка. Киев, 1909. Т. IV. С. 391.

[38] Warsz. I. S. 279.

[39] Warsz. VIII. S. 636.

[40] *Kotnik J.* Slovensko-ruski slovar. Ljubljana, 1972. 2. izdaja. S. 340.

[41] *Гильфердинг А.* Остатки славян на южном берегу Балтийского моря. СПб, 1862. С. 184.

[42] Warsz. III. S. 899.

*Л.В. Куркина*

# ПАННОНОСЛАВЯНСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ОБЩНОСТЬ В СИСТЕМЕ ДИАЛЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Концепция праславянского языка включает в себя разработку, по меньшей мере, трех основных проблем: 1. прародина славян, 2. место праславянского в кругу индоевропейских языков, 3. диалектная структура праславянского языка, генетические истоки славянских языковых групп и составляющих их диалектов. При комплексном подходе к решению этих проблем в совокупности данных, предоставляемых разными областями науки (история, археология, антропология и т.д.), ведущая роль отводится показаниям языка. С расширением фактической базы и совершенствованием методики исследования видоизменяется общая концепция праславянского языка, в которой учитываются динамизм праславянского ареала, ранняя диалектная дифференциация, возможность взаимодействия этносов и т.п.[1] Праславянский язык прошел длинный путь, под влиянием разных факторов внешнего и внутреннего порядка неоднократно перестраивалась структура диалектных отношений. На диалектное членение праславянского определенное воздействие оказывало соотношение центра и периферии языковых процессов[2]. В разные периоды на славянской территории складывались свои центры языковых инноваций и периферийные зоны, в меньшей степени затронутые языковыми изменениями. В ходе развития менялось соотношение центра и периферии: центр языковых инноваций перемещался на периферию, и в результате периферия становилась новым центром и соответственно старый центр — периферией. Следовательно, изоглоссы, объединяющие архаичные явления, сохранившиеся в отдаленных областях, не всегда могут служить аргументом в пользу близости диалектов в прошлом, в эпоху иных лингвоэтнических отношений. Все эти обстоятельства ограничивают возможности реконструкции. Если не полностью, то в какой-то степени помогает преодолеть трудности, объективно заложенные в материале, системный подход к показаниям лингвистической географии. Показателями пространственно-временных отношений праславянского можно считать отдельные изоглоссы и совокупности изоглосс, отражающие существенные, древние явления в фонетике, морфологии, лексике, коррелирующие между собой в рамках системных отношений, постулируемых для праславянского языка. Общая концепция праславянского опирается на показания изоглосс, и вместе с тем интерпретация показаний лингвистической географии находится в некоторой зависимости от формирующихся на их основе представлений о пространственно-временных отношениях праславянского. Изоглоссы имеют разную временную глубину, при отсутствии надежных критериев, позволяющих провести хронологическую стратификацию материала, лишь общая этнолингвистическая направленность может служить показателем

исторической связи, генетической близости тех или иных диалектных зон.

Едва ли доступными нам средствами мы в состоянии во всей полноте восстановить развитие в пространстве и времени диалектной структуры праславянского языка. В наибольшей степени поддаются учету поздние диалектные черты, близкие по времени к эпохе окончательного расселения славян. Славянские экспансии из древней прародины, которую мы, вслед за другими исследователями[3], помещаем к северу от Карпат в пространстве между верховьями Вислы и Средним Поднепровьем, распространялись в разных направлениях: на северо-запад, юг, юго-запад, северо-восток. С середины V в. начинается заселение славянами земель, расположенных к северу от Дуная. Массовая колонизация южных территорий, вызванная демографическим взрывом и как следствие этого — поисками свободных земель, необходимых для обработки и создания новых поселений, особенно активно протекала в VI—VII вв. По историческим свидетельствам (Иордан), славяне в эту эпоху делились на антов и склавенов и занимали территорию среднедунайской низменности и земли между устьем Дуная, Днестром и верховьем Вислы. В эпоху миграций, когда праславяне, выделившись из более раннего территориально-диалектного образования, поселились на новых землях, происходят лингвоэтнические процессы, во многом определившие диалектное членение позднепраславянского языка.

Очень важный этап в развитии лингвоэтнических отношений праславянского связан с пребыванием славян в Среднем Подунавье, в древней Паннонии. Эта область, важная в статегическом отношении, выполняла роль перевалочного пункта, через который проходили разные народы (гунны, остготы, лангобарды), здесь стягивались в один узел транспортные артерии, ведущие на юг, Италию, Грецию, Средиземноморье. В пользу раннего проникновения славян в эту область говорят упоминаемые в исторических источниках глоссы *strava* и *medos*, для которых наиболее правдоподобной остается славянская аттрибуция[4]. Славяне оставили заметный след в ономастике Среднего Дуная. Обнаруженный на территории Венгрии значительный слой топонимов славянского происхождения свидетельствует о существовании в этой области густого славянского населения. С этой территорией совпадает распространение самой ранней археологической культуры — пражско-корчаковской, связанной со славянами. На этот период падает перелом в развитии этнического самосознания славян[5]. В борьбе с Восточно-Римской империей консолидировался славянский этнос. В VII в. имя антов исчезло, а имя склавенов распространилось на весь славянский мир. Отзвуки устных преданий об этой эпохе находят отражение в повествовании Нестора о расселении славян.

В работах последних лет основные фонетические процессы, определившие облик славянских языков, приближены во времени или совпадают с эпохой славянских миграций[6]. Накануне расселения славян складывается языковая ситуация, которая характеризуется тем, что центр инновационных процессов, как полагает Т. Милевский[7], переме-

щается в Паннонию и соседние с ней земли к югу от Карпат. Отсюда исходили важнейшие фонетические преобразования: метатеза плавных, переход носовых в губные, победа узкой артикуляции *ě* (> *e* или *ė, í*), переход *y* > *i*, утрата интонаций, диспалатализация позиционно мягких согласных, переход *g* > *h*. По отношению к центру различаются три периферии: ближайшая — словенско-чакавская и южнорусская, средняя — северновеликорусская и польская и дальняя с наибольшим числом архаизмов — болгаро-македонская и полабско-поморская (ср. в частности, многочисленные отступления от метатезы плавных)[8].

В результате изменений, глубоко затронувших фонетическую систему, территориально варьирующие изменения перерастают в устойчивые диалектные признаки. Некоторые данные говорят о том, что в древней Паннонии намечается формирование диалектных различий, в историческое время связываемых с противопоставлением западных и южных славян. Славянские топонимы Венгрии несут в себе признаки разных языков. Как полагает Я. Станислав, на венгерской территории преобладают названия словацкого типа[9]. Другие исследователи находят значительный слой топонимов с болгарскими и хорватско-кайкавскими чертами[10]. В историческом документе "Баварский Географ" (IX в.), близком по времени к эпохе расселения славян, сообщается, что славяне Паннонии составляли один союз племен и назывались Sclavi, in partes Sclavorum, другие славяне, населявшие Каринтию, назывались Quarantani. Основываясь на этих и других данных, Я. Станислав высказал предположение, что на большей части Паннонии жили западные славяне, а у истоков Муры и Дравы — славяне южные, но местами южные славяне островами вклинивались между западными племенами, которые, судя по всему, численно преобладали[11]. Это предложение косвенно подтверждается выводами О. Кронштейнера об исключительно зап.-слав. типе личных имен у альпийских или, точнее, каринтийских славян[12].

Диалектные отношения, сложившиеся в Паннонии, сохраняют историческую преемственность. Известно, что по многим показателям обнаруживают близость диалекты чешско-словацкой группы и северо-западные диалекты южного ареала, объединяющие словацкий язык, хорватско-кайкавский, чакавский, щчакавский, западноштокавский диалекты. Особенно тесные связи у северо-западной группы с одним из словацких диалектов, который в настоящее время занимает центральное положение, а в средневековье охватывал большую часть современной южной Словакии[13]. И. Попович видел причину особой близости названных диалектов во взаимопроникновении этносов, когда под давлением суперстрата южнославянскими становятся словенские диалекты, изначально к ним не принадлежавшие, и, наоборот, какая-то часть южных славян, а точнее среднесловацкие диалекты, втягиваются в сферу западнославянского влияния[14]. Как полагают некоторые исследователи, близость части диалектов западных и южных славян могла стать следствием сосуществования диалектов на смежной территории. В северо-западной части словенского языка и словацких говорах в таком случае видят переходную

зону от чешских земель через современную Австрию до Словении[15].

Историческая преемственность, устойчивость генетических связей названных диалектов, расположенных в непосредственной близости от древнего ареала, — это те факторы, которые создают благоприятные предпосылки для восстановления некоторых фрагментов лингвоэтнических отношений на плоскости праславянского применительно к эпохе, непосредственно предшествующей окончательному расселению славян. Последовательный анализ изоглоссных связей отдельных диалектов, имеющих признаки устойчивых древних образований, позволяет углубить перспективу лингвоэтнических отношений и вместе с тем дает возможность более точно определить место интересующих нас диалектных структур в системе пространственно-временных отношений праславянского. К оценке языковой ситуации, сложившейся в Паннонии и в более широком плане — в праславянском языковом пространстве, можно подойти с позиции названных западных или южных диалектов. Мы отдаем предпочтение южной группе. Северо-западная группа генетически тождественных диалектов сохраняет непрерывность в развитии и имеет статус вполне самостоятельного диалектного образования в южном ареале. В плане внутриславянских отношений для этой группы существенны следующие изоглоссные характеристики: 1. общие изоглоссы с диалектами чешско-словацкой группы: ср. *tl, dl,* наличие *ŕ* слогового, тв.п. ед.ч. основ на *ā* в форме *ǫ*, стяженные формы прилагательного и т.п.; 2. противопоставленность восточным, болгаро-македонским диалектам: ср. рефлексы редуцированных, окончание род.-вин. п. м. и ср.р. местоимений и прилагательных, окончание 1 л. мн.ч. наст. вр. и т.д.[16]; 3. связи с лужицкими языками: ср. тв.п. ед.ч. *-om,* окончание 1 л. мн.ч. *-mo,* глагольный суффикс *-nǫ* в форме *-ni, -ny* и т.д.[17]; 4. некоторые изоглоссы, связывающие словенско-сербскую зону с одним из вост.-слав. диалектов — ильменско-словенским и не включающие при этом диалекты Юго-Западной Руси; ср. наличие двух типов [ô] и [ɔ], окончание *-oga* в род.п. ед.ч., мест. *tebě, sebě* с огласовкой *e* и т.д.[18]

При исследовании проблем славянского лингвогенеза существует настоятельная необходимость в привлечении данных лексического уровня. Благодаря исследованиям по программе "Общеславянского лингвистического атласа", а также работам по реконструкции и этимологизации праславянского лексического фонда (ЭССЯ, Sł. prasł.) накоплен большой опыт лингвогеографического изучения словарного состáва славянских языков. Выполнено немало исследований, ориентированных на выявление лексических связей словенского языка с диалектами западных и южных славян[19]. Однако нельзя не признать, что лексема как наиболее подвижная часть языка не имеет силы абсолютно надежного показателя лингвоэтнических отношений. В силу изменений, которые под влиянием разных факторов происходят в словарном составе языка, устанавливаемые на современной карте лексические ареалы далеко не всегда совпадают с границами древних диалектов. Приходится считаться и с тем, что лексикографические источники неравномерно отражают лексику отдельных славянских языков.

Но при всех трудностях, которые объективно существуют и порой даже порождают скептическое отношение к лексике[20], нельзя пройти мимо того факта, что показания изолекс не только расширяют материальную базу исследований, но и вносят определенные коррективы в традиционные построения, основанные на анализе ограниченного количества фонетических и морфологических изоглосс. При решении лингвоэтнических задач лексика требует дифференцированного подхода, применения методики, обеспечивающей более строгий отбор наиболее существенных изоглосс. Как нам представляется, изолексы приобретают доказательную силу при соблюдении некоторых условий: если анализу подлежит древнейшая часть словаря, если предпочтение отдается сепаратным связям и если показания лексики согласуются с показаниями других языковых уровней и укладываются в реконструируемую для праславянского систему пространственно-временных отношений. В нашем случае в силу особого положения северо-западной группы в ю.-слав. ареале важно еще учитывать различия в составе словаря западных и восточных диалектов южного ареала. Словарь различий может быть составлен с позиции той и другой диалектной группы. В лингвоэтническом плане в равной степени важны изоглоссные показания лексики, отличительно характеризующей как западные, так и восточные диалекты ю.-слав. языков. Мы ограничиваем свою задачу изучением лексики, составляющей своеобразие северо-западной диалектной группы в кругу ю.-слав. языков.

Вся предварительная работа по выявлению состава лексических диалектизмов остается за рамками настоящего исследования. По вполне понятным причинам едва ли достижима задача исчерпывающего выявления региональных элементов в общем составе словаря. Следует отметить, что выводы о географии слов с затемненной внутренней формой, а, следовательно, и сам состав лексических диалектизмов во многом зависят от словообразовательно-этимологического анализа. При широком охвате материала вполне понятны и естественны пропуски, отдельные упущения, но, как нам представляется, новые обнаруженные факты способны лишь дополнить картину, но не в состоянии существенно повлиять или изменить основные изоглоссные характеристики диалектизмов северо-западной группы ю.-слав. языков. По причине мозаичного расположения диалектов явления, сосредоточенные на северо-западной периферии южных славян, выходят за пределы этого ареала, частично, охватывают область штокавского диалекта, а нередко обнаруживают продолжения в отдельных диалектах болгаро-македонской группы. Западные и восточные диалекты южных славян имеют различия в составе лексических единиц, но в ряде случаев различие идет по другой линии: интересующий нас западный ареал оказывается областью интенсивного распространения целого ряда лексем, в восточном ареале соответствия для этих лексем прослеживаются лишь на очень ограниченной территории.

Со структурно-генетической точки зрения рассматриваемый фрагмент словаря включает образования разного времени: индоевропейское наследие, слова, структура которых не мотивирована системными

отношениями праславянского, слова, построенные по регулярным апофоническим и словообразовательным моделям праславянского и новообразования исторического времени. В составе диалектизмов преобладают суффиксально-префиксальные образования. Каждый из словообразовательных типов охватывает слова с разными ареальными связями, и соответственно выявленные пучки изоглосс предстают как свободное объединение разновременных и разнооформленных образований.

В пределах отведенного объема мы вынуждены ограничиться кратким изложением основных выводов, полученных в ходе словообразовательно-этимологического и лингвогеографического изучения лексических диалектизмов избранного нами ареала. Не имея возможности в полном объеме представить обследованный материал, мы позволили себе в предельно краткой форме, без аргументации, о которой можно справиться в соответствующей литературе, показать на отдельных примерах, как распределяются на славянской карте основные изоглоссные характеристики.

1. По совокупности изоглосс для диалектов северо-западной группы ю.-слав. языков может быть восстановлена на плоскости праславянского языка ступень отдельного, самостоятельного развития. Одним из показателей раннего вычленения исходного для них ядра-диалекта служат изолексы, не выходящие на славянской территории за пределы северо-западной области южных славян: словн.*baža* 'террасный виноградник' < **bъgia,*bъgati* (ЭССЯ 3, 146); словен. *glâja* 'стропило' < **goldja* ~ лтш. *gaĺda* 'доска, стол' (Bezlaj I, 144); словен. *mléden* 'худой', с.-хорв. *mlèdan* < **meldьnъ* : **moldъ*; словен. *pleme, plemen,* с.-хорв. диал. *plemen* ' нить, шнур' < **plet-men-*: **plesti;* словен. *sêl* 'зерно, семя', с.-хорв. *sionica* 'питомник'< **sěl-*: **sěti, *sějǫ* ~ лит. *pa-selỹs,* хет. *šeli-* 'куча зерна'; словен. *síl,* назв. растения с.-хорв. *sil̥* 'овес' < **silь*: **sěti, sějǫ* и т.д.

Лексические связи с диалектами лужицкой и поморской групп представляют след более ранней истории северо-западной группы. Выявлено немного изолекс (ср. словен. *krelje* 'ноги', с.-хорв. *krȅlja* 'жабры' ~ словин. *křel* 'позвоночник', 'плавник рыбы', словен. *mleìva* 'помол' ~ в.-луж. *mlětwa* и т.д.)[21], тем не менее даже в таком небольшом количественном выражении они не могут не свидетельствовать об ином распределении диалектных связей в раннепраславянскую эпоху.

Диалект, лежащий в основе северо-западной группы, развивался обособленно от "болгаро-македонских" диалектов. Предположение о том, что оба диалектных образования занимали разное место на карте праславянского языка, подтверждается двумя типами изоглосс: одни изоглоссы объединяют сев.-слав. языки только с северо-западными диалектами южных славян, другие — только с болгаро-македонскими диалектами. Это означает, что лексически и западные, и восточные диалекты южных славян оказываются противопоставленными всем другим языковым группам.

В исследуемом нами материале численно преобладают изоглоссы, которые проходят по всей территории северных славян, а в южном ареале захватывают лишь северо-западную область, в этих изоглоссах

не участвуют болгаро-македонские диалекты. Ср. словн. *jèz* 'плотва, язь' < **azъ* ~ лит. *ožỹs* 'козел' (ЭССЯ 1,103); словен. *bâr, bêr* 'вид проса' < **bьrъ* ~ лат. *far* 'вид зерна', др.-исл. *barr* 'ячмень, зерно' (ЭССЯ 3,134); словен. *bȓščь*, назв. растения < **bьršči* ~ др.-инд. *bhṛṣṭí-ḥ* 'острие', др.-в.-нем. *burst* (ЭССЯ 3, 131—132); словен *číl* 'бодрый, здоровый' < **čilъ, *čiti, čьjǫ* (ЭССЯ 4, 112); словен *čmêlj* 'шмель' < **čьmelь* ~ др.-в.-нем. *humbal,* нем. *Hummel* то же (ЭССЯ 4, 145); словен. *dȓstev* 'крупный песок' < **dьrstva : *dьrstati* (ЭССЯ 5, 226); словен *dȅrbati* 'щипать траву' < **dьrbati* ~ др.-инд. *dṛbháti* 'связывает, сплетает' (ЭССЯ 5, 74, 219); словен. *déža* 'кадушка' < **děža: *zьdati* ~ гот. *daigs,* нем *Teig* 'тесто', др.-инд. *deha-* 'тело' (ЭССЯ 5, 23—24); словен. *isteje* 'устье печи' < **ěst-ěja : *ěsti, *ědmi* (ЭССЯ 6, 53); словен *jelita* 'сорт колбасы', *olito* 'кишка' < **eli-to* ~ нем *Aal* 'угорь' (ЭССЯ 6,21—22); словен. *gánati* 'гадать' < **ganati* ~ слав. **gatati* (ЭССЯ 6,99); словен. *gât* 'плотина, запруда' ~ др.-инд. *gātú* 'проход, дорога' (ЭССЯ 6, 109); словен *grúditi* 'грызть, глодать' ~ слав. **gruda, *grustь* и лит. *grūdžu, grūsti* 'толочь, мять' (ЭССЯ 7, 155); словен. *hlód* 'чурбан, палка' < **xlǫdь: *xlędnǫti* ~ лит. *sklañda* 'жердь': *sklendžiù, sklę̃sti* 'скользить'; словен. *krésati* 'высекать огонь' (ЭССЯ 12, 96; Фасмер II, 373); словен. *komôl* 'безрогий' < **kom-olь*~лит. *kamuolỹs,* лтш. *kamuõls* 'клубок, моток' (ЭССЯ 10, 174); словен. *láloka* 'челюсть' < **la-loka: *lokati* (ЭССЯ 14, 23);словен. *lédvije* 'renes', чак. *ledva* < **lędva / *lędvo* ~ лат. *lumbus,* др.-в.-нем. *lentī,* нем. *Lende*; словен. *lukno* 'сбор в пользу церкви' < **lǫk-(ъ)no: *lǫkъ* (ЭССЯ 16, 149); словен. *stegna* 'дорога' < **stьg-na : *stigati* (Sł. prasł. 1, 116); словен. *skríl* 'шифер, каменная плитка' < **skri-dlo* ~ лит. *skrỹlis* 'лепешка, оладьи': *skriẽti*, *skrijú* 'быстро двигаться' (Sł.prasł. 1,114); словен *vȉš* 'камыш, осока' < **višь* ~ прус. *wissene* 'багульник', лит. *viksva* 'осока' < **vis-kva* (Фасмер. I, 325); словен *zȉbati* 'качать' < **zybati* с неясными и.-е. связями (Фасмер II, 109) и т.д.

Наблюдаемые различия в структуре и составе ю.-слав, диалектных комплексов обусловлены отношениями раннепраславянского времени. Ю.-слав. языковая группа сложилась на основе консолидации разнородных диалектов в ходе освоения Балкан и Восточных Альп двумя волнами славянских миграций, двигавшихся из Дакии и Паннонии. Изначальные лингвоэтнические отношения в западной и восточной части южного ареала перекрыты поздними наслоениями, связанными с перемещениями славян уже в историческое время[22]. В болгаро-македонской области по отражению *ě* выделяются две зоны, языковая и этнографическая граница между которыми проходит с северо-востока на юго-запад и с севера на юг[23]. По отражению редуцированных в болгарских диалектах предполагают, что заселение восточной территории южных славян осуществлялось несколькими колонизационными потоками, двигавшимися из задунайской зоны и Паннонии[24]. Как следует из сообщения Константина Багрянородного, какая-то часть сербов и хорватов пришла с севера. Историки по-разному определяют местонахождение Белой Сербии и Белой Хорватии. По одной из версий, сербы и хорваты пришли не с северо-востока, как традиционно принято считать, а с северо-

запада: для сербов исходный ареал связывается с Полабьем, для хорватов — с Малой Польшей[25]. В освоении северо-западной части южной территории основная роль принадлежит паннонским славянам. На новых освоенных славянами землях происходят интеграционные процессы, нивелировавшие древние диалектные различия.

2. Определенно выражены лексические связи северо-западных диалектов южных славян с диалектами чешско-словацкой группы: словен. *brozdáti* 'бродить по грязи' ~ чеш. *brozdati se* то же (: **broditi*) (ЭССЯ 3, 43); словен. *drága* 'рыболовная сеть' (< **dorga: *dьrgnǫti*) ~ чеш. *podražec* 'сеть для ловли перепелов', слвц. диал. *dražiak* 'рыболовная сеть' (Sł. prasł. 4, 116—117); словен. *drèk* 'корпус' (< **drěkъ*) ~ слвц. *driek* 'туловище', чеш. *dřík* то же (ЭССЯ 5, 108); словен. *dvôrec, dvõrek* 'рукоять сверлильного устройства' (< **dvor-: *dur-*) ~ слвц. диал. *dóren* 'устройство для растягивания обода' (ЭССЯ 5, 162; Bezlaj I, 124); словен. *degáti* 'бросать, метать; двигать туда-сюда', *degati se* 'драться' ~ слвц. диал. *degat'* 'колоть' (< **degati* или **dęgnǫti* — ЭССЯ 4, 228; Sł. prasł. 3, 95); словен. *grôt* 'воронка', 'жерло' ~ зап.-слвц.*hrotek* 'подойник', 'деревянная посуда', чеш. диал. *hrot* 'лохань' (ЭССЯ 7, 140—141); словен *kŕgati* 'капать, стекать' ~ чеш. *krhati* 'о слезящихся глазах' (ЭССЯ 13, 214); словен. *ôblok* 'окно' ~ ср.-слвц. *oblok* то же < **ob-(v)ьlokъ*; словен. *ótka* 'часть плуга' ~ чеш. *otka,* зап.-слвц. *votka, otka* то же, в.-луж. *wotka* 'часть сохи' < **ot(ъ)-tъka: *tъkati*; словен. *pretôsek* 'вид ножа', *pritósek* то же ~слвц. *prétos* 'бревно, порог' (**-tos-: *tesati*); словен. *perût* 'крыло ~чеш. морав. *perut'* 'листья на стебле овса', возможно ср.-слвц. *šperutki* 'устройство для стягивания полотна' (< **per-ǫt-: *pere-*'лететь') и т.д.

Данные изолексы в сочетании с другими изоглоссами, о которых речь шла выше, дают некоторые основания для восстановления на карте праславянского языка территориально-диалектного образования, в пределах которого сосуществовали и взаимодействовали близкородственные диалекты с определенно выраженными чертами западного и южного типа. Распад этого образования в эпоху миграций сопровождался интенсивными контактами, смешением этносов, глубоким взаимопроникновением языковых структур.

Эту древнюю диалектную структуру, сформировавшуюся в Паннонии, характеризуют тесные связи с балтийскими языками. Ср. словен. *čûlek* 'боров', с.-хорв. *čula,* название игры ~ лит. *kiaŭlė* 'свинья'; словен. *čúžiti* 'лущить' ~ лит. *čiaužti* 'скользить'; лтш. *čužas* 'сухие листья' (ЭССЯ 4, 138); словен. *drèk* 'корпус, туловище', слвц. *driek,* чеш. *dřík* то же (< **drěkъ*) ~ лит. *draĩkas* 'высокий (о дереве)' (ЭССЯ 5, 108); словен. *jèstva,* ст.-чеш. *jestva* (< **ěstva: *ěd-mi*) ~ лтш. *ēstuve* 'место для еды' (ЭССЯ 6, 54); словен. *snóga* 'личинка мухи', слвц. *snoha* 'ветвь, отходящая от ствола' (< **sъnoga: *noga*) ~лит. *snãgà* 'копыто'; словен. *vîtra* 'прутья', чеш. *vitra* то же (:**viti*) ~ лтш. *vĩtra*; словен. *sprostî* 'распорки в ткацком станке' (< **prǫd-tь : *prędti*) ~ лит. древ. *spranstas* 'рама для натягивания полотна'; словен. *žíma* 'конский волос', чеш. *žíně* то же ~ лит. *geĩnis* 'цепь', лтш. *dzeinis* 'нитки' и т.д.

Лексические связи с балтийскими языками прослеживаются и для

болгаро-македонских диалектов: ср. болг. *бърна* 'губа' ~ *burnà* 'рот', *дрѝска* ~ лит. *druskà*. В.М. Иллич-Свитыч[26] высказал предположение, что эти связи соответствуют переходному положению "болгаро-македонских" диалектов между балтами и остальными славянами. Судя по распределению изоглосс, и паннонославянские диалекты территориально размещались вдоль широко протянувшейся границы с балтийскими племенами.

3. В пестрой мозаике изоглосс проступает соотнесенность двух окраинных областей южного ареала. Частично изоглоссы, связывающие словенские и болгаро-македонские диалекты, захватывают и область чешско-словацких диалектов. Ср. словен. *mlámol* 'пропасть' ~ болг. топ. *Мламал* ( < **mol-molъ: *melti*); словен. *púkati* 'драть' ( < **pьl-kati: *pelti, pelvą*) ~ болг. родоп. *ńо̂л'вам* 'расправить концы на материи'; словен. *spròj* 'распорки в ткацком станке' ~ болг. родоп. *спро̂жда* 'пряжка' (< **sъprądja: *pręd-ti*); словен. *sódolica* 'небольшое углубление', чеш. *Soudol* ~ болг. топ. *Съдоля*; словен. *sôt* 'горная тропа' ~ ст.-болг. топ. *Сутьць* ( < **sątь* ~ др.-в.-нем. *sind* 'дорога')[27] и т.д.

Близость названных диалектных образований прослеживается и на акцентологическом уровне. Выявлены акцентологические особенности объединяющие сев.-зап. группу южных славян и восточно-болгарские, новозагорские родопские говоры [28].

В связях ю. -слав. окраин усматривают отражение языковой и этнографической противопоставленности на южной территории центра (Босния, Герцеговина, Сербия, Западная Болгария) и латеральной зоны[29]. Но распространение этих изоглосс на древнюю Паннонию раздвигает рамки языкового пространства и указывает на возможность сохранения архаичных явлений в периферийных зонах, по отношению к которым центр языковых инноваций располагался к северу от Дуная. Эти изоглоссы свидетельствуют и о том, что Паннония была одним из важнейших центров славянских миграций. Отсюда славяне двигались на юг, юго-запад и юго-восток и участвовали в освоении восточной области южного ареала.

В языковой ситуации, реконструируемой для паннонской эпохи, получает обоснование выдвинутое некоторыми исследователями новое понимание генетической природы так называемых моравизмов, представленных в памятниках старославянской письменности. В исследованиях последних лет сделано одно интересное наблюдение: многие так называемые моравизмы, для которых не прослеживаются соответствия в чешско-словацких диалектах, находят подтверждение в диалектах северо-западной группы (ср. **rěsknъ*)[30]. Следовательно, моравизм в диалектном отношении — более сложное понятие. В Великой Моравии старославянский язык, основанный на болгаро-македонских диалектах окрестностей Солуни, пришел в соприкосновение с моравским культурным диалектом[31], располагавшим развитой христианской, философской терминологией. Многие слова этого диалекта вошли в язык первых письменных памятников. Проецируемые на плоскость диалектных отношений VIII—IX вв. моравизмы, восходящие к западным и южным диалектам, предстают как элементы

культурного наддиалекта распавшейся паннонославянской языковой общности.

Таким образом, истоки многих сложных труднообъяснимых явлений в славянских языках лежат в древних диалектных структурах, в динамике пространственно-временных отношений праславянского, восстанавливаемых по совокупности изоглосс, проецируемых в разновременные плоскости.

Славянские диалекты, расположенные к северу и югу от Дуная, сохраняют исторически преемственную связь с древним диалектным образованием, определяемым нами как паннонославянское.


Bezlaj — *Bezlaj F.* Etimološki slovar slovenkega jezika. I—II. Ljubljana, 1976, 1982.

Sł. prasł — Słownik prasłowiański. T. 1—5—. Wrocław etc. 1974—1991—.

Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь славянских языков. Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. Т. I—IV. М., 1964—1973.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянких языков. Вып. 1—17—. М., 1974—1990—.


[1] *Трубачев О.Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991. С. 13—14.

[2] *Толстой Н.И.* О соотношении центрального и маргинального ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977; *Popowska-Taborska H.* Problematyka peryferii językowych w badaniach etnogenetycznych // Z polskich studiów slawistyczych. Seria VII. W-Wa, 1988 C. 593—600.

[3] *Топоров В.Н.* К реконструкции древнейшего состояния праславянского // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. М., 1988. С. 275.

[4] *Popović I.* Quel était le peuple pannonien qui parlait μέδος et *strava* // Зборник радова Византолошког института, књ.7. Београд, 1961.

[5] *Королюк В.Д.* Пастушество у славян в I тыс. н.э. и перемещение славян в Подунавье и на Балканы // Симпозиум по структуре балканского текста. М., 1976. С. 24

[6] *Stieber Z.* Problem najdawniejszych różnic między dialektami słowiańskimi // Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiánskiej. Wrocław etc. 1968, C. 88—98.

[7] *Milewski T.* Archaizmy peryferyczne obszaru prasłowiańskiego // Sprawozdania z posiedzeń komisji PAN, Oddzial w Krakowie. Styczeń-czerwiec 1965. Kraków, 1966.

[8] *Popowska-Taborska H.* Zleksykalizowane kaszubskie archaizmy fonetyczne // Idea. Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje. Zabytki. Słownictwo. Gdańsk, 1987. S 234—238.

[9] *Stanislav J.* Slovenský juh v stredoveku. Bratislava, 1948.

[10] *Kniezsza J.* Charakteristik der slawischen Ortsnamen in Ungàrn // Studia Slavica 1963. T. IX, f. 1—4.

[11] *Stanislav J.* Dejiny slovenského jazyka. I. Úvod a hláslosloviе. Bratislava, 1967. C. 214.

[12] *Kronsteiner O.* Die Alpenslawischen Personennamen. Wien, 1975; *Grafenaur B.* Iz slovenske antroponimije v Austriji // Onomastica Jugoslavica 6. Zagreb, 1976. S. 257—259.

[13] *Stanislav J.* Über die Stellung des Slowakischen innerhalb der slawischen Sprachen // ZfSl. Bd. I. H. 2, 1956.

[14] *Popović I.* Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960, Гл. I, § 13—14.

[15] *Иванић П.* Српски народ и његов језик. Београд, 1971. С. 15.

[16] *Popović I.* Geschichte. S. 31—32, 36—38, 303—311.

[17] *Schuster-Šewc H.* Zur Bedeutung des Sorbischen und Slowenischen für die slawische historisch-vergleichende Sprachforschung // Nahtigalov zbornik. Ljubljana, 1977.

[18] *Зализняк А.А.* Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. М., 1988.

[19] *Boryś W.* Problematyka prasłowiańskich dialektyzmów leksykalnych. Izoleksy południowosłowiańskie i zachodnio-południowo-słowiańskie // Etnogeneza i topogeneza Słowian. Warszawa; Poznań, 1980. C. 75—87;*Popowska-Taborska H.* Wczesne dzieje Słowian

w świetle ich języka. Wrocław etc., 1991. С. 98—99. Там же указана литература на эту тему.

[20] *Popowska-Taborska H.* Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka. Wrocław etc., Гл. VI.

[21] *Šchuster-Šewc H.* Op. cit.; *Popowska-Taborska H.* Szkice z kaszubszczyzny. С. 152—164; *Eichler E.* Westslawischsüdslawische Beziehungen im Lichte der Toponomastik // Onomastika Jugoslavica 6. Zagreb, 1976. S. 71—74.

[22] *Ivić P.* Balkan slavic migrations in the light of south slavic dialectology // Aspects of the Balkans. Contributions to the International Balkan Conference held at UCLA, October 23—28, 1969. The Hague. Paris, 1972. S. 66—86.

[23] *Младенов М.* Об одной древней лексической изоглоссе в болгарском языке (названия *ярма* в болгарских говорах // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971, С. 346—369.

[24] *Гълъбов И.* Еровите застъпници и българското диалектно членение // Изв. на Института за български език. Кн. XI, 1964.

[25] *Новаковић Р.* Одакле су Срби дошли на Балканско полуострво. Београд, 1978. С. 53—56.

[26] IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. М., С. 436—437; *Трубачев О.Н.* О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи) // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. М., 1963. С. 192—193.

[27] См. еще: *Куркина Л.В.* Некоторые вопросы формирования южных славян в связи с паннонской теорией Е. Копитара // ВЯ 1981, № 3, С. 92.

[28] Основы славянской акцентологии. Отв. ред. Р.В. Булатова. М., 1990. С. 134, 155.

[29] *Gavazzi M.* Zapadno-panonski slavenski pojas u davnini (Prolegomena) // Etnografia Polska III. Wrocław, 1980; *Толстой Н.Н.* Из географии славянских слов // Общеславянский лингвистический атлас. М., 1965; Карпатская диалектология и ономастика. М., 1972.

[30] *Reinhart J.* Methodisches zu den lexikalischen Bohemismen im Tschechisch-kirchenslavischen am Beispiel der Homilien Gregors des Großen // WSJb 26, 1980. С. 46—102.

[31] *Вечерка Р.* Великоморавские истоки церковнославянской письменности в Чешском княжестве // Magna Moravia. Sborník k 1100 výročí příchodu Byzantské mise na Moravu. Praha, 1965. С. 493—524.

*Е.А. Хелимский*

# РАННЯЯ СЛАВЯНСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ

Лексика славянского происхождения занимает исключительно важное положение среди основной христианской терминологии венгерского языка, заметно превосходят в количественном отношении собственно венгерские образования и другие слои заимствований. Она охватывает практически весь круг фундаментальных понятий христианства, религиозных установлений и терминов церковной жизни, ср. *keresztény* 'христианин', *szent* 'святой', *kereszt* 'крест, крещение', *keresztel* 'крестить', *koma* 'кум'; *pogány* 'язычник', *bálvány* 'кумир, идол', *eretnek* 'еретик', *csoda* 'чудо', *hála* 'хвала', *malaszt* 'благодать', *pokol* 'ад'; *pap* 'священник', *deák* 'диакон', *apát* 'настоятель', *barát* 'монах', *apáca* 'монахиня', *szesztra* 'послушница', *zarándok* 'странник, паломник'; *zsolozsma* 'служба, литургия', *mise* 'месса', *vecsernye* 'вечерня'; *oltár* 'алтарь', *szövétnek* 'светильник', *korozsma* 'миро', *tömjén* 'ладан, фимиам',

*karapol* 'кропить'; *szerda* 'среда', *csütörtök* 'четверг', *péntek* 'пятница', *szombat* 'суббота', *karácsony* 'рождество' и ряд других обозначений, а также славянизированные по форме христианские имена (*Demeter, Kozma, Miklós, Vászoly* и др.). С точки зрения фонетических соотношений со славянскими этимонами (включая и предполагаемые формы-посредники для слов неславянского в конечном счете происхождения), закономерностей адаптации и дальнейшего развития на венгерской почве данная лексика смыкается с обширным слоем ранних (конец IX—XII вв.) славянских заимствований венгерского языка, что согласуется и с достаточно давней фиксацией многих перечисленных слов в древневенгерских письменных памятниках. Происхождение абсолютного большинства ранних славянских заимствований можно связать с субстратным воздействием со стороны одного из позднепраславянских диалектов, первоначально распространенного в зоне наиболее активных контактов венгров со славянами, а затем, вероятно, проникшего и в другие регионы исторической Венгрии. Речь идет о языке паннонских славян, которые позднее были полностью ассимилированы венграми. Мощность субстратного пласта достаточно велика для надежной реконструкции комплекса фонетических характеристик этого диалекта (а отчасти и направлений его фонетической эволюции), равно как и некоторых его особенностей в сферах словообразования, лексики и семантики. Попытка подобной паннонославянской реконструкции на основе венгерского языкового материала сделана в докладе на предшествующем, софийском съезде славистов (Хелимский 1988).

В этом докладе был выдвинут и тезис о том, что славянские прототипы большинства перечисленных выше терминов христианской религии не могли не присутствовать в языке паннонских славян, христианизация которых началась еще за сто лет до завоевания страны венграми, и что именно в качестве элементов субстрата эти термины могли проникать и в венгерский язык. С учетом культурно-исторической значимости проблемы данный тезис нуждается в специальном обосновании и развитии, тем более, что он вступает в противоречие с теми взглядами, которые высказывались в течение последних десятилетий по поводу происхождения славянской христианской терминологии венгерского языка.

Вообще говоря, трактовка этой проблемы — одной из центральных и наиболее традиционных для венгерской славистики и работ по славяно-венгерским языковым контактам — претерпела сложную и во многом примечательную эволюцию. Весьма немаловажную роль сыграло то обстоятельство, что в основополагающих работах Фр. Миклошича о славянских элементах венгерского языка и о славянской христианской терминологии (Miklosich 1871; 1875) данная проблема оказалась тесно переплетена с унаследованной от Е. Копитара концепцией древнесловенско-паннонского характера старославянского языка. Обозначая язык славянского (древнесловенского) населения Паннонии как Slavische Kirchensprache, Миклошич видел в нем источник славизмов венгерского языка, в том числе и терминологии христианства, в которой налицо очевидные схождения с кирилло-

мефодиевской традицией. Данный подход нашел отражение и в специальной большой работе О. Ашбота "Славянство в венгерской христианской терминологии", где констатируется, что "обращение венгров в христианскую веру при св. Иштване начинается с той области, которая, согласно предположению Миклошича и других авторов, была местом расселения словен, для которых и на язык которых славянские первоучители перевели Священное Писание" (Asbóth 1884, 342), — и тем самым фактически предполагается преемственность венгерской христианской терминологии по отношению к кирилло-мефодиевской; см. также Volf 1897.

Пересмотр принятых в славистике взглядов на происхождение старославянского языка, признание его древнеболгарского характера и обстоятельная критика "паннонской теории" (главным образом в работах В. Ягича начиная с 1870-х гг.; см. Jagić 1913) автоматически повлекли за собой концептуальные изменения в трактовке славянских заимствований венгерского языка. В более поздних работах того же О. Ашбота сохраняется идея их близости старославянским формам, и для ее культурно-исторического обоснования выдвигается версия широкого расселения славяно-болгар на территории исторической Венгрии (Трансильвания, бассейн Тисы), а предполагаемый ареал наиболее интенсивного славянского влияния на венгров — в том числе и в сфере религии — перемещается из Паннонии на юго-восток (Ásbóth 1900; 1907). Прочность тождеств в триаде "славянский источник венгерской христианской терминологии — старославянский язык — древнеболгарский язык" для автора настолько несомненна, что, согласно его новой точке зрения, "славянская часть венгерской христианской терминологии... является самым решительным доказательством в пользу возможности болгарского влияния на нашей современной территории" (Asbóth 1900, 229).

Иной путь согласования фактических данных с утверждениями В. Ягича был избран Я. Мелихом. Полемизируя с "болгарской теорией" Ашбота, довольно плохо соотносящейся с реальными историческими данными, он в монографии "Христианская терминология венгерского языка" акцентирует внимание на расхождениях с лексикой старославянских памятников, в частности, привлекает к рассмотрению наряду со славянскими элементами этой терминологии и многочисленные латинизмы, параллельно представленные и в венгерском языке, и в языках славян-католиков (Melich 1903—1905). В последующих работах Мелиха находит отражение выдвинутая им концепция множественности источников ранних славянских заимствований в венгерском языке[1], ставится задача последовательного

[1] Данная концепция в значительной мере основывается на переоценке лингвогеографических критериев (распространенность тех или иных слов в тех или иных из соседних славянских языковых областей) в ущерб историко-фонетическим, что вообще характерно для научного творчества Мелиха (ср. Asbóth 1907, 16 и Melich 1909—1910, 71). Несомненно, однако, что она преследовала и конъюнктурно-политические цели, имея целью затушевать субстратный характер большинства ранних славянских заимствований (очевидный для Миклошича) и показать, что "хотя в совокупности славянское языковое влияние на наш язык очень велико, но вли-

разграничения преобладающего "католического" и относительно небольшого "православного" слоев в христианской терминологии славянского происхождения, причем роль языков-источников отводится в первом случае преимущественно кайкавско-хорватскому и словенскому, а во втором — болгарскому языкам (Melich 1910, 4—11; 1910a, 95—102).

Концепция Мелиха, в том числе и его трактовка христианской терминологии, стала традиционной для венгерской славистики. Она отражена в работах И. Книежи, в том числе в его фундаментальном этимологическом словаре славянских заимствований венгерского языка (Kniezsa 1955); вслед за Kniezsa 1964, 205, в целом ряде работ перечень болгарских (православных) элементов в венгерской терминологии христианства содержит слова *kereszt* (только в значении 'крест'), *szombat, deák, pap* — см., например, Kiss 1973, 6; MT 1/1, 684; Tot 1984, 32; Золтан 1986, 6. Большинство других терминов (из числа перечисленных в начале доклада) связывается в этом случае с хорватско-словенским или в целом славянско-католическим языковым влиянием, хотя имеются и попытки обосновать болгарское или в целом славянско-православное происхождение ряда других слов (например, *hála, karácsony, malaszt* — см. Хоргоши 1984, Tóth 1985, 61; Zoltán 1987 и др.). То обстоятельство, что одно и то же слово славянского происхождения порой поочередно фигурирует в разных перечнях (ср. для *szent* — Тот 1984. 33 и Kiss 1973, 6, для *zarándok* — *Kniezsa* 1955, 568—569 и Kiss 1973, 6), уже само по себе свидетельствует о проблематичности критериев разделения славизмов в венгерской терминологии христианства на православную и католическую части.

И в лингвистических, и особенно в исторических работах эта двухкомпонентность связывается с двумя путями распространения христианства в Венгрии — с Запада и из Византии (Шушарин 1971, 112; Györffy 1977 и др.), причем в связи с присутствием в христианской терминологии предполагаемых болгаризмов активно разрабатывалась версия о славянском посредстве в миссионерской деятельности византийской православной церкви (например, Tóth 1985, Неппер 1987; ср. очень осторожные комментарии П. Кирая по этому вопросу — Király 1971, 294—295).

Для полноты картины можно упомянуть и гипотезу о западнославянском — чешском и в особенности словацком — происхождении христианской терминологии в венгерском языке, связанную с концепцией устойчивого сохранения кирилло-мефодиевской традиции на территории Словакии (Bujnak 1933; Stanislav 1941; 1948, 609); см. в этой связи возражения И. Книежи (Kniezsa 1942; 1948; 1964), дополняемые тем обстоятельством, что данные в пользу идентификации тех или иных слов как фонетических или лексико-семантических словакизмов отсутствуют.

---

яние каждого языка в отдельности не сильнее, чем, например, древнетюркское или итальянское языковое влияние" (Melich 1910, 31). См. в этой связи также Рот 1973, 54 и сл.; Хелимский 1988, 362; 1989, 189—190.

* * *

Те проблемы и альтернативные решения, которые возникли в трактовке славянских элементов венгерской христианской терминологии после работ Ягича, имеют своим источником давно обнаруженную и вполне очевидную близость большинства этих элементов к терминологии старославянских памятников кирилло-мефодиевской традиции. При этом практически с самого начала такая близость оценивалась как результат преемственности по отношению к терминологии, установленной Кириллом и Мефодием. Отсюда, в частности, и многочисленные попытки идентификации отдельных элементов как болгаризмов.

Однако приходится отметить тот достаточно тривиальный факт, что вопрос о характере старославянского языка с точки зрения его фонетико-морфологических признаков никоим образом не идентичен вопросу о происхождении кирилло-мефодиевской христианской терминологии. Этот факт, вообще говоря, констатировал и сам Ягич, многократно отмечавший обилие в древнейших старославянских памятниках "моравско-паннонских" терминов, имеющих в основном латинское и германское происхождение (Jagić 1913, 154—155, 223, 225). И исторические, и лингвистические данные однозначно указывают на то, что христианскую терминологию славянские первоучители не создавали, а использовали, поскольку прибытию в Моравию в 863 г. Кирилла с созданной им азбукой предшествовало не менее семи десятилетий христианства у западно-придунайских славян (Хорутания, Паннония, Великая Моравия). За этот период здесь сложилась вся система терминов, связанных с религией, ритуалом и жизнью церкви (Pauliny 1964; Kronsteiner 1982) и использованных в первых славянских религиозных текстах, переведенных с латинского или немецкого языков — "Оглашение", "Верую", формулы исповеди (Isačenko 1948; Matejka 1968; Dostál 1970; Бернштейн 1984, 89—90; Флоря 1985, 65; Тот 1986, 104). Несомненно, деятельность Кирилла и Мефодия в Великой Моравии, а затем в Паннонии не могла не включать на начальном этапе запись с помощью новой азбуки этих текстов, хорошо знакомых их помощникам из среды местного славянского духовенства и даже рядовым прихожанам. Естественным следствием явилось употребление и закрепление соответствующих терминов также в переводах, осуществлявшихся непосредственно с греческих оригиналов — как в Моравии и Паннонии, так и позднее в Болгарии. Таким образом, западно-придунайское происхождение значительной части старославянской христианской терминологии (за исключением ряда сравнительно менее употребительных лексических единиц, заимствованных из греческого языка или прокалькированных, а также возникших путем словотворчества) есть историко-языковая реальность, обусловленная и приоритетом западно-придунайских славян как носителей христианства, и экуменическим (для своего времени) характером деятельности Кирилла и Мефодия, несомненно, ставивших цели христианского просвещения превыше сложившихся в IX в. различий между римским и византийским ритуалами и опиравшихся

на плоды предшествовавшей им деятельности западных миссий (см.Zagiba 1961).

Соответственно, из констатации схождений между двумя совокупностями христианских терминов — кирилло-мефодиевской и венгерской — вовсе не следует необходимость "выведения" второй из первой, тем более, что еще до смерти Мефодия (в 885 г.) славянская литургия и славянская книжность в Паннонии были если не полностью утрачены, то чрезвычайно ослаблены (Золтан 1986, 5), а версия болгаро-славянского посредства в миссионерской деятельности византийской православной церкви сталкивается и с отсутствием необходимых исторических свидетельств, и с логическими неувязками[2]. С другой стороны, гонения на учеников Мефодия и в целом на славянскую литургию не означали ни отхода от христианского вероучения как такового, ни отказа от какого бы то ни было использования славянского языка в церковно-религиозной сфере (в тех пределах, которые были санкционированы для местных языков решениями каролингских церковных соборов), а тем более не могли заставить славян Паннонии "забыть" сформировавшуюся еще до Кирилла и Мефодия христианскую терминологию.

Сохранение после венгерского завоевания достаточно многочисленного славянского населения в Паннонии обеспечило и континуитет славянской христианской традиции (Tóth 1985, 62; Хелимский 1988, 350—351). Именно с нею новые пришельцы столкнулись в первую очередь, задолго до того, как их могла в сколь-нибудь массовом порядке затронуть миссионерская деятельность, будь то римско-католическая или византийская. Кстати, во многих случаях заимствование отдельных элементов христианской терминологии вовсе не предполагает непосредственного принятия христианства: заимствованные обозначения, например, христианина, креста, священника, монаха и др. вполне могли быть известны уже и венграм-язычникам, соседствовавшим со славянами-христианами. Говоря о проникновении славянской христианской терминологии в венгерский язык, следует иметь в виду и чисто субстратный путь проникновения — не за счет заимствования самими венграми необходимой лексики по мере ознакомления с христианскими установлениями и принятия новой веры, а за счет языковой ассимиляции (мадьяризации) отдельных групп славян-христиан; учитывая известную религиозную толерантность и открытость язычества, вряд ли следует думать, что подобная ассимиляция даже в X веке, до официального признания христианства государственной религией Венгерского королевства, предполагала тотальную дехристианизацию ассимилируемых групп.

---

[2] Уже с середины X в. на территории Венгрии действуют греческие монастыри, тем не менее, с одной стороны, их достаточно обширное письменное наследие состоит исключительно из греческих или греко-латинских памятников (ни единого славянского), с другой стороны, в венгерский язык не проникло непосредственно ни одного греческого христианского термина; см. Király 1971; MT 1/1, 681—684; Tóth 1985. Не удивительно, что "исторические источники умалчивают о миссионерской деятельности, ведшейся славянами, принадлежавшими к православной церкви, среди венгров" (Tóth 1985, 61).

Есть, таким образом, основания видеть в славянской христианской терминологии венгерского языка — или по крайней мере в определенной ее части — наследие достаточно ранней (по сути дела — докирилло-мефодиевской, хотя хронологически более поздней, чем миссия солунских братьев) славянской терминологии. Для изучения данного предположения целесообразно обратиться к анализу соответствующей лексики, причем с учетом сказанного выше особое внимание будет уделено тем терминам, которые в имеющейся литературе квалифицировались как православно-славянские (болгарские) заимствования. Центральным для нас является вопрос: имеются ли среди ранних славизмов христианской терминологии такие, которые не могли быть известны и употребимы в IX—X вв. в языке паннонских славян?

* * *

**А. Лексика предполагаемого "православно-славянского" происхождения.**

1. Ст.-венг. (с XIV в.) *belendës* 'развратный, распутный'. Это слово (относящееся, разумеется, скорее к лексике религиозных текстов, нежели к христианской терминологии в собственном смысле слова) образовано от незасвидетельствованного *belend* 'разврат, распутство' > слав. **blędь*. Ссылаясь на то, что в старославянском языке (согласно Miklosich 1862—1865) засвидетельствовано только значение 'deliramentum' ('пустая болтовня, вздор'), а в остальных славянских языках (помимо восточнославянских) — вообще только глагол **blędą* 'болтать, бредить, нести вздор', И. Книежа (Kniezsa 1955, 87 и вслед за ним TESz 1, 274 и Tóth 1985, 65) предположил, что венг. *belend(ës)* имеет (др.-)русск. происхождение и, возможно, заимствовано через монахов русского монастыря Св. Андрея в Вишеграде (сер. XI в.). См. также Melich 1905, 362—370.

Думается, что необходимость в этом несколько экзотическом предположении отпадает с учетом ст.-сл. **блѧдь** в значении 'распутство, разврат, fornicatio' (SJS 3, 117—118), представленного — что весьма примечательно в контексте паннонской проблематики — только в Синайском требнике, глаголическом памятнике XI в., отразившем моравско-паннонский оригинал (Jagić 1913, 251—257; Dostál 1966), ср.: **ı въ помышлєньи нєправєдьнѣ · поустоши ı блади · ѣкожє азъ колижъдо сътворихъ** Euch 72a 17 = kiridono enti unrehtero vizusheito, hurono so uue so ih sio giteta. Фактически заимствование в венг. (если объяснить его субстратным влиянием, а не более поздними контактами) и пример из Синайского требника взаимно подкрепляют друг друга, позволяя думать, что слав. **blędь* не только в вост.-слав. области, но и где-то в западнопридунайских землях развило (или сохранило) семантику, более характерную для слав. **blądь*.

2. Венг. *diák, dëák* (ст.-венг., с XIV в.) 'дьякон';(ст.-венг., с XIV в.) 'писец, секретарь'; (с XV в., уст.) 'латинский'; (с XVI в.) 'студент, учащийся'. Согласно EtSz 1, 1286, из ст.-сл. *diakъ* 'дьякон'; квалифицируется также как заимствование из языка православных южных славян (Kniezsa 1955, 154—155; TESz 1, 628), из болгарского языка

(Тот 1984, 32). Первоисточником, во всяком случае, является ср.-греч. *diákos,* усечение из *diákonos.* При всей очевидности этимологии анализ конкретных путей распространения слова и развития отдельных значений (совмещающихся не только в венг., но и в соседних слав. языках, возможно, не без венг. влияния: ср. схрв. *đâk* 'дьякон, дьячок, писец, студент') представляет немалые трудности. С одной стороны, вполне правдоподобно присутствие слова в языке паннонских славян, во всяком случае после Кирилла и Мефодия; усеченная форма греческого происхождения могла дополнительно поддерживаться альпино-романскими преобразованиями лат. *diaconus,* к которым восходят, в частности, и чешск. *žák* 'ученик' (ст.-чешск. 'дьякон, певчий'), слвц. *žiak* (BEW 198—199). В пользу этого свидетельствует и фиксация формы **диакъ** в ст.-сл. памятниках моравско-паннонской традиции: Синайском требнике (многократно), Беседах на евангелие папы Григория Великого (SJS 9, 485). С другой стороны, венг. *diák, dëák* может и не относиться к наиболее раннему пласту христианской терминологии (на это — или же на вторичное влияние лат *diaconus* — указывает сохранение зияния; ср., впрочем, ст.-венг. и диал. формы *dëják, gyiják, gyivák* и др.); в этом случае с православно-славянской и субстратной (паннонской) версиями могут конкурировать и предположения о заимствовании непосредственно из греч. (в эпоху распространения в Венгрии греческой монастырской книжности; в таком случае это единственный термин такого происхождения, ср. выше) или из хорв. (где *dijak, djak* 'писец, секретарь' известно с начала XIV в).

3. Венг. *hála* 'благодарность' (надежно засвидетельствовано с XIV в., преимущественно в выражении *hálát ad* 'gratias agit, воздает хвалу'). Источник венг. слова, **xvala,* представлен в слав. языках повсеместно, однако Melich 1905, 262—264, Kniezsa 1955, 209—210 и TESz 2, 31 акцентируют внимание на возможности кайкавско-хорватского или словенского происхождения, с учетом того, что моделью для *hálát ad* могли послужить кайк.-хорв. *dálo je hvalu Bogu,* слн. *hválo dajáti.* Однако А. Золтан, указывая на многочисленные примеры **хвалѫ възда(ѭ)ти** в ст.-сл. евангельских текстах, трактует *hálát ad* как кальку этого выражения, а само слово *hála* как др.-болг. заимствование (Zoltán 1987, ср. также Золтан 1986, 8). Поскольку, однако, **хвалѫ възда(ѭ)ти** систематически используется как переводное соответствие греч. *eucharistéō,* но не является его калькой (в отличие от более поздних **благохвалити, благодарити,** см. Jagić 1913. 412—413), собственно славянский характер фразеологизма не вызывает сомнений: переводчики Евангелия опирались на уже существовавшее словосочетание, которое — с учетом хорватских и словенских параллелей — бытовало по крайней мере в западно-придунайской части славянской языковой области.

4. Венг. *karácsony* 'рождество' (засвидетельствовано с XV в., в качестве антропонима с XII в.). Поскольку слав. **korčunъ,* несомненный источник этого слова, образует довольно пеструю и разрозненную лингвогеографическую картину (см. ЭССЯ 11, 56—57), выдвигались версии о заимствовании из языков православных славян (Melich 1905,

310—316), из вост.-слав. (др.-русск.) еще до расселения венгров на современной территории (Kniezsa 1955, 254 — как возможное допущение; Рот 1973, 252—253)[3], из слвц. *kračun* 'рождество' (TESz 2, 371—372 — как одна из возможностей), наконец, из болг. диал. *крачун* 'сочельник, канун рождества' и макед. (Корча, Кастория — см. Koneski e.a. 1966, карты 9, 16) *Крачун* 'рождество' (Тот 1984, 32—33; Золтан 1986; 7—8. См. также Melich 1925, 312—314).

Представляется убедительной и высоко надежной трактовка **korčunъ* не как балкано-романского заимствования (ср. BEW 603—604), а как исконно славянского деривата от **korčiti,* первоначально обозначавшего в рамках языческих календарных традиций 'зимний солнцеворот', а впоследствии отчасти утраченного вместе с этими традициями, отчасти же переосмысленного в христианском контексте как 'сочельник' или 'рождество' (ЭСРЯ II, 336—337; ЭССЯ 11, 57—58 с литературой). Современная лингвогеографическая мозаичность, несомненно, отражает исходное общеславянское бытование слова, охватывавшее и паннонский регион. Можно предполагать, что в ранней славянской христианской терминологии **kračunъ* использовалось как параллельное, неофициальное (и потому не отраженное в ст.-сл. памятниках) название рождественских праздников, реликты которого обнаруживаются в слвц., болг., макед., рум., венг. языках.

5. Венг. *kërëszt* 'крест' (с XIII в., в топонимах с XI в.); 'крещение' (с нач. XV в., ныне уст.). В работах венгерских авторов широко распространена трактовка *keresztˡ* 'крест' и *keresztˢ* 'крещение' как гетерогенных омонимов, из которых первый заимствован из языка православных славян, скорее всего из болг., а второй — из языка славян-католиков, скорее всего из хорв. или слн. (Melich 1905. 324—326, 328—329; Kniezsa 1955, 263, 264; TESz 2, 457—459 и др.)[4]; эта трактовка соответствует хорошо известной дистрибуции значений у рефлексов слав. **krьstъ*, четко разделяющей Pax Slavica Orthodoxa и Pax Slavica Latina (ЭССЯ 13, 76).

Однако столь прямолинейное проецирование современной лингвогеографии в эпоху, когда Pax Orthodoxa и Pax Latina еще не разделились окончательно, представляется неубедительным. Как неоднократно отмечалось, в ст.-сл. памятниках, в том числе и принадлежащих к моравско-паннонской традиции или связанных с нею, систематически представлено "православное" название креста (SJS 16, 78—79, с указанием на употребление **крьстъ** 'crux' в Euch Cloz Const Meth VencNik Bes Vit). "Католическое" название **крижь**

---

[3] Вост.-слав. версия однозначно опровергается фонетическими аргументами: праслав. **korčunъ* дало бы венг. **karcsony,* а вост.-слав. **koročunъ* — венг. **karacsony;* форма *karácsony* может восходить только к метатезированной форме южно-слав. типа **kračunъ* (ср. Хелимский 1986, 194).

[4] Известна и версия, согласно которой венг. название креста имеет вост.-слав. происхождение и заимствовано еще до прихода венгров в бассейн Дуная, однако основывается она всего лишь на том, что в одном из предположительно древневенгерских захоронений Северного Причерноморья обнаружено изображение креста (Moravcsik 1952, 39; см. также взаимоисключающие оценки этого слова у А. Барты — МТ 1/1, 560 и Д. Дьерффи — МТ 1/1, 731). Историческая неправомерность этой версии отмечена И. Книежей (Kniezsa 1955, 264).

из всех охваченных в SJS памятников представлено только в CanMis, хорватско-глаголическом тексте литургического канона XIV в. (SJS 16, 65), см. также Львов 1966, 8 (**крижь** "появляется только в поздних списках памятников, а в древних списках известно только **крьстъ**"). Для В. Ягича это обстоятельство служило важным аргументом в пользу балканского (древнеболгарского) происхождения старославянского языка (Jagić 1913, 203, 356), но в действительности оно скорее свидетельствует лишь о хронологическом приоритете слова **krьstъ*, которое было "заимствовано из др.-в.-нем. (или гот.?) формы имени Христа в докирилломефодиевское время в придунайских землях" (ЭССЯ 13, 76; см. также ЭСРЯ II, 374), по отношению к **križь*, более позднему заимствованию, восходящему в конечном счете к лат. *crucem* (BEW 619—620; Machek 1971, 302).

Более того, для ранней эпохи вполне допустимо предполагать, как это делал и Ягич, синкретизм значений 'крест' и 'крещение' у слав. **krьstъ*. О докирилло-мефодиевской древности второго из этих значений может свидетельствовать, в частности, его фиксация в Фрейзингенских отрывках (*inoga mnogoga ese protiubogu i protiu menu creztu* — Fris I 20, см. Freisinger Denkmäler 1968, 237; SJS 16, 79). Реликтом синкретизма может быть глагол **krьstiti,* который в языках православных славян почти неразличимым образом совмещает значения 'совершать обряд крещения' и 'осенять крестным знамением'; если этот глагол отыменной, как полагают М. Фасмер (ЭСРЯ II, 374) и О.Н. Трубачев (ЭССЯ 13, 75—76), а не представляет собой самостоятельное заимствование из др.-в.-нем. (ср. ср.-в.-нем. *kristen* 'обращать в христианство' — см. BEW 634; Wandas 1987, 467—468), то первое из этих значений само по себе указывает на то, что *krьstъ* 'крещение' присутствовало и у языковых предков православного славянства. Ср. также возможность трактовки образований типа русск. *крёстный* как непосредственных дериватов от **krьstъ* — по полной аналогии с чешск. *křstní* от *křest* 'крещение', венг. *keresztapa* 'крестный отец', *keresztanya* 'крестная мать'.

В этом контексте попытки этимологического разграничения венг. *keresztˡ* и *kereszt*² выглядят необязательными и фактически обедняющими историческую ценность венгерского материала для славистики. Источником обоих слов, а по сути дела — одного слова, могла явиться паннонско-славянская форма, совмещавшая оба праславянских значения и тем самым, по-видимому, отразившая ту раннюю эпоху первичного знакомства славян-язычников с христианством их западных соседей, когда не было еще необходимости дифференцировать принадлежность к религии (крещение), ее основную символику (крест) и ее центрального персонажа (Христос).

6. Венг. *malaszt* 'благодать' (засвидельствовано, наряду с рядом других славизмов, уже в первом известном тексте на венг. языке — "Надгробной речи" конца XII в.). Обычно среди рефлексов слав. **milostь* внимание акцентируется на хорв. и слн. формах со значением 'благодать', которые и признаются непосредственными источниками венг. *malaszt* (Melich 1905, 342—344; Kniezsa 1955, 324; TESz 2, 828—829; Золтан 1986, 6). В работе Э. Хоргоши (1984) справедливо

отмечается, с одной стороны, что в "Надгробной речи" *milost-* (совр. *malaszt*) выступает в качестве эквивалента лат. *gratia,* с другой стороны, по крайней мере в одном ст.-сл. памятнике (житие св. Наума X в. из Македонии) в значении 'gratia' употреблено исконное **милость**, а не новообразование **благодѣть** (см. также SJS 18, 208). Эти наблюдения, однако вряд ли достаточны для констатации др.-болг. происхождения венг. слова (как у Хоргоши), а лишь показывают, что в ранней славянской — как, по-видимому, и в ранней венгерской — терминологии семантика соответствующих слов варьировалась в относительно широком диапазоне ('милосердие, сострадание, мягкосердечие, кротость, жалость, благосклонность, щедрость, благочестие, благодать, благодеяние и под.').

7. Венг. *pap* 'священник, священнослужитель' (с XIV в., в ономастике с XII в.). На основании лингвогеографии и семантики (слав. **рорь* как общее обозначение священнослужителя характерно для языков православных славян, а у славян-католиков известно преимущественно в значении 'православный священник') это слово причисляется к православно-славянскому (древнеболгарскому) пласту заимствований, см. Kniezsa 1955, 384—385, 1964, 205; TESz 3, 89—90; Тот 1984, 32 и др.

В этом случае неадекватность лингвогеографического подхода, пожалуй, наиболее очевидна[5]. Происхождение слав. **рорь* (из др.-в.-нем. *pfaffo*) указывает на заимствование в западно-придунайских землях. Характерные примеры употребления слова в памятниках ст.-сл. письменности, особенно известная фраза из Жития Мефодия (**Моравлане ѡчюцьше нѣмьчьскыꙗ попы, иже живꙗхоу въ нихъ, не приꙗюще имъ, нъ комъ коующе на нꙗ, изгънаша вьсꙗ** "Мораване, убедившись, что немецкие попы, которые жили между ними, не хотели им добра; но строили козни против них, изгнали всех" — Jagić 1913, 51; Флоря 1981, 99), не оставляют никаких сомнений в том, что именно этим термином обозначались и предшественники Мефодия по религиозному служению в Моравии и Паннонии, и его помощники[6]. Столь же несомненно, наконец, что при вхождении древних венгров в контакты со славянами, сохранявшими свои христианские установления, обозначение священника *pap* должно было быть заимствовано одним из первых — для заимствования не требовались ни обращение самих венгров в христианство, ни тем более какая-то специальная миссионерская активность православных славян.

8. Венг. *szent* 'святой' (засвидетельствовано с XII в., в частности, в "Надгробной речи"). Обычно квалифицируется как славизм (слав. **svętъ*) без уточнения источника (Melich 1905, 401—403; Kniezsa 1955, 499—500; TESz 3, 723), однако Л. Кишш относит это слово к "католическому" пласту лексики (Kiss 1973, 6), а И. Тот, напротив, к "православному"

---

[5] Не говоря уже о том, что и материал языков "католического" славянства при историческом подходе к нему четко указывает на первичность **рорь* (с последующей семантической эволюцией) и вторичность обозначений священника типа чешск. *kněz*, польск. *ksiądz* (Machek 1971: 472, 262; см. также Frinta 1918; Klich 1927; Olesch 1976).

[6] См. также Jagić 1913, 154—155 (о слове **рорь* как элементе докирилло-мефодиевской христианской терминологии).

(Тот 1984, 33, со следующей мотивировкой: "Тези термини принадлежат към кръга на най-основните понятия на християнството и е невъзможно да си представим разспространението му без тях. Тъй като това разпространение до 973 г. се свързва с дейността на византийската църква, споменатите думи с право могат да се изведат от старобългарския език"). Здесь можно ограничиться утверждением, что универсальное распространение прилагательного **svętъ* в слав. языках и в ст.-сл. памятниках служат гарантией того, что термин был известен и славянам Паннонии.

9. Венг. *szombat* 'суббота' (засвидетельствовано с нач. XV в., в топонимах существенно раньше). С учетом дистрибуции рефлексов слав. **sǫbota* (ст.-сл., болг., схрв., вост.-слав.) и **sobota* (ст.-сл., слн., зап.-слав.) венг. слово признается заимствованием из языков православных славян (Melich 1905, 270—271, 279—280; Kniezsa 1955, 508—509; 1964, 205; TESz 3, 779—780), из др.-болг. (Тот 1984, 32; Золтан 1986, 6).

Характер изоглоссы не говорит в пользу присутствия формы **sǫbota* (или **sǫbotъ*, как в Синайском требнике и Ассеманиевом евангелии — см. SJS 42, 395) в языке славян Паннонии (формы с **so-* к западу и к северу), хотя и не исключает такой возможности (формы с **sǫ-* к югу). Двойственность ст.-сл. памятников, в которых можно обнаружить и *sǫ-* в текстах западно-придунайского происхождения (Euch Bes), и *so-* в текстах из Болгарии и Македонии (Mar As Sin и др.), может свидетельствовать о довольно широких — в том числе и внутридиалектных — колебаниях между двумя формами. К сожалению, изобилие вариантов этимологического объяснения каждой из слав. форм (для **sǫbota* — из ср.-греч., или балк.-лат., или гот., или др.-в.-нем.; для **sobota* — из греч. или ср.-лат., см. ЭСРЯ III, 792) затрудняет реконструкцию их исходной дистрибуции.

10. Венг. *zarándok* 'паломник, пилигрим' (с XIV в., в топонимах с XIII в.). Заимствовано из слав. (**stornьnikъ* >) **stranьnikъ*, представленного с соответствующими значениями в ст.-сл. и др.-русск., что служит основанием для атрибуции заимствования "православному" пласту христианской терминологии, см. Kniezsa 1955, 568—569; TESz 3, 1188; Tóth 1985, 61.

Можно отметить в этой связи, что в своей семантике ст.-сл. **страньнъ** 'чужой, иноземный, иностранный; путник, странник, иностранец' и связанное с ним **страньникъ** заметно отличаются от большинства непосредственных рефлексов слав. **stornьnь* (с преобладающим значением '(по)сторонний') и **stornьnikъ* (с преобладающим значением 'сторонник'), ср., например, зап.-слав. факты типа чешск. *straník*, пол. *stronnik* 'сторонник' и оппозицию исконных и заимствованных форм типа *сторонник* — *странник* в вост.-слав. (др.-русск. (Срезн.) **стороннкъ, стороньникъ** 'странник, путник' в церковных текстах могут калькировать ст.-сл. словоупотребление). С другой стороны, налицо теснейшая семантическая связь с хорв. *strȁn*, слн. (Plet.) *strân* 'иностранный, чужой'. Обычно эти формы трактуются как усечения из **stranьnъ* (RHSJ 69, 651; Skok III, 341), но необязательность данной трактовки вытекает из существования широко представленного в ст.-сл. (Nik Ochr Mak Const VencMin Nicod) **странъ** = **страньнъ** (SJS 38,

175—176), ср. также **странолюбиѥ** = **страньнолюбиѥ, странолюбьць** = **страньнолюбьць** (Ibid., 174—175). Представляется, что совокупность наблюдаемых данных позволяет усомниться в справедливости трактовки ст.-сл. **страньнъ, страньникъ** как дериватов от **storna* в значении '(чужая) страна' (ЭСРЯ III, 771; Шанский и др. 1961, 321) и исходить из **stranъ* 'чужой, иностранный' — вероятно, южнославянского регионализма позднепраславянской эпохи, который мог быть по происхождению связанным со слав. **storna* 'сторона' и в то же время испытать по крайней мере контаминационное влияние романских продолжений лат. *extraneus* типа итал. *strano* 'странный, необычный, инородный'. Распространение **stranъ* и его предполагаемых прямых дериватов **straньnъ* 'чужой, иностранный; странный', **straньnikъ* 'странник, путник, паломник' (а также слн. *stránski* 'иностранный' и др.) благоприятствует предположению о первичной локализации слова в западно-придунайских землях, тем самым частично реабилитируя версию Я. Мелиха о словенском происхождении венг. *zarándok* (Melich 1905, 410—413).

**Б. Лексика предполагаемого "католико-славянского" происхождения.**

В контексте основного поставленного вопроса — могли ли те или иные славянские элементы венгерской христианской терминологии употребляться славянами Паннонии в докирилло-мефодиевскую эпоху и в период после завоевания страны венграми — не требуют, очевидно, особо детального рассмотрения те случаи, когда: а) слово хорошо представлено в хорв., слн. и других языках славян-католиков, в силу чего нередко квалифицируется (Melich 1905; Kniezsa 1905, 1964; TESz и др.) как заимствование "католического" пласта; б) оно одновременно отражено в кирилло-мефодиевской традиции, а также в языках православного славянства, причем с тем же терминологическим значением; в) с точки зрения своих фонетических и иных признаков заимствование примыкает к субстратному славянскому пласту в венгерском языке. Параллельное использование в восточной и западной традиции дает достаточно веские основания полагать, что соответствующий термин, исконный или заимствованный, еще до окончательного размежевания церквей вошел в славянскую христианскую терминологию, в том числе и в Паннонии.

11. Венг. *barát* 'монах' (с XII в.), также 'друг, приятель' из слав. **bratъ*, широко распространенного со значением 'монах' в качестве обращения или элемента аппозитивных конструкций (ср. SJS 4, 142), калькирующего лат. *frater* и т.д. Довольно естественно, что в венг. было заимствовано не основное обозначение (**mъnixъ*), а его более употребительный в обиходе синоним. С точки зрения славянской диалектологии заслуживает внимания, что источником явилась именно форма **bratъ*, а не **bratrъ* (характеризуемая как моравизм и представленная во Фрейзингенских отрывках, см. Львов 1966, 65—69).

12. Венг. *csoda* 'чудо' (с XIV в.) из слав. **čudo.*

13. Венг. *csütörtök,* уст. *csötörtök* 'четверг' (с нач. XIII в. в топонимах) из слав. **četvьrtъkъ* (см. ЭССЯ 4, 96). Венгерский язык отразил рано сложившуюся славянскую систему названий дней недели,

внутренне алогичную в силу своей гетерогенности (четвертый день недели — четверг оказывается не тождественен ее среднему дню — среде).

14. Венг. *karapol* 'кропить' (с конца XVI в.) из слав. **kropiti.* По своему фонетическому облику и суффиксальному оформлению венг. слово неотличимо от древнейшего слоя слав. заимствований (слав. *i*-глаголам регулярно соответствуют венг. глаголы с суф. *-ol/-el/-öl*), однако сравнительно поздняя фиксация *karapol* и его распространение только в диалектах Северной Венгрии и Словакии делают проблематичной принадлежность к этому слою.

15. Венг. *koma* 'кум' (с нач. XVI в., в антропонимах с XIII в.) из слав **kumь, *kuma.*

16. Венг. *kërësztel* 'крестить' (с XV в.) из слав. **krьstiti,* ср. выше № 5.

17. Венг. *kërësztény* 'христианин, христианский', уст. *kërësztyén* (с XIV в.) из слав. **krьstьjanъ* (ср. SJS 16, 77).

18. Венг. *korozsma* 'миро' (с XVI в.), также 'подарок крестных родителей' (с XVI в.). Вслед за Фр. Миклошичем (Miklosich 1871, 373), Я. Мелих предполагал заимствование из слав. форм типа слн. *križma* и связывал *korozsma* с 'католическим' пластом христианской терминологии со ссылкой на отсутствие слова в ст.-сл. памятниках (Melich 1905, 338—341). В более поздней литературе, однако, *korozsma* признается непосредственным заимствованием из лат. *chrisma* (Kniezsa 1955, 867—869; TESz 2, 580—581). Представляется, что последняя версия может быть опровергнута историко-фонетическими соображениями: при заимствовании лат. формы с ударением на первом слоге нельзя было бы ожидать происшедшего в венг. гармонического выравнивания по велярному гласному последнего слога (ср. Helimski 1992); напротив, версия слав. происхождения поддерживается многочисленными параллельными примерами типа венг. *borotva* < слав. **britvȁ* < **brĩtva.* С другой стороны, вопреки Мелиху, в ст.-сл. наряду с грецизмами **хризма, хризъма** представлены в отдельных памятниках, причем не принадлежащих к западным изводам, латинизмы **крижма** (Nom), **кризма** (Lob Par Grig), см. SJS 15, 64. Это позволяет отнести слав. *križma* к раннему, а не специфически католическому пласту христианской терминологии. Остаются, однако, сомнения в том, заимствовано ли венг. *korozsma* в ранний период: проблему составляют относительно поздняя фиксация слова и двойное значение, дублирующее аналогичную полисемию ('миро' — 'подарок крестных родителей') в соседних славянских языках.

19. Венг. *mise* 'месса' (с XIV в.), скорее из слав. **mьša,* чем непосредственно из лат. *missa.* Как известно, ст.-сл. **мьша** представляет собой бесспорный реликт моравско-паннонского периода, позднее вытесненный из употребления, о чем свидетельствуют и характерные пояснения (**мьша рєкъшє слоужьба**) в Житии Мефодия, см. Jagić 1913, 39, 48, 264; SJS 19, 257. Фонетический облик венг. слова, с *-е* вместо ожидаемого *-а*, можно, по-видимому, связать с формой Nom. **мышѣ** в Киевских листках (Kij 7a 1, Kij 4b 7), ср. также и чешск. *mše.*

20. Венг. *oltár* 'алтарь' (с нач. XIV в., в топонимии с XII в.), судя по вокализму, из слав. **oltarь*, а не из какого-либо иного (неславянского) источника.

21. Венг. *péntëk* 'пятница' (с XIV в., как антропоним с XII в.; долгота *é* неясна, однако в диалектах присутствуют регулярная, ожидаемая по нормам фонетических корреспонденций, форма *pentek*) из слав. **pętъkъ* (см. SJS 33, 533).

22. Венг. *pogány* 'язычник, языческий' (с XIII в., в антропонимии с XII в.). Как и в случае с *oltár,* вокализм указывает не слав. **poganъ* (см. SJS 26, 77—78) как на вероятный источник слова.

23. Венг. *pokol* 'ад' (уже в "Надгробной речи", конец XII в.) из слав. **pьkъlъ*. Хотя прямые рефлексы этой формы представлены в первую очередь в хорв. и слн., существенно присутствие в ст.-сл. памятниках моравско-паннонской традиции слова **пькълъ** (Vind Bes), ср. также **пьцьлъ** (Supr.) с эффектом 3-ей палатализации (SJS 33,. 516).

24. Венг. *szërda* 'среда' (с XIV в., в ономастике с XII в.) из слав. **srěda* < **serda.*

25. Венг. (уст. и диал.) *szësztra* 'послушница' (засвидетельствовано с рубежа XIV/XV вв.). Предполагается заимствование из хорв. или слн. (Kniezsa 1955, 502; TESz 3, 746), однако слав. **sestra* как термин церковного обихода засвидетельствовано и в ст.-сл. памятниках (Christ Šiš Slepč, см. SJS 36, 62), ср. также выше (№ 11) относительно венг. *barát* 'монах' из слав. **bratъ.*

26. Венг. *tömjén* 'ладан, фимиам' (с XV в.). Слав. **tьmьjanъ* (из греч. *thymíama*) широко представлено в языках и католических, и православных славян (Miklosich 1886, 370; ЭСРЯ IV, 41; ср. также ст.-сл. **тьмиѧнъ** — Zogr Euch Supr), причем устойчивость фонетического облика — в частности, повсеместное диссимилятивное изменение *m-m* > *m-n* — позволяет квалифицировать слав. слово как раннее и распространившееся некнижным путем заимствование, которое могло быть известно в западно-придунайских землях еще до миссии Кирилла и Мефодия (отчасти и благодаря лат. *thȳmiāma* и под.).

27. Венг. *zsolozsma* 'совокупность податей в пользу бана' (с XIII в., только ст.-венг.); 'церковная служба' (с XV в.) из слав. **služьba.*

28. Венг. *vecsernye* 'вечерня' (с XV в.) из слав. **večerьnja.*

Лишь в нескольких случаях распространенность слав. слова-источника в языках славян-католиков при отсутствии его в ст.-сл. памятниках и вообще в языках православных славян делает достаточно вероятным относительно более позднее заимствование из соседних слав. языков (особенно из хорв. или слн.), хотя и не исключает и возможность бытования в языке славян Паннонии.

29. Венг. *apáca* 'монахиня' (с XIV в., в топонимах с XIII в.), ср. схрв. *ȍpatica, opatȉca* 'аббатисса; монахиня', слн. *opâtica* 'аббатисса' и след.

30. Венг. *apát* 'аббат, настоятель' (с XV в., в ономастике с XII в.). Уже в середине IX в. на территории Паннонии действовало несколько монастырей (МТ 1/1, 356), и местному славянскому населению должно было быть известно обозначение настоятеля монастыря — вероятнее всего слово **opatъ* (из др.-в.-нем.), отраженное в хорв., слн., чешск., слвцк., польск. Тем не менее, в памятниках ст.-сл. языка, в том числе и связанных с моравско-паннонской традицией, этот термин не представлен (при том, впрочем, что обилие вариантов

написания у соответствующего ему грецизма **игоумєнъ ~ игомѣнъ ~ игоумѣнъ,** видимо, свидетельствует о том, что соответствующий термин не имел опоры в разговорно-церковном обиходе).

31. Венг. *bérmál* 'конфирмовать' (с XVI в.), ср. хорв. *bérmati, birmati,* слн. *bîrmati* то же (из лат. *firmare* > *fermare,* др.-в.-нем. *firmōn*); следует учесть относительно позднюю фиксацию венг. слова.

32. Ст.-венг. *dusnok* 'душник — крепостной, завещанный церкви для служения за упокой души своего прежнего хозяина' (с XIII в., в топонимах с XI в.). Судя по данным TESz 1, 693, источником должно являться только тождественное по значению ст.- чешск. *dušník.*

33. Венг. *eretnëk* 'еретик' (с XV в., в качестве антропонима с XIV в.). Ближайшими соответствиями являются кайк.-хорв. *eretnik, heretnik, jeretnik,* слн. *jeretník* то же (TESz 1, 785); несмотря на русск. диал. *еретник,* для народно-этимологического преобразования *(j)eretikъ* > *(j)retьnikъ* вряд ли можно предполагать праславянскую древность.

34. Венг. диал. *pilis* 'тонзура' (с нач. XV в.). Несомненно, заимствовано из фонетически поздней формы типа чак.-хорв. *plîš* то же < слав. **plěšь.*

Наконец, довольно вероятно хорватско-словенское (и не исключено субстратное, паннонское) посредство при заимствовании нескольких слов латинского происхождения, в частности, венг. *dézsma* 'десятина' (лат. *decima,* ст.-кайк.-хорв. *dežma, dižma*).

Особое положение среди рассматриваемой терминологии занимает венг. *bálvány* 'идол, кумир' (с нач. XII в., в ономастике с нач. XI в.) ~ ст.-сл. (поздн.) **балванъ** и т.п. (см. BER 41); весьма вероятно, что венг. и слав. формы являются параллельными заимствованиями из восточного (аварского? булгарского?) источника типа **bal*$^{b}$/$_{v}$*an,* ср. др.-тюрк. рунич. *balbal* 'балбал — ритуальный камень, символизирующий человека'.

* * *

Представляется, что осуществленный выше этимологический разбор венгерской христианской терминологии славянского происхождения подтверждает возможность и высокую вероятность паннонско-славянского, субстратного происхождения значительной ее части. Это в равной мере относится и к тем терминам, для которых с бóльшими или меньшими основаниями предполагалось происхождение из старославянского (древнеболгарского) языка и других языков православного славянства (№ 1—10, за возможным исключением венг. *diák, dëák* № 2), и к тем терминам, которые обычно связываются со славянско-католическим влиянием или не идентифицируются с точки зрения принадлежности к "православному" или "католическому" слоям (№ 11—28, возможно и 29—30; кроме, быть может, тех слов, которые могли проникнуть непосредственно из латыни или из другого неславянского или позднего славянского источника: венг. *korozsma* № 18, *mise* № 19).

Тем самым само по себе расслоение венгерской христианской терминологии славянского происхождения на два пласта оказывается лингвистически немотивированным, а с учетом явного дефицита исторических аргументов в пользу такого расслоения — крайне

спорным. Во всяком случае, остается не только чисто умозрительной, но и просто ненужной гипотеза об использовании старославянского (древнеболгарского) языка в православной миссионерской деятельности Византии на территории Венгрии. Можно констатировать лишь то обстоятельство, что субстратное влияние сменилось отчасти (в существенно более поздний период) адстратным влиянием со стороны западных и северных соседей — славян-католиков (№ 31—34, возможно и 29—30).

Нельзя не обратить внимание на то, что значительная часть рассмотренных выше славянских этимонов — те самые термины, которым традиционно уделялось основное внимание в дискуссиях о моравско-паннонских корнях старославянского языка (П. Шафарик, Е. Копитар, Фр. Миклошич, В. Ягич и др.). Фактически почти все термины христианства, заимствованные славянами из романо-германских источников, были далее переправлены в венгерский язык (едва ли не единственное существенное исключение — слав. **сьrky*, ср. венг. *egyház*)[7]. Все это говорит в пользу заимствования рассматриваемых христианских терминов в венгерский язык из западно-придунайского (паннонского) славянского источника.

Материал в целом, и особенно несомненные следы употребления в "мирском" (нелитургическом) обиходе (ср. венг. *karácsony* № 4, *barát* № 11, *szesztra* № 25, вероятно, и *belendes* № 1), хорошо подтверждают высказывавшееся еще в ранних работах О. Ашбота (Asbóth 1884, 342) мнение о том, что заимствование в основном происходило устным путем, а никак не книжным, и скорее благодаря "бытовым" контактам, чем за счет целенаправленной миссионерской деятельности.

Количество и характер заимствованных христианских терминов в венгерском языке свидетельствует о сохранении славянской христианской традиции на территории Паннонии и после венгерского завоевания (ср. мнение о том, что христианизация славян этого региона в IX в. была поверхностной и они большей частью вернулись к язычеству — Györffy 1977. 368—369; впрочем, этому мнению противостоят многочисленные указания на континуитет паннонского хритианства, см. Tóth 1985, 62 ff.; Szegfű 1985, 85 ff.). В то же время, судя по лексическим данным, эта традиция продолжает скорее докирилло-мефодиевскую эпоху, нежели отражает результаты непродолжительной деятельности самого Мефодия и его учеников в Паннонии; это согласуется с другими свидетельствами незакрепленности и слабости кирилло-мефодиевских традиций на территории Венгрии (Kniezsa 1948; 1964; Király 1971).

---

[7] Так, О. Кроиштайнер перечисляет семь церковнославянских слов альпино-романского происхождения (**тьža, *kryžь, *oltarь, *рькьlь, * oratь, *koNpotrь > *kotь, *poganь*; см. Kronsteiner 1982, 43). Шесть из их отражены в венгерском языке, см. выше № 15, 19, 20, 22. 23, 30. Эта ситуация хорошо иллюстрирует универсальный принцип, согласно которому заимствованная (особенно недавно заимствованная) лексика языка-источника заимствуется дальше с существенно большей вероятностью, чем его исконная лексика.

Тем самым христианскую терминологию славянского происхождения в венгерском языке можно рассматривать как существенный источник для изучения наиболее ранней, общехристианской (не специфически католической или православной) славянской лексики и ее использования старославянским языком. Сам факт бытования в венгерском языке и особенности семантики, в сочетании с собственно славянскими данными, позволяют расширить представления о функционировании отдельных терминов в моравско-паннонский период старославянской языковой истории и об их генезисе, ср., например, высказанные выше соображения в связи с венг. *kereszt* № 5, *zarándok* № 10.


*Бернштейн С.Б.* Константин-Философ и Мефодий. М., 1984.

*Золтан А.* О происхождении православного славянского слоя в венгерской христианской терминологии // Съпоставително езикознание XI. 1986. № 4.

*Львов А.С.* Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966.

*Неппер И.М.* Влияние византийской культуры в Затисском крае Венгрии и вопросы болгарского посредничества // Старбългаристика XI. 1987. № 2.

*Рот А.М.* Венгерско-восточнославянские языковые контакты. Вр., 1973.

*Тот И.* Славяно-български заемки в унгарския език // Съпоставително езикознание. IX. 1984. № 5.

*Тот И.Х.* Мефодий и его ученики в Паннонии // Ciril és Metód tevékenysége Pannóniában (Hungaro-Bulgarica I). Bp., 1986.

[*Флоря Б.Н.*] Сказания о начале славянской письменности. М., 1981.

*Флоря Б.Н.* Славянская письменность и европейская культура раннего Средневековья // Сов. славянов. 1985. № 2.

*Хелимский Е.А.* Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции и реконструкции славянского языка Паннонии // Славянское языкознание: X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.

*Хелимский Е.А.* Изучение ранних славяно-венгерских языковых отношений // Славяноведение и балканистика в странах Зарубежной Европы и США. М., 1989.

*Хоргоши Э.* Происхождение венгерского слова *malaszt* < *milostь* "gratia, clementia, Gottesgnade, Gnade" // Старобългаристика. VIII. 1984. № 3.

*Шпанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В.* Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1961.

*Шушарин В.П.* и др. История Венгрии. Т. 1. М., 1971.

ЭСРЯ — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Пер. и доп. О.Н. Трубачева. Т. I—IV., 1964—1973.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О.Н. Трубачева. Т. 1-. М., 1974-.

*Asbóth O.* Szlávság a magyar keresztény terminológiában // Nyelvtudományi Közlemények 18. 1884.

*Asbóth O.* A magyar nyelvbe került szláv szók átvételének helye és kora // Nyelvtudományi Közlemények 30. 1900.

*Asbóth O.* Szláv jövevényszavak, I: Bevezetés és a különböző rétegek kérdése. Bp., 1907.

BEW — *Berneker E.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908—1913.

*Bujnak P.* Obrafenie maďarov na vieru kresťansku. Bratislava, 1933.

*Dostál A.* L'Éucologe slave du Sinaï // Byzantion. 1966. N. 1.

*Dostál A.* Quellen der altrirchenslamischen Literatur // Das heidnische und christliche Slaventum. Bd. II/2. Wiesbaden, 1970.

EtSz — *Gombocz Z., Melich J.* Magyar etymológiai szótár. I—II. köt. Bp., 1914—1944.

Freisinger Denkmäler. München, 1968.

*Frinta A.* Náboženské nazvosloví československé. Pr., 1918.

*Györffy Gy.* István király és műve. Bp., 1977.

*Helimski E.* Slavic / Latin / German stress and Hungarian vowel harmony // "Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem germanischen und dem slavischen Sprachraum". Amsterdam — Atlanta , 1992.

*Isačenko A.V.* Začiatky vzdelanosti vo Veľkomoravskej ríši. Turčianský Sv. Martin, 1948.
*Jagić V.* Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Wien, 1913.
*Király P.* K otázke cyrilo-metodejských tradící v Uhorsku: otázka hlaholských pamiatok // Slovo. 21. 1971.
*Kiss L.* Ungarisch-slawische Wechselbeziehungen in der Sprache // Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio linguistica, 1973.
*Klich E.* Polska terminologia chrześciańska. Poznań, 1927.
*Kniezsa I.* Die Slawenapostel und die Slowaken. Bp., 1942.
*Kniezsa I.* Autour du problème des traditions de Cyrille et Méthode // Etudes slaves et roumaines 1, fasc. 4. 1948.
*Kniezsa I.* A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I—II. Bp., 1955.
*Kniezsa I.* Zur Frage der auf Cyrillus und Methodius bezüglichen Traditionen auf dem Gebiete des alten Ungarns // Cyrillo-Methodiana. Köln; Graz, 1964.
*Koneski B., Vidoski B., Jašar-Nasteva O.* Distribution des balkanismes en macédonien. Skopje, 1966.
*Kronsteiner O.* Salzburg und die Slawen. Mythen und Tatsachen über die Entstehung der ältesten slawischen Schriftsprache // Die Slawischen Sprachen, Bd. 2. 1982.
*Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Pr., 1971.
*Matejka L.* On translating from Latin into Church Slavonic // American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists. Vol. 1. Linguistic Contributions. The Hague, 1968.
*Melich J.* Szláv jövevényszavaink. I. Az óbolgár nyelvemlékek szólészlete és magyar nyelv szláv jövevényszavai . II. A magyar nyelv keresztény terminológiája . Bp., 1903, 1905.
*Melich J.* Szláv jövevényszavaink eredetéről // Nyelvtudományi Közlemények 39. 1909—1910.
*Melich J.* Nyelvünk szláv jövevényei. Bp., 1910.
*Melich J.* Die Herkunft der slavischen Lehnwörter der ungarischen Sprache // Archiv für slavische Philologie 32. 1910a.
*Melich J.* A honfoglaláskori Magyarország. Bp., 1925.
*Miklosich Fr.* Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862—1865.
*Miklosich Fr.* Die slavischen Elemente im Magyarischen. Wien, 1871.
*Miklosich Fr.* Die christliche Terminologie der slavischen Sprachen. Wien, 1875.
*Miklosich Fr.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
*Moravcsik Gy.* Bizánc és a magyarság. Bp. 1952.
MT 1/1 — Magyarország története: Előzmények és magyar történet 1242-ig. / Főszerk. *Székely Gy.* Bp., 1984.
*Olesch R.* Die christliche Terminologie im Dravänopolabischen // Zeitschrift für slavische Philologie 39. 1976.
*Pauliný E.* Slovesnost' a kultúrny jazyk Veľkej Moravy. Bratislava, 1964.
RHSJ — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I—XIX. Zagreb, 1880—1967.
SJS — Slovník jazyka staroslovenského 1-. Praha, 1959-.
Skok — *Skok P.* Etimologijski rječnik hratskog ili srpskog jezika, knj. 1—3. Zagreb, 1971—1973.
*Stanislav J.* Slovenská liturgia na Slovensku a sídlo Metodovo a Gorazdovo. Bratislava, 1941.
*Stanislav J.* Slovenský juh v stredoveku. I. diel. Turčiansky Sv. Martin, 1948.
*Szegfű L.* Pogányság és kereszténység a XI. századi Magyarországon // Fejezetek a régebbi magyar történelemből. Bp., 1985.
TESz — A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. 1—3. köt. Bp., 1967—1976.
*Tóth I.H.* Adalékok a korai magyar-szláv egyházi és kulturális kapcsolatok kérdéséhez // Fejezetek a régebbi magyar történelemből. Bp., 1985.
*Volf Gy.* Az egyházi szláv nyelv hazája és a magyar honfoglalás // Nyelvtudományi Közlemények 27. 1897.
*Wandas A.* Słowiańskie *krьstiti* "baprisare" // Slawistyczne studia językoznawcze. W, 1987.
*Zagiba F.* Die bairische Slavenmission und ihre Vorsetzung durch Kyrill und Method // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Nr. 1. 1961.
*Zoltán A.* A *hálát ad* kifejezés eredetéről // Szlavisztikai tanulmányok: Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára. Bp., 1987.

*В.А. Дыбо, Г.И. Замятина, С.Л. Николаев*

# ПРАСЛАВЯНСКАЯ АКЦЕНТОЛОГИЯ И ЛИНГВОГЕОГРАФИЯ

Настоящий доклад представляет собой продолжение отчета об исследованиях последних лет в области исторической акцентологии славянских языков, которые позволили впервые обосновать на твердой фактологической основе предложенную нами схему праславянского диалектного членения[1]. Дело в том, что различия между акцентуационными системами, возникшие в результате тривиальных фонетических процессов (перетяжек ударения, сокращения долгот и т.д.), в дальнейшем, морфонологизуясь, сохраняют устойчивость и при контактных взаимодействиях диалектов. Акцентуационные модели пронизывают всю морфонологическую систему языка, обладая при этом низкой смыслоразличительной функцией, в результате чего специфические признаки этих моделей, деформировавшись в одной грамматической категории, достаточно регулярно сохраняются в других. Эти модели, как правило, не могут быть заимствованы другими системами уже в силу своего крайне сложного морфонологического устройства. Чересполосица древних акцентуационных систем на славянских территориях указывает на явно гетерогенный характер таких поздних общностей, как восточнославянская, южнославянская или западнославянская. Анализ древних акцентологических изоглосс и сопоставление их с неакцентологическими приводит к установлению новых пучков изоглосс, образование которых может быть привязано к определенному моменту истории. Без акцентологической составляющей эти пучки, как правило, не могут быть однозначно интерпретированы в терминах относительной хронологии.

В результате проведенных исследований нами были выделены 4 группы славянских диалектов, в настоящее время относящихся к разным лингвогеографическим ареалам. Каждая из этих групп (по крайней мере II, III и IV) характеризуется специфическим набором акцентных инноваций (поздне)праславянского времени, генетический (а не типологический) характер которых может считаться доказанным (см. Докл.; ОСА; Николаев АДД). Ниже будут изложены некоторые новые взгляды на пути преобразования праславянской акцентной системы и приведена уточненная классификация славянских диалектов, основанная на распределении древних акцентных инноваций.

---

[1] Речь идет именно о реконструкции реального диалектного членения — сама идея о (поздне)праславянской диалектной раздробленности в принципе никем не оспаривается, и поиски специфических совпадений между несмежными диалектными ареалами (в основном в области лексики и словообразования) дали большой материал, подтверждающий вторичность лингвогеографического положения многих засвидетельствованных славянских диалектов. Предшествующие результаты наших исследований см. в: *Булатова Р.В., Дыбо В.А., Николаев С.Л.* Проблемы акцентологических диалектизмов в праславянском // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов М., 1988; *Дыбо В.А., Замятина Г.И., Николаев С.Л.* Основы славянской акцентологии. М., 1990.

Как уже говорилось в других наших работах, по крайней мере две выделяемые по данным исторический акцентологии праславянские группировки можно связать с установленным археологами членением праславянского культурного ареала. Географическое расположение большинства диалектов II группы (восточные Балканы, восток Карпатской области, значительная часть территории Западной Украины) позволяет связать их с антским племенным союзом и, соответственно, с "антским" вариантом праславянской археологической культуры V—VII вв., характеризующейся в первую очередь керамикой пражско-пеньковского типа. Диалекты III группы, расположенные в основном в западной части славянской языковой территории и в Полесье, видимо, связаны со "словенским" вариантом, характеризующимся керамикой пражско-корчакского типа[2]. Интересно также отметить, что к настоящему времени, в результате переселений славянских племен в дописьменный период, носители диалектов II группы во всех новых славянских языковых общностях (западно-, восточно-и южнославянских) оказались в западных регионах последних (см. Докл.).

## НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРАСЛАВЯНСКУЮ АКЦЕНТНУЮ СИСТЕМУ

Рассмотрение акцентологических феноменов в лингвогеографическом аспекте потребовало значительного увеличения полноты информации для заполнения карты славянской языковой территории (как современной, так и в других хронологических срезах). За время после X съезда славистов было изучено большое количество современных и средневековых (по материалам рукописей) диалектных акцентных систем, многие особенности которых, как выяснилось, с трудом поддаются объяснению с точки зрения "стандартной" акцентологической реконструкции, принятой Московской акцентологической школой (см. Дыбо СА, ОСА).

В первую очередь это касается действия "закона Дыбо—Иллич-Свитыча, согласно которому дрейф ударения на последний слог с краткостных и циркумфлектированных слогов ортотонических балто-славянских форм считался общеславянским (см. ОСА, 84).

Наблюдается поразительное согласование акцентных кривых *i*-глаголов а.п. $b_2$ в восточноболгарских системах (типа тех, что отражены в ст.-тырновских памятниках, см. ОСА, 229—252, в рукописи Зогр. 151, а также, в более архаичном во многих отношениях виде, в старосербской рукописи "Книги царств" XV в., отражающей близкий к вост.-болгарскому по акцентуации торлакский диалект пиротского типа)[3], и "кривой" западнославянских количественных отношений соответствующих глаголов. Чередование количеств, которое можно назвать "кривой количеств", востанавливается для западнославянских долгосложных *i*-глаголов а.п. *b* на основе показаний

---

[2] См.: *Седов В.В.* Происхождение и ранняя история славян. М., 1979. С. 104—133.

[3] Ниже эта система будет условно называться "архаической староболгарской", хотя, разумеется, имеются другие старо- и новоболгарские системы, отличные от рассматриваемой здесь.

древнечешского, древнепольского и поморских диалектов (см., например, Lorentz Gr. Pom. III, 1032).

Праславянская парадигма *i*-глаголов включала два варианта основ — презентную, в которой "полутематическое" *-i-* имело балто-славянский циркумфлекс (эта основа, видимо, в праславянском была представлена только в личных формах презенса) и аористно-инфинитивную, в которой "полутематическое" *-i-* имело балто-славянский акут. "Полутематическое" *-i-* было доминантным у итеративных и рецессивным у каузативных и деноминативных глаголов (ОСА, 111—120).

Акцентная кривая а.п. *c* *i*-глаголов с рецессивным суффиксом характеризовалась чередованием: а) форм-энклиноменов, в которых "тема *-i-* имела балто-славянский рецессивный акут; б) окситонированных форм с рефлексом "нового акута"; в) форм с доминантным ("старым") акутом на *-i-* (а также на *-*jǫ* 1 sg. praes.), возникшим в основном в результате действия закона Хирта—Иллич-Свитыча[4]. Стантартная реконструкция парадигмы соответствующих глаголов а.п. $b_2$ включает в себя: а) формы с "новым акутом" на циркумфлектированном суффиксе *-i-*; б) формы со "старым акутом" на акутированном суффиксе *-i-*. Однако архаическая староболгарская система, имея баритонезу с "новым акутом" на корне, регулярно соответствующую формам с ударением на "теме" в стандартной реконструкции, показывает не объясняемое этой реконструкцией разделение форм с акутированным суффиксом: одни из них "регулярно" окситонированы (т.е. имеют ударение на *-i-*, напр., инфинитив), другие же — "нерегулярно" баритонированы (l-причастия, формы аориста и т.д.).

Это распределение находит прямое соответствие в зап.-слав. чередованиях количеств: ст.-болгарским баритонированным формам соответствуют зап.-славянские формы с корневой долготой, ст.-болгарским окситонированным формам — формы с зап.-славянской корневой краткостью. Соотношение архаической ст.-болгарской и зап.-славянской парадигм *i*- глаголов а.п. *b* показано в табл. 1.

Обращает на себя особое внимание то, что формы с сохранением зап.-славянской долготы resp. баритонированные ст.-болгарские формы соответствуют у глаголов а.п. с формам-энклиноменам и ортотоническим формам с "новым акутом" и конечным ударением, тогда как формы с зап.-славянской краткостью resp. с ударением на "теме" *-i-* в архаической ст.-болгарской системе — формам а.п. *c* с ударным ("старым") акутом на "теме".

При этом объяснить архаическую ст.-болгарскую акцентную кривую, исходя из примата зап.-славянского чередования количеств, т.е. как вторичную по отношению к последнему, очевидно, невозможно, так как ст.-болгарская акцентная кривая присуща не только долготным, но и краткостным *i*-глаголам а.п. $b_2$. Наиболее естественным было бы объяснить зап.-славянское чередование количеств, приняв, что оно возникло, когда зап.-славянские языки имели в данных формах акцентовку, тождественную архаической ст.-болгарской. В этом случае

[4] О балто-славянском рецессивном и доминантном акуте см. Николаев 1989, 96—97.

| | Акцентная кривая *i*-глаголов а.п. *b* в архаичных староболг. системах | | Западнославянская "кривая" количеств *i*-глаголов а.п. *b* | Праславянская реконструкция акц. кривой *i*-глаголов а.п. *c* |
|---|---|---|---|---|
| | краткосл. | долгосл. | | |
| inf. | твори́ти | сѫди́ти | *sǫ̑dĭti* | **sadī́ti* |
| sup. | тво́ритъ | сѫ́дитъ[1] | *sǫ̑dĭt* (?) | **sâditъ* |
| praes.sg.1 | творѭ̀ | сѫждѫ̀ | *sǫ̑ʒǫ̑*[2] (?) | **sadjǫ̑*[2] |
| 2 | тво́риши | сѫ́диши | *sǫ̑dīš* | **sadišī* |
| 3 | тво́ритъ | сѫ́дитъ | *sǫ̑dī* | **sadítъ* |
| pl.1 | тво́римъ | сѫ́димъ | *sǫ̑dīme* | **sadímъ* |
| 2 | тво́рите | сѫ́дите | *sǫ̑dīte* | **sadítē* |
| 3 | тво́рѧтъ | сѫ́дѧтъ | *sǫ̑dę̑* | **sadę́tъ* |
| imper.sg.2 | творѝ | сѫдѝ | *sǫ̑dĭ* | **sadī* |
| pl.2 | твори́те | сѫди́те | *sǫ̑dĭte* | **sadī́te* |
| ptc.praes. act. masc. sg.nom. | [тво́рѧ] | [сѫ́дѧ] | *sǫ̑dę̑*[3] (?) | **sadę̑*[3] |
| acc. | тво́рѧщь | сѫ́дѧщь | *sǫ̑dę̑ć* | **sâdętjь* |
| pl.nom. | тво́рѧще | сѫ́дѧще | *sǫ̑dę̑ce* | **sadętjē* |
| aor.sg. 1 | творѝхъ | сѫдѝхъ | | **sadīxъ* |
| 2–3 | тво́ри | сѫ́ди | | **sâdi* |
| pl. 1 | тво́рихомъ | сѫ́дихомъ | | **sadixòmъ*[4] |
| 2 | [тво́ристе] | [сѫ́дисте] | | **sadīste* |
| 3 | твори́шѧ | сѫди́шѧ | | **sadīšę* |
| *l*-ptc.sg.m | тво́рилъ | сѫ́дилъ | *sǫ̑dil* | **sâdilъ* |
| f | тво́рила | сѫ́дила | *sǫ̑dilā* | **sadilā* |
| n | тво́рило | сѫ́дило | *sǫ̑dilo* | **sâdilo* |
| pl.m | тво́рили | сѫ́дили | *sǫ̑dili* | **sâdili* |
| f | тво́рилы | сѫ́дилы | *sǫ̑dily* | **sâdily* |
| n | тво́рила | сѫ́дила | *sǫ̑dilā* | **sadilā* |

Комментарии к табл. 1.: В квадратные скобки заключены формы, акцентовка которых, видимо, является вторичной, возникшей по аналогии с другими формами парадигмы. 1. Супин слабо засвидетельствован в староболгарских текстах. О противопоставлении ударения супина *i*-глаголов а.п. *b* инфинитивному, видимо, свидетельствует баритонированная форма поглѣтитъ в НБКМ 93,л. 39б. 2. Противопоставление корневого количества 1 sg. praes. глаголов а.п. b другим формам praes. подтверждается чешским чередованием 1 sg. *mohu:* 2 sg. *můžeš*, 3 sg. *může* и т.д. (начиная с древнечешского, см. Gebauer III, 2, 33, § 17). Первоначальная доминантность 1 sg. praes. (ср. подобную ситуацию в 2—3 sg. imper. и sg. m/n ptc. praes. act.) подтверждается сохранением ортотонических приставочных форм в архаических гуцульских и западноболгарских говорах (см. Дыбо 1983, Николаев 1991). Бесприставочная баритонированная форма является, таким образом, "новым энклиноменом" (см. ОСА, 177—178). 3. Краткость гласного в

былом nom. sg. m./n. устанавливается по архаичной системе говоров ганацкого (одного из западноморавских) диалекта чешского языка: краткость в деепричастии *młat'a* и imper. *młat', młat'te* при долготе в praes. (*młátím, młátīs* и т.д.), l-ptc. (*młátił, -a, -o*) и инфинитиве (видимо, вторичной, проникшей из супина: *młátit'*), см. Bartoš DM II, 30. С другой стороны, акутированная краткость -*ę* в этой форме подтверждается данными старосербской рукописи южноморавской локализации НБКМ 680 (см. о ее орфографической системе ниже): вєсєлє сє 277b, молєсє 297a, мл҃єсє 312a, стидѐ сє 312 a, и вєсєлѐ сє 344a, троудє сє 347a, тьшєсє 324b. В различных славянских системах засвидетельствованы также "новые энклиномены" на месте этой формы. 4. В а.п. с формант -*i*- в инфинитиве *i*-глаголов доминантен, но тот же формант в супине или *l*-причастии явно рецессивен. Проблематичен характер этого -*i*- в формах аориста. В нашей реконструкции принято, что в формах 2—3 sg. -*i*- рецессивно, а во всех остальных формах доминантно. Это соответствует характеру акцентной кривой в штокавском, но в штокавском эта акцентная кривая принадлежит глаголам как праславянской а.п. c, так и а.п. b, которые слились в едином классе. Показания восточноболгарских текстов архаической группы, напротив, указывают на сплошную рецессивность -*i*- в аористе *i*-глаголов а.п. b. Это противоречие может быть разрешено допущением чередующегося характера данного -*i*- в ортотонических формах аориста, что, возможно, поддерживается реликтами такого чередования в так называемом "имперфекте в форме аориста" от глагола **byti:* бѣ|хѡмь Ев.-апр. 7364, л. 216б и (с двумя знаками ударения) и҆ бѣхѡ́мъ НБКМ 93, л. 95б, при последовательно накоренном ударении во всех остальных ортотонических формах этой категории (формы 2—3 sg., как и у обычного аориста от данного глагола, — энклиномены, ср. Нє бѣ Ев.-апр. 7364, л. 2а, Нє бѣ НБКМ 889, л. 33а), подобная же акцентовка спорадически отмечается в форме 1 pl. аориста и у глаголов на-*i*-: насладихѡм сѧ Служ. Евф. 70а. К такому решению, по-видимому, подталкивает и акцентовка "Книг царств", где при строго накоренном ударении в *l*- причастии *i*-глаголов а.п. b, в формах инфинитива, 1 sg. и 3 pl. аориста наблюдаются варианты с ударением на "теме" -*i*-.

сокращение долгот в инфинитиве, императиве, 1 sg. praes. и nom. sg. ptc. praes. act. m./n. объяснялось бы положением долготного слога перед ударным акутированным слогом, а сохранение долгот в остальных словоформах — их ударной позицией под так называемым "новым акутом". Однако это решение не указывает на исключительную западнославянско-восточноболгарскую общность. Дело в том, что как сокращение долгот перед внутренним ударным акутированным слогом, так и противоречащее этому закону сохранение долготы в формах *l*-ptc. и аориста долгосложных i-глаголов а.п. b характерны фактически для всей территории южнославянской языковой области, на которой сохранились количественные противопоставления и соответствующие позиции. Правда, во всех известных сейчас южнославянских системах такого рода долгота проведена по всей парадигме долгосложных *i*-глаголов а.п. b, но процесс устранения сокращенных рефлексов в парадигме этих глаголов характерен и для зап.-славянской области (так в современных чешском, словацком и польском). Принятие предложенного решения должно означать, что в таких формах как ст.-хорв. (Крижанич) стȣ̄пил (= стȣ̄пи̏л), стȣ̄пи́ли, сȣ̄дил (= сȣ̄ди̏л), потрȣ̄би́л, слȣ̄жи́ла, посав. *povrātīl, pozavlāčīl, svŕšīl* и под. **сохранение долготы обязано её первичной ударности** в системе акцентных кривых, максимально близкой архаической ст.-болгарской. А это означает, что **акцентная система *i*-глаголов а.п. $b_2$ архаического ст.-болгарского типа не является результатом ретракции ударения с "темы" -*i*-, а непосредственно отражает состояние,**

**предшествующее принятому в нашей реконструкции в качестве (поздне)праславянского.** Для данных систем мы должны предполагать дрейф раннепраславянского ударения с корневого слога на доминантный акут[5] и отсутствие такого дрейфа как на рецессивный акут, так и на долготные слоги, имевшие циркумфлексовую интонацию (т.е. в формах презенса).

В ст.-тырновской и близких к ней системах, кроме показанного выше сдвига ударения с краткостных и циркумфлектированных слогов на слоги с доминантным акутом, имеется лишь еще одна позиция сдвига ударения на внутренние слоги: ударение сдвигается на внутренние краткостные слоги как с долготных, так и с краткостных слогов (добро́та, бѣло́сть, жено́ж, nom. pl. воло́вє). На конечные слоги ударение также сдвигалось, если они имели доминантную акутовую интонацию (винà жена̀). Сдвигалось ударение и с долготных циркумфлектированных слогов на конечные слоги с несократившейся долготой (nom. pl. вины̀, ср. же́ны, см. ОСА 174, 222—225). В "старопиротской" системе известен еще один сдвиг ударения — на конечные краткостные слоги: гробà при ст.-тырн. гро́ба. Однако для ст.-тырновской и других близких к ней вост.-болгарских систем (система Константина Костенечского и т.д.) невозможно предполагать в этом случае вторичную ретракцию с конечного слога, т.к. тогда необъяснимо сохранение конечного ударения в формах а.п. с (gen. нєбєсѐ > **nebesê*) и в nom. sg. f. а.п. *b* и *c* (жєнà, винà, главà). Таким образом, приходится отказываться от предположения о так называемой "вост.-болгарской ретракции ударения" (см. ОСА, 164) и признать баритонезу в тво́рилъ, гро́ба и т.п. не инновацией, а архаизмом.

Такое предположение поддерживается и тем, что в болгарском языковом ареале обнаруживаются периферийные системы, в которых, по всей видимости, позиции действия закона Дыбо—Иллич-Свитыча были еще более ограниченными, сдвиг ударения направо осуществлялся в формах а.п. b и лишь на слоги с доминантным акутом. По-видимому, такая система отражена в родопских говорах, которые, к сожалению, еще недостаточно изучены; о древности ее свидетельствует среднеболгарский текст НБКМ 93, в котором ударение не сдвигается с начального краткого на следующий краткий. Это показывают как отдельные словоформы, так и словообразовательные типы: 1.ѡ̀ во́ловѣхъ 71б, nom. pl. m. го́тови 27а, 36а, acc. sg. n. го́тово 39а, ср. аог 3 sg. оу̀го́това 66б, dat.? sg. по ве́чєри 74а, gen. pl. m. и̇ ѡ̀ же́стокь 35а, 2. instr. sg. лѣгото́ж 80б, gen. sg. тѣщєты̀ 31а, instr. pl. щє́дрѡ|тами 61а и т.д. Однако в этом памятнике имеется ряд форм с переносом ударения с долготы на краткость: instr. sg. нѫ̀ любо́виѭ 65а, acc.sg. прѣмѫдро́стъ 66а, dat. sg. прѣмѫдро́сти 66б, loc. sg. въ прѣмѫдро́сти 65а, — что, по-видимому, свидетельствует о переходном характере отраженного в нем диалекта, некоторые черты которого могли возникнуть под влиянием тырновского.

---

[5] Разумеется, дрейфа ударения не происходит со слогов в "доминантным акутом", напр., в а.п. *a* (сла́вити, си́лами и т.д.).

Лингвогеографический ареал болгарских говоров этого типа хорошо очерчивается изоглоссой ударения pl. *вòлове* (при *волòве* на других территориях), см., ОСА, карта 2 на с. 253[6], а также многими специфическими неакцентологическими изоглоссами (такими, как произношение рефлекса *ě в любых позициях как ε и т.д.), речь идет о большинстве рупских и части зап.-мизийских говоров (в основном в р-не Шумена).

Похожая система должна быть предположена в качестве исходной для чешских говоров (в т.ч. литературного чешского), где в частности, *a*-основы а.п. *b* с корневым *-o-* имеют рефлекс нового акута *-ů-* на корне при вариантах с *-o-*, восходящих, видимо, к формам с ударением на "теме" *-a-*, имеющей интонацию "старого", т.е. доминантного, акута. В словацком в этих словах регулярно отмечается *-o-* (при том, что *ô* является здесь рефлексом нового акута, ср. в формах на *-ja: слвц. *vôl'a* и т.д.).

**1. Праслав. а.п.** *b*

(1) **grozá*, асс. **gròzǫ:* чеш. *hrůza* ~ схрв. *gròza*, асс. *gròzu*, русск. *грозá*, асс. *грозý* и т.д.; (2) **korá*, асс. *kòrǫ:* чешск. *kůra* ~ русск. *корá*, асс. *корý*. Неясно схрв. *kȍra* (возможно, под воздействием праслав. **skorjá*, асс. **skòrją*, ср. слвн. *skórja*, аналогично *вȍља*, *кȍжа* и т.д.), ср. также слвц. *kôra* (при регулярном -о- в других словах а.п. b); (3) **kosá*, асс. **kòsǫ* 'коса (инструмент)': чешск. *kůsa / kosa* ~ русск. *косá*, асс. *кóсу* / *косý* 'коса — орудие косца' при *косá*, асс. *кóсу* 'заплетенная коса' (РЛПУ); в схрв. — контаминация в сторону а.п. с *kòsa*, асс. *kȍsu* 'коса (инструмент; волосы)', см. также Иллич-Свитыч 99, 102; (4) **smolá*, асс. *smòlǫ:* чешск. *smůla / smola* ~ схрв. *smòla*, асс. *smòlu*, русск. *смолá*, асс. *смолý*, слвц. *smola;* (5) **sová*, асс. **sòvǫ:* чешск. *sůva / sova* ~ русск. *совá*, асс. *совý*, схрв. *sóva*, асс. *sóvu* (с удлинением; неясен вариант *sȍva*); (6) *morá, асс. **mòrǫ:* чешск. *můra* ~ схрв. *mòra*, асс. *mòru*, слвц. *mora;* (7) **polà*, асс. *pòlǫ:* чешск. *pola / půla* ~ русск. *полá*, асс. *полý*.

**2. Праславянская а.п.** *c*

(1) **kopá*, асс. **kȍpǫ:* чешск. *kopa* ~ схрв. (диал.) *kȍpa* (с обычным вост.-штокавским выравниванием первично окситонированных форм по энклиноменам, ср. *vȍda*, *nȍga* и т.п.); (2) **lozá*, асс. *lȍzǫ:* чешск. (диал.) *loza* ~ схрв. *lòza*, асс. *lȍzu*, укр. *лозá*, асс. *лóзу;* (3) **kozá*, асс. **kȍzǫ:* чешск. *koza* ~ схрв. *kòza*, асс. *kȍzu*, русск. *козá*, асс. (диал.) *кóзу* (об а.п. с в ст.-русских рукописях см. Зализняк 1985, 138); (4) **troxá*, асс. **trȍxǫ:* чешск. *trocha* ~ схрв. (диал.) *trȍha* (см. выше **kopá*); (5) **vodá*, асс. **vȍdǫ:* чешск. *voda* ~ схрв. *vòda*, асс. *vȍdu*, русск. *водá*, асс. *вóду;* (6) **zorá*, **zȍrǫ:* чешск. *zora* ~ схрв. *zòra*, асс. *zȍru;* (7) **rosá*, асс. **rȍsǫ:* чешск. *rosa* ~ схрв. *ròsa*, асс. *rȍsǫ*, русск. (устар.) *росá*, асс. *рóсу* (см. Иллич-Свитыч,

---

[6] Легенда к карте 2 в ОСА содержит опечатки и должна гласить: 1. родопско-мизийский тип; 2. пиринский тип; 3. северо-западный тип; 4. центральный тип; 5. северная и западная граница ударения pl. *вóлове*; 6. граница ударения pl. *кóне*; 7. [illegible]"ятевая граница".

99 с реконструкцией праслав. а.п. с); (8) **nogá*, асс. **nȍgǫ:* чешск. *noha* ~ схрв. *nòga*, асс. *nȍgu*, русск. *ногá*, асс. *нóгу;* (9) **soxá*, асс. **sȍxǫ:* чешск. *socha* ~ схрв. *sòha;* асс. *sȍhu*, русск. диал., стар. *сохá*, асс. *сóху* (см. Иллич-Свитыч, 102); (10) **stopá*, асс. *stȍpǫ:* чешск. *stopa* ~ схрв. *stòpa*, pl. *stȍpe*, производный глагол а.п. с **stȍpjǫ*, **stopītь*[7] (напр., болг. *стопя̀*) при, видимо, вторичном русск. *стопá*, асс. *стóпу*; (11) **dobá*, асс. **dȍbǫ:* чешск. *doba* ~ схрв. *dȍba* (см. выше **kopá*, **troxá*), производный глагол **(po)-dobĭti*, **(pȍ)-dobjǫ* — а.п. с (русск. *уподобúт*, *сподобúтся*, болг. *уподобя̀*).

Другим примером ограничения правостороннего дрейфа ударения является "закон Крижанича", действовавший в части праслав. диалектов, и ранее рассматривавшийся как оттяжка ударения с долгóтных слогов на предшествовавшие долготные. Причем прежде не поддавалось адекватному объяснению сокращение "посленовоакутовых" долгот в некоторых словообразовательных категориях, предшествовавшее предполагаемому действию "закона Крижанича" (поэтому на эти сокращенные гласные сдвигалось ударение в ст.-хорватском диалекте, см. Дыбо СА, 178—184) — ср. чешск. сокращение суффиксального **-ār'ь* в *mlékař*, *mýtař* и т.д.[8] Сейчас оно может трактоваться именно как сокращение заударных долгот (которые в глагольной парадигме были восстановлены по аналогии с краткосложными основами). Видимо, во всех позднепраслав. диалектах существовал запрет переноса ударения на внутренний "доминантный" циркумфлекс (итеративы типа **vòzītь*, дериваты: **nȍžīkъ* и т.д.).

Таким образом, указанные выше факты заставляют нас прийти к необходимости предложить в качестве альтернативного новый вариант реконструкции ряда ключевых компонентов позднепраславянской акцентной системы[9]. Изменения реконструкции заключаются в следующем:

1. Отказ о Станговской теории происхождения "нового акута" как результата оттяжки ударения и признание "нового акута" непосредственным рефлексом балто-славянского циркумфлекса (некорректность генетического отождествления славянского "циркумфлекса" с балтийским циркумфлексом была показана в наших предшествующих работах. См. Дыбо СА, 39—54; ОСА, 53—54).

2. Признание древнейшим (возможно, балто-славянским) процесса передвижения ударения с циркумфлектированных и краткостных

---

[7] Знаком ˜ в новом варианте праслав. реконструкции мы обозначаем интонацию долготных слогов в эпоху, предшествующую правостороннему дрейфу ударения. Этой форме в "стандартной" реконструкции соответствует **stopítь* (с "новым акутом").

[8] В таком случае мы должны рассматривать долготу рефлекса суффикса **-ar'ь* в производных от долгосложных основ а.п. *b* в южнославянских системах, в том числе у Ю. Крижанича, как результат вторичного выравнивания.

[9] Помимо указанных ниже собственно "реконструктивных" и типологических преимуществ предлагаемого варианта он предпочтителен и с лингвогеографической точки зрения, т.к. из него следует, что более архаичные системы сохранились на периферии праслав. ареала, а максимальное количество инновационных процессов было осуществлено в центре этого ареала, что согласуется с хорошо известной науке универсалией. Прежний вариант реконструкции этой универсалии противоречил.

слогов, а также со слогов с рецессивным акутом на следующий слог с доминантным акутом[10].

3. Рассмотрение правостороннего дрейфа ударения (закон Дыбо—Иллич-Свитыча) не как единовременного изменения, а как многоступенчатого процесса с последовательным снятием ограничений его дрейфа.

4. Вытекающее из последнего рассмотрение "праславянских оттяжек" не как результатов сдвига ударения налево, а как действовавших в определенных зонах праславянского ограничений его дрейфа направо.

Такая реконструкция имеет целый ряд преимуществ общего характера: во-первых, мы в большинстве случаев, по-видимому, избегаем необходимости предполагать обратное по отношению к первоначальному направлению акцентуационных процессов; во-вторых, мы восстанавливаем непосредственное генетическое тождество славянских и балтийских слоговых интонаций (слоговых акцентов): славянский акут = лит. акут (˝), лтш. плавная интонация (˜); славянский "новый акут" (´ или ˜, в нотации, принятой югославскими диалектологами) = лит. циркумфлекс (˜), лтш. нисходящая интонация (`); в-третьих, что непосредственно с этим связано, устраняется основное возражение против интерпретационного компонента праславянской реконструкции со стороны фонологической теории: каким образом могли сохраниться в праславянском оппозиции "слоговых акцентов", если один из членов такой оппозиции выпал из нее в результате сдвига акцента на следующий слог, что должно было преобразовать такие противопоставления в вершинообразующие, т.е. чисто акцентные (**mǫ̑ka : *mǫ̑ka > *mǫ̑ka : *mǫ̀ka*), при том, что другие предполагаемые тонологические оппозиции типа: доминантный (высокий, плюсовый) акут ~ рецессивный (низкий, минусовый) акут и доминантный (высокий, плюсовый) акут ~ рецессивный (низкий, минусовый) циркумфлекс не сохранились как таковые и не преобразовались в тональные корреляции (как это происходило в балтийских языках), а перешли в противопоставление ортотонических форм и форм-энклиномеиов (**tãjǫ̑ : *tãjǫ̑ > *tãjǫ : *tajǫ*), т.е. также в чисто акцентные противопоставления. Сохранение в праславянском балто-славянской оппозиции «акут : циркумфлекс» в виде оппозиции «акут : "новый акут"» самым естественным образом снимает это возражение.

Можно отметить, что сдвиг ударения направо не менее типичен для славянских систем, чем левосторонняя оттяжка. Последняя в основном характерна для западной части южнославянского ареала, причем позиции оттяжки ударения существенно различаются в словенских, кайкавских и штокавских говорах, и оттяжки эти в подавляющем большинстве случаев датируются недавним прошлым (например, новоштокавская оттяжка вряд ли произошла ранее XV—XVI в.). Напротив, в отдельных диалектных областях отмечены правосторонние сдвиги ударения, прямо не связанные с рассмотренным выше дрейфом ударения в праславянских ортотонических формах, в которых ударение стояло на слогах с краткостью или балтославянским циркумфлексом. Речь идет, например, а) о свойственном подавляющему большинству словенских говоров и полабскому языку переносе направо славянского "циркумфлекса" в формах-энклиномеиах (слвн. *črevǫ̑*, полаб. *crevü* < **čȇrvo*, gen. sg. слвн. *bogâ*, полаб. *bûgó* < **bȍga*); б) о правостороннем сдвиге ударения с начальных слогов с доминантным акутом в некоторых кариитийских словенских (подъюнск. *ǰigǫ̑tca*, обирск. *jəhǫ̑əda* < **jägod(ic)a*), ю.-зап.-македонских говорах (ср. хорошо зафиксированные в старомакедонских рукописях формы истѝна < **ĩstina*, камѐнь < *kãmenь*, ѝагньць < **ãgnьcь* и т.п.), в современных архаичных ю.-зап.-македонских говорах с сохранением разноместного ударения — костурских, гевгелийских (*jabȕko, jazȅnце, mesȅцi* и т.д.) и в полабском языке (*bobó* < **bãba, sonáj* < **sãni*, n. pl. *baut'ově* < **bũkove* и т.д.).

---

[10] Возможно, этот сдвиг произошел еще в балто-славянском. В таком случае закон де Соссюра в литовском, по которому ударение переносится как на слоги с доминантным, так и с рецессивным акутом, можно рассматривать как дальнейшее развитие балто-славянской тенденции, а снятие ограничения на перенос ударения только на слоги с доминантным акутом — позднейшей балтийской или даже литовской инновацией.

В результате изложенной выше ревизии истории праславянского ударения можно предположить, что наиболее архаичными являются системы типа болгарской рупско-мизийской и чешской. Поэтому эти "законные представители" ранее постулированной I группы (в старых терминах — с почти "полной" левосторонней оттяжкой ударения) не обязательно являются потомками одной генетической единицы, а лишь сохранили архаизм, располагаясь на периферии области иррадиации общеславянских акцентных инноваций.

Напротив, наиболее "продвинутыми", видимо, являются великорусские диалекты IV группы, а также "ресавские" и "южноморавские" сербохорватские говоры. В этих диалектах правосторонний дрейф ударения осуществлен в максимальном числе позиций. Однако объем имеющихся в нашем распоряжении фактов не позволяет доказать или опровергнуть специфическое родство между восточнорусскими и "южноморавскими" системами, поскольку их сходство может являться результатом параллельного развития.

## СУДЬБА КОНЕЧНЫХ ДОЛГОТ

Исследования последних лет показали, что, кроме правил дрейфа ударения и рефлексации а.п. *d*, праславянские диалектные группы различаются еще одним важным признаком — в них по-разному проходил процесс исконно долгих конечных гласных.

Правила правостороннего дрейфа ударения, механизм которого является общим для всех известных славянских систем, накладывались на существующую в данном праславянском диалекте систему количественных противопоставлений[11].

В славянских диалектах представлено по крайней мере три типа рефлексации ауслаутных праславянских долгот.

1-й тип рефлексации имеют исключительно диалекты III группы, а именно, с одной стороны, часть словенских (доленьская диалектная группа и сопредельные переходные говоры, эта система представлена и в словенском литературном языке, а также в подъюнском диалекте)[12] и кайкавских говоров (загорских, пригорских, нижне- и верхнелоньских, туропольском, переходном "чакавско-кайкавском" говоре Озля) и, с другой, поморские (кашубско-словинцские) говоры. В этих системах сохранение праславянских конечных долгот определяется следующим правилом: долготы (как балто-славянские циркумфлектированные, так и акутированные) сохраняются под ударением или отражаются в виде

---

[11] Предположим, при общем для диалектов А и В правиле сдвига ударения с краткостного слога основы на долготный слог суффикса, результаты такого дрейфа могут быть различными, т.к. из праславянских долготных суффиксов α, β, γ и δ в диалекте А к моменту действия указанного закона уже сократились суффиксы α и δ, в то время как в диалекте В все четыре суффикса остались долготными.

[12] Не исключено, что отсутствие нового циркумфлекса в ряде позиций в некоторых гореньских, центрально- и западнокаринтийских говорах, может свидетельствовать об их происхождении из позднепраславянских диалектов с иной системой отражения конечных долгот, хотя отсутствие нового циркумфлекса в ряде категорий может объясняться как вторичное, возникшее по аналогии с формами, в которых эта интонация закономерно отсутствует.

фактора, "наводящего" новый циркумфлекс[13], если они являются доминантными. При этом между словенскими и поморскими системами существует ряд своеобразных схождений, являющихся общими инновациями и говорящими о специфическом их родстве[14]. Характерной особенностью 1-го типа рефлексации является утрата фонетической долготы в ударном окончании *-а* n. — acc. pl. neutr. при сохранении рефлекса этой долготы в новоциркумфлексовой интонации.

2-й тип рефлексации конечных праславянских долгот имеют, с одной стороны, штокавские говоры "литературного типа" (герцеговинские, шумадийско-воеводинские и т.п., а также славонские), с другой стороны — относящиеся к III ("словенской") группе, ст.-хорватский диалект Ю. Крижанича, чакавские говоры, о. Хвара и Брача, словацкие диалекты, а также, видимо, украинские и белорусские полесские и северовеликорусские "ильменско-словенские говоры" (ладого-тихвинские, часть вологодских, костромские), 2-й тип рефлексации конечных праславянских долгот отличается от 1-го тем, что в нем рефлекс краткости имеют: 1) *-а* nom. sg. fem. и 2) *-u* и *-i* loc. sg. *u-* и *i*-основ. С другой стороны, во многих диалектах с сохранением ауслаутных количественных противопоставлений наблюдается сохранение конечной долготы *-а* nom./acc. pl. neutr. (славонские, словацкие). В этом отношении системы со 2-м типом рефлексации долгот сближаются с системами, имеющими 3-й тип рефлексации, т.е. с диалектами II ("антской") группы. В говорах со 2-м типом рефлексации (так же как в говорах II группы) не развивается новый циркумфлекс[15], а конечные долготы (как ударные, так и заударные) либо сохраняются, либо их былое наличие отражается в морфологии.

Видимо, говоры типа ст.-хорватского рано отделились от других говоров III группы и длительное время развивались в контакте с "праштокавскими" говорами. Последние, в свою очередь, видимо, сформировались на периферии ареала II группы диалектов, ср. развитие ударения предконечного слога по "антскому" образцу — противоположное тому, что наблюдается во всех говорах III группы, в том числе у Ю. Крижанича, а также развитие "полуотметности", см. об этом ниже. По некоторым важным признакам штокавские говоры близки подольским украинским говорам, возможно, восходя вместе с последними к одной небольшой праславянской диалектной группировке[16].

---

[13] См.: Дыбо СА, 31—32; ОСА, 32—34. Список именных моновокалических формантов см. в табл. 2.

[14] В частности, отметим конечную долготу неясного происхождения в императиве (из форм дв. ч.?), отраженного в рефлексе нового циркумфлекса в словенском (2 pl. *nesîte*, ср. 2 du. *nesîta*; 2 pl. *kupîte*, ср. 2 du. *kupîta*) и в поморском (2 pl. *prosəcä*, ср. 2 du. *prosáta*; 2 pl. *napíšəcä*, ср. 2 du *napíšáta* — наличие рефлекса нового циркумфлекса на "теме" определяется по отсутствию оттяжки ударения). Однако установить долготный характер окончания *-ta* по данным других славянских языков не представляется возможным.

[15] За исключением особой позиции в gen. pl., связанной с переносом долготы с "долгого ера" в эпоху падения редуцированных.

[16] Интересно отметить, что нетривиальные связи ст.-хорватского, "центрального" штокавского и словацкого согласуются с сообщением Константина Багрянородного о совместном переселении сербов и хорват в VII в. из Белой Сербии и Белой Хорватии, располагавшейся, по его сведениям, к северу от современной Венгрии, т.е. в районе Карпат. Таким образом, видимо, данными лингвистики подтверждается теория "сербо-хорватского клина" на Центральных Балканах, несправедливо отвергнутая в свое время В. Ягичем.

3-й тип отражения праславянских долгот имеют системы всех диалектов, относящихся ко II ("антской") группе. В большинстве засвидетельствованных диалектов этой группы конечные долготы вторично сократились, однако их былое отличие от краткостных отражается в морфологии, т.к. во всех "антских" диалектах ударение сдвигалось с предконечных долготных слогов на конечные долготные, но оставалось на старом месте на краткостных слогах перед конечными долготными. Распределение сокращенных vs. сохранивших долготу конечных гласных прямо не связано с балто-славянскими интонациями и определяется морфологическими позициями (некоторые форманты по какой-то причине сохраняют долготу, другие ее теряют). Для 3-го типа характерно при этом отсутствие долготы в *-a* (nom. sg. fem.) и *-i*, *-u* (log. sg.)

Доказательства долготного характера части из этих окончаний проводятся в ОСА, 124—125 и Николаев 1990. Долготный характер локативного **ě/*i* (*o*-осн. masc.) подтверждается, с одной стороны, данными ст.-пиротской (?) системы акцентуации "Книг Царств" (долгосложные *o*-основы имеют в этой форме окситонезу): вь гро́бѣ 182а, 320а, 326б, вь|гро́бѣ 284б, вь гро́бѣ| 156б (при gen. sg. гробà 163а; восстановление окситонезы в случаях: вь гробѣ̂ 106а, 228а bis, на гробѣ̂ 296а, вь|гробѣ̂ 111б); вь дво́рѣ 146б, вь дво́рѣ 316' а (при gen sg. дворà 183а, дво́рâ 194а (sic), дворâ| 207а и loc. sg. ѿ дворо̑у 194а); вь ро́вѣ 163б, 241б (при gen sg. ровâ 146б, ровà 169а, ѿ ровà 168б, ѿ ровâ| 168б, но и ѿ ро́ва 146б). С другой стороны, подобная система отмечена в окситонированных *o-/u-* основах в белорусском полесском говоре с. Погост Житковичского р-на Гомельской обл., относящемся к особой посожско-припятской ("радимичской") группе (материал предоставлен Н.А. Саскевичем): а) краткосложные основы: *łos'*, gen. *łos'á* — loc. *na łós'i; most, mostá — mós'c'i; snop, snopá — snóp'i; som, somá — sóm'i; stoγ, stoγá — stóz'i; voz, vozá — vóz'i;* б) сокращенные основы[17]: *kust, kustá — kús'c'i; vúγoł, vúγłá — vúγl'i; v'erx, v'erxá — v'érs'i.* Прочие долгосложные основы всегда имеют окситонированные формы локатива на **-ě/i* (имеются и примеры окситонезы локативов от краткосложных основ, вторично возникших под влиянием окситонированных форм парадигмы). Долгота *-u* (gen. sg.) подтверждается богатым материалом галицких украинских говоров, в которых представлены баритонированные формы gen. sg. от как правило краткосложных или "сокращенных" основ окситонированной а.п. при наличии параллельных окситонированных форм на *-a: dv'ir*, gen. *dvóru / dvorá; sud*, gen. *súdu / sudá* (эта модель проникла и в литературный укр. язык). Видимо, не в последнюю очередь долгота генитивного *-u* была причиной "баритонизации" многих краткосложных слов этого типа в "кривичских" белорусских и великорусских говорах (см. материал в ОСА, 135—138).

Единственной засвидетельствованной системой диалекта II группы, сохранившей фонетические конечные долготы, является система староторлакского говора южноморавской локализации, отраженная в старосербской рукописи XV в. НБКМ 680. В орфографии этой рукописи знаком ´ (оксия) обозначается иктус (долготный или краткостный), а знаками ˆ и ¯ (камора и наклонная "грависообразная" лига) — ударные и безударные долготы. Заударные долготы в рукописи отмечаются спорадически, однако большая выборка материала позволяет надежно различить долготные и краткостные служебные морфемы — в частности, количественные характеристики окончаний в склонении а-основ а.п. а.

Краткостные окончания:

nom. sg. ба́нꙗ 118а, боу́ра 10b, 31а, ви́нꙗ 85а, вѣ́ра 48а, ка́|плꙗ 165а, кни́га 228b, мрѣ́жа| 242а, мѣ́ра 108b, ни́ва 106а, па́ра 11b, ноу́|жда 141b, ноу́жда 151b, ноу́жда 316а, 316'b, си́ла бо 100а, си́ла|| 111а, си́ла 130а, 251b, 334а, 347b, си́|ла 183b, си́ла| 340а, сла́ва 10а, 18а, 23b,

[17] Раннее сокращение рефлексов **u, *ǫ*, а также слогов TЪRT, и их морфологическое поведение, идентичное поведению кратких гласных, свойственно обширному ареалу от говоров Припятского Полесья на севере до болгарских и восточноштокавских говоров на юге.

*Таблица 2*

Системы отражений моносиллабических долготных окончаний в склонении существительных

| | 1-й тип | 2-й тип | 3-й тип |
|---|---|---|---|
| | | *о*-основы masc. | |
| -*а*[1] (gen.sg.) | кратк. | кратк. | кратк. |
| -*u* (dat.sg.) | кратк. | кратк. | кратк. |
| -*ě*/*i* (loc.sg.) | кратк. | кратк. | долг. |
| +*i* (nom.pl.) | кратк. | кратк. ? | ? |
| +ъ/ь (gen.pl.) | долг. | долг. | долг. |
| +*y*/*i* (instr.pl.) | долг. | долг. | долг. |
| -*y* (acc.pl.) | кратк. | кратк. | долг. (?) |
| -*a* (n.-acc.du.) | кратк. | кратк. | долг. (?) |
| +*ū* (g.-l.du.) | долг. | долг. | долг. |
| | | *о*-основы neutra | |
| +*a* (n.-acc.pl.) | кратк. с рудиментами долг. | кратк. / / долг. | долг. |
| | | *а*-оновы fem. | |
| +*a* (nom.sg.) | долг. (рудимент) | кратк. | кратк. |
| +*y*/ę (gen.sg.) | долг.[2] | долг. | долг. |
| -*ě*/*i* (dat.sg.) | кратк. | кратк. | кратк. |
| +*ě*/*i* (loc.sg.) | кратк. | кратк. | кратк. (?) |
| -*y*/ę (n.-acc.pl.) | кратк. | кратк. | долг. |
| -*ě*/*i* (n.-acc.du.) | кратк. | кратк. | долг. |
| | | *u*-основы | |
| +*u* (gen.sg.) | кратк. | кратк. | долг. |
| +*u* (loc.sg.) | долг. | кратк. | кратк. |
| -*y* (acc.pl.) | кратк. | кратк. | долг. |
| | | *i*-основы | |
| +*i* (gen.sg.) | кратк. | кратк. | долг. (?) |
| -*i* (dat.sg.) | кратк. | кратк. | кратк. |
| +*i* (loc.sg.) | долг. | кратк. | кратк. |
| -*i* (nom.pl.f) | кратк. | кратк. | ? |
| -*i* (acc.pl.) | кратк. | кратк. | долг. (?) |
| -*i* (n.-acc.du.) | кратк. | кратк. | долг. (?) |

Примечания к табл. 2. 1. Доминантные окончания отмечены знаком "плюс", рецессивные — знаком "минус". Оканчания gen.-loc. du. и gen. pl. в *a*-основах имеют такой же статус, как и в *o*-основах. 2. Трудно поддается объяснению отсутствие в этой позиции нового циркумфлекса в словенских и кайкавских диалектах, хотя о долготе свидетельствуют формы с ударным окончанием: слвн. gen. sg. *kráve*, но *ženę́, vodę́*.

---

34a, 43b, 45a, 59b, 115a, 133a, 182a, 188b, 212a, 231b, 272a, 286b, 316'a, 344b, й сла́ва 202a, ча́ша 306a, ѩ́зва 143b; dat. sg. ни́вѣ 106a, кь пи́щи 49b, си́лѣ 211a, 281a, сла́вѣ 147b, 268a, й сла́вѣ 259b, сла́вѣ| 177b bis; acc. sg. на ви́ю 77a, вы́ю 85a, за ви́ю 125b, вѣ́роу 61b, 220b, 202b, вѣ́рꙋ| 202b, гоу́боу 159b, за́роу 69b, й кни́гоу 37b, кні́гоу 340b, кни́гоу 247a, мрѣ́жоу 10a, й моу́коу 314b, моу́коу 171a, 234b, 288b, вь моу́коу 266a, вь нꙗ́ же мѣ́роу 22a, 256b, й ноуждоу 338b, ноу́ждоу| 340a, й пи́щоу 78a, 125a, пи́щꙋ|| 89a, пищоу| 90a, пи́щоу 90a, 159b, 210b, 309b bis, 310ъ, 340b, 181a, на пи́шоу 338a, ризоу 156a, рызоу 215a, си́лоу 59b, 126b, 173a, 203a, 259a, 303a, си́лꙋ 279a, й си́лоу 107b, 129a, 183b, 216a, 219a, 272b, 203b, сла́воу 102a, 103b, 107b, 108a, b, 109b, 135a, 147b, 206a, 222a, 336b, 349b, вь сла́воу| 86b, й сла́воу 99a, да́ вь|сла́воу 342b, ча́шꙋ 247a, ча́шꙋ| 31a, ча́шоу 132a bis, ча́|шоу 180b, ѩ́звоу 151b, 167b, 249a, 312b, 309'a; loc. sg. вь коу́пѣ 27a, 163a, 175a, 201a, вь коу́|пѣ 96a, вь коу́пѣ же 174b, 176a, моу́|цѣ 163a, вь ноу́жди 310a, ры́зѣ 306a, по си́лѣ| (или dat.) 349a, вь сла́вѣ| 101b, 285a, вь сла́вѣ 108a, 111a, вь ти́нѥ 315b, 331b, на ча́ши 306a.

Долготные окончания:

gen., sg. й боу́рê 337b, вѣры̄ 29a (ср. с обозначением только иктуса вѣ́ры 62a, 210a, ѿ вѣ́ры 300a), ѿ ка́плѥ̄ 165a (ср. ка́плѥ| 143b); nom.-acc., pl. боурē 140a (ср. боу́рѣ 218a), й пѣ́ни 278a (ср. вь пѣ́ны 161b, й пѣ́ы 278b, пѣ́ны| 279b), си́лы̄ 177a (ср. си́лы 177b, 213b, 277b).

## Правосторонний дрейф ударения как многоступенчатый процесс

Выше было предложено рассматривать правосторонний дрейф ударения как многоступенчатый процесс с последовательным снятием ограничений. Такой процесс можно рассмотреть на соотношении акцентных систем диалектов, входящих в III ("словенскую") и II ("антскую") группы[18].

В диалектах III группы, при общем для них всех а) запрете на перенос ударения с долготных слогов на последующие долготные ("закон Крижанича") и б) проведенном во всех них сдвиге ударения с краткостных слогов на внутренние и конечные краткостные слоги и внутренние слоги с рецессивным акутом, а также в) сдвиге ударения с долготных слогов на краткостные слоги, выделяются следующие системы, в которых, в дополнение к сказанному выше: IIIA. Не происходит никаких новых сдвигов ударения — штирийская диалектная группа и прекмурский диалект словенского языка, кайкавский загорский диалект. IIIB. Ударение сдвигается в максимальном

[18] Ниже специально не оговариваются: а) общеславянский запрет на правосторонний сдвиг ударения со слогов с доминантным акутом (**žăba*, **jăgoda*), б) на слоги с доминантным циркумфлексом (**slŭžītь*, **nòsītь*, **nòžīkъ*), а также общеславянский (балто-славянский?) сдвиг ударения на слоги с доминантным акутом (**ženā*, **tvorīti*, **služīti*). Под "внутренними долготами" подразумеваются исключительно долготы с балто-славянским рецессивным циркумфлексом, когда речь идет о том, что на них переносится ударение; под конечными долготами — не сократившиеся в каждой из праславянских групп долготы (см. выше). Не учитываются оттяжки и сдвиги ударения, поздний характер которых может быть точно установлен (новоштокавская оттяжка, словенская оттяжка ударения с конечных краткостных слогов и т.д.). Когда речь идет о внутренних и конечных слогах, имеется в виду ситуации до падения слабых редуцированных.

числе позиций (за исключением позиции "закон Крижанича") — ст.-хорватский диалект Ю.Крижанича, чакавские говоры о-вов Хвар и Брач, украинские и белорусские полесские говоры, "ильменско-словенские" великорусские говоры. Тем же характеризуется группа IIIБ (доленьская группа словен. диалектов и словен. литер. язык), основанием для выделения которой является характерный для этой группы и объединяющий ее с группой IIIА дрейф конечных долгот, приводящий к образованию "нового циркумфлекса", в то время как в группе IIIВ такой результат отсутствует (см. табл. 3а).

Общими для диалектов II ("антской") группы являются две позиции запрета на сдвиг ударения: а) с краткостных слогов на конечные долготные; б) с внутренних краткостных слогов на внутренние долготные (что приводит к возникновению "полуотметности", см. ниже), при том что в) во всех системах II группы происходит сдвиг ударения с долготных слогов на конечные долготные и с начальных долготных и краткостных на внутренние краткостные. Помимо указанных выше позиций различные диалекты имеют следующие позиции сдвига ударения: IIА. Новых сдвигов не происходит — вост.-болгарские диалекты типа ст.-тырновского, современные болгарские вост.-балканские говоры без "полуотметности". IIБ. Сдвиг происходит с долготных и краткостных слогов на конечные краткостные — пиротский и близкие к нему торлакские говоры. IIВ. Сдвиг происходит с долготных и краткостных слогов на конечные краткостные слоги и внутренние слоги с рецессивным акутом — зап.-болгарские, пиринско-малешевские македонские, галицкие[19] (прикарпатские и закарпатские) говоры, белорусские и великорусские говоры "кривичского" и "радимичского" происхождения. IIГ. К позициям системы В добавляется еще сдвиг ударения с начальных краткостных слогов на внутренние долготные — "ресавские" штокавские говоры (напр., левачский), южноморавские торлакские говоры.

Особую систему сдвигов ударения, которая совмещает признаки II и III групп, имеют штокавские говоры "литературного типа" (шумадийско-воеводинские, герцеговинские и т.п., а также славонские говоры, в том числе и литературный сербохорватский язык). Сдвиг ударения на последние слоги происходит по "антским" правилам (например, pl. neutr. *лúца* < *лȗцā* < "прашток." **ȗсā* < праслав. **ȗсā*, но *сѐла* < праслав. **sèlā*); внутренние сдвиги происходили по правилам "словенским"

---

[19] Галицкими говорами мы называем западноукраинскую диалектную группировку, в которую полностью входят бойковские, лемковские (по крайней мере говоры со свободным ударением к востоку от Лаборца), сянские, закарпатские (мараморошские, боржавские, ужанские, верховинские), галицко-днестровские, покутские говоры, а также, видимо, западноволынские (бужанские), говоры; частично к галицкому диалекту относятся гуцульские (типично галицкими являются говоры к западу от Белого Черемоша) и буковинские (в их западной части). Галицкий диалект отделяется от других украинских целым пучком специфических изоглосс (не только акцентологических); он лежит в основе западного варианта украинского литературного языка (отраженного, например, в словаре Е. Желеховского) и оказал сильное влияние на современный ("восточный") вариант укр. литер. языка.

(например, 2 sg. praes. *сȳдӣш* < "прашток." *сȳдӣш* < праслав. **sǫdīšь*), однако, в отличие от "словенских" систем, не происходило сдвига ударения с **внутренних** краткостных слогов на последующие долготные, что привело к образованию системы "полуотметности" — явления, характерного для диалектов II группы.

В восточнорусских диалектах (праславянская IV группа) сдвиг ударения направо произошел в максимальном числе позиций (за исключением указанных выше "общеславянских" ограничений). Лишь в nom.-acc. pl. и du. neutr. сохраняются следы того, что ударение сдвигалось на долготные окончания с долгосложных основ и не сдвигалось с краткостных. В восточнорусских говорах и старорусских рукописях восточной локализации спорадически отмечаются окситонированные формы pl. типа *лицá, гнѣздá* и т.д., но только от долгосложных основ. Такое же соотношение баритонезы и окситонезы показывают реликты двойственного числа *o*-основ ср. р. а.п. b: краткосложное

*Таблица 3а*

| | IIA | IIБ | IIB | IIГ |
|---|---|---|---|---|
| 1 **ženā*<br>**služīti* | *žena̍*<br>*služi̍ti* | *žena̍*<br>*služi̍ti* | *žena̍*<br>*služi̍ti* | *žena̍*<br>*služi̍ti* |
| 2 **dòbrota* | *dobróta* | *dobróta* | *dobróta* | *dobróta* |
| 3 **mǫ̃drostь* | *mǫdróstь* | *mǫdróstь* | *mǫdróstь* | *mǫdróstь* |
| 4 **krīdlā* | *kridlà* | *kridlà* | *kridlà* | *kridlà* |
| 5 **kǫ̃ta* | *kǫ̀ta* | *kǫtà* | *kǫtà* | *kǫtà* |
| 6 **gròba* | *gróba* | *grobà* | *grobà* | *grobà* |
| 7 **sǫdītē* | *sǫ̀dite* | *sǫ̀dite* | *sǫdi̍te* | *sǫdi̍te* |
| 8 **tvòrīlo*<br>**sǫdīlo* | *tvórilo*<br>*sǫ̀dilo* | *tvórilo*<br>*sǫ̀dilo* | *tvori̍lo*<br>*sǫdi̍lo* | *tvori̍lo*<br>*sǫdi̍lo* |
| 9 **tvòrītь* | *tvóritь* | *tvóritь* | *tvóritь* | *tvori̍tь* |
| 10 **sèla* | *sèla* | *sèla* | *sèla* | *sèla* |
| 11 **nòsītь*<br>**slūžītь* | *nósitь*<br>*slúžitь* | *nósitь*<br>*slúžitь* | *nósitь*<br>*slúžitь* | *nósitь*<br>*slúžitь* |
| 12 **žāba*<br>**prāviti* | *žàba*<br>*pràviti* | *žàba*<br>*pràviti* | *žàba*<br>*pràviti* | *žàba*<br>*pràviti* |

| | IIIA | IIIБ | IIIB |
|---|---|---|---|
| 1 *ženā̃<br>*služīti | ženà<br>služiti | ženà<br>služiti | ženà<br>služiti |
| 2 *dobrota | dobròta | dobròta | dobròta |
| 3 *tvòrīlo<br>*sǫ̃dīlo | tvorìlo<br>sǫdìlo | tvorìlo<br>sǫdìlo | tvorìlo<br>sǫdìlo |
| 4 *gròba | grobà | grobà | grobà |
| 5 mǫ̃drostь | mǫdròstь ? | mǫdròstь | mǫdròstь |
| 6 *kǫ̃ta | kǫtà | kǫtà | kǫtà |
| 7 *sèlā | sèla | selà | selà |
| 8 *tvòrītь | tvòrıtь | tvorìtь | tvorìtь |
| 9 *sǫ̃dīte | sǫ̀dite | sǫ̀dite | sǫ̀dite |
| 10 *krīdlā | kridla | kridla | kridla |
| 11 *nòsītь | nòsitь | nòsitь | nòsitь |
| 12 *žā̃ba<br>*prā̃viti | žàba<br>pràviti | žàba<br>pràviti | žàba<br>pràviti |

Примечание к табл. 3а и 3б. Справа от двойной линии находятся формы со сдвигом ударения.

Имеющиеся в настоящее время лингвистические данные не позволяют установить, на какой территории в праславянском происходили рассматриваемые оттяжки, но расположение более и менее архаичных систем в южнославянском ареале показывает, что наиболее архаичные (IIIA, IIA) системы находятся на его периферии, а наиболее инновационные (IIIB, IIГ, а также переходные между II и III группами штокавские говоры "литературного типа") — в центре. Есть также основания предполагать, что эта картина, судя по внешним связям данных диалектов, сложилась не на современной южнославянской территории, а хотя бы частично в более ранний период.

---

*плéчи* (< **plèčī*, от **plèče*) при долгосложном *мудé* (< **mǫ̃dē*, от **mǫ̃do*)[20].

В табл. 3а и 3b показана "градуальность" правосторонних сдвигов ударения во II и III группах.

---

[20] См. также подборку форм дуалиса в русских диалектах в: *Брандт Р.Ф.* О двойных формах и об ограниченном числе // Новый сборник статей по славяноведению, составленный и изданный учениками В.И. Ламанского. СПб., 1905.

## ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ "ПОЛУОТМЕТНОСТИ"

Изменения в праславянской реконструкции и установление точных позиций правостороннего дрейфа ударения позволяют предложить наиболее убедительное решение проблемы так называемой "полуотметности"[21], т.е. противопоставления баритонированных приставочных окситонированным бесприставочным формам глагола.

В большинстве известных систем первоначальное распределение "полуотметных" и "неполуотметных" форм глагола затемнено вторичными перераспределениями, но материал архаичных систем показывает, что первоначально в модели "полуотметности" участвовали только тематические, *ě/i*-глаголы[22] и *i*-глаголы а.п. $b_2$ (т.е. с рецессивной "темой").

Системы с "полуотметностью" занимают обширный географический регион в юго-восточной области расселения славян. Существуют следующие основные системы "полуотметности".

1. "Галицко-западноболгарская". В галицких украинских говорах "полуотметность" вторично (выравниваясь по формам презенса) распространилась на всю глагольную парадигму *ě/i*- и отчасти тематических глаголов. Такую систему имеет юго-западная часть галицких украинских говоров (в основном закарпатские говоры); в остальной части галицких говоров и в части других украинских и юго-западных белорусских говоров, в том числе в украинском литературном языке, "полуотметность" есть только у *ě/i*-глаголов, причем также в виде противопоставления колонной окситонезы бесприставочных глаголов колонной баритонезе приставочных. Характерной особенностью этих систем является то, что в них, при вторичной "колонной" парадигме ударения приставочных форм глагола, в основном сохраняется праславянский в своей основе принцип распределения глаголов: к "полуотметным" относятся краткосложные глаголы а.п. $b_2$ и, вторично, глаголы а.п. *c* с "сокращенным" корнем, к "неполуотметным" — т.е. сохраняющим окситонезу приставочным — относятся долгосложные глаголы а.п. $b_2$ и глаголы — в основном краткосложные — а.п. *c*[23]. Следы архаического распределения тема-

---

[21] Болгарский термин, введенный Б. Цоневым (*Цонев Б.* Към историята на български език // Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Кн. XIX. София, 1903). "Полуотметным" это ударение названо потому, что предполагалась левосторонняя оттяжка ударения в болгарских приставочных формах *l*-причастия и аориста: болг. литер. *ходùл — приходùл, минàл — замùнал, писàх — напùсах* и т.п.

[22] О реконструкции а.п. $b_2$ тематических и *ě/i*-глаголов см. в ОСА, 36—37.

[23] Например, в говоре с. Керецки́ Свалявского р-на Закарпатской области к "полуотметному" типу относится *ležátı, léžu, ležít'*: *poléžatı, poléžu, poléžıt'*, так же акцентуются глаголы *ležátı, boátıs'a, stoátı, ter'p'ítı, sıd'ítı, lęt'ítı, bol'ítı*. К "неполуотметному" типу относятся *mowčátı, mowčú mowčít'*: *zamowčátı, zamowčú, zamowčít'*, так же акцентуются глаголы *drıžátı, vert'ítı, γor'ítı, vel'ítı, kıp'ítı, γrım'ítı, b'íγnutı* (с *i*-презенсом: *b'ížú, b'ižít'*). О "полуотметности" в закарпатских тематических глаголах см. Николаев 1991. Отсутствие "полуотметности" в *i*-глаголах объясняется регулярной для этих говоров баритонезой презенса глаголов а.п. *b*.

"Полуотметность" в галицком диалекте отмечается не только в глаголе. Так, в склонении местоимений чередуются окситонированные беспредложные (беспрефиксные) и баритонированные формы с предлогами (префиксами). Например, в гуцульском говоре, с. Луги Раховского р-на Закарпатской обл.: *tebé — do tébe, tob'í — ıd tób'i, jeγó — do néγo, koγó — v'id kóγo, n'ikóγo, komú — ıd kómu, n'ikómu* и т.д.

тических и *ě/i*-глаголов по двум классам отмечаются в некоторых староболгарских памятниках западной локализации, акцентная система которых, как и система галицких украинских говоров, является характерной для II группы (Ис. Сир., наиболее последовательно — в НБКМ 38 и Рил. 1/26 и в современных западноболгарских говорах), при этом ст.-западноболгарская система сохраняет архаичное насуффиксальное ударение в инфинитивно-аористной основе *ě/i*-глаголов "полуотметного" класса. Система НБКМ 38 при этом совмещает данную систему "полуотметности" с "центральноболгарской" — см. ниже пункт 4.

2. "Ресавская". "Полуотметность" присуща презенсу как *ě/i*- и тематических, так и *i*-глаголов (при том что в аористно-инфинитивной основе ударение насуффиксальное), при этом к "полуотметному" классу относятся краткосложные, а к "неполуотметному" — долгосложные глаголы. Такую систему имеют "ресавские" сербские говоры, относящиеся к праславянской II группе[24] (в частности, говоры междуречья Зап. Моравы и Моравы, Трстеника)[25]. Такие системы представлены, видимо, изначально были характерны также для зета-ловченских и косово-метохийских говоров[26]. В пиринско-малешевских македонских говорах "полуотметность" присутствует у любых глаголов, имеющих окситонированный бесприставочный презенс.

3. "Штокавская". "Полуотметность" свойственна только презенсу краткосложных *i*-глаголов, бесприставочные формы которых окситонированы (т.е. праславянских глаголов а.п. $b_2$ и *c*)[27]. Эта система характерна для штокавских говоров "литературного типа" (в том числе литературного сербохорватского языка): *лòжӣш — пòложӣш* и т.п. Малочисленные окситонированные в презенсе долгосложные глаголы "полуотметности" не имеют: *трýбӣш — затрýбӣш*.

4. "Центральноболгарская". "Полуотметность" отмечается только в формах аориста и *l*-причастия у *i*-глаголов (а также — вторично? — у *a/je*-глаголов типа **pьsati*, **pišǫ* и у *nǫ*-глаголов) с баритонированным презенсом (в диалектах, в которых сохраняется окситонеза презенса глаголов а.п. *c*, "полуотметными" являются глаголы а.п. $b_1$ и $b_2$, а также, вторично, и *a*). Такая система характерна для центрально- и западноболгарских говоров (а также болгарского литературного языка) ареал которых имеет следующую конфигурацию: восточная

---

[24] В "ресавских" говорах наиболее последовательна представлена окситонеза в рефлексах слов. а.п. *d*.

[25] См., например, об ударении глагола *Симиħ Р.* Левачки говор // СДЗб XIX, 1972, 409—459. В левачском говоре "полуотметность" регулярна в тематических и *i*-глаголах и отчасти сохраняется в *ě/i*-глаголах.

[26] Эти диалектные группировки недостаточно изучены в акцентологическом отношении. Ясно лишь то, что исторически они происходят не из "праштокавского", а из других позднепраславянских диалектов. В частности, зета-ловчеиские говоры во многих отношениях близки к центрально- и восточноболгарским. В *i*-глаголах в этих говорах презенс бывает только баритонированным; такая же ситуация характерна и для пиринско-малешевских говоров.

[27] Остатки былого различения "неполуотметных" глаголов а.п. *c* и "полуотметных" глаголов а.п. $b_2$ отмечены в некоторых шумадийских говорах и ст.-сербских памятниках (напр., НБКМ 889).

граница проходит приблизительно по линии Плевен — Ловеч — Карлово — Пловдив, южная — по линии Пловдив — Пазарджик — Самоков, западная — по линии Самоков — София — Берковица — Белоградчик, северная граница проходит по Дунаю. Кроме того, "полуотметные" системы представлены в микроареалах в районе Ст. Загоры, Котела и Сливена и в переселенческих (?) говорах нижнего течения Тунджи. Переходной между "центральноболгарской" и "галицко-западноболгарской" системами является "полуотметность" болгарских говоров на границе малешевско-пиринского и центрально-болгарского ареала, отраженная, например, в рукописях НБКМ 38 и Рил. 1/26: в этих говорах совмещена "полуотметность" презенса *ě/i-* и тематических глаголов а.п. $b_2$ (презенс *i*-глаголов этой а.п. баритонирован и в бесприставочных формах) с "полуотметностью" в приставочных *l*-причастиях у *i*-глаголов (а также у *a/je*-глаголов типа **pьsati, *pišǫ*) а.п. b.

Особый интерес представляет развитие "полуотметности" в *ě/i-* и тематических глаголах. Характерной особенностью рефлексации презенса *e/i*-глаголов а.п. $b_2$ и *c* практически во всех славянских диалектах является, при формальном совпадении презентной "темы" *-i-* этих глаголов с соответствующим формантом *i*-глаголов, отличное от последних развитие: презенсы *ě/i*-глаголов ведут себя так же, как презенсы тематических глаголов[28]. Дело в том, что *-i- ě/i*-глаголов, фонетическая долгота которого реконструируется для праславянского по данным как южно-, так и западнославянских языков, морфонологически ведет себя в большинстве случаев как краткий гласный. Такой же морфонологический статус имеет и исконно краткое тематическое *-e-*, удлинение которого произошло на праславянском уровне (см. ОСА, 18), но рефлексы этого "нового долгого *e*" не совпадают с рефлексами **ě*. Презентный формант *-i- ě/i*-глаголов (в отличие от квазиомонимичного форманта *i*-глаголов, восходящего к стяженному дифтонгу, и.-е. *-*eie-*) восходит, парадоксальным образом, к балто-славянскому краткому *-i-* (ср. литов. *sėdėti*, praes. *sėdžiu*, *sėdi*). Видимо, презентное *-i- ě/i*-глаголов следует рассматривать как удлиненное раннеславянское *-*ĭ-* (аналогичное удлиненному в позднеславянском тематическому *-*ě-*), причем удлинение это происходило еще в период, когда раннепраславянское **ĭ* качественно не было противопоставленно долгому **ī*, а **ě* по качеству отличалось от **ě*. Соответственно и сдвиг ударения *ě/i-* и тематических глаголов с корня на "тему", видимо, происходил в период до удлинения (скорее всего, по аналогии с "дифтонгическим" *-ī- i*-глаголов) формантов *-*ĭ* и *-*ě-* в презенсе. В противном случае презенс тематических и *ě/i*-глаголов развивался

[28] Например, в штокавском соответствующие глаголы с корневой долготой (восходящие к а.п. $b_2$) имеют, в отличие от *i*-глаголов, рефлекс презентной окситонезы: *bijèžati — bijèžīm, tŕpjeti — tŕpī, kípjeti — kípī, smŕdjeti — smŕdī, múčati — múčī* и т.д. В долгосложных глаголах а.п. с представлена корневая краткость: *sjèdjeti, vŕtjeti* и т.д.

бы в диалектах с разными системами сдвигов аналогично презенсу *i*-глаголов[29].

Аористно-инфинитивная основа *ě/i*-глаголов имела доминантное акутированное -**ē*- (> *ě/a*-): *l*-ptc. **sědělъ*, 3 sg. aor. **sědě* и т.д. от глаголов а.п. *c*, поэтому в а.п. *b* на него ударение сдвигалось в раннепраславянском языке и в этой основе "полуотметные" формы фонетическим путем не могли образоваться, что подтверждается засвидетельствованными архаичными системами. Напротив, в презентных формах ударение в праславянском языке до начала процесса правостороннего дрейфа ударения находилось на корне. В дальнейшем в диалектах III и IV групп и в "праштокавском" произошел сдвиг ударения на краткий (в то время) презентный формант независимо от того, был ли слог, с которого ударение сдвигалось, начальным (в глаголах без префикса) или внутренним (в префиксальных глаголах), поэтому явление "полуотметности" в этих группах отсутствует. Напротив, в "антских" диалектах ударение сдвигалось с краткостных слогов на последующие слоги с кратким гласным только с начальных слогов и не сдвигалось с внутренних слогов: 3 sg. praes. *lègĭtĭ* > *ležĭtĭ*, но *prĭlègĭtĭ* > *prilĕžĭtĭ* (при том, что с долготных оно сдвигалось в любой позиции: *bēgĭtĭ, pobēgĭtĭ* > *bĕžĭtĭ*, *pobĕžĭtĭ*). Поэтому "ресавская" и "галицко-западноболгарская" системы полуотметности *ě/i*- и тематических глаголов устроены одинаково. Различие в презентной "полуотметности" между этими системами представлено лишь в *i*-глаголах — по той причине, что в "ресавских" говорах, в отличие от западноболгарских и галицких, ударение вторично сдвигалось с начальных слогов на внутренние долготные слоги (см. выше). При этом в "полуотметности" не принимают участия и непрезентные формы *i*-глаголов с рецессивным акутированным -*i*- (галицкая ситуация несомненно вторична), т.к. сдвиг ударения на слоги с рецессивным акутом в праславянских предшественниках этих диалектов происходил независимо от положения слога, с которого он сдвигался.

Иначе обстоит дело с отличием названных выше систем от "центральноболгарской". В последней "полуотметность" отсутствует (неясно, первично или вторично) в презенсе *ě/i*- и тематических глаголов (в презенсе *i*-глаголов она не могла бы в любом случае возникнуть, т.к. бесприставочные формы а.п. $b_2$ здесь регулярно баритонированы, в том числе и у долгосложных глаголов). Различие между "ресавско-галицко-западноболгарской" и "центральноболгарской" полуотметными системами заключается в том, что фонетико-просо-

---

[29] О том, что в каких-то формах приставочных *ě/i*-глаголов ударение не сдвигалось вправо с ударного слога и в зап.-славянских языках, говорит "нетипичное" сохранение долготы приставки в некоторых глаголах этого класса. Например, в чешском начиная с др.-чешского: др.-чеш. *přídržěti sě; náležěti, záležěti, přileżěti, přináležěti; snábděti; nástáti* (< *nástojati*). О том, что эта долгота отражает именно накоренное ударение, говорят соответствующие формы глаголов а.п. а: *záviděti, náviděti*, совр. *závisěti, souvisěti, příslušeti*. Аналогичные формы известны из словацкого и лехитских языков. Первым на значение этих форм для объяснения украинских "полуотметных" обратил внимание Л.А. Булаховский (*Булаховский Л.А.* Акцентологический комментарий к чешскому языку. Вып. 2, 3. Киев, 1956. С. 120).

дические условия образования последней были совершенно иными: "центральноболгарская" полуотметность есть ничто иное как продвинутый вариант "архаической староболгарской" системы акцентуации (см. табл. 1), в которой, как известно, в а.п. $b_2$ ударение не сдвигалось вправо на последующие слоги с рецессивным акутом. "Центральноболгарская" полуотметность отражает систему, в которой в этой позиции ударение не сдвигалось на слоги с рецессивным акутом, находясь на внутренних слогах (в данном случае в приставочных формах) и сдвигалось с начальных, при этом количество корневого гласного не имело здесь значения.

Характерно, что в переходной системе, отраженной, в частности, в рукописях НБКМ 38 и Рил. 1/26, в которой презенс *i*-глаголов а.п. $b_2$ ведет себя по "антскому" типу (баритонированные презенсы от краткосложных: окситонированные от долгосложных глаголов), "полуотметность" в аористно-инфинитивной основе характерна только для краткосложных глаголов.

Видимо, в болгарских системах западной окраины центральной зоны, подобных представленной в этих рукописях, при сдвиге "антского" типа (т.е. только с долготных слогов на следующие долготные) слоги с рецессивным акутом вели себя аналогично циркумфлектированным долготным. Об этом, видимо, свидетельствуют и некоторые словообразовательные модели. Например, в словаре Н. Герова (уроженца Копривштицы) акцентовка прилагательных с суф. *-ęn-*, имевшем праславянский рецессивный акут, распределяется идентичным образом: а) от краткосложных основ: *стъ́клен, о́гнен, коно́пен, ове́сен, смо́лен, во́счен;* б) от долгосложных основ: *платне́н, влакне́н, сукня́н* (*су́кнен*), *влася́н* (*вла́сен*). Таким образом, хотя принципиальное устройство механизма "полуотметности" в "ресавско-галицко-западноболгарской", с одной стороны, и в "центральноболгарской" системе одинаково, точки приложения этого механизма различны.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, новые данные акцентологии:

а) Подтверждают существование в позднепраславянскую (возможно, отчасти и в более раннюю) эпоху значительных (применительно к близкородственным диалектам) различий, многие из которых сформировались задолго до расселения славян на обширных территориях. Современные диалектные ареалы (южно-, восточно- и западнославянский) оказываются гетерогенными, сложившимися из позднепраславянских диалектов, "продолжения" которых находятся в настоящее время в отдаленных друг от друга лингвогеографических ареалах, нынешняя цельность которых является в ряде случаев результатом конвергентного развития. В частности, этим объясняется тот факт, что не имеется ни одной специфической "общеюжно-", "общевосточно-" или "общезападнославянской" акцентной изоглоссы[30].

[30] Речь не идет, разумеется, о таких вторичных процессах, как, например, утрата количественных противопоставлений в вост.-славянских языках или разноместного ударения в большинстве зап.-славянских.

Примером может служить древнее специфическое родство отдельных компонентов южнославянского диалектного континуума с диалектами, входящими в настоящее время в другие славянские ареалы. В частности, часть словенских и кайкавских говоров связана с лехитскими поморскими говорами; чакавские диалекты типа говора о. Суска — с "ресавскими" штокавскими, западноболгарскими и малешевско-пиринскими македонскими говорами, галицкими украинскими говорами, "кривичскими" белорусскими и великорусскими говорами, белорусскими, говорами Посожья, юго-западными чешскими и вернелужицкими говорами; штокавские говоры "литературного типа" (в т.ч. славонские) — с подольскими украинскими говорами; чакавские диалекты типа говоры о-вов Хвара и Брача и старохорватские говоры, в средние века располагавшиеся в междуречье Уны и Купы — с полесскими белорусскими и украинскими, словацкими говорами; "торлакские" сербские говоры типа пиротских — с восточноболгарскими говорами типа тырновских, к ним же по многим древним признакам близки зета-ловченские штокавские говоры.

б) Подтверждают древнее формирование во многих отношениях кардинально различных в акцентологическом отношении, характеризующихся особым набором изоглосс (ряд из которых представляют собой органически не связанные между собой инновации) позднепраславянских диалектных группировок (возможно, их можно считать праславянскими диалектами), наиболее крупными из которых являются II ("антская") и III ("словенская"). Новый взгляд на направление развития раннепраславянской акцентуационной системы в позднепраславянских диалектах, расценивая процесс правостороннего дрейфа ударения как многоступенчатый, дает возможность установить степень архаичности позднепраславянского диалекта-предшественника той или иной засвидетельствованной диалектной системы.

С другой стороны, удается установить относительную хронологию некоторых древних акцентологических изменений. Так, например, мы в праве рассматривать сокращение конечных долгот, осуществлявшееся по разным правилам с позднепраславянских диалектах-предшественниках II и III групп, как предшествовавшее правосторонним сдвигам ударения на конечный слог.

в) Поэтому со всей серьезностью можно поставить вопрос о создании исторической лингвогеографии славянских языков (диалектов), которая позволила бы воссоздать реальную картину лингвогеографического членения позднепраславянского языка.

Докл. — *Булатова Р.В., Дыбо В.А., Николаев С.Л.* Проблемы акцентологических диалектизмов в праславянском // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации. М., 1988.

Дыбо СА — *Дыбо В.А.* Славянская акцентология. Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. М., 1981.

*Дыбо В.А.* Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических глаголов с корнями на нешумный (материалы к реконструкции). II. Некоторые дополнения и уточнения к характеристике ряда южнославянских акцентных систем презенса // Балто-славянские исследования. 1982. М., 1983.

Ев.-апр. 7364 — Евангелие-апракос (сербская рукопись начала XV в) ГБЛ, отдел рукописей, ф. 178, № 7364.

*Зализняк А.А.* От праславянской акцентуацни к русской. М., 1985.

Зогр. 151 — Сборник: среднеболгарская рукопись.

*Иллич-Свитыч В.М.* Именная акцентуация в балтийском и славянском. Судьба акцентуационных парадигм. М., 1963.

"Книги царств" — старосербская рукопись 1418 г. (писа́ се сїа̀ кни́га вь подкри́лїи горы̑ прозрака близь храма прч҃стыє бце и҃же на любосты́ни л. 333б; писец Досифей, в миру Моисей л. 334а). Одесская гос. народная б-ка.

НБКМ — Народная библиотека "Кирил и Методи". София.

НБКМ 38 — Евангелие (западноболгарская рукопись XV в.). НБКМ, рукописный отд., № 38. Написана тем же писцом, что и Рил. 1/26.

НБКМ 93 — Апостол (болгарская рукопись конца XIV в.). НБКМ, отд. рукописей, № 93.

НБКМ 680 — Сборник слов и житий (сербская рукопись XV в.). НБКМ, отд. рукописей, № 680.

НБКМ 889 — Апостол (старосербская рукопись XV в.). НБКМ, отдел рукописей, № 889.

*Николаев С.Л.* Балто-славянская акцентуацнонная система и ее индоевропейские истоки // Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод. М., 1989.

*Николаев С.Л.* Восточнославянские акцентологические изоглоссы // Исследования по исторической грамматике и лексикологии. М., 1990.

*Николаев С.Л.* К реконструкции праславянских тематических глаголов с корнями на шумный // Славистика. Индоевропеистика. Ностратика. Тезисы докладов. М., 1991.

Николаев АДД — *Николаев С.Л.* Сравнительно-историческая акцентология и лингвогенез славян. Научный доклад на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 1992.

ОСА — *Дыбо В.А., Замятина Г.И., Николаев С.Л.* Основы славянской акцентологии. М., 1990.

Рил. 1/26 — Сборник слов и житий (западноболгарская рукопись XV в.). Б-ка Рильского монастыря, № 1/26 (роспись сделана по ксерокопии, хранящейся в отделе рукописей НБКМ). Написана тем же анонимным писцом, что и НБКМ 38.

РЛПУ — Русское литературное произношение и ударение под ред. Р.И. Аванесова и С.И. Ожегова. М., 1960.

СДЗб — Српски дијалектолошки зборник. Београд.

Служ. Евф. — Служебник патриарха Евфимия Тырновского: среднеболгарская рукопись, 1370 г. (отметка сделана более поздним почерком). Б-ка Афонского Зографского монастыря, № 1. Изд.: *Сырку П.* К истории исправления книг в Болгарии. Спб., 1890. Т. I, вып. II.

*Bartoš Fr.* Dialektologie moravská. Díl II. Nářečí hanácké a české. Brno, 1895.

*Gebauer J.* Historické mluvnice jazyka českého. Díl III. Tvarosloví. II Časování. Praha, 1958.

*Lorentz Fr.* Gramatyka pomorska. T. III. Wrocław etc., 1962.

II

*Е.М. Верещагин*

# ЯЗЫКОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВОУЧИТЕЛЕЙ СЛАВЯН КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ: К УТОЧНЕНИЮ ВКЛАДА ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА

Во время диспута с хазарскими иудеями Кирилл Философ по крайней мере дважды проявил себя и как Филолог. (Именно так! С большой буквы.) Анализируя лексическую пару **идолъ** и **икона**, он показал громадное смысловое различие между этими словами (X, 83)[1]. Он также говорил о тождестве значений лексем **законъ** и **завѣтъ.** Первую пару мы рассмотрели в другом месте[2], а сейчас сосредоточимся на предположенной Кириллом, но отнюдь не очевидной синонимике богословских терминов "законъ" и " завѣтъ". От обстоятельного анализа двух конкретных слов мы надеемся в дальнейшем перейти к обсуждению общих вопросов, касающихся роли древнееврейского языка в славянском языкотворчестве первоучителей.

Отстаивая свою веру, хазарские иудеи использовали аксиоматичный для них аргумент: надо держаться са́мого первого откровения Божия. Они спросили Кирилла: **скажи же нам, которъіи законь даст богъ человѣкомь пръвѣе, Мусеов' ли или иже вьіи дръжите.** Распознав, что́ стоит за вопросом, Философ уточняет: **сего ли ради въпрашаете, да прьвъі законь дрьжите?** Он получает ожидаемый утвердительный ответ: **еи, пръвъі бо подобаеть.** Иными словами, иудеи были уверены, что именно они исполняют самый первый "законъ". Отсюда они заключали, что вера христиан, явно отступивших от первого "закона", тем самым сомнительна.

Опытный полемист обычно переносит бой на собственную территорию противника. Так и Кирилл в ходе дальнейшего диспута на время принимает аксиому иудеев об обязательности первого откровения. Но теперь он доказывает, что ни **"законъ Моусеовъ"** (4), который иудеи полагали первым, ни даже **"закон' дань въ обрѣзании"** (9), т.е. закон Авраама, — а он намного древнее Моисеева, — не суть первые обетования Бога людям. Философ напоминает о праотце Ное: **не Ноеви ли богъ законь дасть пръвѣ** /.../, **завѣтом нарицае закон? рече бо к нюмоу: се азь въздвижоу законь мои с тобою и съ сѣменемь твоимь и въсеие земле, трьми заповѣдми дрьжимь.** Кирилл близко к тексту книги Бытия воспроизводит эти заповеди (13—14), — они содержат пищевые наставления и запрет проливать кровь человека (Быт 9,3—7), — но среди них нет заповеди обрезания (которая, как известно, будет дана лишь Аврааму).

Соответственно — не устаешь удивляться полемическому опыту первоучителя! — Философ сводит аксиому хазар к абсурду: **аще хощете пръвьі законь дрьжати, то оть обрѣзаніа оуклоните се сетно.** Действительно, невозможно оспорить, что **"пръвьі закон' дань въ необрѣзанІи"** (9). Кирилл, явно завершая спор по данному пункту, прибегает к риторическому вопросу: **что глаголете, противоу семоу пръвьі законь дрьжати?**

Во всех своих четырех диспутах, однако, Кирилл беседовал с достойными противниками. Как и агаряне, иудеи — **"мудраа чедь, книгъ наоучена"** (VI, 14); поэтому они переводят дискуссию из сферы истории, где возражения бесперспективны, в область филологии, поскольку здесь возникает реальная и совсем не простая проблема. Хазарские мудрецы начинают спор о словах, который и является предметом нашего интереса.

Дело в том, что когда Кирилл говорил об откровении Бога Ною, он в цитате из Свщ.Писания заменил одно слово другим. Философ прочитал: **се азь въздвижоу законь**[3], в то время как здесь (Быт 9,9) в еврейском тексте употреблено ключевое слово בְּרִית , а в греческом переводе семидесяти — διαθήκη, которые весьма регулярно, почти без исключений, переводятся на славянский лексемой **завѣтъ.** Нет сомнения в том, что первоучитель не собирался пойти на подлог, потому что он непосредственно перед цитатой сделал оговорку-отождествление **(завѣтомь нарицаю законь),** но тем не менее, если доверять большинству списков Жития, он замену предпринял, и она не прошла незамеченной.

Иудеи заметили, что в книге Бытия откровение Ною не названо законом: **нѣсть богъ нарекль закона, нъ завѣть.** Равным образом не названо законом откровение Аврааму: **обрѣзаніе,** а не **законь** (16). Заметим, кстати, что въедливые полемисты указали даже, что и откровение Бога Адаму названо не *законом,* а *заповедью.* Лишь по отношению к Моисею (да и то начиная с его восхождения на гору Синай) употребляется лексема תּוֹרָה (с греческим соответствием у 70-ти: νόμος), причем и здесь имеется устойчивый славянский перевод — **завѣтъ.** Когда были высказаны эти филологические доводы, — а в Житии аргументация оппонентов приведена уважительно и полно, — хазары логично вернулись к своему исходному тезису: **пръвьіи законь Моусевь дрьжимь.** Их точка зрения, выражаясь по-современному, состоит в показе семантической дифференциации двух слов: **ино бо ѥсть законь, ино же завѣть, различно бо ѥсть твор'ць нарекль обоѥ.**

Кирилл не признал себя побежденным, и начался новый круг полемики. Житие воспроизводит интонацию горячего спора: **философ' же отвѣща къ нимь: азь бо о семь скажоу сице, ѩко закон' се наричеть завѣть.**

Следовательно, перед нами противоположные позиции: **законъ** и **завѣтъ,** с точки зрения иудеев, семантически различны, но согласно Кириллу (причем он настойчиво утверждает свой взгляд, ср. 11; 17) — это синонимы.

— — — — —

Между тем если дифференциация рассматриваемых ключевых слов лежит на поверхности, их синонимичность далеко не о
Проблема очень сложно еще и потому, что надо иметь в виду три языка.

Протокол диспута включен в состав славянского Жития, но он представляет собой сокращение Мефодиева перевода **"книгъ на осмь словесъ"** (96) — сочинения младшего брата Кирилла, написанного по-гречески. Само же собеседование велось, скорее всего, не по-гречески, а по-еврейски: иврит в середине IX в. в образованных кругах Хазарии употреблялся[4], а сам Кирилл ко времени поездки вполне овладел им[5]. Поскольку прочная связь **завѣтъ** — διαθήκη — ברית и **законъ** — νόμος — תורה не подлежит сомнению, надо заключить, что Философ имел в виду синонимику слов ברית и תורה .

Мы не намерены проводить семитологических разысканий, но кратко перечислить основные семантические доли (СД)[6], выражаемые лексемами ברית и תורה , оказалось необходимо, чтобы в дальнейшем судить о смыслах и употреблении именно славянских ключевых слов.

А. Лексема ברית

(1)означает 'согласие, договор, союз, пакт, контракт, конвенцию', любое согласное проявление воли сторон относительно единой цели, т.е. взаимные обязательства между отдельными людьми, целыми народами или между Богом и людьми и народами. Примеры человеческих союзов: Авраама и затем его сына Исаака с Авимелехом (Быт 21,22—34; 26,26—31), Иакова с Лаваном (там же 31,44—54). Примером божественного союза является синайское откровение, полученное через посредство Моисея, и ему (начиная с Исх 19) посвящено не только Пятикнижие, но и (в разной степени) остальные книги всего Танаха. В греч. переводе Аквилы и в лат. переводе Иеронима, — а оба переводчика добивались максимальной близости к евр. тексту, — в таких случаях используются лексемы συνθήκη и *foedus,* непосредственно выражающие идею союза, в том числе и прямой мотивировкой номинации. Ради краткости назовем этот смысл (а он составной частью входит в обширное семантическое пространство центрального слова) взаимообязательностью.

(2) Союзники вступают в договор через определенные церемонии, различные у разных народов. Так, когда Бог заключил союз с Авраамом (Быт 15,17), то были разрезаны на половины жертвенные животные и союзники прошли между ними. Хотя этимология слова ברית до конца не выяснена, обычно полагают, что перед нами имя от глагола ברה 'принимать пищу' (букв.: 'резать'); во всяком случае устойчивый оборот כרה ברית , выражающий идею заключения союза, буквально означает: *резать союз* (и Аквила[7]так и переводит буквально κόπτειν συνθήκην; ср. Иер 31,31). Такова семантическая доля (СД) церемониальности вступления в союз.

(3) Союзный договор скрепляется клятвой: СД клятвенности.

(4) Он непременно заключается при свидетелях, в том числе и Бог

призывается в свидетели. В функции свидетелей выступают также и специально поставленные памятники (Быт 31,45), вообще какие-либо специальные знаки-знамения. СД свидетельство/ания.

(5) В понятие союзнического договора, наряду с церемониальным, клятвенным и засвидетельственным актом принятия на себя обязательств (teirminus technicus римского права: obligatio), входит еще совокупность изложенных пунктов, условий, составляющих содержание этих обязательств (causa, cautio). Когда союз заключает Бог, то именно он всегда бывает устанавливающей стороной: он буквально "диктует условия" Моисею. Условия различаются в зависимости от их природы и назначения и грубо разделяются на три разряда (так во Втор 4,45): עדת , наставления и предостережения (по-гречески у 70-ти обычно μαρτύρια, по-славянски **съвѣдѣниꙗ**); חקים , семейные и хозяйственные уставы (δικαιώματα, **оправданиеꙗ**); משפטים , гражданские и уголовные законы (κρίματα, **сѫдьі**). Имеются, конечно, и другие номинации, но не имеем возможности говорить о них. Обобщающий технический термин для установлений Божиих — דבר 'слово': в частности, десятисловие, записанное на скрижалях, иначе называется דברי הברית, букв.: словами союза (ῥήματα τῆς διαθήκης, **словеса завѣта**). Идея властного формулирования (Богом) каузативной части союза пункт за пунктом выражается глаголом צוה 'устанавливать, определять, приказывать', отсюда отглагольное имя מצוה 'повеление' (ἐντοωλή, **заповѣдь**). В отличие от דבר — מצוה мотивировкой номинации указывает на происхождение установления или предписания. Словом מצות (как и словом דברים ) обобщающе называются все виды пунктов-условий. Поскольку, таким образом, ברית состоит из установлений-заповедей, перед нами Сд заповедания. См. (8).

(6) В своем последующем поведении союзники могут постоянно помнить о договоре и исполнять его, и это вменяется им в праведность. Напротив, один из союзников (в союзе с Богом — это только народ, בני ישראל) обычно — по забывчивости или, чаще, сознательно, из упрямства — нарушает союз, преступает заповеди и этим совершает грех-беззаконие. Отсюда СД (не)верности.

(7) Что касается сроков действия союзного договора, то некоторые заповеди, имея дату установления, явно не ограничиваются в конце: такова заповедь хранить субботу, которая настойчиво называется вечной (Исх 31,16—17), а также главная заповедь иудаизма (Втор 6,4: שמע ישראל), декалог и другие ветхозаветные нормы, перенятые христианством. Остальные заповеди имеют или неустановленную по времени природу, иди же, особенно с христианской точки зрения, прямо являются лишь временными, и этот вопрос в диспуте с хазарскими иудеями обсуждает первоучитель Кирилл.

Ной, согласно Талмуду (Санхедрин 56а/б), получил всего лишь 7 заповедей, и среди них не было предписания обрезания, поэтому Авраам, которому это предписание было дано (Йома 28б), более не хранил Ноевых правил, а Моисей, которому были продиктованы целые книги новых "слов", строго говоря, не следовал каузативной части союза Бога с Авраамом. Кирилл излагает тезис о изменчивости

союзов Бога с людьми: **аще бо бъі Аврамь не ѥл' се по обрѣзаніе; нъ дрьжаль Ноѥвь завѣть, не бъі се божіи дроугъ нарекль, и Моуси же, послѣди покъі написавь законь, прьваго не дрьжа.** Кирилл обращает внимание на то, что Бог, заключая союз, обычно не оговаривает срока его действия и не упоминает, что через какое-то время он будет отменен. Бог, подчеркивает он, **дав' Ноѥви законь, не сказа ѥмоу, ѥко и дроугъі имамь дати, нъ въ вѣкъі прѣбъіваюшіи въ доушоу живоу. ни пакъі, Авраамоу обѣтованіа давь, не възвѣсти ѥмоу, ѥко и дроугъі имам' дати Моусеови** (X, 20,22—23). Согласно Кириллу, и некоторые Моисеевы заповеди, равно как и опосредованный им союз с Богом, не являются вечными. За доказательствами Философ мог бы обратиться к христианским книгам Свщ.Писания, особенно к Посланию к евреям, освященному авторитетом ап. Павла, — в нем совершенно недвусмысленно сказано, что Моисеевы наставления и запреты были установлены μέχρι καιροῦ διορθώσεως, до времени исправления (Евр 9,10). Тем не менее Кирилл не упоминает о Послании, но фактически излагает и отстаивает точку зрения этого источника: он ссылается исключительно на признаваемые иудеями пророческие книги. (Эта его тактика, вероятно, также заимствована из Евр, где все доказательство покоится на одном Танахе.) Иудеи держатся Моисеева союза, а **богъ Езекіиѥмь въпиѥть: ѥко прѣставлю и, а инь вамь дамь.** Собственно, точно такого суждения в Книге прор. Изекииля нет, но есть близкие мысли о "новом" ( חדש ) духе и сердце (11,19; / 36,26) и о предстоящем заключении ("нового"?) завета мира. Однако следующая ссылка Кирилла на прор. Иремию (31,31—33) текстуально точна, и границы ее совпадают с той же цитатой из Иремии в Евр (8,8—10): **и Еремія бо рече ѥвѣ: се дньниѥ гредоуть, глаголѥть господь, и завѣщаю домоу Іоудову и домоу Ізраилѥвоу завѣть новь, не по завѣтоу, ѥже завѣщахъ къ отьцемь вашимь въ дьни приѥм'шомоу роукоу ихъ, извести ѥ изь землѥ егуптьскъіѥ, ѥко тіи не прѣбъіше в завѣтѣ моемь и азь възненавидѣхъ ѥ. ѥко се завѣть мои, иже завѣщаю домоу Іизраилѥвоу по дьніихь онѣхъ, рече господь: даю законь мои въ помъішлѥніа ихь и на срьдьцихь ихь напишоу ѥ и боудоу имь въ богъ и тіи боудоуть мнѣ въ люди** (X, 25—27). Здесь употреблено, скажем кстати, то словосочетание ברית חדשה (у 70-ти: διαθήκη καινή, по-слав. **завѣтъ новъ**), которое в дальнейшем станет наименованием книг христианского Свщ.Писания. К разбору данной цитаты из Иремии мы еще обратимся.

Если подытожить сказанное, то перед нами СД (не)постоянства. Собственно, хазары признали правоту Кирилла относительно переменчивости союза (X, 35: **въсакь Жидовинь се вѣсть, въ истиноу ѥко бъіти имать тако**), но диспут и на этом не закончился, потому что, по их мнению, время Мессии, когда прекратится действие Моисеева союза, — вопреки утверждениям христиан, — еще не настало.

(8) В цитате из Иеремии трижды говорится о заключении союзов (старого, относящегося к исходу евреев из Египта, и нового, который еще в перспективе). Соответственно в евр. тексте употреблено устойчивое (терминированное) словосочетание כרת ברית , выражающее,

как сказано выше, идею церемониального, клятвенного и засвидетельствованного акта. Соответственно у Аквилы и у Симмаха, равно как в Вульгате даны именно "актовые" переводы: κόψω συνθήκην, συντελέσω συνθήκην, feriam foedus (или в ст. 33: feriam pactum). Между тем Иремия говорит не только об обновлении союзного акта или о подтверждении союза (что бывало в прошлом), но и о том, что будут заново изложены условия союза, что будет дана новая каузативная часть.

Эта каузативная часть, однако, названа не דברים и не מצות, а — נתתי את-תורתי: תורה (Иер 31,33), *даю Тору мою.* В переводе на новорусский язык пришлось употребить заимствованное из иврита слово, — однословного точного эквивалента в русском языке (да и в других европейских) действительно нет. Греческий, латинский и славянский переводы — νόμος, lex, **законъ** — семантически ассоциированы с правовой сферой, так что они едва ли удачны. Действительно, ниже мы убедимся, что תורה — это не только предписания, запреты и наказания за беззакония. Сейчас же нам важно именно на этом месте отметить, что в каузативной части союзного договора может быть — а в союзе с Богом такое обязательно — определенная цельная совокупность духовных ценностей, восходящих к Богу, которая именуется Торой. Следовательно, в семантическом пространстве слова ברית имеется СД Тора-соотнесенности.

Перечисленными семантическими долями (их зафиксировано восемь) семантика центрального ключевого слова ברית, безусловно, не исчерпывается, но исчисление прерывается, поскольку для решаемых в докладе задач изложенного достаточно. Семантические доли, далее, перечислены (в том, что касается порядка их следования) лишь исходя из удобства их представления, т.е. каталог не имплицирует никаких связей между долями.

Переходим ко второму ключевому слову, вокруг которого развернулась полемика между Кириллом и хазарскими иудеями. Оно, как мы видели, стало определяющим для 8-ой СД лексемы ברית

Б. Лексема תורה

(1) означает 'наставление, поучение, сумму регламентирующих заповедей и всего благочестивого знания, данную через Моисея избранному еврейскому народу'. Бог открывался людям и до Моисея, но его откровения назывались иначе. Лишь когда Моисей взошел на гору Синай, ему было сказано: אתנה לך את-לחת האבן והתורה, т.е. "дам тебе каменные скрижали и Тору" (Исх 24,12), и многозначное слово у 70-ти получило перевод лексемой νόμος, на основе которой в дальнейшем сложилось и славянское соответствие **законъ** (удержанное и в синодальной русской Библии). В самом общем смысле Тора — это любые сведения, которые Бог дал через Моисея, которые он впоследствии давал через пророков, а также книги, содержащие такие записи. Вдохновлены же не одни уставы, разрешения, запреты и прочие регламентации, а также исторические повествования, благочестивые песнопения, обетования, пророчества, обличения, похвалы и т.д., почему в иудаизме Торой называется и Пятикнижие, и весь Танах, и устная Тора, которая передавалась по традиции и лишь впослед-

ствии была записана. Христиане, однако, свои боговдохновенные книги, — а они написаны по-гречески, — не могли назвать Торой, хотя лексема νόμος в значительном числе контекстов имплицирует именно Тору[8]. Таким образом, для Торы характерна СД богооткровения.

(2) Итак, в богооткровение Торы вход обширная регламентирующая часть. В Талмуде (Маккот 23б) из Танаха вычитано целых 613 заповедей (365 запретов и 248 предписаний). Пророки и интерпретаторы по-разному сокращали это число, — Иисус Христос сводил закон к двум главным заповедям, — по-разному относились к буквализму и формализму исполнения, — здесь снова сошлемся на Христа, — но тем не менее в Пятикнижии значительная часть объема занята правовым кодексом. Поэтому терминированный глагол צוה , выражающий идею божественного установления, устойчиво спаян с лексемой תורה , да и сама Тора, взятая в качестве регламента, называется מצוה (Втор 8,1). СД заповедания.

(3) Кроме того, как упоминалось, в Торе есть и вероучение, и космогония, и история, и литургика, и пророчества, и многое другое. Чтобы отличать тексты такого содержания от регламентирующей части, условно назовем их все повествованием-наррацией. СД нарративности.

(4) Тора, как богооткровение через Моисея, — это краеугольный камень иудаизма, и хазарские иудеи подчеркивали: **законь Моусевь дрьжимь** (16), **мьі дръжеще се по нѥмь** (19), считая Тору единственным путем спасения: **елико се ихь дръжа по законь Моусеовь, все къ богоу оугодише** (19). Христиане же, не отрицая Тору-закон в целом, не считали обязательными все заповеди без исключения, а из числа оставшихся подлежали исполнению не ригористически, а в духе Евангелия свободы. В христианстве контроверза между приверженцами Торы и антилегалистами рассматривалась на апостольском соборе в Иерусалиме, и было принято решение ограничиться минимальными заповедями (Деян 15,29), а другие оставить, в том числе кстати, и обрезание (там же 15,24). Соответственно и в Хазарии Философу пришлось выслушать обвинения: **вьіи въздвиг'ше инь законь и попираете божіи законь** (19). Особенно упрекали христиан за отказ от обрезания: **како вьі, христіани, обрѣзаніе отмещете, а Христоу не отврьг'шоу ѥго, нъ по законоу скончав'шоу?** (Кирилл указывал на заместительную роль христианского крещения; X, 75—76.) Христианство, действительно, обострило извечный вопрос "держания", "хранения", соблюдения Торы. СД (не)верности.

С христианской точки зрения, несоблюдение заповедей "по букве" оборачивается высшим соблюдением их "в духе", — но иудеи не принимали подобных доводов. Ср. антитезы Нагорной проповеди (Мф 5,21—48).

(5) Кроме того, христиане, и особенно ап. Павел, учили, что Тора дается лишь в определеное время (т.е. существует не изначально) и сохраняет свое значение лишь на время, представляя собой эпизод, пусть центральный, в спасительном замысле Бога (Рим 5,20; Гал 3,19; 2 Кор 3,7—18). Более того, Тора с самого начала была лишь "тенью

будущих благ" (Евр 10,1), т.е. несовершенна, да и устарела, а "ветшающее и стареющее близко к уничтожению" (Евр 8,13). Сам Христос, удерживая и одобряя нравственные предписания Торы, как правило, отвергал ритуальные заповеди: например, он объявил религиозно необязательным понятие ритуальной чистоты (Мр 7,2—23). Новизна Христова учения видна в настойчивом употреблении им противительной формулы: λέγω δέ ὑμῖν, **гл҃ѭ же вамъ** (так в Мар. ев.). СД (не)постоянства.

Как и применительно к верности Торе, ее вечность или, напротив, временность оцениваются в христианстве диалектически: "Если понимать закон как Свщ.Писание, тогда в раннем христианстве никогда не имелось проблемы закона; если же понимать его как заповеди Божии, тогда вопрос закона является труднейшей проблемой, вокруг которой велась борьба, едва не разрушившая цельность Церкви"[9].

(6) В Пятикнижии приведены заповеди о необходимости постоянного изучения Торы (Втор 4,14; 5,28; 6,1;17,19 и т.д.), причем использован глагол למד , который, выступая в разных основах, может означать как 'учить-преподавать', так и 'учить-обучаться'. Соответствующее отглагольное существительное תלמוד означает ученость, но не любого рода, а только применительно к Торе (собственно, полно: תלמוד תורה ); это (по)знание Торы в отличие от исполнения заповедей (о чем ниже). Талмуд содержит совокупность приемов, облегчающих усвоение, — так, предписывается, чтобы каждый дневной фрагмент текста был при изучении пройден четыре раза (Эрувин 54б). Прием повторения главенствует в иудаизме: эта идея присутствует в самосознании одной из книг Пятикнижия — משנה (от глагола שנה 'повторять; Втор 17,18), **въторъіи законъ**, и она действительно представляет собой повторное изложение синайского законодательства. (Мишна образует, заметим кстати, и часть Талмуда — книги, содержащую запись устной Торы).

Между тем, некоторые пророки и за ними христиане считали, что так будет не всегда. Кирилл в приведенной им цитате из Иремии воспроизвел мысль пророка о том, что Бог прямо запишет свой закон в сердцах людей. Он оборвал, правда, выписку как раз на том месте, где говорится о предстоящей практике отмены заповеди об изучении Торы. "И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: 'познайте Господа', ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого" (Иер 31,34; Евр 8,11). Тем не менее мы наблюдаем СД обучаемости.

(7) Будучи усвоенной, Тора становится путем земной жизни. Кто-то сказав, что иудаизм — это не ортодоксия (право-верие), а отропраксия (право-поступки), ригористичное соблюдение мелочных и временами непонятных заповедей. Пророки, однако, отвергали формальное благочестие и номолатрию и обличали легализм, призывая к принятию закона сердцем. Несомненно, опыт такой праведной жизни ведет к эмоциональной приверженности Торе, и некоторые псалмы (1,17, особенно 118) ее восторженно воспевают. Ср. пс. 18, 8—10 (по Син. пс.):

**Законъ ( תורה ) гн҃ъ непореченъ обраштаѭщі дш҃ѭ:**
**Съвѣдѣнье гн҃е ( עדות ) вѣрьно оумѫдрѣѩ младенъцѩ:**
**Оправъданъѣ гн҃ѣ ( פקודי ) права веселѩшта сръдьца:**
**Заповѣди ( מצוה ) гн҃ѣ издалече просвѣшташті очі:**
**Страхъ гн҃ъ прѣчістъ прѣбъіваетъ вь вѣкоу:**
**Сѫдъбъи гн҃ѩ (משפטים ) істіньнъі оправъданьи въкоупѣ...**

По законам еврейского параллелизма членов каждый стих периода выражает ту же мысль, что и другой, и это так: прославляются отдельные виды заповедей (см. выше А—5), чтобы таким образом прославилась вся Тора как целое. СД жизневодности.

Приведя (X, 28) в ходе диспута цитату из другой главы Иеремии (6, 16—18), Кирилл, однако, устами пророка свидетельствует, что для иудеев Тора так и не стала жизневодной. Более того, они, согласно Иеремии, **словесь моихь не вънеше и законь мои, иже пророци проповѣдаше, отриноуше** (33). Поэтому, продолжает Кирилл, Бог вступил в союз с языческими народами, с семенем Авраамовым, с потомками Иафета, **"оть нѥгоже мъі ѥсмь"** (66).

(8) Наконец, — напомним еще раз, что мы не можем, а главное, не стремимся в сжатых рамках настоящих разысканий исчислить все семантические доли двух центральных слов, которым свойственно огромное смысловое пространство[10], — תורה неразрывно тесно сопряжена с ברית . Тора -- каузативная часть союза, так что когда соблюдаются заповеди, сохраняется и союз, и Бог возвышает народ свой, а когда заповеди нарушаются, разрушается и союз, и Бог начинает прещения. Для обозначения верности Бога Союзу употребляется лексема חסד (от глагола חסד , букв.: проявлять рвение, быть ревностным), которая лишь приблизительно передается греч. ἔλεος и слав. **милость.** СД отнесенности к Союзу.

В заключение укажем мотив номинации в слове Тора: תורה от глагола ירה 'тыкать, показывать пальцами, делать знаки', отсюда 'указывать' (путь: Быт 46,28, в том числе и переносно: пс. 118,33), а затем и 'наставлять, обучать'.

— — — — —

Приступаем к анализу семантики греч. и слав. слов, соответствующих в переводах ברית и תורה . Устойчивые соответствия в Септуагинте и в Кирилло-Мефодиевских переводах (на первом месте в Евангелии и Псалтыри) хорошо известны.

Между тем было время, когда и толковники, и первоучители выбирали из наличной лексики или создавали заново греческие и славянские средства выражения. При этом черпали, естественно, из ресурсов этих двух языков. Выбранные слова διαθήκη и νόμος к моменту перевода имели, однако, собственную семантику, сложившуюся в национальной культуре, далекой от иудейской, и эта национально-культурная греч. семантика привходила сначала в ветхозаветные переводы, а затем и в новозаветные оригинальные книги[10]. Она реально присутствовала: или оказывала влияние на восприятие переводов, или даже прямо влияла на формирование мысли авторов

Нового Завета. Аналогично и первоучители, приискав для διαθήκη **завѣтъ** и для νόμος **законъ,** — в первом случае, правда, можно предполагать и словообразовательную кальку, — включали в свои переводы смыслы из живого (и, может быть, к началу их миссии частью уже христианизированного) славянского языка.

В. Лексемы διαθήκη и **завѣтъ**

(1) одинаково означают некоторое 'распоряжение, постановление, указание' (или совокупность распоряжений). В греческом исходный глагол διατίθημι 'устанавливать, учреждать' имплицирует одностороннюю волю полномочного лица, его заповедь. СД заповедания.

(2) В классическом греч. языке лексема διαθήκη специализировалась в значении Anordnung eines Erblassers hinsichtlich seines Vermögens (Бензелер), т.е. testamentum, юридическое завещание. То же техническое значение сохраняется и в καινή (διάλεκτος), этом "пятом" греч. говоре, который распространился по всей экумене и, в частности, употреблялся в Александрии. На койне и писали как толковники, так и дальнейшем и авторы Нового Завета — все иудеи (исключая, может быть, одного ап. Луку). Койне не был некодифицированным (нелитературным) языком, но все же его разговорная природа очевидна. Семантические выводы, получаемые на материале койне, бывают свободны от подозрений в личностном словоупотреблении литератора. И подобные сомнения становятся невозможны, когда перед нами повседневные папирусы ("берестяные грамоты" эллинизма), написанные на небезошибочном койне, — они отражают непосредственный повседневный мир. Авторы соответствующего словаря в статье διαθήκη написали: In papyri the word means testament, will, with adsolute unanumity[11], причем они привели примеры употребления этой лексемы и в документах эллинизированных иудеев. Одновременно они указывают, что в III в. до н.э. διαθήκη могло употребляться и в неспециализированном значении dispositio, — здесь имплицируется, что некоторое облеченное властью лицо или могущественная группа лиц диктует свою волю другому лицу или лицам, причем принимающая сторона полностью безгласна. Завещание вступает в силу только после смерти завещателя, что отчетливо выражено, между прочим, в Евр 9,16—17, где говорится о крови Иисуса Христа. Итак, СД завещательности.

Что касается слав. **завѣтъ,** то о его семантике приходится судить лишь на основе переведенных Кириллом и Мефодием текстов (других источников нет), поэтому что́ слово значило до момента перевода, сказать трудно, и этимология (**за-вѣтъ,** от **вѣщати,** ср. *ответ, привет, обет, совет, увет, навет, извет,* а также глаголы), предоставив ключ к мотиву именования, конкретных и тем более специализированных смыслов указать не может. Поскольку, однако, спайка διαθήκη-**завѣтъ** очень прочна и так как διατίθημι (в значении: *оставлять наследство*) переводится как **завѣщати** и **завѣщавати** (Лк 22,29 Мар.: **завѣштаваѭ вамъ. ѣкоже завѣшта мьнѣ отц҃ь мои цс҃рство**), надо полагать, что обе семантические доли греч. соответствия были свойственны славянскому.

Г. Лексемы νόμος и **законъ**

(1) одинаково означают 'строгий порядок, неуклонно соблюдаемое правило, границы и пределы; закон'. СД непререкаемости.

(2) По происхождению законы различны. Естественный (природный) закон имеет анонимную природу. В человеческих и божественных законах, данных в установлении в виде эдикта или в откровении, обычно хранится память о том, кто дал заповеди. СД заповедания.

(3) Естественный закон или закон из области обычного права, а также законы бесписьменных народов не записываются (ср. ἄγραφος νόμος). Бесписьменные язычники, по учению ап. Павла (1 Рим 2,14), не лишены нравственного закона, записанного в их сердцах. После Тертуллиана считается, что и десятисловие принадлежит к естественному закону. Противопоставляемый ему "закон откровения" также может не записываться, но все же и записывается. Фиксируются на письме, естественно, и человеческие законы. По данным Мултона и Миллигэна[11](статья νόμος) фраза ἐν νόμῳ γέγραπται встречается у юристов, начиная с IVв. до н.э. Они же свидетельствуют, что νομικός всегда работает с письменными документами: это или юрист, знаток римского права, или натариус, сличающий и заверяющий документы. СД записанности.

(4) Человеческие и (по христианскому учению) некоторые божественные законы не вечны и имеют лишь временное применение. Обычно отменяет их сам законодатель (ср. Лк 16,16 Мар.: **законъ и пророци до иоана**). СД (не)постоянства.

Что касается семантики слав. **законъ,** то сохраняют силу оговорки, сделанные применительно к лексеме **завѣтъ.** Исходя из того, что основа -кон- означает 'начало и конец, границы и пределы', предположение Преображенского, что **за-конъ** надо интерпретировать по аналогии с *за-прет, за-град-а,* т.е. как рубеж, дальше которого не преступают, вероятно, правдоподобно. Если относительно **за-вѣтъ** калькирование не исключается, то за-конъ не есть своеобразовательная калька.

— — — — —

Итак, в четырех исчислениях мы получили списки семантических долей. Семантические доли объективируют, делают доступными для анализа не только привычные лексические понятия, но и — обратите внимание! — лексический фон[12], а он почти никогда не бывает предметом лингвистических разысканий. Мы пользовались унифицированным метаязыком, восходящим к естественному русскому языку, но все же и сознательно отчужденным от него (необычной деривацией). К сожалению, нет места, чтобы хотя бы в какой-то мере рассмотреть общелингвистические вопросы.

Вид метаязыка для записи семантических долей, собственно, безразличен, потому что по своей природе СД — невербальны, благодаря чему и возможны межъязыковые переводы. В принципе достаточно одной общей СД, чтобы слово языка, скажем, еврейского было поставлено в соответствие слову греческого, и чем больше таких (по функции)

связывающих, копулятивных СД, тем полнее соответствие (но оно, в условиях разнородности культур, не бывает тождеством). Отсюда характерная для переводчика задача — подыскать, предположим, для ברית греч. слово с как можно бóльшим количеством копулятивных СД. Оказывается такой поиск безрезультатным, тогда имеет место или заимствование, или словообразовательное калькирование, т.е. в язык перевода вводится новая лексема. Тем не менее языкотворчество имеет место и тогда, когда поиск по-видимому удался, потому что (о чем ниже) включение неполного соответствия в новую словосочетаемость ведет опять-таки к калькированию — к семантическому.

Из восьми СД слова ברית (А) — (1) взаимообязательность, (2) церемониальность, (3) клятвенность, (4) свидетельствование, (5) заповедание, (6) (не)верность, (7) (не)постоянство, (8) Тора-соотнесенность — и двух СД слова διαθήκη (В) — (1) заповедание, (2) завещательность — копулятивными оказались А-5 и В-1, и этого было достаточно для толковников, чтобы остановиться на διαθήκη. Акила и Симмах, однако, взяли συνθήκη 'союз' — слово, в котором приставка συν- имплицирует (А-1) взаимообязательность, повысив тем самым число копулятивных сем. Тем не менее изменить традицию им было не по силам, прежде всего потому, что версия Септуагинты διαθήκη уже была перенята авторами Нового Завета. Подчеркнем, что СД В-2 (завещательность, т.е. посмертная воля), привносимая с собой διαθήκη, лексеме ברית была чужда: когда в Танахе выражается смысл 'посмертной воли' (2 Цар 17,23, Ис 38, 1), мы видим описательное выражение צוה לבתי **(заповѣдати/оустроити домоу своюмоу),** а во внебиблейском языке и до сих пор употребляется лексема другой основы ( צואה ). С другой стороны, эта СД настолько характерна для διαθήκη, что "новый завет" Иисуса Христа в новозаветных источниках иногда понимается не как 'союз', а именно как посмертная воля, исполнение которой началось после крестной смерти завещателя (Евр 9,16—17, Христ.: **идеже бо завѣтъ, съмьрти потрѣба бъівати на завѣщавающаго,** (...) **понеже ничесоже не можеть, ѥгда живъ ѥсть завѣщаваѩи**). Следовательно, копулятивным СД противопоставляются дивергентные СД каждого слова из пары соответствия.

Аналогично устанавливаются копулятивные и дивергентные СД по отношению к паре תורה и νόμος: копулятивной опять-таки оказывается всего одна СД 'властного заповедания' (Б-2; Г-2), а среди дивергентных наиболее важна СД Б-1 (богооткровение), потому что она конфликтует с представлением о конвенциональности человеческого νόμος'а. Не менее существенны, далее, СД Б-3 (невозможно помыслить себе, чтобы νόμος как свод законов содержал в себе исторические, или пророческие, или иные неюридические тексты) и СД Б-4 (соблюдение νόμος'а не имеет религиозного значения) и т.д.

Напомним, что мы имеем в виду смыслы διαθήκη и νόμος (соответственно **завѣтъ** и **законъ**) *до* осуществления переводческой деятельности, т.е. говорим о семантике койне и древнеславянского, когда толковники лишь готовились к своим трудам, а первоучители,

составив буквы, взялись за самую первую фразу'Εν ἀρχῃ ἦν ὁ Λόγος (первоучители, начав с перевода греческого Евангелия, и в переводах Псалтыри ориентировались, как известно, лишь на греч. текст).

Если согласиться с изложенным анализом, то может показаться, что поскольку διαθήκη и νόμος обладают общей копулятивной СД (В-1; Г-2), перед нами синонимы. Однако при наличии только одной СД обычно (бывают исключения) можно говорить лишь о вхождении слов в одно лексико-семантическое поле: той же СД заповедания обладает хотя бы ряд выше рассмотренной лексики μαρτυρία, δικαίωμα , κρῖμα, ἐντολή и **съвѣдѣниѥ, оправъданиѥ, сѫдъ, заповѣдь.** Если предъявлять слова из подобного ряда (т.е. с одной копулятивной СД) носителям языка одно за другим, то они не воспринимаются как синонимы: завещание, заветы — это одно, а закон — другое, и закон не есть завещание. Более того: и две-три копулятивные СД — как между ברית и תורה (А-5,Б-2; А-6,Б-4; А-7,Б-5) — также не создают , если брать слова изолированно и апеллировать к опыту носителей языка, равнозначности. 'союз' и 'учение' — не одно и то же, даже если оба восходят к Яхве, предполагают переменчивость/постоянство и требуют верности от "общества сынов израилевых". Вероятно, копулятивные СД должны значительно превосходить дивергентные, — точный порог механически не дается, — а если уж дивергентные превалируют, то синонимичность заведомо не устанавливается.

Вернемся теперь к давнему диспуту в столице Хазарии: получается, что правы иудейские мудрецы (с их тезисом: **ино ѥсть законь, ино же завѣть**) и неправ первоучитель Кирилл **(законь се наричеть завѣть).** Иудеи — носители языка, начетчики, и их живая реакция на предъявленные слова очень похожа на современные психолингвистические эксперименты. Позицию же Философа трудно понять: во-первых, он не носитель языка (а дискутировали явно о еврейских словах); во-вторых, ни по-гречески διαθήκη и νόμος, ни по-славянски **завѣть** и **законъ,** как мы видели, не равнозначны.

И тем не менее спор о словах заканчивается парадоксально! Спорщики редко признают правоту друг друга, а чаще (как было, например, в диспуте с агарянами) расходятся, не переменив своего мнения. Иначе было у хазар: после того, как Кирилл привел еще несколько аргументов, иудии оставили правоту за ним. **Отвѣщаше Іоудеи къ нѥмоу: тако и мьі дрьжимь, ꙗко тако законь нарицаеть се завѣть** (X, 19).

— — — — —

Каковы же аргументы, оказавшиеся столь убедительными?

Непосредственно перед согласием хазар Кирилл приводит две выписки из Танаха. Предлагается цитата из книги прор. Иеремии (11,2—4: **послоушаите завѣта сего..., проклеть человѣкъ, иже не послоушаеть слово завѣта сего, иже заповѣдах отьцемь вашимь**): здесь **завѣтъ** соответствует ожидаемым ברית и διαθήκη. Затем Кирилл дает фрагмент из книги Бытия (17,13), относящихся к союзу с Авраамом: богъ глагола къ Авраамоу: **даю законь мои въ пльти**

**вашеи, ѥже и знаменіе нарече, ѩко боудеть междоу мною и тобою** (17). Когда мы теперь обратились к первоисточникам, то в качестве соответствия увидели не ожидаемые תורה и νόμος, а как раз неожиданные те же ברית и διαθήκη. Сначала приходит в голову мысль о возможной порче текста, — ибо спайка ברית – διαθήκη-**завѣть** очень прочна, — но поскольку именно **законъ** проходит по всем рукописям, содержащим Житие, предположение о порче надо оставить.

Если же текст исправен, то возникает дальнейшее недоумение. Почему отлично начитанные и внимательные иудеи, которые уже однажды заметили что Кирилл заменил **завѣтъ** на **законъ** (ср. выше: Быт 9,9; X,11,16) и, несомненно, насторожились, сейчас не только не возразили, но в итоге даже согласились с первоучителем?

В поисках ответа исходим из того, что доводы Кирилла не могли быть приведены в Житии достаточно полно, — да и сам списатель Жития сообщает: **оть многа же се мьі оукрачьше въ малѣ положихомь** (X,95). Видимо, надобно пройти путь, обратный по отношению к тому, который проделал агиограф, т.е. от "мала" положить "многа".

Выше рассмотрением контекстов Ветхого и Нового Заветов мы предприняли исчисление ряда семантических долей для лексемы ברית . Посмотрим, какие доли из этого ряда реализованы в суждениях Кирилла.

Относительно союза с Ноем первоучитель говорит, что данный праотцу закон был **трьми заповѣдми дрьжимь,** а именно: **вса ѩдите, ѩко зелиѥ трав'ноѥ, елико на небеси и ѥлико на земли и елико въ водахъ, развѣ меса въ крьви доуша ѥго не ѩдите и иже пролѣѥть кровь человѣка, да пролѣеть се своѩ ѥго въ нѥѥ мѣсто** (13,14). Хотя союз с Ноем был церемониальным, клятвенным и свидетельствованным (радуга стала памятником первого союза), хотя он был взаимообязательным (Бог обетовал, что смена дня и ночи, а также времен года никогда не прекратится), не эти СД доли представлены в суждении Кирилла, а СД (6) заповедания.

Когда Кирилл говорит о втором союзе, о союзе с Авраамом, то он опять-таки имеет в виду ту же СД. Закон, по его словам, **дань въ обрѣзаніи** (9), **дань въ пльти** (17), т.е. снова имеется в виду не церемония заключения договора, которая описана в писании подобно (Быт 15,9—11. 17—18), не знак союза, а обетования, уставы, запреты, предписания, т.е. заповеди, составившие условия договора.

Далее и по отношению к третьему союзу (с Моисеем), — и здесь особенно явственно, — Кирилла интересует не акт заключения договора и обстоятельства его преподания, а исключительно его содержание, установочная часть (causa), т.е. (как он говорит) **слово завѣта.** Таков смысл приведенной им выписки из Иеремии: **проклеть человѣкъ, иже не послоушаеть слово завѣта сего, иже заповѣдахь отьцемь вашимь въ дьнн, въ нѥже изведохь ѥ изь землѥ егуп'тьскъіѥ** (18). Здесь мы видим глагол צוה-заповѣдати, которым в Танахе регулярно называется выражение воли Божией.

Наконец, и четвертый союз, **завѣть новь** (26), рассматривается Кириллом, и в той пространной цитате из Иремии (31,31—33),

которую мы уже рассматривали выше (в анализе СД А-7), ברית и תורה отчетливо поставлены в одинаковые контексты, представляющие собой пораллелизм-тавтологию, характерную для пророческих книг, Ср.: **се завѣть мои** ( ברית ),**иже завѣщаю домоу Іизраилѣвоу по дьніихь онѣхь, рече господь: даю законь мои** (את-תורתי) **въ помъішлѣніа ихь** (X,27). Здесь явно совмещен акт заключения союза с изложением его содержания, что, кстати, некоторые экзегеты, стоящие на позициях синкретизма, отмечают и в установочных словах Иисуса Христа: **се естъ кръвъ моѣ новѣаго завѣта. проливаемаа за мъногъі въ отъдание грѣхомъ** (Мф 26,28 Мар.).

Итак, в диспуте с хазарами ключевое слово ברית представлено через актуализацию СД А-7 (заповедание). Другая СД которая также вычленяется из контекстов, — это А-5 (/не/верность): **послоушаите завѣта сего** (18); **иже не послоушаеть слово завѣта сего** (там же); **дрьжаль Ноѥвь завѣть** (20); **Моўси ... прьваго (завѣта) не дрьжа** (там же); **тии не прѣбъіше въ завѣтѣ моемь** (26).

Что касается תורה-**законъ,** то те же самые две СД представлены в контекстах диспута. Примеры СД заповедания: **законь даст богъ человѣкомь** (4); **не Ноѥви ли богъ законь дасть пръвѣ** (11); **даю законь мои** (17); **мъіи ... оть бога законь приѥміше** (21); **дав' бо Ноѥви законь** (22). Примеры СД (не)верности: **прьвъі законь дрьжите** (5); **вьіи въздвиг'ше инь законь и попираете божіи законь** (19); **прьваго (закона) не дрьжа** (20); **божіа заповѣдь тверда прѣбъіваѥт'** (21); **законь мои отриноуше** (33); **по всемоу храни законь** (39); **Христоу не отврг'шоу ѥго (закона)** (75).

Кстати заметим, что эти обе СД встречаются в контекстах Танаха и Нового Завета гораздо чаще, чем другие. Отсюда весьма развитая устойчивая сочетаемость лексики для выражения указанных двух смыслов. Ниже мы приводим лишь малую часть подобной словосочетаемости, причем берем только глаголы с прямым дополнением. В качестве дополнения могут одинаково стоять как **завѣтъ,** как и **законъ: положити, заковѣдати, съказати, авити/ѥавити, об(ѥ)авити, въсприѥати, въздвигнѫти, прѣставити, прѣмѣнити, оутврьдити** и т.д.; **творити, отъметати, оставити, (о)скврьнити, разорити, (не) дѣлати, (не) поминати, (не) (съ)хранити, (не) забъіти, прѣстѫпити, (не) вѣдати, (не)приѥати, оклеветати, осѫждати, исплъніати, оупраздьнити** и др. Если бы нам хватило места привести весь собранный материал, то не составило бы труда окончательно убедиться в том, насколько много контекстов, в которых **завѣтъ** может стоять на месте **закона,** равно как и наоборот. Эта взаимозаменяемость, конечно, — надо напомнить, — отнюдь не абсолютна: если в контекстах реализуются семы, скажем, церемониальности, клятвенности или обучаемости и жизневодности (соответственно А-1,2 и В-6,7), то оба слова могут быть противопоставлены друг другу по смыслу.

Теперь можно высказать догадку о том, каким образом Кирилл убедил хазарских иудеев: он показал — дважды — правомерность замены лексемы **завѣтъ** на лексему **законъ** (подразумевается: Моисеев), если в Танахе речь идет о заповедании causa союза. Если возможна замена, — а иудеи в итоге признали такую возможность, — то в

данных контекстах слова равнозначны (и разумные диспутанты согласились с таким логическим выводом). Между прочим, отголосок привязанности к контексту виден в форме согласия хазар: **тако и мы дрьжимь, ꙗко тако законь нарицает' се завѣтъ.** Это настойчивое **тако, тако** (т.е.: "в данном случае") имплицирует "не всегда".

Предпринимая контекстные отождествления, Кирилл Философ (все же явно и Филолог!) на время уходит из богословия и приходит в филологию. (Не сказалась ли здесь школа патр. Фотия, наставника славянского первоучителя, который, особенно в молодости, много занимался словарной работой?) Когда же он вернулся в богословие, когда оказалось возможным применить понятие תורה не только к откровению на Синае, но и к союзам с Авраамом и Ноем, филология помогла взять верх в диспуте. Иудеи, ссылаясь на Танах (Притч 8,22), и сами признавали (Песахим 54а), что תורה (в Притчах Соломона, собственно, חכמה 'премудрость') была на первом месте среди семи "вещей", сотворенных Богом еще до космогонии, а отождествление Кирилла еще раз закрепило законъ не только за Моисеем, но и за Авраамом, праотцем как иудеев, так и других народов (X, 40, 65). Отсюда будет сделан вывод о правомерности отъятия закона от иудеев, семени Сима, и преподании его христианским народам Иафета, **оть нѥгоже мы ѥсмь** (X,66). Впрочем, надо остановиться, потому что богословская проблематика диспута с иудеями не является предметом настоящих разысканий. Равно как надо оставить в стороне бегло намеченную связь между תורה и חכמה , хотя постоянный атрибут Кирилла — Философ — и направляет наше внимание к синонимике Премудрости и Торы[13].

Изложенное, думаю, убеждает, что семантические пространства и ассоциативные поля слов **завѣтъ** и **законъ,** — причем как в переводных, так и в оригинальных текстах, — зависят не от διαθήκη и от νόμος, а от стоящих за этими греч. лексемами ключевых евр. слов. Имеется в виду, конечно, языковое сознание книжника, а не массовое, "народное". Хотя языкотворчество первоучителей славян протекало, казалось бы, под воздействием одного греч. языка, все же эта κοινή Септуагинты и Нового Завета была настолько проникнута духом (временами и формой) иврита (и отчасти арамейского языка)[14], что греч. язык почти не задерживал проникновения семитизмов во вновь создаваемый первый литературный язык славянства. Кроме того, едва ли приходится сомневаться в том, что Кирилл хотя бы читал по-еврейски (ср. XII,17, где цитата из Исайи 66,18 приведена в евр. версии), так что семитизмы могли проникать и непосредственно.

— — — — —

К сожалению, однако, вклад древнееврейского языка в слав. языкотворчество Кирилла и Мефодия изучается лишь от случая к случаю.

Собственно, все те фонетические, грамматические и лексические семитизмы, которые обычно перечисляются по отношению к новозаветному греч. языку[15], — а это большие списки, — могут быть (в силу пословного перевода, характерного для первоучителей[16])

выявлены в слав. Новом Завете, не говоря уж о слав. Псалтыри и паремейниках. На фоне иврита, в том числе с учетом сделанных переводов Новом Завета на иврит, проясняются темные или мнимо понятые фрагменты слав. Свщ.Писания[17].

Нам же — с учетом изложенного выше — представляется перспективным привлечение евр. лексики к анализу ключевых слав. слов, как это, например, успешно делается по отношению к греч. языку в образцовом Словаре Г. Киттеля и Г. Фридриха. С этой точки зрения структура ряда словарных статей известного Пражского старослав. лексикона (в структуре отражается расчленение составителями семантического пространства) могла бы быть уточнена и пополнена, прежде всего в аспектах национально-культурного фона и богословского содержания (и то, и другое неотъемлемой частью входит в любой, в том числе и Кирилло-Мефодиевский, христианский литературный язык). Лексическая семантика Танаха[18] через посредство общеславянского языка Кирилла и Мефодия вошла в духовный мир современных славянских языков православной традиции. Но исследуется она редко.

— — — — —

Ради экономии места ниже и в основном тексте доклада ссылки на литературу, известную специалистам, даются без выходных данных и по-русски.

[1] Пространное Житие Кирилла цитируется по изданию Гривца и Томшича. Оно хорошо подходит для лексикологических разысканий, потому что в нем внутри глав (для удобства отсылок) пронумерованы фразы. Мы сохраняем особенности указанного издания, включая употребление прописных литер и современных знаков препинания. Впрочем, отдельные дублетные буквы, чтобы облегчить набор, мы опустили.

[2] *Верещагин Е.М.* Филологическая перекличка со святоотеческими творениями в инконофильской полемике Константина-Кирилла Философа // "Tgolí chole Mêstró". Gedenkschrift für Reinhold Olesch. Köln; Wien, 1990, S. 295ff.

[3] Впрочем, в Житии Кирилла по рукописи XV в. МДА, напечатанной П.А. Лавровым в его "Материалах", читается: **завѣтъ.** Все же, вероятно, в протографе был **законъ,** иначе последующая полемика теряет смысл.

[4] Об этом, в том числе в связи с хазарской поездкой Кирилла, см.: *Артамонов М.И.* История хазар. Л., 1962 С. 331 и сл. См. также: *Коковцев П.К.* Еврейско-хазарская переписка в X в. Л., 1932. Здесь в ответном письме хазарского царя Иосифа еврейскому сановнику Хасдаю ибн-Шафруту засвидетельствована традиция диспутов о вере, имевшаяся в Хазарии (с. 78 и сл.). О независимом от Жития Кирилла свидетельстве о диспуте философа с хазарами см.: *Берлин И.* Исторические судьбы еврейского народа на территории Русского государства. Пг., 1919. С. 95

[5] В самом Житии говорится об этом: проведя зиму в Херсоне, первоучитель **"наоучи се тоу жидовскѣи бесѣдѣ и книгамь"** (VIII,10). О других свидетельствах владения им евр. языком писали Минс и Хоралек.

[6] О нашей методике выявления и исчисления семантических долей (СД) лексического понятия и т.н. лексического фона см. в кн.: *Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.* Лингвострановедческая теория слова. М., 1980. С. 27 и сл.

[7] Цитируем экзаплы Оригена (по Патрологии Миня, тт.15—16, и по изданию Ф. Филда).

[8] Соответственно в переводах Нового Завета на иврит (Ф. Делича; новой версии, выполненной иудео-христианами; научной реконструкции Р.Л. Линдсея) лексема по праву восстанавливается. Посл. раб. см.: *Lindsey R.L.* A Hedrew Translation of the Gospel of Mark. Jerusalem, s.a.

[9] Bibeltheologisches Wörterbuch. Hrsg. von J.B. Bauer. 1. Bd. Graz; Wien; Köln, 1967. S. 546.

[10] Оставляем в стороне гипотезы о переводном (с иврита) характере некоторых новозаветных текстов.

[11] The Vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri... by J.H. Moulton and G. Milligan. L., 1914-1929.

[12] Было бы желательно изучить также словопроизводство и -сложение лексем **завѣть** и **законъ**.

[13] Подробнее разбор атрибута см.: *Верещагин Е.М.* Кирилло-Мефодиевская традиция в Киевской Руси. // Тычячелетие крещения Руси. Международная церковная научная конференция. М., 1989. С. 267 и сл.

[14] Среди ряда исследований см.: *Корсунский И.* Перевод LXX. Его значение в истории греческого языка и словесности. Сергиев Посад, 1897.

[15] См., например, стандартную грамматику Бласса, Дербруннера и Рекопфа (в изд. 1976 г. с. 435) или справочник : *Moule C.F.D.* An Idliom-Book of New Testament Greek. Cambridge, 1975. P. 171 ff.

[16] *Верещагин Е.М.* Из истории возникновения первого литературного языка славян. Переводческая техника Кирилла и Мефодия. М., 1971. С. 23 и сл.

[17] Ср.: *Lapide P.* Ist die Bibel richtig übersetzt? Gütersloh, 1989. Эмоциональная оценка переводов на европейские языки с позиции иудаизма.

[18] Иногда ее не совсем точно называют: библейская семантика. См.: *Kedar B.* Biblische Semantik. Eine Einführung. Stuttgart u.a., 1981; *Barr J.* The Semantics of Biblical Language. Oxford, 1961; *Hill D.* Greek Words and Hebrew Meanings. Studies in the Semantics of Soteriological Terms. Cambridge, 1967.

*В.М. Живов*

# ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РАЗВИТИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К СЛАВЯНСКИМ ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКАМ В XV—XVII вв.

1. В своем известном докладе на IV Съезде славистов Д.С. Лихачев сопоставил второе южнославянское влияние у восточных славян с теми культурными явлениями, которые были характерны для Западной Европы накануне Возрождения. Выделяя сходные тенденции, он полагал, что оправданно говорить об однородности культурного развития и, соответственно, о восточноевропейском Предвозрождении. Это развитие, правда, совершается "в пределах религиозной мысли и религиозной культуры", однако "оно также полно интереса к античной и эллинистической культуре, носит уже отчетливо выраженный "ученый" характер и связано в Византии с филологическими штудиями" (Лихачев 1958, 54). В общем виде эта концепция вряд ли может быть обоснована, поскольку в ней не находит отражения радикальное несходство культурной ситуации в Византии и славянских (прежде всего восточнославянских) областях. В Византии наряду с духовностью аскетического типа, получившей развитие, в частности, в исихастском движении, существовала и гуманистическая традиция, которой и в самом деле был свойствен интерес к античной культуре и филологическим изысканиям (Никифор Григора, Варлаам Калабрийский). Второе южнославянское влияние никакого отношения к данной традиции не имеет, тогда как

западноевропейское Предвозрождение непосредственно с ней связано. Тем самым в основе отождествляемых Д.С. Лихачевым явлений лежат совершенно разные, даже антагонистические культурные системы, а обнаруживаемые сходства имеют лишь внешний характер (ср.: Живов 1989). Это, однако, не означает, что в Московской и Литовской Руси не было никаких явлений, аналогичных западноевропейскому гуманизму.

Как показал Р. Пиккио (1975), аналогии могут быть выявлены прежде всего в сфере отношения к тексту, к проблемам его передачи (traditio), сохранения и исправления; здесь могут быть обнаружены и общие истоки, и элементы прямого влияния, хотя различия исходных культурных систем обусловливают разные типы развития и препятствуют рассмотрению их как единого процесса. Как уже было сказано, нет оснований говорить о едином византийском источнике западного гуманизма и процессов, связанных с исправлением книг, у славян; здесь, на мой взгляд, предложенная Р. Пиккио схема развития несколько упрощает действительную картину. Наиболее существенным моментом, отличающим восточнославянское развитие от западноевропейского, является состав основного корпуса текстов, на который ориентирована как вся культура в целом, так и филологическая деятельность, в частности, выработка нормативных нарративных структур, норм книжного языка и т.д. В рамках Slavia Orthodoxa этот корпус включает лишь религиозные тексты (Св. Писания и богослужения), тогда как для Византии и Западной Европы в него входят (хотя бы и в ограниченном объеме) также и "классические" (т.е. античные) авторы. В силу этого связь между религиозными ценностями и филологическими задачами оказывается для православного славянства еще более выраженной, чем в западноевропейском гуманизме.

Развитие нового отношения к тексту действительно начинается со второго южнославянского влияния. Само обращение к южнославянским образцам не было простой подражательностью, но исходило из идеи очищения и упорядочения основного корпуса текстов: южнославянская книжность воспринималась в данный период как более "правильная" и устроенная, т.е. как подходящий инструмент для решения задач, возникших на собственно восточнославянской почве. Принципиальное значение имела постановка этих задач; она указывает на развитие филологической рефлексии, в результате которой и образуется новое восприятие предшествующей литературной традиции — не как привычной данности, а как объекта преобразований. Как и у западных гуманистов, этот момент отмечает, хотя бы потенциально, "the end of any *scriptum est* or *ipse dixit,* truths established once and for all" (Пиккио 1975, 170). Отчетливее всего это новое восприятие может быть увидено в лингвистических инновациях.

Новое восприятие создавало перспективу, в которой предшествующая эволюция русского извода церковнославянского языка, когда книжный язык сближался с языком разговорным, начинает рассматриваться как "порча", приведшая к дестабилизации лингвистических характеристик того самого основного корпуса текстов, который должен служить эталоном языковой и литературной (и одновременно

вероисповедной) правильности. Соответственно, перед русскими книжниками встает задача "очищения" книжного языка, и естественным средством такого "очищения" представляется отталкивание книжного языка от языка разговорного. Южнославянские тексты выступают при этом как модель, поскольку их лингвистические характеристики находятся в явном противостоянии с естественными речевыми навыками русских писцов. Нагляднее всего это новое восприятие выразилось в орфографии: на смену постепенной адаптации церковнославянского на русской почве, приспосабливавшей книжную орфографию к местной фонетике, приходит деадаптация как отказ от естественных речевых навыков (см.: Живов 1988, 64—66). Совокупность соответствующих инноваций и рассматривалась изначально как основные признаки второго южнославянского влияния (см.: Соболевский 1894; 1980, 147—158; Ворт 1983б; Успенский 1987, 203—211).

2. Развитие, связанное со вторым южнославянским влиянием, не сводится, однако, к замене одних образцовых текстов другими, замене одной орфографической нормы другою. Первоначально новое отношение к тексту реализуется в сфере воспроизводимых текстов, т.е. тех текстов, которые переписываются, редактируются, перерабатываются, но не создаются заново. Именно к этой сфере принадлежит основной корпус текстов, реформирование которого как фундамента всей культуры и было задачей, вызвавшей обращение к южнославянским источникам. По-новому переписываются или появляются в новых редакциях тексты Св. Писания, вносятся изменения в богослужебные тексты, расширяется состав нормообразующих памятников (например, в области аскетической и агиографической литературы). Однако преобразования не могли ограничиваться одним лишь основным корпусом, поскольку изменение закрепленных в нем норм требовало смены норм и в книжной деятельности в целом. Ориентация этой деятельности на основной корпус текстов делала невозможным сознательное расхождение нормы воспроизводимых текстов и нормы текстов оригинальных. Новое отношение к тексту должно было, следовательно, преобразовать и оригинальную книжную деятельность [1].

Действительно, принцип отталкивания от разговорного языка, определявший привлекательность южнославянских образцов, разрушал механизм порождения новых книжных текстов, присущий предшествующему периоду и основанный на соотносительности книжного и живого языка, поэтому возникла необходимость в регламентации иного типа, не апеллирующей к ресурсам живого языка, а выражающейся в системе абстрактных правил. Появление таких правил указывает на развитие грамматического подхода к языку, а "второе южнославянское влияние" выступает как стимул этого процесса. В развитии грамматического подхода, приходящего на смену подходу текстологическому (Толстой 1988, 72—73, 108—109), и можно усмотреть ряд моментов, находящих соответствие в западноевропейском гуманистическом отношении к тексту.

Переход от конкретных образцов к автономной регламентации можно наблюдать в той же орфографии. Так, одним из проявлений

отталкивания книжной нормы от разговорного языка была орфографическая дифференциация омонимов, прежде всего омонимичных грамматических форм (типа род.ед. **нощи** — им. мн. **нощи** — см.: Зизаний 1596, л.Г/4—4об.: см. об этом: Успенский 1987, 218—223): неразличение этих форм воспринималось как удел необработанного языка (в частности, живого), тогда как культивируемая книжная норма требовала, напротив, дифференциации. Образцы такой дифференциации могли быть найдены у южных славян (например, у Константина Костенечского — см. Ягич 1896, 124; ср.: Успенский 1987, 217; Голдблатт 1987, 258), однако эти образцы выступают лишь как модель, на основе которой создаются собственные орфографические предписания. Так, например, в трактате "О множестве и о единстве" противопоставляются формы им.ед. ж.рода **аггльскаа** и им.мн. ср.рода **аггльскаѧ** (Ягич 1896, 432—433; ср.: Ворт 1983а, 52); такая оппозиция не имеет прецедента в южнославянском материале и представляет собой, в сущности, сочетание разнородных орфографических вариантов. Построение новых орфографических моделей никак не может быть обусловлено лишь выбором новых образцовых текстов и представляет собой элемент грамматического подхода, при котором само значение образцовых текстов релятивируется.

Аналогичные наблюдения можно сделать и в отношении лексики. Отталкивание от разговорного языка делает актуальным противопоставление книжной и некнижной лексики. В связи с этим возникает потребность в расширении состава специально книжной лексики (ср.: Лихачев 1958, 28—29; Виноградов 1958, 101—105), и это обусловливает употребление грецизмов и лексики, характерной для южнославянских изводов церковнославянского языка. В основном, однако, словарный состав книжного языка расширяется не за счет этих элементов, а за счет слов, заново создаваемых по специфически книжным словообразовательным моделям (сложные слова, существительные с суф. *-тель*, прилагательные с суф. *-тельн-* и т.д. — см.: Кайперт 1970, 151 сл.; Кайперт, 1977, 39 сл.). И здесь, таким образом, значимость моделей перекрывает значимость образцовых текстов, и это также может быть связано с развитием грамматического подхода [2].

Отталкивание от разговорного языка должно было несомненно сказаться и на грамматике книжных текстов. Понятно, что нормализация употребления книжных грамматических форм не могла опираться на образцовые тексты инославянской традиции. Реформированный книжный язык нуждался в последовательном употреблении специфически книжных элементов, причем такое употребление должно было быть систематическим, т.е. опираться на определенные правила, имеющие дело с общедоступным и общезначимым языковым материалом. Эта потребность и лежала в основе восточнославянской грамматической традиции. Правила употребления специфически книжных элементов, в частности, простых претеритов, в восточнославянских грамматиках отсутствуют. Поэтому мы, вообще говоря, не знаем, как русские книжники добивались их систематического (грамматически нормализованного) употребления. Очевидно, однако, что,

каким бы образом ни передавалась соответствующая лингвистическая информация, этот процесс предполагал существование какого-то грамматического аппарата описания. Как и все европейские грамматики средневековья (вплоть до появления грамматических описаний Пор-Руаяля — разного рода "Nouvelles Methodes"), славянские лингвистические трактаты содержали прежде всего каталог форм, т.е. задавали классификацию языковых элементов, но не способы порождения текста. Такая классификация, однако, была необходимой предпосылкой какой бы то ни было регламентации употребления. Регламентация употребления должна была исходить из осознания парадигматической соотнесенности форм как предварительного условия: чтобы систематизировать употребление форм аориста и имперфекта, надо было сначала знать, что *прия* и *прияша* относятся к одной категории форм, а *прияше* и *прияху* — к другой. При наличии классификации, какой бы она ни была, можно было приступать и к предписаниям, касающимся обращения с этими формами. Можно предполагать, что эти предписания носили экземплификативный характер, т.е. состояли в указании на контрастирующие примеры (см.: Живов 1986, 85—88).

Хороший пример того, как классификация форм клалась в основу систематизации их употребления, можно найти в прениях Лаврентия Зизания с московскими справщиками, правившими его Катехизис (1627 г.). Здесь, в частности, обсуждалось различие желательного наклонения и будущего времени. Так, московские справщики говорят: "Да переменили мы в твоей книге реч: Отче наш, иже еси на небесех! да освятится имя твое. И так у тебя есть і во многих мѣстех книги твоея, а имя божия не освящается, но освящает. Лаврентиі рече: Будущего времени являет реч, как прочая в молитве сей, прошения: да освятится, да придет, да будетъ. Мыж рѣхом: Рѣч толко желателнаг образа может и настоящего времени не отступити; аще бы не желателнаг образа была рѣч сия, то бы не прилагался к ней слог: добр*о* да аз; было бы: освятится, приидет, будет, а коли уж с предлогом рѣчь: *да* освятится, *да* приидет, *да* будет; то являет желание и моление к дающему лицу, а <не> простую рѣчь изъявителную" (Прения 1859, 95). Лаврентий, заменяя *святится* на *осьятится,* исходил из того, что здесь должна быть употреблена форма будущего времени и поэтому исправил несовершенный вид на совершенный — различия по виду лежат в основе противопоставления настоящего и будущего времени в написанной им грамматике (ср. здесь пары *сѣку — посѣку, вижду — оувижду* и т.д. — Зизаний 1596, л. Ж/7 об.). Московские же справщики полагали, что в молитве употребляется форма желательного наклонения, образуемая сочетанием "предлога" *да* с презенсом; постановка же глагола совершенного вида означала, видимо, для них изменение смысла, при котором оказывалось, что в какое-то время Божие имя не было освященным. Как можно видеть, московские справщики начинают с грамматической идентификации форм и здесь пользуются четкими формальными аргументами. Правила обращения с этими формами также рассматриваются как нечто известное, хотя

они и не эксплицируются: молитвенное обращение требует "желательного образа".

Таким образом, грамматическая нормализация нуждается в грамматическом аппарате. Первоначально эта потребность также удовлетворяется за счет южнославянских источников. От южных славян приходит трактат "О осми частех слова" (Ягич 1896, 38 сл.; Ворт 1983а, 14—21), орфографический трактат Константина Костенечского (Ягич 1896, 247 сл.; Голдблатт 1987) и, возможно, некоторые другие сочинения (ср.: Соболевский 1903, 34—36). Этот филологический материал достаточно быстро осваивается русской книжностью, получает на русской почве свое продолжение и развитие и создает почву для контактов в этой сфере с западноевропейской (прежде всего немецкой) филологической традицией. Отвлекаясь от ряда мелких статей грамматического содержания, достаточно указать в этой связи на "Донатус" Дмитрия Герасимова (Ягич 1986, 524 сл.; ср.: Ворт 1983а, 76—165; Мечковская 1984, 38—40; Живов 1986, 93—107; Кайперт 1989; Захарьин 1991). С приездом в Москву в 1518 г. Максима Грека грамматическое учение получает здесь дальнейшее развитие и осмысляется как "начало и конецъ всякомꙋ любомꙋдрїю" и "вождь к' бг҃видномꙋ смотренїю и предивномꙋ и непристоупномꙋ бг҃ословїю" (Ягич 1896, 333). Разработанность грамматического учения связывается при этом с достоинством церковнославянского языка, и грамматика делается важнейшим критерием в оценке правильности текстов.

3. Развивающаяся филологическая регламентация, изначально необходимая для оригинальных текстов, получив жизнь, начинает оказывать непосредственное влияние и на тексты воспроизводимые. Их значение как образца языковой правильности, которая теперь связывается преимущественно с правилами, а не с текстами, становится второстепенным моментом, и они сами вовлекаются в сферу языковых инноваций. Образцовые тексты могут правиться в соответствии с вновь разработанными грамматическими правилами. Именно с Максима Грека и берет начало книжная справа, основанная на грамматике. Первым шагом грамматической нормализации была, как было показано, организация парадигм. Составляя парадигмы глаголов в прошедших временах, русские грамматисты сталкивались с омонимией форм 2 и 3 лица ед. числа типа *глагола — глагола* или *глаголаше — глаголаше*. Такое устройство парадигмы противоречило известным им образцам (греческим и латинским) и не согласовалось, видимо, с их представлениями о правильном грамматическом устройстве. При подобном строении парадигмы оказывалось, что с помощью славянских грамматических средств нельзя передать ту грамматическую информацию, которая имеется в соответствующих греческих или латинских формах. Поэтому в парадигмы прошедших времен во 2 или во 2 и 3 лице вводятся *л*-формы, что позволяет разрешить омонимию, т.е. получить приемлемую для тогдашних лингвистических воззрений парадигму. Именно так и поступает Дм.Герасимов в своем "Донатусе" (Ягич 1896, 566—567, 572, 575, 578, 583), и этот способ усваивается затем всеми последующими восточно-

славянскими грамматиками книжного языка (Живов и Успенский 1986, 261). Составление таких контаминированных (с нашей точки зрения, но не с точки зрения тогдашних книжников) парадигм относится к плану собственно грамматической нормализации.

В тех исправлениях, которые Максим Грек (в сотрудничестве с тем же Дм.Герасимовым) вносил в отредактированную им Толковую Псалтырь и Цветную Триодь, эта нормализация становилась основной книжной справы. Так, в редакции Толковой Псалтыри, осуществленной в 1521—1522 гг., встречаются замены типа *призыва — призвал еси, услыша — услышал еси, сотвори — сотворил еси,* и т.д. (Ковтун и др. 1973, 108). Такую же справу Максим продолжает и позднее, несмотря на преследования со стороны приверженцев традиционного текста (Ковтун и др. 1973; Живов и Успенский 1986, 259—260). Отвечая своим противникам, полагавшим, что, производя замены, он существенно менял смысл текста, Максим указывал, что "в том разньства никоторого нет, а то мимошедшее и минувшее..." (Покровский 1971, 90; ср. 109, 126, 140, 158, 160). Этот ответ красноречиво свидетельствует о том, что правильность изменений для Максима и его учеников связывалась исключительно с грамматическими соображениями, с грамматической классификацией форм: существенной оказывалась принадлежность форм к одному разряду в грамматическом описании (которое, понятно, могло быть достаточно искусственным), тогда как несходства в традиционном употреблении этих форм выпадали из сферы внимания.

Как известно, Максима дважды судили (в 1525 и в 1531 гг.), и среди выдвинутых против него обвинений фигурировали и аргументы чисто лингвистического характера. Проведенная Максимом справа была отвергнута, однако справа, основанная на одних лишь текстологических соображениях (поиски наиболее древних и наименее поврежденных в языковом отношении списков и ориентация на них при исправлении книг), оказывалась мало результативной: не находилось критериев для выделения наиболее исправных (или наиболее древних) кодексов и вместе с тем указания подобных кодексов оказывались противоречивыми. В этих условиях обращение к грамматическим критериям делалось неизбежным, и история книжной справы XVII в. показывает, что в той или иной мере к ним обращались справщики разных направлений. Принципы и конкретные параметры справы, проведенной Максимом, находят продолжение в деятельности никоновских и послениконовских справщиков. Грамматические критерии, однако, играли роль и в дониконовской справе, как можно видеть из полемики московских справщиков (Ивана Наседки и игумена Ильи ) с Лаврентием Зизанием (ср. цитировавшийся выше отрывок из их прений). Таким образом, грамматический подход прочно утверждается в русской книжности, и отдельные протесты против его частных приложений остаются лишь второстепенными моментами в общем развитии.

Прямым следствием утверждавшегося грамматического подхода была переоценка предшествовавшей книжной традиции и, в частности, тех явлений, которые получили распространение со вторым южно-

славянским влиянием. В литературе встречаются суждения, согласно которым в Московской Руси в XVI в. "наблюдается реакция на это влияние" (Успенский 1987, 227; ср. еще: Ковтун 1971). Однако эта реакция, основным свидетельством которой является предисловие ученика Максима Грека Нила Курлятева к переведенной Максимом в 1552 г. Псалтыри (см. публикацию: Ковтун 1975, 94—98), была не радикальным отвержением результатов второго южнославянского влияния, а отказом от некоторых периферийных элементов, не входящих в норму книжного языка как таковую. Можно сказать, что Максим Грек и апологет его инноваций Нил Курлятев отвергают все то, что, восходя к южнославянской книжной традиции, не обобщается в правилах и таким образом оказывается за пределами грамматической нормализации (см.: Кайперт 1985; Живов 1988, 67—68). Таким образом, и в данном случае ученая грамматическая разработка оказывается более важной, чем литературная традиция: образцы в качестве нормополагающего элемента заменяются правилами и в силу этого сами становятся объектом исправления.

4. Рассмотренные изменения кардинальным образом меняют отношение к книжному языку и вместе с тем подход к тексту, в том числе и к основному корпусу текстов. Этот корпус перестает восприниматься учеными книжниками как неприкасаемое священное предание, и его "правильность" связывается не с древностью, а с ученой филологической обработкой. На церковнославянский переносятся те критерии обработанности и грамматического искусства, которые для классических языков создавались западноевропейским гуманистическим движением. Максим Грек оказывается здесь не только наиболее влиятельной, но и в определенном смысле символической фигурой. Хорошо известно, что в годы своей жизни в Италии он входил в круг гуманистов, группировавшихся вокруг Платоновской академии во Флоренции, а затем участвовал в издательской деятельности Альдо Мануция в Венеции (Денисов 1943; Хани 1973). Позднейший его разрыв с гуманизмом и обращение к греческой патристической традиции не сказались, надо думать, на его отношении к филологическому знанию и представлениях о критериях обработки текстов: гуманистическая эрудиция и филологическая критика оставались для него необходимой предпосылкой адекватного понимания и толкования — не только Аристотеля и Платона, но и святоотеческой литературы. Это отношение он переносит и на почву церковнославянского языка, причем сам этот перенос обусловливает два новых момента. Во-первых, утрачивается связь гуманистической филологии с задачами восстановления античного наследия, ее объектом делается исключительно литература христианская (поскольку античный компонент в церковнославянской книжности отсутствовал). Во-вторых, проблема адекватной интерпретации текста соединяется с проблемой адекватного перевода. При всем этом герменевтическая техника остается гуманистической, и эта формальная сторона с необходимостью обусловливает инновации мировоззренческого характера.

Говоря о греческом языке, Максим Грек писал: "Оно ѹбѡ да вѣдомо есть вамъ ꙗкѡ еллинскій ѧзыкъ, сирѣчь греческій, ѕѣлѡ

есть хитрѣйшій, не всакъ сице оудобь можетъ достигнути силы егѡ до конца, аще не многа лѣта просидѣлъ кто боудетъ оу нарочитых оучителей, и той аще боудетъ грекъ родом и оумомъ остръ, еще же и охочь, а точїю не таковъ (иже) оучитсѧ оубѡ ѿчасти а в' совершенїе егѡ не дошолъ" (Максим Грек III, 80). Объясняя эту особую сложность литературного греческого языка, он указывает, что "еллинскій гласъ ко еже изобиловати многознаменіемъ и многоименованіемъ глаголаній, но и чинми образы различны глаголаніа отъ просіявшихъ въ риторской тяжести древнихъ мужей умышленми доволнѣ связанъ и сокровенъ есть, ихже въ разумѣніи совершеннѣ намъ быти еще многаго времене и пота требуемъ..." (Максим Грек II,312; ср.: Ягич 1896, 297—304; Иконников 1915, 178—180). Адекватный перевод требует сохранения этих характеристик, необходимых для адекватного понимания, и поэтому церковнославянский нуждается в ученой обработке, которая сделала бы такой перевод возможным. Соответственно, нужна такая его грамматическая нормализация, при которой любые греческие грамматические различия находят эквивалент в славянском, славянский при этом также становится "хитрейшим" языком, нуждающимся в гуманистической герменевтической технике. Как и в случае с греческим, совершенное знание славянского ставится теперь в зависимость от овладения целым комплексом гуманитарных дисциплин, поскольку "аще кто не довѡлнѣ и совершеннѣ наоучился бѹдетъ, ꙗже грамматикіи и пиитикїи и риторикїи самыя философіи, не можетъ прѧмо и совершенѡ ни же разѹмѣти письемаѧ, ни же преложити ѧ на ихъ ꙗзыкъ" (Максим Грек III, 62; Ягич 1896, 301) [3].

Это новое — в восточнославянском контексте — понимание не остается специфичным для Максима Грека (который, конечно, стоит среди славянских книжников особняком). Его воззрения утверждаются и в России (ср.: Фрейданк 1968, 99, 107), и на Украине благодаря целой плеяде его учеников (в частности, кн.Курбского и старца Артемия, а опосредствованно, возможно, и Ивана Федорова). На Украине идущая от Максима традиция в конце XVI в. находит поддержку и развитие в деятельности Острожской академии, а затем Львовской братской школы. Относительно первой Я. Исаевич справедливо замечает: "Before the founding of the Ostrih school, there had been in the Ukraine virtually no constant symbiosis between traditional forms of studying the Byzantine Greek cultural heritage and the more modern secular approaches to Hellenic studies that were the achievement of humanist scholarship. Men of letters at Ostrih tried to unite these trends and thus took the first steps in creating an institutionalized framework for a more modern model of Greek studies in eastern Europe" (Исаевич 1990, 100). Эта гуманистическая модель (возможно, несколько ущербная сравнительно со стандартами Максима Грека) распространялась, естественно, и на церковнославянскую книжность. С этой моделью связано, в частности, появление грамматик Зизания и Смотрицкого, закрепляющих новый подход к книжному языку. В XVII в. украинские инновации повлияли, в свою очередь, на культурные процессы в Москве, причем украинский элемент соединялся здесь с традициями Максима Грека (ср.

вполне символичное в данном отношении использование приписываемых Максиму писаний в качестве предисловия к московскому изданию грамматики Смотрицкого 1648 г.).

Инновации гуманистического типа приводят к возникновению грамматически изощренной, "ученой" разновидности церковнославянского языка (ср.: Успенский 1987, 248—252; Живов 1991) [4] и вместе с тем к новому восприятию этого языка и основного корпуса написанных на нем текстов. В предшествующий период церковнославянский мог восприниматься как священный язык, как своеобразная "икона православия" (Успенский 1984). Ему могло приписываться божественное происхождение (например, в Сказании о русской грамоте — см.: Живов 1992) или, в ином случае, он мог противополагаться греческому как "святой" язык профанному (ср. у черноризца Храбра и идущей от него традиции: "словѣн'скаа пи́смена ст҃ѣиши сѫ̀ и҆ ѹ҆ѣстниѣ́йша. ст҃ѣ бѡ мѫжъ створилъ ꙗ҆ ꙗ҆̀, а҆ гръ̑чьскаа є҆́ллини погани" — Ягич 1896, 11; Куев 1967, 190—191; о данной традиции см.: Успенский 1987, 232—234). Такое восприятие находит частичную аналогию в средневековой Европе в понимании латыни как lingua sacra.

Для гуманистической традиции ценность книжного языка состоит не в его "святости", а в его обработанности. Поэтому древность текста, в частности, древность перевода перестает рассматриваться как его принципиальное достоинство; существенно большее значение приобретают другие его свойства, определяемые ученостью редактора или переводчика. Вместе с тем филологическая критика (и грамматическая нормализация) неизбежно обнаруживает непоследовательность древних переводов и, соответственно, ставит под сомнение их совершенство. Критическое отношение к кирилло-мефодиевскому наследию обнаруживается уже у Максима Грека, который, защищая производимую им справу, говорит о редактируемых им книгах: "...исправливаю ихъ, в нихже растлѣшаса ѡво оубо ѿ приписьющихъ ихъ не наоученыхъ сѹщихъ и неискѹсныхъ в разѹмѣ и хитрости грамматикійстѣи, ѡво же и ѡ самѣ^х^ исперва сотворшихъ книжный переводъ прѻпамятныхъ мѹжей — речетъ бо са истина· есть нѣгдѣ не полно разѹмѣвше еллинскихъ реченіи и сего ради далече истины ѿпадѡша" (Максим Грек III, 62; ср.: Ягич 1896, 301). Видимо, для первой половины XVI в. эти мысли были нехарактерны, это была позиция греческого книжника, едва ли разделявшаяся его русскими коллегами. Однако с распространением грамматического подхода утверждается и подобное отношение к древним переводам. Так, Афанасий Холмогорский, полемизируя со старообрядцами, указывал, почти дословно повторяя Максима, на особую сложность греческого языка ("еллиногреческій языкъ есть сѣлѡ трѹденъ, имже вся ст҃ыя книги ихже цр҃ковь содержитъ писаны, и не токмѡ малыя наѹки воспріявъ, но и философскихъ и бг҃ословских наѹкъ ѹчащемьса на дрѹгій языкъ преводити книги сѣлѡ есть трѹднѡ. ꙗкѡ языкъ мѹдрый...").

Трудность перевода преодолевается лишь постепенно, многими поколениями книжников, которые должны "исправити лѹчше. Ибо егда болши людей разѹмных, болше единаго смыслятъ... И кромѣ прежних мѹдрых людей, и ихъ преводѡвъ. писаніе бо ст҃ое вѣщаетъ,

ꙗкѡ множество мꙋдрыхъ спасенїе мїрꙋ" (РГАДА, ф. 381, № 413, л.82—82об.; Афанасий Холмогорский 1682, л.262об.). Указав на несовершенство начальных переводов, Афанасий пишет: "Ѡбаче ѿ онагѡ образа мнози лꙋчше сотворяютъ, но такїя похвалы лишаютсѧ, ради первагѡ образца сотвореннагѡ, что первое есть дѣло всякое трꙋднѣйшее, не ꙋкаряются же что и лꙋчше к' томꙋ содѣлаютъ. Но что болши дѣлаютъ, изряднѣйшее дѣло и честнѣйшее ꙗвляетсѧ" (л.82).

Такой подход, при всех оговорках, подрывает представление о святости древних переводов. Традиционное культурное сознание, видевшее основу книжного языка в священных текстах, созданных славянскими первоучителями, перестает определять динамику литературного языка и характер литературного процесса. Эта роль переходит к книжникам, проникнутым новым культурным сознанием. Именно это новое сознание делает возможным ученое усовершенствование основного корпуса текстов, т.е. Св. Писания и богослужебных книг, и обусловливает необходимость их филологической интерпретации и критического разбора. Эти задачи решаются с помощью знаний, которые могут быть непосредственно с верой не связаны, т.е. носить секулярный характер. Ценность таких знаний не зависит от вероисповедной чистоты их источника, поэтому новое восприятие создает предпосылки для обращения к европейской учености и воспроизведения европейских моделей образования. Для традиционной православной культуры, требующей духовного (в конечном счете откровенного) познания Св. Писания и предания, этот новый подход оказывается чрезвычайной новизной и вызывает глубокое противодействие. Такая реакция имеет место и на Украине, и в Московской Руси, и вызванный никоновскими реформами раскол является (в данной перспективе) лишь частным ее случаем [5]. Тем не менее этот подход утверждается в восточнославянских культурах в XVII в., и без этого основополагающего момента их переориентации невозможно понять их дальнейшее развитие и, в частности, характер их связи с другими культурами. Развитие этой ученой традиции в употреблении и изучении церковнославянского играет определяющую роль и в рецепции русского церковнославянского сербами и болгарами в XVIII и XIX вв.

5. Мы рассмотрели лишь один — лингвистический — аспект возникновения нового отношения к тексту в восточнославянских культурах, отношения, близкого по типу западноевропейскому гуманистическому подходу, хотя и отличающегося от него рядом существенных моментов. Отношение к тексту является, однако, важнейшим показателем культурного типа и определяет не только динамику книжного языка, но и характер литературного развития. Ориентация на основной корпус текстов как на нормополагающее для литературы начало обусловливает специфическую структуру книжности, строющуюся не на жанровом принципе, а на принципе образцов и моделей, заданных единым (нерасчлененным) основным корпусом (Пиккио 1973). Структура древнерусской книжности явно отлична в этом плане от структуры византийской словесности. Очевидно, что изменение подхода к тексту, при котором основной ценностью оказывается не

традиционность, а ученость, должно привести и к изменению литературного пространства. На смену конгломерату текстов с нечетко определенными границами и возможностью постоянного взаимодействия и взаимопроникновения должна прийти риторическая расчлененность, при которой место текста в литературном пространстве определяется его жанровыми признаками. В восточнославянских литературах эти процессы, как кажется, приходятся на конец XVI—XVII в., и именно в них можно видеть аналог рассмотренного лингвистического развития. Соответственно именно в этой сфере, а не в окказиональном появлении "личностного начала" (которое в том или ином виде можно найти в литературе любой эпохи), следует искать инновации гуманистического типа. Канва языковых процессов, рассмотренных в настоящей работе, может указать направление и для этого будущего исследования. Это позволило бы с достаточной полнотой представить особые черты того феномена, который с определенными оговорками можно было бы назвать восточнославянским гуманизмом.

[1] Этот второй этап имел место, естественно, после первого. Если первый начинается в конце XIV — начале XV в., то второй по крайней мере на полвека позже. В силу этого расхождения следы второго южнославянского влияния в текстах разного типа появляются в разное время. Отсюда иногда делаются неверные выводы. Так, Л.П. Жуковская отрицает само влияние южнославянской рукописной традиции, основываясь при этом на орфографии приписок к разным спискам Пролога XIV—XVI вв. и на орфографии Жития Анисьи в списках того же Пролога (Жуковская 1987; Жуковская 1982). Исследованные автором отрывки действительно показывают, что орфографические характеристики, связываемые со вторым южнославянским влиянием, появляются в данных текстах лишь со второй половины XV в. Отсюда автор делает далеко идущие выводы о том, что новые явления графики и орфографии появляются в результате грецизации и архаизации, обусловленных развитием концепции Москвы — Третьего Рима и с южнославянской книжностью никак не связанных.

Представляется, что такие выводы неправомерны уже в силу того, что ни грецизацией, ни архаизацией нельзя объяснить появление *жд* на месте **dj* или написаний типа *тръгъ* (вместо позднедревнерусского *торгъ*): с ориентацией на греческий эти явления никак не связаны, и кажется маловероятным, чтобы книжники XV в. извлекли их из древних "харатейных книг" (как мы знаем, даже в русских рукописях XI в. такие написания последовательно не проводятся); между тем такие написания естественно объясняются, если приписать их ориентации на южнославянскую письменную традицию (как это и сделал в свое время А.И Соболевский — Соболевский 1894).

Что же касается обследованных Л.П. Жуковской текстов, то встает вопрос об их значимости. Трудно приписать такую значимость орфографии приписок. Приписки стоят, как правило, на периферии корпуса книжных текстов, они часто содержат отступления и от нормативной орфографии, и от нормативной грамматики, и поэтому орфографическая регламентация затрагивает их отнюдь не в первую очередь. Сознательные орфографические инновации (а именно к ним относятся те новые явления, которые связываются со вторым южнославянским влиянием) должны касаться прежде всего стандартных переписываемых текстов, а в приписках они могут отразиться лишь тогда, когда сделаются для писцов абсолютно привычными (на это вполне может уйти 50—70 лет). Понятно, что подобные инновации первоначально захватывают лишь небольшое число рукописей, лишь постепенно подчиняя себе книжную традицию. Поэтому нет ничего удивительного и в том, что они не отразились в исследованных списках жития Анисьи, относящихся к XV в. Несравненно более значим тот факт, что имеется ряд русских рукописей первой половины XV в., в которых обсуждаемые инновации имеют место. Укажу хотя бы на Триодь Цветную 1403 г. (ГИМ, Усп. 7/1088 — Князевская и Чешко 1980, 290—292), Лествицу 1423—1424 гг. (ГИМ, Усп. 18),

Октоих 1436 г. (ГИМ, Син. 199), Устав церковный 1437—1438 гг.. (ГИМ, Син. 331 — ср. снимки последних трех рукописей: Колесников 1913 л. 15, 19) и т.д. Существование подобных рукописей ставит вне всяких сомнений наличие контактов между русской и южнославянской книжностью в указанный период.

Как мне представляется, Л.П. Жуковская права, полагая, что основные стимулы так называемого второго южнославянского влияния лежали в собственном развитии русской книжной традиции. Верно и то, что этот процесс не связан непосредственно с иммиграцией южных славян в Россию (каковы бы ни были размеры этой иммиграции — см. об этом: Талев 1973). Этот процесс, однако, наблюдается уже в первой половине XV в., и поэтому его исторический контекст — это не концепция Москвы — Третьего Рима, а те попытки создания православной ойкумены, объединенной общей идеологией и стандартизованным литературным языком, которые предпринимаются в Византии, афонских монастырях и православных славянских государствах во второй половине XIV — начале XV в.

[2] Весьма показательна в этом плане "Буковница" Герасима Ворбазомского (рукопись 1592 г., ГБЛ, ф. 173.1 [собрание Московской духовной академии], №35 — см. об этом памятнике: Аксенова 1981; авторство Герасима установлено Б.А. Успенским: Успенский 1987, 202). В третьей части этого сочинения даются списки прилагательных и причастий с набором их словоизменительных форм. И лексика, и грамматические формы являются здесь по большей части специфически книжными, так что этот раздел оказывается своеобразным справочником для построения и употребления маркированно книжных элементов. Характерно в этом плане, что исключительно большое место среди приведенной лексики занимают сложные слова, например, из 33 слов на букву А сложными являются 29, из 137 слов на букву Б сложных 84, для слов на букву Д соответствующие цифры — 178 и 110. Многие сложные прилагательные появляются в результате языкового творчества автора "Буковницы", ср.: звѣрогласителєнъ, аг҃гелопитанъ, рѣзопріимателє^н^ и т.д.

Слова в данной части "Буковницы" расположены в виде своего рода словообразовательных (или формообразовательных) гнезд. В типичном случае гнездо состоит из четырех элементов: страдательного причастия прошедшего времени, отглагольного прилагательного на *-тельн-*, страдательного причастия настоящего времени и действительного причастия настоящего времени (например, истаѹаємь, источєнъ, источетилєнъ, источающь; содѣваємь, содѣянъ, содѣтєлє^н^, содѣвающь — л. 161, 173об.). Как можно видеть, прилагательные с суф. *-тельн-* оказываются здесь регулярным образованием, и, таким образом, та модель, которая получила большое распространение после второго южнославянского влияния, делается здесь универсальным способом производства специфически книжных элементов. В этом случае становится очевидным, что формирование специфически книжной лексики осуществляется прежде всего не за счет заимствования тех или иных элементов, а за счет последовательной эксплуатации ограниченного числа словообразовательных моделей. На прямую связь подобного положения вещей с грамматическим подходом может указывать соотнесение прилагательных на *-тельн-* с греческими отглагольными прилагательными на -τος (Кайперт, 1977, 120—126), и можно думать, что в словообразовательном творчестве Герасима отразилась грамматическая регулярность греческого формообразования.

[3] В частности, правильность перевода связывается с умением дать грамматический анализ переводимого текста и найти однозначные славянские эквиваленты для категорий греческого оригинала. Именно этот подход отражается в диалоге Максима Грека и Нила Курлятева, который воспроизводит Нил в своем предисловии. Максим говорит: "К томуж по грѣчески речи ѳавмасия су, по руски чюдѣсная. И я ему отвѣщал: а у нас стоит чюдѣса. И старѣць отвѣщал: да у нас по гречески Нилѣ прямо ѳав'масиа су, а по вашему чюдѣсная. По грѣчески ѳав'мата по нашему чюдеса"(Ковтун 1975, 97). Речь идет, видимо, о стихе Пс. LXXXVIII, 6, который в стандартном славянском переводе читается так: "Исповѣдятъ небеса чудеса твоя Господи..." (ср. в русском переводе: "И небеса прославят чудные дела Твои, Господи..."). В греческом тексте здесь стоит:"Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, κύριε". По мнению Максима, славянские переводчики не опознали здесь прилагательного θαυμάσιος в вин.мн. ср.рода (оно употреблено здесь в обобщенно-субстантивированном значении) и поэтому перевели его существительным "чудеса". Правильный перевод требует, с точки зрения Максима, уяснения грамматического статуса греческой формы и нахождения ее

славянского грамматического эквивалента ("чудесная твоя"). Неумение найти точный грамматический эквивалент рассматривается Максимом как следствие недостаточного знания греческой грамматики и недостаточной разработанности славянской. Целью оказывается такая разработка славянской грамматики, при которой она была бы во всех случаях способна передать грамматическую изощренность классических языков.

Этот взгляд на требования к грамматически исправному переводу усваивается и позднейшими поколениями русских книжников. Так, в том споре о молитве Господней, который вел Лаврентий Зизаний с московскими справщиками и который цитировался выше, имеется ссылка и на греческий текст молитвы с грамматическим разбором этого текста и с выводами о том, какая славянская конструкция должна передавать соответствующую греческую. Вот этот фрагмент: "Лаврентиі рече: По греческому языку так говорится, что освятится имя твое. Кто у вас умѣет по греческиі? Мыж рѣхом ему: Умѣем по греческиі столко, что не дадим ни у каковы рѣчи никакова слога ни убавити, ни приложити. Да есть у государя нашего царя і великого князя Михаила Феодоровича всеа Русиі перевотчики греческого языка и грамоте умѣютъ и псалмы в церкви говорят, і они говорят: да святится, а не освятится, аги асѳито, а не: ина аги асѳито" (Прения 1859, 95; речь идет о следующих словах молитвы Господней: ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου; московские справщики указывают, что в молитве нет союза ἵνα, после которого возможно желательное наклонение). Как можно видеть, выработанные Максимом принципы находят применение и в справе дониконовского времени.

[4] Естественно, это было ограниченным и элитарным процессом. Не следует представлять себе дело так, что в какой-то момент грамматический подход пришел на смену текстологическому и вытеснил его, оставив в прошлом все те явления, которые были вызваны к жизни подходом текстологическим. В самом деле, грамматический подход не привел к коренному изменению обучения книжному языку. Грамматическая образованность распространялась медленно и в ограниченных размерах и во всех случаях — вплоть до конца XVIII в. — выступала в качестве своего рода добавки. Ученик, овладевший грамматическими правилами, уже обладал первоначальным знанием книжного языка: он знал достаточно большое число церковнославянских текстов и вырабатывал те или иные механизмы их понимания, независимые от грамматической систематизации. Поэтому грамматический подход к книжному языку не осуществлялся в России в чистом виде (сравнительно, например, с подходом к латыни у немцев или поляков), и ориентация на стандартные тексты оставалась в какой-то степени исходной для любого грамотного человека. Поэтому развитие грамматического подхода приводит не к радикальной смене книжного языка, а к возникновению добавочной его разновидности.

[5] Обширную сводку примеров с протестами против грамматики и других филологических дисциплин из сочинений как украинских, так и московских авторов приводит Б.А. Успенский (1987, 257—258). Представляется, что именно в этом контексте актуализируется и представление о "святости" церковнославянского языка, о котором говорилось выше. Высказывания о "святости" церковнославянского встречаются у тех же самых украинских и русских авторов, которые отвергают как нечистое грамматическое и риторическое учение (например, у Иоанна Вишенского и ряда старообрядческих авторов). У этих высказываний, правда, есть своя уходящая в глубь веков традиция, однако кажется, что в предшествующие эпохи восприятие церковнославянского как "святого" языка, созданного святыми мужами, остается на периферии культурного сознания. С XVI в. оно приобретает полемическую значимость — именно противостоя новому пониманию церковнославянского как ученого языка. Нет оснований экстраполировать эту оппозицию на более ранние периоды и связывать особенности функционирования книжного языка древней Руси с представлениями о его святости.

*Аксенова Е.А.* Важный памятник средневековой грамматико-лексикографической традиции (текстологический и акцентологический анализ) // Сов. славянов. 1981. № 1. С. 66—77.

[Афанасий, архиепископ холмогорский]. Увет духовный. М., 1682.

*Виноградов В.В.* Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958 [IV Международный съезд славистов. Доклады].

Ворт 1983а — *Worth D.S.* The Origins of Russian Grammar. Notes on the State of Russian Philology before the Advent of Printed Grammars. Columbus, 1983.

Ворт 1983б — *Worth D.S.* The "Second South Slavic Influence" in the History of the Russian Literary Language // American Contribution to the Ninth International Congress of Slavists. Vol.I. Linguistics. Ed. by M.Flier. Columbus, 1983. P. 349—372.

Голдблатт 1987 — *Goldblatt H.* Orthography and Orthodoxy. Constantine Kostenečki's Treatise on the Letters. Firenze, 1987.

Денисов 1943 — *Denissoff E.* Maxime le Grec et l'Occident. Contribution à l'histoire de la pensée religieuse et philosophique de Michel Trivolis. Paris; Louvain, 1943.

*Живов В.М.* Славянские грамматические сочинения как лингвистический источник. О книге: D.S. Worth. The Origins of Russian Grammar... Columbus, 1983// Russian Linguistics, vol.10 (1986), P. 73—113.

*Живов В.М.* Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков// Актуальные проблемы славянского языкознания. М., 1988. С. 49—98.

*Живов В.М.* Выступление в ходе круглого стола, посвященного 1000-летию Крещения Руси // Сов. славянов. 1988, № 6. С. 36—39.

*Живов В.М.* "Простота" языка и ее реализации: о языке книги "Статир" (1683—1684 гг.) // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXIII (1990). Посвећено професору др. Александру (Младеновићу поводом 60-годишњице живота. Нови Сад, 1990. С. 141—154.

*Живов В.М.* Slavia Christiana и историко-культурный контекст Сказания о русской грамоте// Русская духовная культура/ Под ред. Л. Магаротто и Д. Рицци. Тренто, 1992. С. 71—125 [Dipartimento di storia della civiltà europea. Testi e ricerche, n. 11].

*Живов В.М., Успенский Б.А.* Grammatica sub specie theologiae. Претеритные формы глагола *быти* в русском языковом сознании XVI—XVIII веков// Russian Linguistics, vol. 10 (1986), P. 259—279.

*Жуковская Л.П.* К вопросу о южнославянском влиянии на русскую письменность (Житие Аннсьи по спискам 1232—1632 гг.)// История русского языка: Исследования и тексты. М., 1982, С. 227—287.

*Жуковская Л.П.* Грецизация и архаизация русского письма 2-й пол. XV — 1-й пол. XVI в. (Об ошибочности понятия "второе южнославянское влияние")// Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. М., 1987, С. 144—176.

*Захарьин Д.Б.* О немецком влиянии на русскую грамматическую мысль// Russian Linguistics, vol.15 (1991). S. 1—29.

*Зизаний Л.* Грамматика словенска Съвершенна искуства осми частий слова. В Вилни, 1596.

*Иконников В.С.* Максим Грек и его время. Киев, 1915.

Исаевич 1990 — *Isaievych I.* Greek Culture in the Ukraine: 1550—1650// Modern Greek Studies Yearbook. Vol.6 (1990). S. 97—122.

Кайперт 1970 — *Keipert H.* Zur Geschichte des kirchenslavischen Wortguts im Russischen// Zeitschrift für slavische Philologie, XXXV (1970), 1, S. 147—169.

Кайперт 1977 — *Keipert H.* Die Adjektive auf -telьnъ. Studien zu einem Kirchenslavischen Wortbildungstyp. I. Teil. Wiesbaden, 1977.

Кайперт 1985 — *Keipert H.* Nil Kurljativ und die russische Sprachgeschichte// Litterae slavicae medii aevi. Francisco Venceslao Mareš Sexagenario Oblatae. München, 1985, S. 143-155.

Кайперт 1985 — *Keipert H.* Deutsches im russischen Donat// Die Welt der Slaven, XXXIX (1989), 2, S. 236—258.

*Князевская О.А. Чешко Е.В.* Рукописи митрополита Киприана и отражение в них орфографической реформы Евфимия Тырновского// Търновска книжовна школа. Т. II. София, 1980. С. 282—292.

*Ковтун Л.С.* Русские книжники XVI столетия о литературном языке своего времени// Русский язык. Источники для его изучеиия. М., 1971. С. 3—23.

*Ковтун Л.С.* Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975.

*Ковтун Л. С., Синицина Н.В., Фонкич Б.Л.* Максим Грек и славянская Псалтырь (сложение норм литературного языка в переводческой практике XVI в)// Восточнославянские языки. Источники для их изучения. М., 1973. С. 99—127.

*Колесников И.Ф.* Сборник снимков с русского письма XI—XVIII вв. М., 1913.

*Куев К.М.* Черноризец Храбър. София, 1967.

*Лихачев Д.С.* Некоторые задачи изучения второго южиославянского влияния в России. М., 1958.

Максим Грек — Сочинения Максима Грека. Ч.I — III. Казань, 1859—1862.
*Мечковская Н.Б.* Ранние восточнославянские грамматики. Минск, 1964.
Пиккио 1973 — *Picchio R.* Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval Orthodox Slavdom// American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists. Vol.II. The Hague, 1973, S. 439—467.
Пиккио 1975 — *Picchio R.* On Russian Humanism: The Philological Revival. — Slavia, XLIV (1975), 2, S. 161—171.
*Покровский Н.Н.* (изд.). Судные списки Максима Грека и Исака Собаки. М., 1971.
Прения 1859 — Прения литовского протопопа Лаврентия Зизания с игуменом Ильею и справщиком Григорием по вопросу исправления составленного Лаврентием катехизиса// Летописи русской литературы и древности. Изд. Н. Тихонравовым. Т.II. М., 1859. С. 180—100.
*Соболевский А.И.* Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV—XV вв. СПб., 1894.
*Соболевский А.И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. Спб., 1903 [Сб. ОРЯС, LXXIV, 1].
*Соболевский А.И.* История русского литературного языка. Л., 1980.
Талев 1973 — *Talev I.* Some Problems of the Second South Slavic Influence in Russia. München, 1973.
*Толстой Н.И.* История и структура славянских литературных языков. М., 1988.
Успенский 1984 — *Uspensky B.A.* The Language Situation and Linguistic Consciousness in Muscovite Rus': the Perception of Church Slavic and Russian// Medieval Russian Culture. Ed. by H. Birnbaum and M.S. Flier. Berkeley; Los Angeles; London, 1984, S. 365—385.
*Успенский Б.А.* История русского литературного языка (XI — XVII в.). München, 1987.
Фрейданк 1968 — *Freydank D.* Zu Wesen und Begriffsbestimmung des russischen Humanismus// Zeitschrift für Slawistik, Bd.XIII (1968), 1, S.98—108.
Хани 1973 — *Haney J.V.* From Italy to Muscovy. The Life and Works of Maxim the Greek. München, 1973.
*Ягич И.В.* Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. СПб., 1896 [Исследования по русскому языку, I. СПб., 1885—1895].

*Е.И. Демина*

# ТРАДИЦИЯ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ В ПРЕДНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В истории народов мира Slavia Latina и Slavia Orthodoxa особое место занимает преднациональный период (вторая половина XVI—первая половина XVIII столетия). Это был период значительных изменений в экономических, социальных и историко-культурных условиях жизни славянских народов на переходном этапе смены двух общественных формаций, период наивысшего проявления средневековой культуры и вместе с тем ее заката, что находило свое преломление в отказе от традиционных форм функционирования книжно-литературных идиомов, в появлении новых, преднациональных форм манифестации литературного языка как историко-культурного феномена, в значительных сдвигах в языковой ситуации и

принятых обществом нормах употребления языковых идиомов в той или иной коммуникативной ситуации.

Эти изменения по-разному проявлялись у каждого из славянских народов, что в значительной степени определялось различием их исторической судьбы в преднациональный период, в частности тем, что одни из них были в это время независимыми, обладали собственной государственностью, другие — их большинство — находились под иноземным владычеством; важную роль имели конфессиональные различия; волны Реформации и контрреформации неодновременно достигали разных земель и действовали с неодинаковой силой.

Несмотря на это, бросается в глаза нечто общее в самом существе происходивших изменений и их внешних проявлений. Это общее — прежде всего тенденция к демократизации культуры, письменности и литературного языка, к отказу от литературных идиомов на чужой этнической основе и борьба за права собственного литературного языка. Внешне эта тенденция могла проявляться на уровне сдвигов в языковой ситуации (появление книжно-литературных идиомов у народов, ранее не имевших традиционной письменности на этнически родной основе, вытеснение чужих литературных языков, функционировавших у данного народа в условиях гетерогенного литературно-языкового двуязычия и многоязычия, стремление к сохранению и укреплению позиции собственного литературного языка, расширению его коммуникативной сферы) или же затрагивать и уровень состояния литературного языка данного народа как категории исторической, как особого динамического "целого" в совокупности своих возможных манифестаций, уровень субстанции и структуры литературных идиомов (широкое введение народных выразительных средств в язык традиционной письменности вплоть до создания новых книжных языков на народной основе, отталкивающихся от традиции и одновременно опирающихся на нее).

Появление новых книжно-литературных идиомов на основе живой народной речи в силу инерции развития приводило к ситуации сосуществования у данного народа двух или нескольких разновидностей литературного языка на одной и той же этнической основе, к ситуации гомогенного или также гетерогенного двуязычия и многоязычия, в котором участвуют как родственные (славянские), так и неродственные (латинский, немецкий, отчасти — итальянский и французский) языки. Становится возможным параллельное функционирование текстов на традиционном литературном и вновь созданных книжно-литературных идиомах, в частности возникает возможность перевода с традиционного литературного языка на "простой", народный в своей основе язык. В условиях имевшей место в период средневековья у некоторых славянских народов ситуации диглоссии, т.е. такого способа "сосуществования двух языковых систем в рамках одного языкового коллектива (имеются в виду книжная языковая система, связанная с письменной традицией, и некнижная система, связанная с обыденной жизнью. — *Е.Д.*), когда функции этих двух систем находятся в дополнительном распределении, соответствуя

функциям одного языка в обычной (недиглоссийной ситуации)"[1], это приводило к принципиальным сдвигам в укрепившихся в данном обществе представлениях о "социально корректном высказывании", к изменению норм функционирования разных форм существования данного языка в различных коммуникативных сферах. Аналогичные сдвиги наблюдаются и у народов, у которых с престижными сферами общения было связано употребление чужих литературных языков (латынь, немецкий).

В изучении особенностей функционирования славянских литературных языков в преднациональный период их развития, роли в этом процессе традиции и новых тенденций развития сделан ряд важных шагов, накоплено немало серьезных наблюдений. Фактически на всех послевоенных съездах славистов языковая ситуация данного периода, происходившие в это время важнейшие изменения в литературно-языковой области в той или иной связи привлекали внимание докладчиков. Вместе с тем некоторые стороны этого процесса нуждаются в дальнейшем осмыслении. Это тем более важно, что широко отраженное в исследованиях по истории славянских литературных языков двуделение периода их функционирования на донациональный и национальный, а самих литературных языков на донациональные и национальные[2] снижало внимание к переходному между этими состояниями преднациональному периоду, без глубокого изучения которого трудно, а порой и невозможно понять исторические корни многих важных проблем современных славянских литературных языков, тот облик, в котором они ныне выступают.

Именно стремлением осмыслить в еще одном из возможных аспектов функционирование славянских литературных языков на этапе предыстории их современной формы, проследить сдвиги в языковой ситуации у разных славянских народов этого периода с определенной точки зрения определена тема данного доклада. Этим ракурсом, "основанием для сравнения" избрано осмысление языковой ситуации у славянских народов преднационального периода, происходивших в это время сдвигов в характере литературного языка как историко-культурного феномена в аспекте тенденции к демократизации культуры, письменности и литературного языка, которая в той или иной степени, в той или иной конкретной форме имела место в это время в истории каждого славянского народа. Обращение к такому аспекту наблюдений не только дает возможность выявить своеобразие конкретной реализации этой общей тенденции у каждого народа, но и прояснить ряд других особенностей развития языка письменности и обслуживающих ее литературно-языковых идиомов как конкретной манифестации феномена "литературный язык": отношение к традиции и к народной основе, наличие/отсутствие перерыва в развитии, отношение к литературно-языковым идиомам на неродной этнической основе, использовавшимся в этот период у того или иного народа в качестве орудия культурного общения, смена диалектной базы и др. Иными словами, наша задача, опираясь на фундамент данных, выявленных в исследованиях по истории славянских литературных языков[3], по необходимости в сжатом (а потому и несколько схематизиро-

ванном) виде наметить те реальные процессы в функционировании литературного языка как историко-культурного феномена у разных славянских народов, которые у каждого из них были характерны для переходного к современному облику литературного языка преднационального периода их развития, рассматривая их прежде всего сквозь призму тенденции к демократизации, в той или иной степени характерной для историко-культурной и языковой ситуации переходного периода у каждого народа и в той или иной конкретной форме у них проявившейся.

Если считать, что перед нами тем самым стоят задачи сравнительно-типологического характера, то их можно определить как попытку выявления типологии литературно-языковых ситуаций определенного хронологического среза, находящихся в процессе изменений, или, если угодно, как опыт типологической характеристики динамики литературного языка как историко-культурного феномена в эпоху перехода от донационального к национальному этапу развития с преобладающим вниманием к одному из аспектов этого процесса.

Попытка типологического сопоставления динамики славянских литературных языков в исследуемый период (как и в принципе сопоставительное исследование литературных языков) диктует, на наш взгляд, необходимость подхода к каждому из них как к особому историко-культурному явлению, как к некоему "целому" во всем возможном богатстве конкретных форм манифестации этого "целого". Именно подобный "высокий" уровень абстракции в подходе к понятию "литературный язык", когда принимается в расчет прежде всего сам феномен наличия у данного народа специально обработанного наддиалектного письменного (или также и устного на основе письменного) идиома или ряда таких идиомов, функционирующих как средство цивилизации и обслуживающих общение в сфере достаточно высокой культуры, позволяет судить о нем как об особом динамическом объекте, как о "целом", понимая исторические преобразования в процессе конкретной манифестации этого "целого" как смену его состояния, отражающуюся на сдвигах в языковой ситуации[4].

Именно смена конкретных состояний того иного славянского литературного языка как историко-культурного феномена (учитывая исходную возможность отсутствия таких состояний, т.е. отсутствие у данного народа к началу рассматриваемого периода своего родного литературного языка), ее преломление в языковой ситуации может послужить опорой сравнительно-типологического анализа.

Процесс демократизации литературного языка, характерный для преднационального периода у славянских народов мира Slavia Latina и Slavia Orthodoxa, протекал у каждого из них в различных, но одинаковых по своей основной направленности формах. Этим общим было стремление использовать литературный язык как средство укрепления национального духа, развития народностного самосознания, как средство сохранения и возвышения своей народности. Это особенно ярко проявлялось у народов, находившихся под иноземным господством.

Различия в конкретных формах проявления феномена демократи-

зации культуры, письменности и литературного языка, объяснявшиеся неодинаковой исторической и историко-культурной ситуацией у каждого из славянских народов, различием в вероисповедании, степенью приближенности/отдаленности от идей Реформации во многом зависели от наличия/отсутствия у них к началу рассматриваемого периода собственной книжно-литературной традиции.

У народов, которые такой традицией не обладали (словенцы, отчасти хорваты, лужицкие сербы), у которых в функции литературного языка выступали чужие, не славянские языки, процесс демократизации литературного языка, связанный с влиянием идей Реформации, проявился в создании собственных книжно-литературных идиомов на народной основе. Речь здесь, таким образом, фактически должна идти о демократизации на уровне изменений в языковой ситуации. Появление литературных идиомов на основе родной речи вызвало к жизни конкуренцию между ними и неродными языками (латынью, немецким, отчасти — итальянским), ограничение сфер функционирования последних. Вместе с тем, проникновение народно-разговорных в своей основе книжных языков в сферу достаточно высокой культуры приводило к расширению коммуникативной сферы народного языка, использовавшегося отныне как язык письменности.

В XVI в. в Словении (где в качестве литературных языков выступали латынь и немецкий) в рамках протестантского движения предпринимаются интенсивные попытки создания письменно-литературного языка на основе говора Любляны, совмещающего в разных сочетаниях черты двух центральных диалектов — гореньского и доленьского. Деятельность по созданию письменности на народной основе связана прежде всего с именем Приможа Трубара, издавшего на словенском более 20 книг, и среди них "Абецедер" (1550), Евангелие от Матфея (1555), часть Нового завета (1557) и др. К этому же периоду относятся первые опыты грамматического и лексикографического описания словенского языка: грамматика Адама Богорича (1584), указатель к Библии Ю. Далматина (1584), Четырехъязычный словарь Иеронима Мегисера (1592)[5]. В XVII в., в период католической реакции, наблюдается постепенный отход от традиций, заложенных в XVI в. Но уже в XVIII в. литературно-письменная деятельность вновь оживляется в Каринтии, Штирии и Прекмурье, причем книжники этих областей в литературе конфессионального содержания опираются на живую речь родных диалектов[6].

В XVI—XVII вв. в Хорватии возникает ряд книжных языков на основе народной, диалектной речи, закрепленных в кайкавской, чакавской, боснийской, штокавской и — позднее — (с XVIII в.) славонской литературе, которая вытесняет язык древней славянской конфессиональной письменности, распространенной среди хорватов-"глаголяшей". Особого расцвета в преднациональный период достигает дубровницко-далматинская литература с ее, близким к народному, языком[7]. Неблагоприятная историческая обстановка, феодальная раздробленность приводят к тому, что все три диалекта (кайкавщина, чакавщина, штокавщина) надолго утверждаются в литературно-языковой функции[8]. "До эпохи революции 1848 г. — до победы линии

Ф. Прешерна, М. Чопа и Я. Зупана у словенцев и до Венского "литературного договора" (1850) хорватов и сербов, т.е. до стабилизации словенского и хорватского (с той поры уже сербохорватского) литературных языков, существовал в общем целый набор предварительных (провизорных) моделей литературного языка с очень широкой амплитудой колебания"[9].

Возникновение в XVI в. письменности у лужицких сербов связано с нижнелужицкой языковой территорией[10]. Оно протекало в сложной обстановке распространения догм протестантской церкви и обусловленного этим вытеснения латыни из конфессиональной сферы. Немецкие проповедники, вынужденные использовать в проповеди новых догм понятный простому народу живой язык, в то же время стремились по возможности ограничить его употребление. Памятники нижнелужицкой письменности: первая печатная "Книга песнопений и катехезис" Альбина Моллера (1574), перевод Нового завета Н. Якубицы (1548), первая серболужская грамматика (1650), — каждый отражали черты различных местных говоров. Фактически они являлись своеобразной формой сопротивления политике германизации и борьбы за сохранение народности и родного языка. Верхнелужицкая письменность возникает в XVII в. в двух вариантах, различия между которыми были обусловлены не только выбором разной диалектной основы, но и вероисповеданием книжников (протестантским и католическим), которые ими пользовались. Начиная с 1670 г. возник ряд переводов религиозной литературы, в частности библии (1728). Это способствовало созданию нормы, которой придерживались последующие переводчики и авторы Верхней Лужицы[11]. Ситуация сосуществования у лужицких сербов в XVI—XVII вв. книжных языков на народной основе, претендовавших на роль литературного языка, каждый из которых обладал своей нормой, основанной на том или ином диалекте, имел ограниченную сферу функционирования, типологически сходна с языковой ситуацией у других славянских народов (словенцев, хорватов), которые к началу преднационального периода не обладали литературным языком на этнически родной основе.

В основном на уровне языковой ситуации, хотя и в иной форме, протекал процесс демократизации письменности и литературного языка у поляков, обладавших к началу преднационального периода развитым литературным языком на собственной этнической основе. Начиная с середины XVI—XVII вв., здесь шел активный процесс вытеснения латинского языка из разных сфер культурного общения. Польско-латинское культурное двуязычие, характерное для образованных кругов польского общества XVI в., постепенно теряет свои позиции. Латынь все больше утрачивает свои функции делового и административного языка. Распространяется словесность на польском, литературном языке, совершенствуется мастерство писателей. Развитие печатного дела способствует известной нормализации орфографии. Постепенное оттеснение латыни, отказ от гетерогенного литературно-языкового двуязычия расширяет функциональную сферу родного литературного языка, что может быть расценено как демократический сдвиг в языковой и историко-культурной ситуации.

Как отмечает Ст. Урбанчик, "начиная с середины XVIII в. польский язык становится единственным литературным языком поляков. Расширяются сферы его функционирования, определяются новые нормы, обогащается лексика, более простым становится синтаксис, общий стиль письменного высказывания приближается к стилю устного высказывания"[12]. В последней четверти XVIII в. в итоге реформ в сфере просвещения и языковой реформы законодательным путем была осуществлена отмена латыни как языка обучения в школах всех ступеней (до академий включительно). Была проведена кодификация норм польского литературного языка. "Благодаря длительной литературной традиции, а также языковой реформе конца XVIII в. польский язык был подготовлен к выполнению функций единого национального литературного языка в условиях разделов Польши, когда культурные и языковые традиции стали важнейшим фактором сохранения и развития польской нации"[13].

Во многом сходной к началу преднационального периода была языковая ситуация у чехов. Здесь в XVI в. функционировал стилистически развитый, обладающий богатыми выразительными средствами, достаточно структурированный и стабильный литературный язык, закрепленный в образцах конфессиональной и светской прозы (Кралицкая библия 1545—1599, произведения Д.Н. Велеславина). В языке науки он сосуществовал с латынью. Этот "золотой период" чешской письменности и литературного языка был прерван после поражения чехов в 1620 г. на Белой Горе. Начался процесс насильственной германизации, расширение функциональных сфер немецкого языка, наступление на чешскую культуру и национальную самостоятельность.

В этих условиях формой демократизации культуры и борьбы за национальную самостоятельность можно в известной мере считать возникновение письменности религиозно-дидактического содержания, обращенной к простому народу, главным образом сельскому читателю, не владеющему немецким языком. Язык этой литературы на "полународном" языке[14], насыщенный самыми различными диалектизмами, свидетельствует о том, что, в отличие от поляков, процесс демократизации языка письменности в чешских землях в известной, пусть весьма незначительной, мере охватил не только уровень языковой ситуации, но и собственно литературно-языковый уровень, уровень состояния его конкретной манифестации как "целого". На уровне же языковой ситуации к демократическим по своей направленности процессам можно отнести также не только распространение старой религиозной литературы, но и создание новых библейских переводов на традиционном, консервативном по своим особенностям, чешском литературном языке (ср., например, перевод Святовацлавской библии 1667—1715 гг.), как и неоднократные опыты создания грамматик чешского языка, например, грамматики В. Росы (1672 г.) и др[15].

Хотя "народная" литература на "простом" языке не смогла в чешских землях создать более или менее стойкой традиции, а письменность на традиционном литературном языке постепенно все больше и больше утрачивала сферы своего употребления и присущие ей ранее нормы, сам факт функционирования чешских литературно-языковых

идиомов на протяжении преднационального периода, сохранявшаяся в это время ситуация чешско-немецкого литературного двуязычия, на наш взгляд, делает уязвимым тезис о перерыве в развитии литературного чешского языка[16]. Представляется, что именно сохранение литературных функций родной речи, распространение религиозной литературы на традиционном для конфессиональной письменности языке делает объяснимой саму возможность обращения в период национального Возрождения при создании (точнее — воссоздании) норм литературного языка к "образцовой" форме чешского литературного языка "золотого" периода, сохранявшегося как исторический феномен в памяти народа (ср. деятельность Й. Добровского).

В своеобразной форме процесс демократизации письменности и литературного языка проявился в Словакии, где он фактически проходил в два этапа (хотя между ними и сложно провести четкую границу) и на каждом из них выступал в особой форме.

Как известно, в средневековой Словакии, как и в других частях Венгерского королевства, официальным литературным языком была латынь, обслуживавшая все достаточно "высокие" сферы письменной коммуникации. Наряду с ней в функции общеупотребительного литературно-письменного языка словацкой народности с XV в. использовался чешский литературный язык. При этом "с точки зрения тех славян Верхней Венгрии, которые в XVI—XVII вв. писали на более или менее словакизированном чешском, чешский литературный язык был, без сомнения, просто более высокой формой народного языка, нечто вроде церковнославянского для писателей Киевской и Московской Руси"[17]. В повседневной разговорной речи использовались местные словацкие диалекты, а также наддиалектные образования типа культурных койне. Иными словами, к началу XVI в. в Словакии существовала литературно-языковая ситуация, которая может быть определена как ситуация чешско-словацкой диглоссии (на фоне сосуществования с чужими литературными языками).

В период Реформации в XVI в. демократические тенденции вначале (на первом этапе) проявили себя в форме борьбы за права чешского литературного языка, который воспринимался как престижная форма родного языка. Латынь постепенно теряет свои позиции в сфере деловой и административно-правовой письменности. Чешский литературный язык закрепляется в литургии словацких протестантов. На нем публикуются произведения научного и литературно-художественного содержания.

На втором этапе (а отчасти уже и на первом) важным проявлением тенденции к демократизации было, как можно полагать, все большее и большее проникновение живых словацких разговорных средств в чешский литературный язык. Процесс его постепенной словакизации, со временем принявший осознанный характер и особенно сильно проявившийся в католической письменности, к середине XVIII в. зашел так далеко, что, по мнению Э. Паулини, здесь можно уже говорить об относительно нормализованном словацком литературном языке, "который из-за существенных отклонений от чешского уже нельзя назвать лишь словакизированным чешским языком"[18]. Р. Оти характеризует

этот язык как "зачатки западнословацкого литературного языка"[19]. И если, как отмечают исследователи[20], в среде словацкой интеллигенции протестантского вероисповедания в XVIII в. отмечается тенденция к сохранению в чистоте норм чешского литературного языка (так наз. библитчины), то в среде образованных словаков-католиков побеждает тенденция к литературно-письменной самостоятельности. Хотя основанный на западнословацких диалектах письменно-литературный идиом, закрепленный в языковой реформе А. Бернолака который отталкивался от чешского языковой традиции (во многом опираясь на нее), не утвердился надолго в литературно-языковой практике, сам феномен появления литературы на родном в своей основе языке разрушает ситуацию чешско-словацкой диглоссии. Это приводит к литературно-письменному двуязычию, а в конечном счете (уже после языковой реформы Людовита Штура) к созданию словацкого литературного языка, базировавшегося на центральных словацких диалектах.

Динамика языковой ситуации у народов ареала Slavia Orthodoxa в преднациональный период их развития, специфика ее проявлений в Юго-Западной и Московской Руси, у сербов и болгар во многом определялись, с одной стороны, тем, что функционировавшие здесь литературные языки (древнеболгарский, древнесербский, древнерусский), которые восходят к кирилло-мефодиевской традиции, находились в столь тесной исторической взаимосвязи и взаимозависимости, что это позволяет ряду исследователей рассматривать их как единый древнеславянский (церковнославянский) литературный язык[21], с другой стороны — различием места традиционного литературного языка в языковой ситуации каждого из названных ареалов в рассматриваемый период, его соотношением с книжными идиомами на народной основе. Значительную роль при этом играло столкновение многовековых славяно-византийских традиций с новыми явлениями, вызванными отражением протестантской Реформации и контрреформации, гуманизма и барокко, предвозрожденческих настроений в обществе, ростом национального самосознания (особенно народов, находившихся под иноземным владычеством, не обладавших собственной государственностью).

Если для Московской Руси языковая ситуация конца XVI — начала XVII в. еще может быть определена как ситуация церковнославянско-русской диглоссии[22], несколько укрепившейся в период второго южнославянского влияния (хотя и здесь исследователи отмечают увеличивающееся с каждым десятилетием пополнение средств литературного языка из разговорной речи, начинающееся противопоставление литературных жанров по языку)[23], то для языковой ситуации Юго-Западной Руси (украинцев и белорусов), несмотря на значительную роль здесь второго южнославянского влияния, уже со второй половины XVI в. характерно появление новых книжно-литературных идиомов — "простой мовы" и постепенное вытеснение традиционного славянского литературного языка из разных сфер культурного общения. В основе "простой" (или, по другой терминологии, "руской") "мовы", по мнению исследователей, лежал деловой канцелярский язык Юго-Запад-

ной Руси, официально признанный в польско-литовском государстве как язык судопроизводства, что создавало условия для его кодификации и превращения в язык литературы, в том числе конфессиональной[24]. Б.А. Успенский выделяет два варианта "простой мовы" — украинский (более славянизированный) и белорусский (в большей степени полонизированный), подчеркивая вместе с тем, что "простая мова" противопоставляется как традиционному литературному языку — церковнославянскому,— так и диалектной украинской и белорусской речи[25], хотя и обнаруживает тесную связь с ними. Вместе с тем в некоторых случаях речь должна идти о непосредственном влиянии живой диалектной народной речи.

Так в одном из первых памятников украинской конфессиональной литературы на народном в своей основе языке — Няговской постилле XVI в. (памятнике письменности закарпатской части Украины), по мнению исследователей, отражена фонетическая и грамматическая структура мараморошского диалекта конца XVI или, возможно, начала XVII в., а также живая речь бассейна р. Тересвы[26]. Отметим также Пересопницкое евангелие XVI в., в котором "на славянской основе с иноязычной польской и отчасти чешской примесью положены густыми слоями в огромном количестве черты народной фразеологии с ее типическими особенностями как в отношении к звукам и формам, так равно и в отношении к словоупотреблению, словорасположению и постройке предложений"[27] и ряд других рукописных евангелий конца XVI в.[28], закреплявших народно-разговорный язык как основу книжной речи. Важно отметить, что как письменность на народном в своей основе языке, так и традиционный славянский литературный язык использовались здесь как средство борьбы против польско-латинской языковой экспансии, направленной на ассимиляцию украинского народа. В этом своеобразие процесса демократизации украинского литературного языка как "целого" на уровне языковой ситуации. В конце XVII — начале XVIII в. после присоединения Восточной Украины к России довольно сильные еще позиции традиционного славянского литературного языка ослабевают. В конце XVIII в. начинает формироваться новоукраинский литературный язык на основе юго-восточных украинских говоров с известной опорой на литературно-языковую традицию.

К наиболее ярким проявлениям "простой мовы" на белорусских землях можно отнести издание (около 1570 г.) Василием Тяпинским евангелия параллельно на белорусском в своей основе и традиционном славянском литературном языке. "Происходит весьма значительный акт: в конфессиональной литературе, считавшейся священной, наряду с принятым и освященным традицией древнеславянским вводится новый литературный язык, близкий к народно-разговорному субстрату. Двуязычие воспринимается как законное явление"[29]. Позднее, в конце XVII—XVIII в. в силу ряда исторических и историко-культурных причин связь с "простой мовой" как и с традиционным белорусским языком была утрачена, он был окончательно вытеснен польским и после перерыва в своем развитии, во второй половине XIX в., как бы заново сложился на основе народной речи.

Таким образом, процесс демократизации книжности и литературного языка в Юго-Западной Руси в рассматриваемый период шел как по линии создания книжных языков на основе народной речи, разных видов "простой мовы", так и по линии укрепления позиций традиционного славянского языка, кодификации его норм (ср. в этом отношении известную грамматику Мелетия Смотрицкого (1619). Иными словами, одновременно действовали и тенденция к изменению состояния литературного языка как историко-культурного феномена, так и тенденция к упрочению этого состояния. В итоге возникает ситуация гомогенного книжно-литературного двуязычия (с учетом роли других языков — польского, латыни), в которой один из сосуществующих языков выступает как демократический вариант и связывается с народностными экспектациями. Последнему способствует распространенная со второй половины XVI в. практика публикации параллельных текстов на традиционном славянском языке и "простой мове" (а также на польском языке и "простой мове"). Даже Грамматика Мелетия Смотрицкого, поддерживавшая позиции церковнославянского языка, одновременно являлась своеобразной кодификацией отдельных грамматических конструкций "простой мовы", использованных при толковании соответствующих славянских конструкций[30].

Вместе с тем, отмечает Б.А. Успенский, "как это ни парадоксально, значение "простой мовы" для истории русского литературного языка не меньше, если не больше, чем значение этого феномена для истории украинского или белорусского литературных языков. Действительно, "проста мова" не оказала почти никакого влияния на современный украинский и белорусский языки, не отразившись и на последующей языковой ситуации на территории Украины и Белоруссии"[31]. В то же время перенос языковой ситуации в Юго-Западной Руси во второй половине XVII в. на великорусскую почву приводит к разрушению здесь диглоссии: в течение второй половины XVII в. церковнославянско-русская диглоссия преобразуется в церковнославяно-русское двуязычие. Существенную роль в закреплении этого процесса сыграла реформаторская деятельность Петра I с его требованиями писать "не высокими словами, а простым русским языком"[32]. Появляется "просторечие" как особая форма литературного языка, причем как и в Юго-Западной Руси "простой язык" в качестве литературного языка противостоит не только церковнославянскому языку, но и разговорной речи[33]. Характерным для книжников Московской Руси является осознание возможности перевода на "простой язык" сакральных текстов (ср., например, осуществленный в 1683 г. Авраамием Фирсовым перевод на "простой язык" Псалтыри). С другой стороны, меняется, по-своему "демократизируется" сфера употребления церковнославянского языка, который может использоваться, например, в произведениях сатирических жанров (пародиях). Его соположение с народными выразительными средствами, использование в несвойственных для него контекстах служит достижению комического эффекта. Сам факт функционирования "простого" языка, т.е. признание возможности отклонения от церковнославянских языковых норм, "имеет исключи-

тельное значение для последующей эволюции русского литературного языка, обусловливая в конечном счете влияние разговорной речи на литературный язык"[34]. Именно действие тенденции к демократизации, которую для Московской Руси можно охарактеризовать словами Б.А. Ларина как "органическое, проникающее сближение ранее противопоставленных и обособленных систем письменного и разговорного языков"[35], сыграло решающую роль в процессе формирования русского литературного языка нового времени.

Ограниченные рамки доклада вынуждают нас оставить в стороне рассмотрение сложной языковой ситуации в Сербии. Заметим только, что здесь процесс истинной демократизации письменности и создания литературного языка на народной основе произошел позднее, в конце XVIII — начале XIX в., и завершился реформой Вука Караджича. По отношению же к рассматриваемому в данном докладе периоду можно говорить об известном сохранении письменности на традиционном славянском литературном языке ресавской редакции, выступавшей в роли хранительницы народности в условиях османского ига. Эту же роль в конечном счете играло и имевшее место в этот период широкое внедрение особенностей славянского литературного языка позднего московского "извода". Как отмечает Н.И. Толстой, в отличие от Дубровника, Далмации, Хорватии и Боснии собственно в Сербии не существовало литературы, достаточно ярко отражающей черты живых народных говоров[36].

Языковая ситуация, имевшая место в Болгарии на начальном этапе функционирования древнеболгарского литературного языка, в основе которого лежал язык кирилло-мефодиевских переводов, очевидно, лишь в незначительной степени характеризовалась чертами гомогенной диглоссии, поскольку это был язык не только письменности, церкви, но и официального государственного и отчасти, возможно, устного общения. Но со временем, в процессе того, как живой разговорный болгарский язык преобразуется в язык аналитического грамматического строя, наполняется рядом балканизмов и тем самым все больше удаляется от традиционного литературного языка синтетического строя, а общая историческая ситуация в порабощенной Османской империей Болгарии способствует снижению уровня образованности населения, черты диглоссийной ситуации нарастают. И хотя начавшаяся в XVI в. демократизация болгарской литературы затронула вначале лишь уровень содержания некоторых оригинальных произведений, обращенных к широким народным массам (ср. Жития мучеников, погибших от рук османских завоевателей за отказ принять ислам: Житие Георгия Нового софийского книжника попа Пейо, Житие Николы Софийского Матея Граматика), а на языковом уровне почти нерушимой оставалась традиция, это постепенно приходит в противоречие с характерной для предвозрожденческого периода тенденцией к демократизации культуры и письменности. Уже в первых переводах конца XVI в. "Сокровища" Дамаскина Студита "заметна свежесть, ...пробивается народная струя, сказывающаяся в народных выражениях и во влиянии живого языка"[37]. Однако лишь в первой половине XVII в. происходит резкое подтяги-

вание норм литературного языка к состоянию в живой народной речи при отталкивании от традиции и вместе с тем опоре на нее, имеющее характер качественного, революционного сдвига. Именно так решили проблему демократизации языка неизвестные дамаскинари — создатели книжного болгарского языка XVII в. на народной основе, опиравшиеся в своем творчестве на текст упомянутых переводов из "Сокровища", а также текст произведений некоторых славянских авторов на традиционном болгарском языке болгаро-сербской (ресавской по ряду орфографических правил) редакции. Взяв из этого текста почти без изменений целый языковый уровень — уровень системы письма, на уровне грамматического строя и словаря они опирались на живую народную речь, лишь в ряде так или иначе мотивированных случаев вводя в новый письменный узус и новую норму элементы традиции, характерные для этих уровней[38].

Книжникам, предпринявшим попытку писать "простым", "новым" "блъгар҃скы^м^ езико^м^" (так они характеризуют этот язык в заглавиях к отдельным произведениям), удалось понять и отразить ведущую тенденцию своего времени. Об этом свидетельствует не только широкое распространение первых новоболгарских дамаскинов, которые переписывались в Болгарии на протяжении двух веков, пополняясь новыми переводами и редакциями старых, но и осуществление в XVII — XVIII вв. ряда новых опытов демократизации языка письменности, по-разному решавших проблему соотношения в нем книжных и народных элементов, иногда сводящихся к попытке писать на диалекте. Наряду с вновь и вновь возникавшими книжно-литературными идиомами на народной основе продолжают функционировать поздние редакции традиционного болгарского литературного языка, а также церковнославянско-русская книжность, пришедшая из Руси. Сложившееся в результате этого гомогенное литературно-языковое двуязычие и многоязычие полагает конец диглоссийной ситуации: функционально-дополнительная дистрибуция литературного (книжного) и народного (разговорного) языков утрачивает свою релевантность. Начинается этап дивергентного развития болгарского литературного языка как историко-культурного феномена в процессе его демократизации, появления все новых и новых книжно-литературных идиомов на народной основе с разной степенью связи с традицией, претендующих на роль литературного языка, продолжающийся вплоть до 30-х годов XIX в., когда его сменяет конвергентное развитие на пути становления единых норм национального болгарского языка[39].

Итак, мы видим, что на протяжении преднационального периода в ареалах Slavia Latina и Slavia Orthodoxa действовали две основные тенденции развития литературных языков, которые продолжали определять этот процесс и более поздний период (для ряда народов — период Возрождения), связанный со становлением национальных литературных языков. Это, во-первых, тенденция к демократизации литературного языка, к его сближению с живым народным языком (у народов, не обладавших собственным литературным языком — к его созданию на основе народной речи) и, во-вторых, тенденция к

сохранению традиции как опоры народного самосознания и расширению сфер ее функционирования.

У отдельных народов преобладала та или иная тенденция; иногда они сосуществовали, не вступая в отношения конкуренции (ср. ситуацию в украинских землях), иногда сталкивались между собой, порождая в результате этого столкновения новый исторический тип литературного языка — книжный язык на народной основе (в другой терминологии — "простой" язык, "проста мова"), резко отталкивающийся от традиции при одновременной опоре на нее (ср. ситуацию в Болгарии, отчасти — в Юго-Западной Руси); иногда приводили к своеобразному синтезу, к "органическому, проникающему сближению ранее противопоставленных и обособленных систем письменного и разговорного языка"[40] (ср. ситуацию у словаков, в Московской Руси); иногда в силу исторических причин лишь в весьма слабой степени проявлялись на протяжении преднационального периода (ср. ситуацию у чехов, сербов).

Происходившие в процессе демократизации изменения в одних случаях ограничивались уровнем языковой ситуации (в частности, это относится ко всем случаям создания новых литературных языков на собственной этнической основе у народов, ранее ими не обладавших, а также к случаям постепенного вытеснения неродного литературного языка из некоторых функционально-коммуникативных сфер). В других случаях изменения затрагивали и уровень состояния литературного языка, его манифестации как историко-культурного феномена, как "целого", проявляясь в появлении новых книжно-литературных идиомов на народной основе, сосуществующих со старыми или ограничивающих их коммуникативную сферу. Это, естественно, приводило и к изменениям на уровне языковой ситуации, в частности, к превращению диглоссийной ситуации в ситуацию литературноязыкового двуязычия (и многоязычия) и, в итоге, к началу дивергентного развития, предшествующего конвергенции следующего этапа — этапа становления единых норм национальных литературных языков.

[1] *Успенский Б.А.* Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка // Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1983. С. 4—5.

[2] Мы здесь не затрагиваем вопроса о том, что говорить о существовании литературных (а не письменных) языков в донациональный период, по мнению некоторых ученых, вообще нет оснований. Ср., например: *Исаченко А.В.* Ответ на вопрос анкеты к IV Международному съезду славистов: "Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов" // ВЯ. 1958. 3. С. 42.

[3] Рамки доклада не позволяют с достаточной полнотой приводить библиографические данные. Ссылки даются лишь при обращении к той или иной работе или точке зрения.

[4] См. об этом подробнее: *Демина Е.И.* К теории сравнительно-типологического изучения славянских литературных языков // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1978. С. 133—138.

[5] *Rigler J.* Začetki slovenckega književnega jezika. Lubljana, 1968. С. 100—110.

[6] *Плотникова О.С.* Становление словенского литературного языка в период национального Возрождения // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978. С. 329—331.

[7] *Решетар М.* Нај-старија дубровачка проза. Београд, 1952.

[8] *Vončina J.* O kontinuitetu hrvatskoga književnog jezika od 15 do 18 stolječa // VII Međunarodni kongres slavista. Hrvatsko filološko društvo. Zagreb, 1973. S. 165—177.

[9] *Толстой Н.И.* История и структура славянских литературных языков. М., 1988. С. 204.

[10] *Ермакова М.И.* Из истории нижнелужицкого литературного языка // Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменность. М., 1979. С. 216—218. Здесь и литература вопроса.

[11] *Фасске Х.* Формирование серболужицких литературных языков: // Формирование славянских литературных языков: теоретические проблемы. М., 1983. С. 178—182 (библнография с. 199—203).

[12] *Urbańczyk St.* Periodizacija dziejów polskiego jezyka literackiego // Polskie studia slawistyczne. W-wa. 1963. Ser. II. S. 235.

[13] *Стрекалова З.Н.* О ролн языка в процессе формирования польской нации // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. С. 165.

[14] *Широкова А.Г., Нещименко Г.П.* Становление литературного языка чешской нации // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. С. 21.

[15] Там же. С. 31.

[16] Там же. С. 27—28.

[17] *Оти Р.* Традиция и ннновация в развитии славянских литературных языков (1750 — 1850) // Славянские культуры в эпоху формирования и развѣтия славянских наций XVIII—XIX вв. Материалы Международной конференции ЮНЕСКО. М., 1978. С. 112—113.

[18] *Pauliny E.* Dejíny spisovnej slovenčiny, I. Bratislava, 1966. S. 83.

[19] *Оти Р.* Указ. соч. С. 115.

[20] *Смирнов Л.Н.* Вопрос о литературном языке словаков на начальном этапе национального возрождения // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. С. 93. Здесь и литература.

[21] Ср. известные работы Н.И. Толстого, объединенные в книге "История и структура славянскнх литературных языков" (М., 1988), специально раздел "К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян". С. 34—51.

[22] *Успенский Б.А.* Указ. соч. С. 85.

[23] *Ларин Б.А.* Лекции по исторни русского литературного языка (X — середина XVIII в.). М., 1975. С. 257.

[24] *Успенский Б.А.* Указ. соч. С. 69.

[25] Там же, С. 68.

[26] *Панькевич І.* Закарпатський діалектний варіант української літературної мови XVII—XVIII вв. // Slavia. 1958. № 27, 2. С. 173—174. Ср.: *Петров А.* Материалы для истории Угорской Руси. Т. VII.Поучения на евангелие по Няговскому списку. Пг., 1921. С. 161; *Дэже Л.* О лексике закарпатской украинской лнтературы XVI—XVII вв. Separatum. Budapešt, 1965. S. 117—134.

[27] *Житецкий П.* Опнсание Пересопннцкой рукописи XVI в. Киев, 1876. С. 4.

[28] *Толстой Н.И.* История и структура славянских литературных языков С. 59.

[29] Там же.

[30] *Успенский Б.А.* Указ. соч. С. 76.

[31] Там же. С. 84—85.

[32] Там же. С. 85—91.

[33] См. об этом: *Успенский Б.А.* Из истории русского литературного языка XVIII—начала XIX века. М., 1985. С. 3—4.

[34] *Успенский Б.А.* Языковая ситуация в Киевской Руси. С. 96.

[35] *Ларин Б.А.* Разговорный язык Московской Руси // Начальный этап формирования русского национального языка. Л., 1961. С. 25.

[36] *Толстой Н.И.* Указ. соч. С. 77.

[37] *Лавров П.А.* Дамаскин Студит и сборники его имени "дамаскины" в югославской письменности. Одесса, 1899. С. 40.

[38] См. об этом подробно: *Демина Е.И.* Проблема нормы в формировании книжного болгарского языка XVII в. на народной основе // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1973. С. 118—141; *Она же.* К проблеме кирилло-мефодиевской традиции в истории болгарского языка //

Symposium Methodianum. Beiträge der Internationalen Tagung in Regensburg (17 bis 24 April 1985). Neuried, 1988. S. 579—591.

[39] *Демина Е.И.* Проблема предыстории современного болгарского литературного языка // Kształtowanie się nowobułgarskiego języka literackiego. Wrocław, 1990. S. 31—51.

[40] *Ларин Б.А.* Разговорный язык Московской Руси. С. 25.

*Л.Н. Смирнов*

# ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЛОВАЦКИЙ ЯЗЫК ЭПОХИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

В последнее время в научных работах социолингвистического плана получило широкое признание положение о том, что национальный язык представляет собой не монолитное и гомогенное по составу структурное образование, а горизонтально и вертикально расслоенную (стратифицированную), иерархически организованную динамичную систему различных форм существования (макросистему, диасистему). Составляющие ее компоненты выделяются на основе как собственно лингвистических, так и социально-коммуникативных, функциональных и территориальных критериев. В арсенале коммуникативно-языковых средств, органически связанных с национальным коллективом, с его культурным статусом особенно важную функциональную и социальную роль играет, как известно, литературный язык.

У западных и южных славян национальные литературные языки, базирующиеся на народной основе, большое культурное значение и достаточно высокий социальный престиж обретают в эпоху национального возрождения (конец XVIII — вторая половина XIX в.), что было обусловлено интеграционными тенденциями в развитии этнического языка отдельных славянских народов, эволюцией языковой ситуации в славянских странах, а также существенными переменами в общественно-экономической, политической и культурной жизни этих стран, связанными с кризисом феодализма и переходом к капитализму. Причем это относится как к языкам, имевшим ранее длительную письменную традицию на основе родной речи (например, чешский), так и к языкам, на которых литературно-письменная традиция фактически складывалась в указанную эпоху (например, сербский, словацкий). Исследование процессов становления и развития литературных славянских языков является одним из важнейших аспектов комплексного междисциплинарного изучения эпохи национального возрождения.

Такие характерные черты общественного развития западных и южных славян в эту эпоху, как национальный гнет, отсутствие своей государственности, широкое использование в официальной сфере и в различных общественно-культурных функциях неславянских языков (латынь, греческий, турецкий, немецкий, венгерский), несом-

ненно способствовали тому, что на передний план выдвигались проблемы и задачи национально-культурного характера, решение которых помогало обеспечить национальное существование славянских народов и создавало необходимые идеологические предпосылки для их борьбы за национальное освобождение. Особую актуальность и остроту имели языковые вопросы, в частности, проблема использования родной речи в социально значимых сферах общественной жизни (церковь, школа, администрация, художественная и научная литература и др.), которые занимали важное место в политических, идеологических и культурных программах национально-освободительного движения славянских народов.

В истории словацкого литературного языка эпоха национального возрождения имеет определяющее значение. В течение относительно короткого срока (около семидесяти лет) в литературно-языковой жизни словацкого общества произошли события огромной национально-культурной значимости. Именно в этот период, благодаря нормализаторской деятельности Антона Бернолака (1762 — 1813), Людовита Штура (1815 — 1856) и Мартина Гатталы (1821 — 1903) и их соратников, были осуществлены три последовательные кодификации литературных норм словацкого языка.

В конце XVIII в. Словакия, входившая как часть Венгерского королевства в состав Австрийской империи, вступила в полосу глубоких преобразований в социально-политической, экономической и культурной сфере. В условиях распада феодального уклада и постепенного становления новых общественных отношений шел процесс формирования словацкой нации[1]. С этим органически связано и возникновение литературного словацкого языка.

К началу эпохи национального возрождения в Словакии сложилась сложная и противоречивая языковая ситуация. Как известно, до конца XVIII в. словаки не имели кодифицированной литературной формы своего родного языка. В письменности они пользовались латынью, чешским, немецким и венгерским языками (в Вост. Словакии — в ограниченной мере также польским языком). В повседневном общении простой народ и другие слои словацкого общества использовали местную диалектную речь. На словацком языке издавна развивалось устное народное творчество. Особую роль в развитии письменности и литературного языка у словаков сыграл чешский язык[2]. Проникнув на территорию Словакии в конце XIV в., он вскоре стал выполнять здесь функцию литературно-письменного языка словацкой народности. С XVI в. в связи с реформацией он становится также литургическим языком словацких протестантов. В конкуренции с официальным языком — латынью — он постепенно входит в различные сферы социальной коммуникации. С XVI — XVII вв. широкое распространение получает также религиозная, научная и художественная литература. Вместе с тем чешский язык в Словакии имел определеные функциональные ограничения, выступая главным образом как книжно-письменный. Правда, словацкими протестантами он отчасти использовался и в устной форме (например, при свершении некоторых религиозных обрядов)[3].

Следует подчеркнуть некоторые своеобразные черты функционирования чешского литературного языка в Словакии. Под влиянием местной диалектной среды в него проникали словацкие языковые элементы. В ряде памятников письменности с преобладающей чешской основой возникала благодаря этому модифицированная языковая форма, называемая обычно "словакизированным чешским языком" (slovakizovaná čeština)[4]. Наряду с этим в кругах словацких протестантов, которые широко использовали в письменности так наз. "библейский язык" ("библичтину"), восходящий к нормам, зафиксированным изданием "Кралицкой библии" (XVI в.), обнаруживалось стремление сохранить в чистоте нормы этого языка. В значительной степени это было связано с их представлениями об общем языке словаков и чехов, который выступал под названием lingua Slav(ic)o-Bohemica или lingua Bohemica[5].

Характерной чертой эволюции языковой ситуации в Словакии в предвозрожденческий период было то, что параллельно с неславянскими языками и чешским языком словаки использовали в письменности и родную речь. Это были разные формы и опыты применения словацкого языка без строго кодифицированных норм в церковно-религиозной и светской литературе, в деловых и административных документах и т.п.: в Вост. Словакии в 1750 — 1758 гг. словацкие кальвинисты опубликовали на местном земплинском диалекте несколько церковных книг[6], монахами камалдульского ордена был выполнен перевод Библии на словацкий язык (1756 — 1759), в Зап. Словакии Й.И. Байза издал первый словацкий роман (1783) и др. С XVI в. в развитии языка и письменности важную роль стали играть стихийно формирующиеся на базе взаимодействия местных словацких говоров и чешского литературного языка словацкие наддиалектные образования — так наз. "культурные языки" или "культурные интердиалекты" (см. ниже). В устной и письменной форме ими пользовались представители средних слоев словацкого общества (духовная и светская интеллигенция, мещане, мелкпоместные дворяне и др.) не только в повседневном общении, но и в более высоких сферах коммуникации.

По мере роста национального самосознания словаков ими все более ощущалась потребность в едином литературном языке, основанном на родной речи. Эта социально-культурная потребность была реализована в эпоху национального возрождения.

С начальным этапом словацкого национального возрождения органически связана языковая реформа А. Бернолака, который разработал и практически осуществил первую научно обоснованную программу кодификации норм литературного словацкого языка. Эта реформа явилась закономерным продолжением стремлений словаков создавать и развивать литературу на родном языке. Бернолак опубликовал целую серию лингвистических трудов, ярко свидетельствующих о его последовательных усилиях, направленных на то, чтобы поднять словацкую речь до уровня литературного языка. В 1787 г. он анонимно издает свой первый труд "Филологическо-критическое рас-

суждение о славянских письменах"[7]с приложением краткого наставления по словацкой орфографии[8]. В 1790 г. вышла в свет "Словацкая грамматика"[9], задуманная как учебное пособие, но фактически представляющая собой первую описательную грамматику словацкого языка[10]. В этих работах Бернолак обосновал необходимость самостоятельного словацкого литературного языка для дальнейшего развития национальной культуры словаков, для просвещения народа и кодифицировал его орфографические, орфоэпические и грамматические нормы. Проблемы словообразования были освещены им в труде "Этимология словацких слов"[11]. Огромные усилия прилагал Бернолак для сбора и лексикографической обработки словарного состава словацкого языка. Итогом его самоотверженной многолетней работы явился шеститомный пятиязычный "Словацкий, чешско-латинско-немецко-венгерский словарь"[12], изданный уже после смерти автора. Все эти труды носили в той или иной степени нормативный характер, ими были охвачены все основные ярусы языковой структуры. Тем самым они составили надежную базу для введения в практику нового литературного языка.

Благодаря усилиям Бернолака и его сторонников этот литературный язык ("бернолаковщина") постепенно входил в разные сферы общественно-культурной жизни словаков. Важную роль в этом отношении сыграло "Словацкое ученое товарищество" (1792), члены которого много сделали для пропаганды нового литературного языка, для организации издательской деятельности и распространения книг на бернолаковщине, для осуществления просветительской, национально-будительской программы. Бернолаковщина, которая была задумана как единый литературный язык для всех словаков, получила признание лишь в среде словацких католиков и просуществовала в практическом пользовании около шестидесяти лет. Словацкие протестанты продолжали пользоваться чешским литературным языком. На судьбе бернолаковщины сказалось, в частности, то, что силы словацкой интеллигенции, стоявшей во главе национально-возрожденческого движения, были разобщены. По конфессиональному признаку и национально-идеологическим концепциям они распадались на два основных течения: протестантское и католическое. Протестанты отстаивали концепцию культурного и языкового единства чехов и словаков и выступали за сохранение и упрочение позиций чешского литературного языка в Словакии. У словацких католиков преобладало стремление к национальной и языковой самостоятельности. Таким образом, бернолаковщина даже на время не смогла стать общепризнанной литературной формой словацкого языка. Тем не менее она знаменовала собой серьезную целенаправленную попытку перейти в литературно-письменной сфере с чешского языка на родной язык словаков. С узаконением бернолаковщины заканчивается д о л и т е р а т у р н ы й период в истории словацкого языка и начинается новый период, характеризуемый тем, что в макросистеме словацкого национального языка возникает и развивается качественно новый идиом, имеющий чрезвычайно важное социально-культурное значение — литературный язык.

В середине XIX в. благодаря нормализаторской и кодификаторской деятельности Л. Штура и его сторонников, принадлежащих к молодому поколению протестантов, в общественно-культурную жизнь Словакии вошел новый вариант литературных норм словацкого языка — "штуровщина". В условиях подъема национально-освободительного движения словаков и усиливавшейся угрозы мадьяризации (в частности, в связи с провозглашением венгерского языка государственным) это был объективно необходимый и важный шаг. Концепция нового литературного языка словаков, обоснованная в научных и публицистических работах Штура и получившая воплощение в его кодификаторской деятельности, явилась неотъемлемой составной частью общей программы борьбы прогрессивной словацкой интеллигенции за национально-культурное пробуждение родного народа.

Развернутое обоснование назревшей языковой реформы изложено Штуром в опубликованной в 1846 г. книге "Словацкое наречие или необходимость писать на этом наречии"[13]. Доказывая необходимость языковой реформы, Штур опирался на факторы национального, социально-политического, культурного и лингвистического характера[14]. Основным исходным доводом при этом была идея национальной самобытности словаков и самостоятельности их языка. Эта идея базировалась на творческом переосмыслении учения Я. Коллара о славянской взаимности, на новой концепции славянского единства. Для штуровского понимания славянской взаимности было характерно органическое сочетание единства и многообразия. Он считал, что развитие и расцвет отдельных славянских "племен" будет способствовать процветанию славянского народа в целом. Штур доказывал, что словаки представляют собой "одно целое, одну индивидуальность, одну личность (die Persönlichkeit)"[15], что их самобытный характер особенно ярко проявляется в духовной культуре, в языке, литературе, фольклоре, религии и искусстве. Штур приходит к выводу о необходимости отказа от чешского литературного языка, как не соответствующего национально-этнической самобытности словаков, и перехода на литературный язык, отражающий эту самобытность. В этом смысле в принципиальном плане он продолжал линию, начатую реформой Бернолака. Высоко оценивая усилия бернолаковцев писать по-словацки, Штур вместе с тем считал необходимым и целесообразным придать словацкому литературному языку новую форму, которая базировалась бы на более "чистой" народно-разговорной речи.

В книге "Наука словацкого языка"[16]Штур изложил свое представление об этой новой форме, дав научное описание грамматического строя литературного словацкого языка. В целом штуровская кодификация отражала основные среднесловацкие и общесловацкие языковые признаки[17].

На пути практического применения штуровщины было немало трудностей. Отношение современников к языковой реформе Штура оказалось далеко неоднозначным: от восторженного до крайне отрицательного. Это и понятно, ведь она затронула сложные вопросы словацко-венгерских и словацко-чешских отношений, а также идео-

логические и конфессиональные противоречия в самом словацком национальном движении. Однако идея внутрисловацкой интеграции на базе единого литературного языка, отстаиваемая штуровцами, приобретала все больше сторонников. Это способствовало расширению социальной базы нового литературного языка, помогало его проникновению в разные сферы общественной и культурной жизни.

В конце сороковых годов XIX в. вопрос о литературном языке словаков в принципиальном плане был решен, хотя еще продолжались дискуссии по некоторым проблемам орфографии и грамматической регламентации. После того как в 1847 г. на заседании общества "Татрин" в Чахтицах была достигнута договоренность между протестантами и католиками о единых литературных нормах словацкого языка, создались реальные предпосылки для объединения двух течений словацкого национального движения и для превращения штуровщины в общенациональный литературный язык. Однако, лишь после революции 1848 — 1849 гг. удалось воплотить эту договоренность в кодификаторские труды. В октябре 1851 г. в Братиславе на заседании ведущих представителей протестантского и католического течений эти единые нормы были утверждены. Опубликованная в 1852 г. "Krátka mluvnica slovenská", автором которой был М. Гаттала, узаконила эти нормы. Кодификация Гатталы учитывала поправки М.М. Годжи и др. к штуровским регламентациям (главным образом в правописании, в меньшей степени в фонетике и грамматике)[18], но в целом не затрагивала основу штуровского литературного языка. В "исправленной" форме он стал употребляться без конфессиональных ограничений и постепенно обретал статус общенационального литературного языка словаков.

После краткого описания основных факторов и событий, отражающих процесс возникновения литературного языка словаков, остановимся на некоторых теоретических вопросах, связанных с интерпретацией этого процесса.

По нашему мнению, нуждается в теоретическом осмыслении вопрос о начале истории национального литературного языка словаков. Он не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Вроде бы ясно: в конце XVIII в. А. Бернолаком была осуществлена первая кодификация литературных норм словацкого языка — этот рубеж и следует считать началом его истории. Между тем не все слависты соглашаются с подобной позицией. Дело в том, что бернолаковская реформа, как было показано, не привела к окончательному решению проблемы литературного языка формирующейся словацкой нации; на последующем историческом этапе функционировавший в течение нескольких десятилетий литературный идиом сошел со сцены. Иначе говоря, бернолаковщина не смогла утвердиться в качестве непосредственной основы дальнейшего развития единого литературного языка словацкой нации. Такой основой стали литературно-языковые нормы, кодифицированные Л. Штуром.

Данный вопрос до недавнего времени не привлекал специального внимания исследователей истории литературного словацкого языка[19]. В этом отношении в научной литературе нет общепринятой точки

зрения. Так, например, Э. Паулини писал: "Собственная история литературного словацкого языка могла бы начинаться или от Антона Бернолака (18 столетие) или от Людовита Штура (19 столетие)..."[20] Сходную интерпретацию, допускающую возможность альтернативного решения вопроса, находим у Н.А. Кондрашова[21]. С другой стороны, иногда высказывается и более определенное мнение: именно Бернолака "можно считать основоположником литературного словацкого языка"[22], а годом выхода в свет его первого кодификаторского труда (1787) следует датировать начало истории словацкого литературного языка.

Заостряя внимание на данном вопросе, мы исходим из того, что его решение представляет определенный интерес как в общетеоретическом плане (в частности, при рассмотрении проблем периодизации истории литературных языков), так и в плане объективно-научной трактовки конкретно-исторического процесса становления и развития словацкого литературного языка. Последнее тем более важно, что при описании этого процесса иногда встречаются высказывания, которые, на наш взгляд, нуждаются в уточнении или же в существенных коррективах.

Трудно согласиться, например, с утверждениями, что у словаков до XIX в. не было национального литературного языка[23] (правильнее было бы говорить об отсутствии единого или общенационального литературного языка словаков), что до этого времени у них не было литературы "на языке данной славянской нации"[24]. При такой позиции штуровский литературный язык фактически отрывается от бернолаковского, ср., например, тезис — "словацкий литературный язык в середине XIX в. формируется без предшествующего периода старого письменно-литературного языка"[25]. В сущности сходное содержание можно усмотреть и в мысли Д. Брозовича (оперирующего, правда, иной терминологией) о том, что "словацкая бернолаковщина не относится к истории стандартного языка..., а принадлежит его предыстории"[26].

В подобного рода высказываниях проявляется, с одной стороны, определенная недооценка роли и значимости бернолаковского периода в процессе становления литературного языка на основе родной речи словаков и, с другой стороны, несколько упрощенное представление об образовании словацкого литературного языка в середине XIX в. скорее как волевого акта, а не как кульминации достаточно длительного, далеко не прямолинейного процесса.

Ведь даже если допустить, что национальный литературный язык возник у словаков в середине XIX в.[27], то и тогда нельзя не учитывать того бесспорного факта, что задолго до этого в Словакии существовала письменность на разных вариантах словацкого культурного интердиалекта, а с конца XVIII в. (то есть на начальном этапе национального периода) и до середины XIX в. в национально-культурной жизни словацкого общества большую роль играла литературно-письменная традиция на словацком языке, представленная нормированной и кодифицированной бернолаковщиной. Уже хотя бы поэтому бернолаковщину нельзя "изымать" из процесса становления

литературных норм, resp. литературной формы национального языка словаков. При осмыслении и интерпретации этого процесса важно иметь в виду следующую характерную черту истории словацкого языка: у него "литературный период" и хронологически, и по существу совпадает с "национальным периодом". В связи с этим представляется безосновательным противопоставление штуровщины и бернолаковщины по признакам "литературный" // "долитературный" и "национальный" // "донациональный".

Естественно, возникает вопрос: как же оценивать соотношение этих двух словацких литературных идиомов? Являются ли они в строгом смысле слова разными литературными языками или же они представляют две нормы, два варианта одного литературного языка? Четкие критерии подобного разграничения теорией пока еще не разработаны. Поэтому, как справедливо отмечал В. Барнет, "мы лишь с большими трудностями можем установить, где речь идет о вариативности средств внутри единой нормы, где уже о двух и более нормах и где мы имеем дело уже с двумя самостоятельными литературными языками"[28]. Это относится и к рассматриваемой словацкой ситуации.

В лингвистической литературе бернолаковщина и штуровщина обычно понимаются как два этапа в развитии словацкого литературного языка. Э.Йона, говоря в связи с этим о двух типах литературного языка (западнословацком и среднесловацком), далее уточняет, что они представляют собой "две различные литературные нормы в рамках словацкого национального (разрядка наша. — *Л.С.*) языка"[29]. Действительно, несмотря на некоторые различия в строевых признаках этих литературных идиомов (обусловленных прежде всего неодинаковой диалектной основой), их словацкая субстанция и структура не вызывает сомнений. Как нам представляется, можно пойти еще дальше. Если исходить из социально-коммуникативного критерия, то бернолаковщина, штуровщина (и ее "исправленная" модификация), а также современный литературный словацкий язык — все это репрезентанты одной и той же страты макросистемы словацкого языка, его литературной разновидности. Далее, в работах по типологии литературных языков выделяется такой исторический тип, как "национальный литературный язык"[30], и ставится проблема изучения "внутринациональных" типов[31], то есть фактически вариантов данного типа. Учитывая все это, можно считать, что бернолаковщина и штуровщина представляют собой два варианта норм формирующегося национального литературного языка словаков как особого социолингвистического и историко-культурного феномена. И хотя они в какой-то очень короткий период сосуществовали, распределяясь по разным подсоциумам словацкого общества, их все же можно трактовать скорее как сменяющие друг друга диахронические варианты, а не синхронно функционирующие региональные варианты. Бернолаковщина и штуровщина, органически связанные с начальным и кульминационным этапами словацкого национально-возрожденческого движения, составляют неотъемлемые звенья общего процесса становления и развития литературно-языковых норм словацкого языка.

При таком понимании бернолаковщина закономерно выступает как репрезентант начального рубежа истории литературного словацкого языка, а к его предыстории относится функционирование различных языков, диалектных и интердиалектных формаций, которые обслуживали в предшествующий период культурные потребности словацкого общества.

Значительный научный интерес представляет также вопрос о диалектной основе словацкого литературного языка. И хотя по этому вопросу существует достаточно богатая литература, его вряд ли можно считать решенным.

Как ясно из вышесказанного, речь должна идти в сущности об определении исходной базы кодификации двух вариантов литературного словацкого языка. В старой научной литературе предпринимались попытки установить прямую связь литературного языка с местными диалектами, однако все они не имели успеха. В настоящее время многими исследователями признается, что между словацкими диалектами и литературным идиомом была не прямая, а опосредованная связь. Функцию связующего звена выполняла при этом наддиалектная формация, называемая обычно культурным языком. В принципе такую позицию можно признать достаточно обоснованной. Тем не менее в связи с этим следует теоретически осмыслить и уточнить ряд моментов.

Прежде всего необходимо выяснить, какое содержание вкладывается в понятие "культурный язык". Известно, что в теории литературных языков важную роль играет положение о так наз. культурных языках (диалектах) как возможной переходной ступени развития от местных диалектов к письменному языку этноса или к национальному литературному языку. К. Горалек писал: "Возникновению славянских литературных языков в большинстве случаев предшествовала формация так наз. культурных языков или диалектов, которые использовались в устной словесности..."[32] Ср. также следующее высказывание: "В основе польского литературного языка лежит польский культурный язык средневековья, который представлял собой наддиалектное образование"[33]. С другой стороны, термином "культурный язык" некоторые авторы обозначают фактически любой письменный или литературный язык феодального общества, используемый определенным этническим коллективом в донациональный период (в частности, чешский литературный язык, употреблявшийся в средние века в Словакии, словацкие лингвисты называют иногда культурным языком словаков.) Можно встретить и другие толкования этого термина[34].

Широкое применение термин "культурный язык" находит в исследованиях по истории словацкого литературного языка (в работах Э. Паулини, К. Габовштяковой, Р. Крайчовича, Н.А. Кондрашова, Р. Оти и др.; целую серию статей по данной проблеме опубликовал И. Котулич[35]).

По мнению Паулини, начиная с XVI в. в Словакии наряду с чешским литературным языком и на его основе стихийно формируется местный культурный язык как общесловацкое средство общения[36]. Не обладая

устойчивыми нормами, он все же используется в различных функциях и жанрах (административно-деловая письменность, религиозная сфера, художественное творчество и др.). В XVII и XVIII вв. он обретает в печатных изданиях относительно единую форму. Следует в связи с этим заметить, что в научной литературе, посвященной данному вопросу, мы находим описание не единой системы общесловацкого культурного языка, а двух или трех культурных языков: западнословацкого, среднесловацкого и восточнословацкого.

Несколько иной концепции придерживается Котулич. Он считает, что язык формирующейся словацкой народности с самого начала (X—XI вв.) был дифференцирован, выступая в виде местных словацких говоров и складывающейся на их основе культурной языковой формации, предназначенной не только для повседневного общения, но прежде всего для удовлетворения более высоких культурных потребностей (главным образом в религиозно-культовой и административно-правовой сфере). Ее он называет культурным словацким языком[37]. В соответствии с этим Котулич определяет чешский литературный язык, употреблявшийся словаками с XIV в., как "второй культурный язык словацкой народности"[38]. В XIV — XVIII вв., по мнению Котулича, в результате взаимодействия письменного чешского языка и местного словацкого культурного языка возникла гибридная языковая формация ("гетерогенный" словацкий культурный язык). В связи с этим Котулич считает возможным говорить о трех культурноязыковых формациях у словаков в указанный период, а именно о двух словацких культурных языках ("гомогенном" и "гетерогенном") и чешском культурном языке[39].

Как мы видим и в словацкой лингвистике термином "культурный язык" обозначаются не вполне однородные явления и в плане их хронологической отнесенности, и в плане содержательной характеристики.

Представляется целесообразным из достаточно широкого и неоднозначного понятия "культурный язык" вычленить понятие "культурный интердиалект" с более узким и определенным содержанием. Культурным интердиалектом мы называем специфическую языковую формацию наддиалектного и междиалектного характера, возникающую на основе местных диалектов, но выполняющую по сравнению с ними более высокие общественно-культурные функции в период до появления национального литературного языка и служащую исходной базой его формирования[40]. Опираясь на это, мы считаем, что в создании предпосылок для возникновения литературного словацкого языка существенную роль сыграли западнословацкий и среднесловацкий культурные интердиалекты[41]. Именно они явились основными источниками соответственно бернолаковской и штуровской кодификаций.

В настоящее время словацкими лингвистами накоплено уже немало доказательств реального существования в истории словацкого языка подобных наддиалектных идиомов (в их терминологии "культурных языков"). Особенно большое внимание было уделено ими характеристике западнословацкого культурного интердиалекта (прежде всего

в работах Р. Крайчовича[42]). Благодаря этому можно сделать вывод, что западнословацкий культурный интердиалект, возникший в результате длительного взаимодействия местных западнословацких говоров и чешского литературного языка, функционировавшего в Словакии, обладал специфическим набором фонетических, грамматических и лексических черт, в котором переплетались словацкие и чешские языковые элементы. Именно он и стал главной исходной базой бернолаковской кодификации.

Менее изученными являются вопросы, связанные с возникновением среднесловацкого культурного интердиалекта и с его лингвистической характеристикой. Идею о том, что в штуровский период основой словацкого литературного языка стал культурный среднесловацкий язык, высказал К. Горалек[43]. В трудах словацких лингвистов она получила дальнейшее развитие. Значительное внимание данной проблематике уделял Паулини, который раскрыл историко-культурные и собственно языковые условия и предпосылки образования этого наддиалектного идиома, показал некоторые особенности его функционирования[44]. Он писал: "... в словацком обществе еще до Штура существовала некая норма среднесловацкого культурного языка, используемая достоточно широким слоем образованных, resp. грамотных людей"[45]. Она находила свое отражение в административно-деловой письменности, в художественной литературе, устном народном творчестве и в других областях общественно-культурной деятельности. Что касается истории среднесловацкого культурного интердиалекта, то здесь еще остается много неясного и порой противоречивого. Несомненно более полного и детального описания требует система строевых признаков и норм этого наддиалектного образования. Это поможет более точно определить исходную основу штуровской кодификации. В теоретическом аспекте целесообразно более четко дифференцировать понятия "интердиалект" и "культурный интердиалект", так как не всякое интердиалектное образование может быть автоматически признано культурным интердиалектом. В одной из своих статей Э. Йона утверждал, что основой литературного словацкого языка в 40-х гг. XIX в. явилась "обиходно-разговорная среднесловацкая речь (среднесловацкий интердиалект)"[46]. Здесь отсутствует указание на характерную для культурного интердиалекта социально-коммуникативную функцию. Между тем сам автор правильно подметил: "При благоприятных экономических, политических и культурных условиях из интердиалекта возникает сначала культур - ный язык"[47]. И далее: "Благодаря его введению в литературу и стабилизации его нормы создается литературный язык"[48]. Как нам кажется, можно предположить подобный процесс складывания исходной основы штуровского литературного языка. При этом следует учитывать, что обиходно-разговорная речь интердиалектного характера была лишь одним из компонентов, образующих среднесловацкий культурный интердиалект (в некоторых звеньях его системы проявлялось влияние чешского языка, правда, менее заметное, чем в западнословацком культурном интердиалекте; западнословацких говоров; речевых средств устной народной словесности). В целом же

среднесловацкий культурный интердиалект по сравнению с западнословацким носил более ярко выраженный разговорно-народный характер.

Кратко остановимся на одной из характерных черт процесса формирования и развития литературного словацкого языка в эпоху национального возрождения — тенденции к его демократизации. Ее проявление мы усматриваем в стремлении словацких просветителей и кодификаторов преодолеть существующий разрыв между традиционным книжнописьменным языком и живой народно-разговорной речью, в целенаправленных попытках вытеснения из важных общественно-коммуникативных сфер "чужих" письменных языков и их замены национальным литературным языком; в усилиях по его сближению с языком простого народа; в расширении социальной базы литературного языка.

Указанная тенденция начала проявляться уже в бернолаковский период. Сама реформа Бернолака явилась важным демократическим актом: впервые была создана обработанноя кодифицированная форма родного языка словаков. Некоторому сближению норм этого литературного языка с живой словацкой речью способствовало то, что Бернолак, как он сам неоднократно отмечал, в своей кодификаторской деятельности ориентировался на разговорный "узус образованных и ученых людей". Можно отметить также стремление бернолаковцев расширить социальную базу словацкого литературного языка и сферы его употребления. Предполагалось, что он найдет применение в государственных и общественных учреждениях, в церкви и школе, в литературе. Разрабатывались также планы издания газеты на бернолаковском языке. Все эти замыслы реализованы были лишь частично. Фактически бернолаковщина функционировала главным образом как книжно-письменный язык. На нем публиковалась разнообразная религиозно-церковная (проповеди, богословские трактаты, перевод Библии, выполненный каноником Ю. Палковичем и др.) и светская (наиболее ярко представленная литературно-художественным творчеством поэта Я. Голлого). Проникновению бернолаковщины в средние и низкие слои общества способствовала популярно-просветительская литература, в частности, целая серия книг по сельскому хозяйству, пчеловодству, народной медицине и т.п., автором которых был один из ближайших соратников Бернолака — Ю. Фандли. В них, рассчитанных и на простой народ, использовались и некоторые языковые и стилистические средства, типичные для народно-разговорной речи. Не случайно, выступая с позиции консервативной церковной иерархии, цензор отмечал, что они написаны "грубым и кухонным слогом"[49]. Наконец, следует отметить и употребление бернолаковщины в ряде католических школ, где она выступала в качестве языка обучения.

Таким образом, в бернолаковский период наметилось определенное сближение литературного словацкого языка с его социальной базой. Последняя все же была довольно ограниченной: с одной стороны, по конфессиональному признаку, с другой стороны, по социальному — литературные тексты на бернолаковщине были предназначены прежде

всего для образованных людей высших и средних слоев словацкого общества.

В штуровский период процесс демократизации литературного языка становится особенно заметным. Введение в жизнь новой формы словацкого литературного языка явилось важной составной частью реализации широкой программы демократических преобразований в словацком обществе.

Штур хорошо осознавал и убедительно доказывал важное социальное назначение кодифицированного им литературного языка, который был призван стать решающим фактором национальной консолидации словаков, преодоления препятствующего этому раскола общества по конфессиональному и языковому признакам. Новому литературному языку штуровцы придавали большое значение и как орудию просвещения народных масс, как эффективному средству борьбы с неграмотностью и забитостью простых людей. С его помощью патриотическая интеллигенция надеялась сблизиться с народом, чтобы помочь ему "улучшить его духовное и материальное состояние"[50]. Понятие "народ" у штуровцев было достаточно широким: оно включало различные социальные группы средних и низких слоев общества, мелкую буржуазию (торговцы, арендаторы, мельники, ремесленники и т.п.) и бесправное барщинное крестьянство. Народ в таком понимании штуровцы считали ядром нации. При помощи родного языка они хотели привлечь его к активной борьбе за национальные и социальные права.

Демократизация литературного словацкого языка проявилась также в смене его диалектной основы. Среднесловацкий культурный интердиалект, ставший главным источником штуровской кодификации, объективно имел наибольшие шансы приобрести функцию общесловацкого средства общения. По сравнению с западнословацким интердиалектом он был менее зависим от традиционных письменных норм чешского языка, но теснее связан с местными словацкими говорами и междиалектной разговорной речью; в нем было заметнее и влияние языка фольклора. Вероятно, можно даже сказать, что он в большей степени соответствовал словацкому менталитету. Не случайно, что в штуровском литературном языке, базировавшемся на среднесловацком культурном интердиалекте, органически сочетались национальные и народные начала. Как нам представляется, это стало одним из существенных факторов, определивших достаточно быстрое (несмотря на все объективные и субъективные трудности) признание и принятие нового литературного языка всеми слоями словацкого общества.

Штуровцы по-новому оценивали роль и значение речевых средств простого народа, они сознательно и целенаправленно черпали материал из этого источника для обогащения словарного состава и стилистических возможностей литературного языка, что, несомненно, способствовало его сближению с народно-разговорным языком.

Вместе с тем следует учитывать, что по основным строевым признакам (на уровне фонетики, морфологии, синтаксиса, словообразования и лексики) узаконенная Штуром система литературно-

языковых норм не является простым сколком норм среднесловацких говоров или словацкой разговорной речи интердиалектного характера. И уж тем более между ними не было совпадения в функциональном плане. Поэтому нам представляются излишне категорическими и односторонними встречавшиеся ранее в литературе высказывания о "деревенском (рустикальном) характере" литературного словацкого языка.

Значительно шире по сравнению с бернолаковщиной была сфера употребления штуровского литературного языка (школа и церковь, администрация и делопроизводство, суд, рабочий язык на заседаниях культурно-просветительного общества "Татрин", корреспонденция и др.). Важную часть корпуса текстов на штуровщине составляли научные труды (если основные лингвистические работы Бернолака были изданы еще на латыни, то труды Штура публиковались на словацком языке). Уже с первых лет реального функционирования штуровщины успешно развивалось литературно-художественное творчество (достаточно назвать яркие достижения в области рамантической поэзии и прозы, представленные именами А.Сладковича, Я. Краля, Я. Калинчака, С. Халупки, Я. Ботто, самого Л. Штура, Й.М. Гурбана и др.). Большое значение для проникновения литературного языка в широкие слои общества имело издание Штуром первой газеты на словацком языке "Словацкая национальная газета" (Slovenskje národnje novini, 1845 — 1848) с литературным приложением "Орел Татранский" (Orol. Tatránski). И по языку, и по содержанию газета была рассчитана не на элитарные круги интеллигенции, а на массового читателя из различных социальных слоев (мещан, ремесленников, крестьян, священников разных вероисповеданий, чиновников, торговцев, студентов и др.).

Широте и разнообразию коммуникативных сфер, в которых использовался штуровский литературный язык, соответствовала и более широкая и многочисленная социальная база этого языка. После того как пользователями штуровщины стали и словацкие католики (а они составляли бóльшую часть словацкого социума), она получила существенное пополнение. Это означало дальнейший шаг на пути демократизации литературного словацкого языка эпохи национального возрождения, который действительно стал культурным достоянием всего словацкого народа.

[1] Подробнее об этом см.: Dejiny Slovenska. II. Br. 1987.

[2] См.: *Pauliny E.* Čeština a jej význam pri rozvoji slovenského spisovného jazyka a našej národnej kultúry // O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov. Br., 1956. S. 99—124. *Habovštiaková K.* Podiel češtiny na formovaní Bernolákovej spisovnej slovenčiny // Acta Universitatis Carolinae. Slavica Pragensia. IV. 1962. S. 551—557.

[3] Ср.: *Doruľa J.* O češtine na Slovensku v 16. a 17. storočí a o vývine slovnej zásoby // Slavica Slovaca. Roč. 2. 1967. Čís. I. S. 24. *Pauliny E.* Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Br. 1983. S. 111.

[4] В связи с этим иногда говорят об "определенном стандарте чешского языка в Словакии" (*Doruľa J.* Op. cit. S. 25) или о "словацком варианте стандартного чешского языка" (*Brozović D.* Češki standardni jezik kao etalon u doba slavenskih narodnih preporoda // Slovanské spisovné jazyky v době obrození. Pr., 1975. S. 41).

[5] См.: *Ďurovič Ľ.* Vývin kodifikáce spisovnej slovenčiny pred Bernolákom // Slovenká

literatúra. Roč XXXVII. 1990. Čís. I. S. 56—66. Ср.: *Doruľa J.* Vzťah češtiny a slovenčiny v gramatike Pavia Doležala a v diele Mateja Bela // Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego. Wrocław etc., 1987. S. 201—217.

[6] См.: *Švagrovsky Št.* Zemplínske kalvínske tlače v doterajších výskumoch // Jazykovedné štúdie. XVIII. Br., 1983. S. 21—37.

[7] Dissertatio philologico-critica de litteris Slavorum. Posonii, 1787.

[8] Slavonicae per regnum Hungariae usitatae compendiosa simul, et facilis Orthographia. Posonii, 1787.

[9] *Bernolák A.* Grammatika slavica. Posonii, 1790.

[10] *Habovštiaková K.* Bernolákovo jazykovedné dielo. Br., 1968. S. 130.

[11] *Bernolák A.* Etymologia vocum slavicarum. Tyrnaviae, 1791.

[12] *Bernolák A.* Slowár Slowenskí, Česko-Latinsko-Nemecko-Uherskí. I—VI. Budae, 1825—1827.

[13] *Štúr L.* Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí. V Prešporkú, 1846.

[14] Подробнее см.: *Смирнов Л.Н.* Вклад Людовита Штура в формирование литературного словацкого языка // Людовит Штур и его время. Сб. статей. М., 1992. С. 42—59.

[15] *Štúr L.* Hlas k rodákom // Orol Tatránski. V Prešporku, 1845. Čís. 6. S. 42.

[16] *Štúr L.* Nauka reči slovenskej. V Prešporku, 1846.

[17] Наиболее подробно система норм штуровщины, охватывающая различные уровни и стороны языковой структуры, описана в кн.: *Kondrašov N.A.* Vznik a začiatky spisovnej slovenčiny. Br., 1974.

[18] См.: *Смирнов Л.Н.* О роли реформы М.М.Годжи — М. Гатталы в истории словацкого литературного языка // Славянское и балканское языкознание. М., 1979. С. 232—245.

[19] Он был затронут намн в статье: О начальном этапе формирования литературного словацкого языка // Slavica Tartuensia. 2. Тарту, 1988. С. 59—68.

[20] *Pauliny E.* Dejiny spisovnej slovenčiny. I. Br., 1966. S. 3.

[21] *Kondrašov N.A.* Op. cit. S. 10.

[22] *Habovštiaková K.* Bernolákovo jazykovedné dielo. S. 21.

[23] *Васильева Л.И.* Словацкий язык // Славянские языки: Очерки грамматики западнославянских и южнославянских языков. М., 1977. С. 119.

[24] *Виноградов В.В.* Различия между закономерностями развития славянских литературных языков в донациональную и национальную эпоху. М., 1963. С. 28.

[25] *Гумецька Л.Л.* Какви са били общите закономерности и основните различия в процеса на възникването на славянските национални литературни езици? // Славянска филология. Т. 1. София, 1963. С. 26.

[26] *Брозович Д.* Славянские стандартные языки и сравнительный метод // ВЯ. 1967. № 1. С. 22—23.

[27] Ср. более точную формулировку Н.И. Толстого, который определяет словацкий литературный язык как относительно молодой, приобретший современную литературную форму лишь в середине XIX в. / *Толстой Н.И.* История и структура славянских литературных языков. М., 1988. С. 19.

[28] *Barnet V.* Funkční pojetí spisovného a standardního jazyka // Język literacki i jego warianty. Wrocław etc., 1982. S. 8.

[29] *Jóna E.* Postavy slovenskej jazykovedy v dobe Štúrovej. Br., 1985. S. 17.

[30] *Демина Е.И.* К теории сравнительно-типологического изучения славянских литературных языков // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978. С. 134.

[31] *Демина Е.И.* Там же.

[32] *Horálek K.* Úvod do studia slovanských jazyků. Pr., 1955. S. 285.

[33] *Бернштейн С.Б.* Культурный язык — письменный язык — литературный язык // Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций XVIII—XIX вв. М., 1978. С. 110.

[34] См., например, следующее определение: "Язык народа, достигшего высокого уровня цивилизации, получивший значение языка государственного" (*Ахманова О.С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966. С. 531).

[35] *Kotulič I.* O formovaní kultúrneho jazyka slovenskej národnosti // Jazykovedný časopis. Roč. XIX. Br., 1968. S. 134—149; *Idem.* K otázke kultúrneho jazyka slovenskej

národnosti // Nové obzory. Prešov, 1969. S. 349—371. *Idem.* K pojmu kultúrna slovenčina // Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. Roč. XXIII—XXIV. Br., 1974. S. 293—305.

[36] *Pauliny E.* Dejiny spisovnej slovenčiny. I. S. 82.

[37] *Kotulič I.* K pojmu "kultúrna slovenčina". S. 297.

[38] *Ibidem.* S. 304.

[39] *Kotulič I.* Význam trnavskej univerzity pre rozvoj kultúrnej slovenčiny // Trnavská univerzita v slovenských dejinách. Br., 1987. S. 75.

[40] О нашем понимании культурного интердиалекта см.: *Смирнов Л.Н.* О роли культурных интердиалектов в процессе формирования славянских литературных языков // Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций XVIII—XIX вв. М., 1978. С. 116—121.

[41] См.: *Смирнов Л.Н.* Формирование словацкого литературного языка в эпоху национального возрождения (1780—1848) // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978. С. 104—105, 151. Предложенную нами терминологию начинают использовать и другие словакисты, ср.: *Лифанов К.В.* Наддиалектные образования в истории словацкого языка // Вестник Моск. ун-та. Серия 9. Филология. 1989. № 1.

[42] См.: *Krajčovič R.* K problematike formovania kultúrnej západoslovenčiny // Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. Roč. XIV. Br., 1962. S. 67—101. *Idem.* Hlavné fázy formovania kultúrnej západoslovenčiny // K počiatkom slovenského národného obrodenia. Br., 1964. S. 171—180. *Idem.* Bernolákovčina a reč vzdelancov na juhozápadnom Slovensku v 18. storočí // Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. Roč. XXVIII. Br., 1981. S. 89—99.

[43] *Horálek K.* K problematice dějin spisovného jazyka // Studie a práce lingvistické. Pr., 1954. S. 371.

[44] *Pauliny E.* Spoločenské funkcie strednej slovenčiny pred Štúrom // Slovenská reč. Roč. XXI. 1956. Čís. 3—4. S. 174—186. *Idem.* K prameňom štúrovskej kodifikácie // Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury. XII. Pr., 1968. S. 25—27. *Idem.* Pramene Štúrovej kodifikácie // Slovanské spisovné jazyky v době obrození. Pr., 1975. S. 67—71.

[45] *Pauliny E.* Pramene Štúrovej kodifikácie. S. 69.

[46] *Jóna E.* K periodizácii dejín slovanských spisovných jazykov a k všeobecným zákonitostiam ich vývinu // Jazykovedný časopis. Roč XIV. Br., 1963. Čís. I. S. 11.

[47] *Jóna E.* Op. cit. S. 13.

[48] *Jóna E.* Op. cit. S. 13.

[49] *Pauliny E.* Dejiny spisovnej slovenčiny... 1983. S. 170.

[50] *Rimavskí J.F.* K rodákom // Orol Tatránski. Roč. I. 1845. S. 87.

*А.Д. Дуличенко*

## ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛЯШТИНА ОНДРЫ ЛЫСОГОРСКОГО В КОНТЕКСТЕ ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ И В СВЯЗИ С ЛИТЕРАТУРНЫМИ МИКРОЯЗЫКАМИ СОВРЕМЕННОЙ СЛАВИИ

Попытка создания литературной ляштины в Силезии относится к новейшему времени и является своеобразным отражением издавна сложной языковой и этнической ситуации в этой части славянского мира. В средние века население Силезии не имело четкой этноязыковой соотнесенности с чехами или поляками, с чешским или польским языками. В дальнейшем появляются местные названия, говорящие скорее всего о территориальной, а не этнической принадлежности: в Тешине (Цешине) это *силезцы* (чеш. *Slezan, Slezák,*

польск. *Ślązak*), в Верхней Силезии — *верхнесилезец* (польск. *Górnoślązak*), в районе Опавы и прилегающих областей — *моравец* (чеш. *Moravec*) и под. Примечательно, что лингвонимом во всех этих случаях было обычно выражение *po našemu* ("по-нашему"), в отдельных районах, кстати, сохраняющееся до настоящего времени, хотя после второй мировой войны большинство славянского населения здесь определилось либо как чехи, либо как поляки (см., напр.: 8; 6; 7; 14).

В качестве литературного языка в Силезии первоначально использовалась латынь (преимущественно в церкви); с XIII—XIV вв. здесь вводится немецкий язык в основном как язык администрации. В связи с укреплением чешского государства и присоединением к нему Силезии в XIV—XV вв. сюда проникает достигший к этому времени высокого уровня развития чешский литературный язык. Как славянский язык он внедрялся значительно успешнее и служил сдерживающим фактором в языковой германизации Силезии. Сфера его использования сужается после поражения на Белой горе в 1620 г., а с середины XVIII в., когда Силезия разделена между Пруссией и Австрией, и в XIX в. он использовался только в начальной школе и в костеле.

Польский литературный язык начинает проникать в некоторые регионы Силезии в конце XV в. и укрепляется там в XVII в., также создавая заслон наступавшей германизации. В середине XIX в. здесь выходит ряд газет и журналов на польском языке, издаются книги, язык вводят в школу и в костел.

Однако позиции немецкого языка как официального были значительно прочнее и его влияние распространялось не на отдельные части, а фактически на всю Силезию. В XIX в. это мешало движению за национальное возрождение чехов и поляков, замедляло процесс выработки языкового и этнического самосознания местного славянского населения. Как следствие этого возникали идеи местного письменного языка. Так, в XIX в. в печати много дискутировался вопрос о "вассерполяках" и "вассерпольском языке" (нем. *Wasserpole, Wasserpolnisch,* польск. *Wasserpolak, język wasserpolski,* чеш. *Vas(e)rpolák, vas(e)rpoláčtina*) (кстати, термины эти известны еще с XVII в.). Понятием "вассерпольский язык" обозначали смешанный польский диалект (с элементами чешского и заимствованиями из немецкого) в Верхней Силезии. По-вассерпольски печатали кое-какие тексты и даже переводили произведения немецких писателей и поэтов. В целом это была искусственная языковая система, грамматика которой носила отчетливо польский характер, в то время как лексика оказывалась сильно германизированной. Идея "вассерпольского языка" просуществовала до второй мировой войны (см., напр.: 11, с. 9—35; 11).

Во второй половине XIX в. усиливается движение за так наз. моравский язык. В Прусской Силезии его сторонниками были моравцы округов Глубчице и Ратиборжа, а в Австрийской Силезии — жители районов Опавы и Фридека, а также части Тешина. Официальные власти даже пытались параллельно печатать на немецком и моравском документы местной администрации. Вопрос о моравском языке дискутировался в силезском сейме в 1861 г. "Страсти" несколько поутихли после того, как прусские власти обратились в Берлинский

университет за консультацией: известный славист А. Брюкнер квалифицировал "моравский язык" как один из диалектов чешского языка (10, с. 98—104; 11, с. 36—48; 13, с. 471—499).

Нечеткость этноязыковой принадлежности славянского населения в рассматриваемом регионе была одной из причин возникновения так наз. шлензацкого движения (польск. *ślązactwo*, чеш. *šlonzáctví*), активизировавшегося с середины XIX в. особенно в Тешине. Часть проживавших здесь славян называла себя *силезцами* (польск. *Ślązak*, чеш. *Slezan, Šlonzák*). Идею "шлензацтва" активно поддерживал Й. Кождонь, однако в печатном органе, который он издавал, — журнале "*Ślązak*" фактически использовался польский литературный язык, окрашенный местными диалектными чертами. Шлензацкое движение действовало до второй мировой войны (11, с. 49—73; с. 471—499; 16).

Подобная ситуация подготовила условия для развития культурно-языкового регионализма в период от начала века и до второй мировой войны. Одной из целей этого движения было культурное развитие Силезии с опорой на местный, в т.ч. и языковой, материал. В этом русле появляется целый ряд поэтов и писателей, чьи произведения написаны на основе говоров чешского или польского типа. Так, на силезских говорах чешского типа писали Арношт Хамрад, Лев Карвинский (наст. имя Лев Казик), Яхим Блехта, Фран Смея; роман Анны Марии Тильшовой "Холмы" выдержал с 1927 по 1967 г. 6 изданий. На говорах польского типа писали Ф. Рес, Софья Коссак-Шуцкая, Густав Морцинек и др.

В 30-е гг. в русле означенного культурно-языкового регионализма начинается творческая деятельность Ондры Лысогорского (наст. имя Эрвин Гой, 1905—1989), создателя литературной ляштины. Он родился в семье рабочего, во Фридеке, там же посещал немецкую школу и гимназию, затем гимназию на чешском языке, учился в Пражском университете, получил степень доктора философии (диссертация "Творчество Р.М. Рильке с точки зрения философии культуры", 1928), работал в школе в Словакии. В 1939 г. О. Лысогорский эмигрировал сначала в Польшу, а затем в Советский Союз. В Москве он преподавал немецкий и чешский языки, работал во Всеславянском комитете, в 1942 г. был принят в члены Союза писателей СССР. После войны вернулся в Братиславу, где работал преподавателем немецкого языка.

В 1934 г. Лысогорский выпустил первый сборник ляшских стихов "Поющий кулак" (23), вызвавший большой интерес среди левоориентированной чешской интеллигенции. В Лысогорском увидели большой поэтический талант, его называли продолжателем поэтических традиций Петра Безруча. В 1935 и 1936 гг. Лысогорский издал еще два сборника ляшских стихов (24; 25). В целях развития ляштины как литературного языка он организовал в Остраве в 1936 г. специальное общество "Lašsko perspektywa", которое занималось также и социальными вопросами рабочих Силезии. Члены общества должны были иметь рабочее происхождение. Из общества вышли молодые ляшские поэты, такие как Ян Стунавский (наст. имя Ян Лисник),

переведший на ляшский, кстати, стихотворение Г. Гейне "Силезские ткачи"; Йозеф Шиновский (наст. имя Йозеф Билан), писавший прозу; Юра Ганыс (наст. имя Богумил Марек) и некоторые другие. Члены общества планировали составление ляшского словаря, однако война помешала этому замыслу.

В эмиграции Лысогорский продолжает творчество на ляшском. Одна из основных тем его произведений — антифашистская. Его стихи в оригинале и переводах печатаются во многих советских и зарубежных периодических изданиях и сборниках, с 1942 по 1946 гг. в переводе на русский язык вышло четыре сборника его стихов (20—22) в переводе М. Цветаевой, Б. Пастернака, А. Суркова, Н. Асеева и др. После войны Лысогорского в Чехословакии долго не печатали — идея литературной ляштины была запрещена. Лишь в 1958 г. в Праге был издан первый послевоенный ляшский сборник его стихов (26). Больше всего появляется в это время переводов произведений О. Лысогорского на различные языки мира. В 1970 г. поэт выдвигался на Нобелевскую премию. В 1988 г. в Германии было издано все ляшское поэтическое творчество (27; см. также 15).

Единомышленники О. Лысогорского после войны пошли разными путями: одни перешли на чешский литературный язык, другие продолжали некоторое время писать по-ляшски, как, напр., Й.Б. Шиновский, выпустивший в 1945 г. первый и единственный ляшский роман "Терриконы (холмы) в поле" (28), Я. Стунавский, автор поэтических сборников, и др. Последующие поколения силезских писателей, ориентировавшихся на местные говоры, уже не сохраняют преемственности с литературной ляштиной О. Лысогорского: каждый из них выступает как чисто диалектный писатель, отражающий в своих текстах родной говор (тексты такого рода публикуются, напр., в журнале "Těšínsko" и некоторых других изданиях Силезии).

В лингвистическом плане ляштину О. Лысогорского следует считать литературным языком. Ляштина (лингвонимы *laščina, lašsky jazyk,* чеш. *laština, laščina,* польск. *język laski*) основывается на верхнеостравском говоре; в широком смысле "ляшский язык" распространяется на северо-востоке Моравии, в бывшей "австрийской Силезии" и на Глучинщине (так описывает ареал ляштины сам Лысогорский в своем первом сборнике, см.: 23, с. 100).

В языковом плане верхнеостравский говор, как и в целом силезский (называемый иначе также ляшским) диалект, представляет собой естественный синтез фонетических, грамматических и лексических элементов чешского и польского типа (здесь мы не касаемся спорного вопроса о генетической основе этого диалекта, по-разному трактующегося в чешской и польской диалектологии). Для верхнеостравского говора характерны такие общесилезские черты, как, напр., отсутствие долготы и краткости гласных, постоянное место ударения на предпоследнем слоге слова, различение *l* и *ł*, переход *t'* и *d'* соответственно в *ć* и *ʒ́* или же *č* и *ǯ*, а мягких *s'* и *z'* > *ś, ź*; отсутствие *l̥* и *r̥* и др. Собственно остравский говор характеризуют: перед носовыми согласными *i* или *y* < *e, ě* (*kolino, tyn,* но *teho*), *u* < *o* (*chrumy* < *chromy, una* < *ona*); *o* (< *á*) > *u* (*pun, vołum,* но *vołoš, vołaju*);

наличие двойного *nn* в формах типа *kamynnỳ, słumjanny*; формы прошедшего времени двоякого типа — и (*ja*) *som pisoł* и *pisołch*, а также *joch pisoł*; формы настоящего времени вспомогательного глагола "быть" имеют вид: (*ja*) *sem je,* (*ty*) *sy je,* (*un*) *je*; флексия творит. падежа существительных и прилагательных, а также местоимений адъективного типа жен. рода *-um/-ûm: v tûm starûm babûm* и под. (5, с. 285—306, 303—304).

Литературная ляштина в значительной мере отражает отмеченные особенности родного О. Лысогорскому верхнеостравского говора. В своем лингвопоэтическом эксперименте Лысогорский, как он сам неоднократно признавался, опирался не только на собственный опыт и знание родного говора, но также и на известные работы чешских диалектологов — А. Шемберы, Ф. Бартоша, особенно Й. Лориша (18; 3; 9). Совершенно естественно, что, создавая литературный язык, Лысогорский в одних случаях в меньшей мере (напр., в области фонетики), в других — в большей (напр., в словаре) отходил от верхнеостравского говора. Наиболее существенной чертой ляштины Лысогорский считал строго фиксированное в ней ударение — всегда на предпоследнем слоге слова (что отличает ее от чешского и словацкого языков) и отсутствие носовых гласных (в противовес польскому языку) (ср. его оценку в: 23, с. 100). Этим как бы подчеркивается "срединность" положения литературной ляштины, находящейся между чешским и польским языками. Внешне это проявляется также в графико-орфографической системе, занимающей промежуточное положение между таковыми чешского и польского языков. Так, для обозначения гласных используются: *ó* = польск. *ó*, чеш. *ů*, т.е. *robotnicóm* (= *robotnicum*), *ě* = польск. *ie*, чеш. *ě* (*kěry*), *é* = *i* после шипящих, свистящих, а также *j, l, ň* и = *y* после других согласных (*chćéł* = *chćił, dźéň* = *dźiň; slubéne* = *slubyne, oswobodzéno* = *oswobodzyno*), *e* > *é* перед носовыми согласными, *jé* после *b, p, m, w* произносится как *i* (*mjéł* = *mił, pjéna* = *pina*); *č* = польск. *cz*, чеш. *č* (*čas*), *ć* — между польским *ć* и чешским *ť* либо как польское *ć* и как более мягкое, чешское, *ť* (*ćeło,* польск. *ciało,* чеш. *tělo*), *dź* — ср. польск. *dź* (*budź*), *l* и *ł* — как в польском, причем *ł* приближается к *u̯* (*hroł* = *hrou̯*); *ň* = чеш. *ň*, польск. *ń* (*dłań*), *ř* = чеш. *ř*, польск. *rz* (*řezać*), *š, ž* = чеш. *š, ž*, польск. *sz, ź* (*šarpać, žebrok*), *ś, ź* = польск. *ś, ź*, но несколько мягче (*śiwy, źima*); *h* = чеш. *h*, в польском *g* (*hłos*), *ch* = чеш. и польск. *ch, w* = польск. *w̯*, чеш. *v* и некоторые другие.

Для грамматического уровня наиболее специфическими оказываются реликты аориста — *-ch/-ech*, которые участвуют в образовании форм 1 л. прошедшего времени: *kajch hajoł* (чеш. *kde jsem hladil,* польск. *gdziem gładził*), а *přyšełch zaś* (чеш. *zase jsem přišel*, польск. *i przyszedłem znowu*). Эти же реликты используются и в настоящем времени, ср.: *joch je od Ćešina* (чеш. *jsem od Těšína,* польск. *jestem z okolicy Cieszyna*). Спряжение вспомогательного глагола *być* 'быть' весьма специфично: *joch je, tyś je, ón je; my smy su, wy śće su, óni su*; отрицательные формы соответственно: *joch ňéni, tyś néni* и т.д. (ср. выше особенности верхнеостравского говора).

В лексическом плане литературная ляштина О. Лысогорского от-

ражает в себе не только местный диалектный состав, но в значительной мере пользуется также фондом современных чешского и польского литературных языков. Специального словаря, как и грамматики литературной ляштины, О. Лысогорский не опубликовал, хотя в его архиве хранятся рукописные материалы, которые свидетельствуют о работе поэта над ними. Фонетико-грамматические и лексические особенности ляштины Лысогорский обычно подает в конце своих книг, в послесловиях. Л.Паллас отмечал, напр., что в словарике из 562 слов, приложенном к первому сборнику Лысогорского, 228 сходны с чешскими и не имеют параллелей в польском (типа ляшского и чешского *cesta*, польск. *droga*; соответственно *cyt*, чеш. *cit* — польск. *czucie, uczucie*; *charpa* — чеш. *chrpa* — *bławatek; patřyć* — *należeć; pokyb* — *ruch*), 71 слово из моравских, 121 — из силезских говоров, 10 — заимствования из немецкого языка и т.д. (11, с. 86—87). Имеется также немало слов, которые лишь фонетически несколько отличны от соответствующих польских и чешских, ср., напр.: *hałuź* — польск. *gałąz, hłod* — *głód, jodro* — *jądro, ledowy* — *lodowy, pět* — *pieć, pisek* — *piasek, potym* — *potem, rosnuć* — *rosnąć, rozpolić* — *rozpalić* и т.д. Аналогичным образом: *ból* — чеш. *bol, bruśić* — *brousiti, dřěć śe* — *dřiti se, hłos* — *hlas, lud, lude* — *lid, lidé, mjénić śe* — *měniti se* и т.д. Ср. также словообразовательные различия типа *nahota* — польск. *nagość, sebewědómi* — *świadomość, ohniwy* — *ognisty, połedni* — *południowy, robotny* — *roboczy, spijać śe* — *upojać się; rumowisko* — чеш. *rumiště, turónek* — *turan, wrotyčka* — *vratič, wšaj* — *všude, zdala* — *zdaleka* (*zdálí*), *drobnučky* — *drobňounký, chudobny* — *chudý, spijać śe* — *opajeti se* и под. Наблюдаются и различия в грамматическом оформлении генетически общих лексем в ляштине, с одной стороны, и в польском и чешском — с другой, хотя в целом они незначительны, ср.: *pruh* (муж. р.) — польск. *prąga* (жен. р.), *štandarta, uroda* (жен. р.) — *sztandar, urodzaj* (муж. р.), *tworba* (жен. р.), *pojém* (муж. р.) — *tworzenie, pojęcie* (ср. р.; в обоих случаях при словообразовательных различиях); *ćmok* (муж. р.) и *ćma* (жен. р.) — чеш. *tma, temnota* (жен. р.), *hufa* (жен. р.) — *houf* (муж. р.), *huś* — *husa* и под.

Литературная ляштина — развивающаяся, вернее развиваемая языковая система. "Генератором" развития является прежде всего сам О. Лысогорский. Обладая в целом достаточно установившейся грамматикой и словарем, ляштина в процессе поэтического функционирования претерпевает отдельные изменения фонетического, грамматического, словообразовательного и лексического характера. Это хорошо видно на текстах О. Лысогорского, созданных до войны и в послевоенное время, а также переиздававшихся в последние годы. В графико-фонетическом плане показателен пример со старым *ě* (ѣ), который первоначально выступал в виде рефлекса *i*, а позднее в виде *é* либо *jé*, что сохраняет "правильный" (или почти "правильный") письменный облик слова, хотя его произношение в целом остается тем же, т.е. и *é*, и *jé* читаются как *i*, ср. примеры из текстов первого (1934) и последующего (1958) изданий: *snih* — *sňéh, smich* — *smjéch, spiwać* — *spjéwać* и под. Изменения подобного рода приближают графико-орфографическую систему ляштины к этимологическому

принципу написания, хотя не следует думать, что в ляштине 30-х годов действовал фонетический принцип (ср. рекомендацию произносить *ł* как *u̯*, ср. также *ó* — как *u* и под.). Во втором сборнике своих стихов, в 1935 г., Лысогорский объявил о морфологическом изменении в виде взятой из опавско-глучинского говора флексии *-ej* для род., дат. и местн. падежей жен. рода прилагательных, местоимений и числительных (24, с. 93). Это изменение последовательно проводится во всех последующих изданиях, ср.: *do moji dźecke* duše śe wpijały (1934) — *do mojéj dźeckej duše...* (1958). В области глагола можно отметить изменения, связанные со вспомогательным глаголом *być*, ср. Už w každym žiju, s *každym śem* (1934), но Už w každym žiju, *s každymch je* (1958). Можно указать также на выправление форм местного падежа существительных, ср.: *w potu* mozoliła (1934) — *w poće* mozoliła (1958), т.е. так же, как и *we sweće* и под. Работа О. Лысогорского над словом видна на примерах замены типа *dybyś* на *kěbyś, šachty* на *hałdy, pola* на *rola*, *delši* на *dłuhši* и под.

В спорах вокруг ляштины некоторые авторы пытались доказывать, что язык О. Лысогорского не является литературным языком (см., напр.: 12, с. 456—460; 11, с. 84—85; 17, с. 8—9). В частности, указывалось, что верхнеостравский говор не является центральным в кругу ляшских говоров; кроме того, этот говор отражен в ляштине в основном фонетически и морфологически, в то время как синтаксис и словарь формировались преимущественно на основе литературных чешского и польского языков; слова и формы в ляштине сильно "ляхизированы"; графико-орфографическая система является "искусственной" и не отражает традиций соседних языков; наконец, не существуют отдельно изданные ляшская грамматика и словарь. Примечательно, что выдвигающие подобные аргументы против литературной ляштины не только не отвечают на вопрос, но и не задаются таким вопросом: если это не литературный язык, что́ же тогда?

В лингвистическом плане ляштина — это литературный язык, в основе которого лежит определенная диалектная (resp. говорная) область — верхнеостравский говор. Как литературный язык ляштина, дабы не быть просто "письменным диалектом", не ограничивается рамками только своей диалектной базы — в ней отражены черты соседних родственных говоров (ср., напр., факт наличия в ней слов из силезских говоров в широком смысле, введение флексии *-ej*, характерной для опавско-глучинского говора, и под.), а развитие грамматической системы и словарного состава идет и за счет соответствующих литературных языков, т.е. чешского, польского, а также словацкого, и за счет внесения самим автором отдельных изменений графико-орфографического, фонетического, грамматического и лексического порядка. Являясь развивающейся или развиваемой грамматической системой (см. выше), ляштина в целом обладает достаточно стабильным, слабо варьируемым составом на всех уровнях, при том закрепленным в грамматических пояснениях и комментариях и в ляшских словариках, которые О. Лысогорский по-

мещает в каждой своей книге. Эта стабильность и последовательность отчетливо проявляется и при анализе языка поэтических текстов О. Лысогорского. Что же касается графической системы, то она "искусственна", если ее соотносить либо только с польской, либо только с чешской графикой. Если обратиться к графике серболужицких литературных языков, представляющей собою синтез графем польского и чешского типов (т.е. наличие *l* и *ł*, *č* и *ć*, *š* и *ś*, *ž* и *ź*; ср. также *ě*, *ó*, *ř*, *ň* и др.), то случай, затрагивающий ляштину, не представляет в этом смысле чего-то из ряда вон выходящего: в ляштине тот же польско-чешский (resp. чешско-польский) графический синтез.

Парадокс в случае с литературной ляштиной меньше всего связан с трактовкой ее как лингвистического феномена — он в другом: в послевоенные десятилетия (исключая 40-е годы) — это литературный язык одного человека, талантливого и широко признанного поэта, это поэтический язык, если иметь в виду, что преимущественную реализацию эта литературно-языковая система находит в поэзии О. Лысогорского. Однако так случилось, хотя начиналось ляшское литературно-языковое и культурное движение как массовое. Война и последовавшие за нею социально-политические процессы развеяли это движение, не дали ему окрепнуть и работать в направлении совершенствования литературной ляштины. Одножанровость этого литературного языка (хотя он использовался также в прозе, в личной переписке) воспринимается противниками этого феномена как некая социолингвистическая "ущербность", к чему нередко добавляют требование "отдельный литературный язык — отдельная нация (этнос)"; последнее, однако, не имеет серьезных оснований, ср. двулитературность серболужицкого языка (критику такого мнения в 4, с. 102—105 см. в работе Н.И. Толстого: 2, 15).

Говоря о лингвистическом (или лингвопоэтическом) феномене О. Лысогорского, нельзя не отметить экспериментов подобного рода в других частях Славии. В типологическом аспекте это важно, так как говорит об объективности процесса, который мы здесь рассматриваем.

В современной Славии функционирует ряд литературных микроязыков островного (югославо-русинский, градищанско-хорватский в Австрии, молизско-славянский в Италии, резьянский в Италии) и матичного характера (чакавский и кайкавский в Хорватии, западнополесский в Белоруссии), (подробно см.: 1). При типологическом рассмотрении литературной ляштины и указанных литературных микроязыков выявляются весьма существенные особенности. Так, мы обнаруживаем сходные мотивы создания литературного языка, с одной стороны, у Ондры Лысогорского, с другой — напр., у создателей югославо-русинского и западнополесского. Лысогорский стал писать по-ляшски, поскольку на это его толкали объективные причины: сложная этноязыковая ситуация региона, большая дистанция между местными говорами и соответственно чешским и польским литературными языками. Те же факторы толкнули в 80-е годы XX в. молодого филолога Миколу Шеляговича заняться созданием так наз. запад-

нополесского литературного языка, поскольку белорусский и украинский литературные языки в Полесье имеют слабый функциональный статус. Гавриил Костельник, создатель югославо-русинского литературного языка, обратился к родному (переселенческому) диалекту, поскольку на прародине (некоторые регионы нынешней Восточной Словакии) издавна были достаточно слабыми позиции украинского и словацкого литературных языков.

Что касается субъективных причин, то в качестве таковых можно, например, считать ностальгию по родной речи, по языку матери ("по первому слову"), опасение, что эта речь в скором времени бесследно исчезнет. Возникает стремление сохранить ее.

Дальнейшие наблюдения позволяют выявить ряд внешних и внутренних типологических параметров, которые объединяют рассматриваемые языковые образования. Так, их характеризует так наз. "спутниковая привязанность" к языкам крупных народов, при этом такая "привязанность" может носить генетический и географический (или локальный) характер. Генетически литературный микроязык может быть "привязан" к одному языковому источнику — таков, напр., градищанско-хорватский и молизско-славянский, относящиеся к хорватскому языковому массиву (первый к чакавскому диалекту, второй — к штокавскому), резьянский, представляющий собою фрагмент словенского языка; из-за нечеткости генетической основы нередко приходится говорить о двух языковых источниках — таковы, напр., югославо-русинский, синтезировавший в себе черты западно-закарпатскоукраинских и восточнословацких говоров, западнополесский — украинских и белорусских говоров, таков же и ляшский, созданный на базе говора, вмещающего в себя как чешские, так и польские языковые черты. Что касается кашубского, то он либо самостоятелен (так принято считать, напр., в русской славистике), либо, как считают польские диалектологи, является диалектом польского языка.

Очень важно иметь в виду и отношение к языкам окружающих народов (географический, или локальный, аспект), которые в той или иной мере воздействуют как на развитие норм литературного языка, так и на его социолингвистические возможности. Так, для ляштины таковыми являются те же языки (а в прошлом и немецкий), которые составляют ее генетический источник, т.е. польский и чешский; для югославо-русинского — это сербско-хорватский, а дистантно — также украинский и словацкий; для кашубского — польский; для градищанско-хорватского — немецкий (частично также венгерский), для молизско-славянского — итальянский, а для резьянского — итальянский и фриульский. Ближе всего в этом плане к ляштине стоит западнополесский: он "привязан" и генетически, и локально к одним и тем же языкам.

Социолингвистически литературные микроязыки современной Славии представляют достаточно пеструю картину — впрочем, таковы же и языки крупных славянских народов. Функциональная поливалентность характеризует югославо-русинский — это язык школы (начальной, средней, специальной, высшей), художественной литературы (представленной практически всеми основными жанрами), пе-

риодики, радио, телевидения, администрации, церкви. Градищанско-хорватский используется скромнее — в художественной литературе, периодике, в церкви, на местном радио, а также в начальных классах школы. Еще скромнее функциональные возможности молизско-славянского и резьянского. Западнополесский используется в периодике, а также в литературно-художественном творчестве. В кругу славянских литературных микроязыков имеются и такие, которые характеризуются минимальным набором функций — вплоть до моножанровых литературных языков: такова ляштина, реализуемая преимущественно в поэзии, меньше — в прозе (а также в личной переписке), современные кайкавский и чакавский, проявляющиеся в основном в литературно-художественном творчестве хорватских писателей. Кашубский преимущественно употребляется в области художественной литературы (поэзии и прозы), но также и в публицистике, дискутируется вопрос о его преподавании в школе.

Что касается нормативного признака (внутренний параметр), то здесь также весьма широкий диапазон — от языков с достаточно строгими и стабильными нормами до так наз. разнонормных литературных языков, т.е. использующих различные говорные основы. Нормы югославо-русинского в достаточной мере унифицированы и представляют собою образец слабо варьируемого языка. Нормативным признаком отличается и градищанско-хорватский, в то время как в молизско-славянском и резьянском нормирующие тенденции еще слабы, потому сильна в этих языках вариантность форм. В западнополесском унификация норм налицо, хотя нередко эти нормы нарушаются (в т.ч. и в связи с попыткой перехода с кириллицы на латиницу). К разнонормным мы относим кашубский, кайкавский, чакавский, хотя, напр., в кашубском уже имеются утвержденные правила графики и орфографии, которые, несомненно, способствуют унификационным процессам. Ляштина должна считаться нормированным литературным языком, поскольку ее создатель и кодификатор был строг к самому себе в этом отношении и допускал только оправданные изменения и варьирования. Изучение с этой точки зрения ляшских текстов показало, что это слабо варьируемый литературный язык, что отвечает критериям стабильности литературного языка вообще.

Если говорить о кодификации, то надо сразу же заметить, что далеко не всегда она появляется на первоначальном этапе развития литературного языка; она идет, как правило, вслед за уже практикующимся литературным языком, его первыми опытами. Так было у югославских русин, первая книга которых появилась в 1904 г., а первая кодификация — в 1923 г. ("Грамматика бачско-русинского языка" Г. Костельника). Кодификации имеют также градищанско-хорватский, молизско-славянский, для резьянского только сейчас создается нормативная грамматика. Нормы западнополесского кодифицированы в дипломной работе его создателя М. Шеляговича, а также в постоянной рубрике в газете "Збудінне". О кодифихации графики и орфографии кашубского литературного языка мы уже говорили (см. выше). Что касается ляштины, специальной кодифика-

ции ее не было, хотя предпринимались попытки создать и грамматику, и словарь. Сам О. Лысогорский трудился над ляшским словарем и ляшской грамматикой, однако работа эта не была завершена, о чем свидетельствуют сохранившиеся рукописные материалы поэта. Тем не менее отсутствие отдельно изданных грамматических и лексикографических кодификаций не может считаться "ущербностью" какого бы то ни было литературного языка.

Сказанное свидетельствует о том, что перед нами феномен, достойный самого пристального внимания и изучения его не только как такового ("самого в себе"), но и в широком славянском и европейском контексте.


1. *Дуличенко А.Д.* Славянские литературные микроязыки. Вопросы формирования и развития. Таллинн, 1981.

2. *Толстой Н.И.* Славянские региональные литературные языки и их функции в современный и донациональный период // Славянские литературные языки в донациональный период. М., 1969.

3. *Bartoš F.* Dialektologie moravská. I—II. Brno, 1886—1895.

4. *Bělič J.* A propos du problème de la nation et de la langue lachique // Philologica Pragensia (Acta Universitatis Carolinae. Philologica. 2). Pr., 1967.

5. *Bělič J.* Nástin české dialektologie. Pr. 1972.

6. *Grobelný A.* Češi a Poláci v Slezsku. Ostrava, 1958.

7. Historia Śląska. T. II. Cz. II. Warszawa etc., 1970.

8. *Kudělka M.* Češi a Poláci na Těšínsku v době národního obrození. Ostrava, 1957.

9. *Lorišš J.* Rozbor podřečí hornoostravského ve Slezsku. Pr., 1899.

10. *Myška M.* K osudům tzv. moravštiny v bývalém Pruském Slezsku // Časopis Slezského muzea, Opava, 1963.

11. *Pallas L.* Jazyková otázka a podmínky vytváření národníhoo vědomí ve Slezsku. Ostrava: Profil, 1970.

12. *Pallas L.* K problematice díla Ondry Łysohorského // Slezský sborník, roč. 58. Opava. 1960. N 4.

13. *Pallas L.* Uloha jazyka při vzniku a vývoji teorii a hnutí tzv. wasserpoláctvi, šlonzáctvi a moravectvi // Slezský sborník, roč. 63. Opava, 1965. N 4.

14. *Popiołek K.* Śląskie dzieje. Warszawa; Kraków, 1976.

15. *Rohder F.* Die Rolle von Ondra Łysohorskys lachischer Poesie im tschechoslowakischen literarischen und kulturellen Leben. Göttingen, 1989.

16. *Rospond S.* Dzieje polszczyzny śląskiej. Katowice, 1959.

17. *Skulina J.* Poezie a nářecí hornoostravské. (Na okraj Łysohorského výboru básni "Aj lašske řeky płynu do mora") // Těšínsko, Český Těšín, 1959, C. 9.

18. *Šembera A.V.* Základové dialektologie československé. Videň, 1864.

19. *Лысогорский О.* Земля моя / Пер. с ляшского. Ташкент, 1942.

20. *Лысогорский О.* Песни о солнце и земле. (1931—1943) / Пер. с ляшского. М., 1945.

21. *Лысогорский О.* Песнь о матери / Пер. с ляшского. М., 1942.

22. *Лысогорский О.* Стихотворения / Пер. с ляшского. М., 1946.

23. *Łysohorsky O.* Spiwajuco piaść. Pr., 1934.

24. *Łysohorsky O.* Hłos hrudy. Pr., 1935.

25. *Łysohorsky O.* Wybrane wérše. Olomouc, 1936.

26. *Łysohorsky O.* Aj lašske řeky płynu do moła. Pr., 1958.

27. *Łysohorsky O.* Lašsko poezyja. 1931—1977 / Hrsg. von Jiří Marvan und Pavel Gan. Köln; Wien, 1988; Lachische Poesie 1931—1977 in deutschen Übersetzungen und Nachdichtungen / Hrsg. von Pavel Gan, Jiří Marvan und Felicitas Rohder. Köln, Wien, 1989.

28. *Šinovský J.* Hałdy na roli. Lašský román z haviřské země. Ostrava, 1945.

# III

*Н.И. Толстой, С.М. Толстая*

## СЛОВО В ОБРЯДОВОМ ТЕКСТЕ
### (культурная семантика слав. **vesel-*)

Современная лексическая семантика в своем стремлении наиболее полно очертить сферу значения отдельного слова приходит к необходимости, помимо собственно лексической семантики (в ее экстенсиональном, денотативном и — интенсиональном, сигнификативном смысле), описать коннотативную семантику, т.е. область "надстраивающихся" над лексической семантикой прагматических, символических, культурных, энциклопедических и т.п. "созначений", актуализирующихся лишь в особых, периферийных, вторичных, поэтических, метафорических и др. "непрямых" употреблениях слова. Дальнейшая разработка проблемы значения идет в двух противоположных направлениях — по линии структурирования и дифференциации видов значения и по линии интеграции, целостного представления всей семантической сферы слова. Дифференциация касается как самого ядра лексического значения (отражаемого в толковании слова, в его словарной дефиниции, в наборе "необходимых и достаточных" семантических признаков), так и — особенно — семантической периферии, т.е. коннотативной семантики, в которой выделяется область лексической коннотации, т.е. "вторичных" значений, не входящих в дефиницию, но получающих формальное языковое подтверждение в явлениях семантической деривации, и область экстралингвистической (энциклопедической, культурной) коннотации, безусловно, влияющей на языковой узус, но не получающей отражения в языке (Апресян, 67—69; Иорданская, Мельчук; Tokarski 1987, 1988).

С другой стороны, интенсивно развиваются в славистике такие направления языковой и логической семантики, как когнитивная семантика, теория прототипов, концептуальный анализ (Wierzbicka 1985, 1989, 1991; Bartmiński 1988 a; Kardela; НЗЛ 23), культурная семантика и изучение "языковой картины мира" (JOŚ; КК), теория и практика описания языковых стереотипов (Bartmiński 1984, 1985, 1988; SLSJ), в которых объектом изучения становится семантика слова во всем ее объеме. В таком целостном представлении семантики границы между разными типами (или уровнями) значений (собственно лексическим значением, лексическими коннотациями и культурными коннотациями) не нивелируются, а в полной мере сохраняют свою релевантность. Задача же целостного описания состоит в том, чтобы выявить внутренние связи между всеми уровнями значения, раскрыть логику того "образа", который закреплен за словом в сознании носителей языка. При этом поиски формальных подтверж-

дений выделяемых исследователем значений (семантических признаков) с необходимостью должны быть распространены и на область экстралингвистической (культурной) коннотации, которая пока что представляется лишенной какой бы то ни было структуры (впрочем, относительно недавно столь же аморфной казалась и область лексической коннотации). Критерии семантической деривации, с помощью которых удостоверяется релевантность коннотативных значений, хотя и называются лексическими, в действительности нередко выходят за рамки лексики. Даже такой стандартный способ выявления коннотативного значения, каким слову *черепаха* приписывается признак "медленный" на основании выражения *черепашьим шагом* 'медленно', лишь с некоторой натяжкой может быть признан лексическим; еще дальше от лексики способ выявления признака на основе сравнения, напр., признака "легкий" у слова *пух* на основе выражения *легкий, как пух*. Не будучи в строгом смысле слова лексическими, эти критерии, безусловно, остаются языковыми, поскольку они подтверждают релевантность приписываемого слову значения языковыми контекстами, причем в данном случае контекстами достаточно стандартизированными, клишированными, и потому близкими к лексическим. Граница между лексическими (лингвистическими) и экстралингвистическими коннотациями не может считаться строго установленной раз и навсегда, да и не является строгой по своей природе. Для каких-то экстралингвистических коннотаций пока еще просто не обнаружены языковые подтверждения, а какие-то из них являются лишь потенциальными языковыми коннотациями и в будущем смогут приобрести статус языковых, когда экстралингвистический сопутствующий признак станет основой для языковой номинации или семантической деривации (Толстой 1968, 357). Трудно сказать, имеет ли коннотация "траур" для слова *черный* языковое подтверждение в русском языке, но то, что это значение может приобрести языковую релевантность, подтверждается, напр., сербскохорв. *црнина* 'черная, траурная одежда'.

Очевидно, что эта граница проходит по-разному не только в разных языках и диалектах, но и в разных "культурных идиомах". Неслучайно современные семантические исследования подчеркивают свою строгую ориентацию на обыденный языковой узус и наивное (а не научное) сознание носителей языка. Языковая семантика самым непосредственным образом связана с "языковой картиной мира", а она различна у ученого-биолога и крестьянина-земледельца, у современного "среднего, наивного" носителя языка и представителя традиционной культуры архаического типа. Более того, один и тот же субъект может быть манифестантом разных культурных моделей — обыденной и научной, обыденной и религиозной; обыденной, мифологической и религиозной и т.п.

Каждый тип культуры вырабатывает свой символический язык и свой "образ мира", в котором и получают свои значения элементы этого языка. Язык культуры (как и язык науки) пользуется естественным языком, поэтому слова и другие единицы естественного языка приобретают в нем дополнительную, культурную семантику

(точно так же слова естественного языка, становясь научными терминами, приобретают "научную" семантику). Однако единицами языка культуры могут быть не только вербальные символы, но и другие семиотические знаки — предметы, действия, изображения и т.п., чьи символические значения могут быть тождественными семантике вербальных элементов, а могут создавать с ними сложное синкретическое целое. В символическом языке традиционной культуры носителем семантики "траур", безусловно, является сам черный (иногда белый) цвет или, точнее, одежда черного цвета. Но в языковом сознании представителя этой культуры слово *черный, чернота* является не только выразителем семантики "черный цвет", но и вербальным символом траура, а слово *веник* обозначает не только бытовой предмет, но и приобретаемые им ритуальные функции оберега от нечистой силы и орудия защиты от нее (Виноградова, Толстая). Иначе говоря, слова обыденного языка получают в языке культуры особые символические значения (культурную семантику), которые надстраиваются над всеми прочими уровнями значения: собственно лексическим, лексическими коннотациями, экстралингвистическими (энциклопедическими) коннотациями. Культурная семантика, хотя и носит преимущественно символический характер, как правило, не является абсолютно конвенциональной (подобно, скажем, запретительной семантике красного цвета светофора), а обнаруживает определенные, закономерные связи с прочими компонентами значения слова. Так, например, "отгонная" культурная семантика слова *веник* (или *метла*) строится на магическом и мифологическом осмыслении таких признаков обозначаемого словом бытового предмета, как "контакт с мусором, нечистотой", "выметание, устранение, очищение" и т.п., которые входят либо в ядерное, лексическое значение (дефиницию), либо в лексическую коннотацию, либо в экстралингвистическую зону коннотации.

Лексическая семантика и концептуальный анализ, при всей близости их содержательных задач и целей, в определенном смысле противоположны, зеркальны друг другу, поскольку первая идет от единицы языковой формы (лексемы) к семантическому содержанию, а вторая — от единицы смысла — понятия, образа, концепта к языковым формам их выражения (ср. Толстой 1968, 353). И то, и другое направление стремится учесть все существующие узусы слова и все способы выражения одного смысла. Но лексическая семантика больше ориентирована на парадигматику и видит свою задачу в идентификации лексемы относительно других лексем и способов выражения (отсюда решающая роль дефиниции и "необходимых и достаточных" признаков), тогда как концептуальный анализ не отвергает признаков, носящих не дифференциальный характер, не выделяющих объект (понятие) из круга других объектов (понятий), а объединяющих их с другими объектами (понятиями).

Признаки, по которым слово, реалия или понятие совпадают с другими словами, реалиями или понятиями (входят в "синонимические" ряды), имеют не меньшее значение для их интерпретации и узуса, чем признаки, выделяющие их из подобных рядов. Так, напр.,

культурный концепт такого хозяйственного орудия, как борона, включает несколько релевантных признаков, каждый из которых объединяет борону с другими рядами реалий и соответственно вводит другие ряды символических значений. Наличие зубьев (а также характер их действия) относит борону к ряду предметов с фаллической символикой (палка, пест и т.п.); острота зубьев объединяет ее с рядом колющих предметов, используемых в качестве оберегов и орудий защиты (нож, коса, серп, игла и т.п.), а наличие переплетений (у архаического типа бороны), ячеек и "узлов" — с такими предметами, как сеть, решето, сито, редкое полотно и т.п., за которыми закреплены преимущественно защитные функции (Гура 1993). Одна и та же реалия (вещь, предмет, действие, лицо, свойство и т.д.) может, таким образом, стать основой нескольких самостоятельных символов с разными значениями. Напр., зеркало в традиционных обрядах и верованиях может символизировать границу между земным и потусторонним миром (подобно реке, дороге, меже, порогу, окну и т.п.), а может выступать в ряду "женских" символов вместе с венком, лентой, фартуком, веником, веретеном и пр. (Толстая 1993).

В символическом языке культуры знаки разных субстанций (вербальные, реальные, изобразительные и т.п.) имеют разный семиотический статус. "Первичное" символическое значение принадлежит "реальным" знакам, т.е. вещам, действиям, субъектам, существам, явлениям, свойствам реального мира. Слово или изображение получают эту семантику "отраженно", вторично — от обозначаемой ими реалии. Так, культурная (символическая) семантика слова *веник* — лишь отражение символического значения самого предмета (точнее — концепта, образа предмета), а семантика изображения вербовой ветки на пасхальном яйце (писанке) — вторична по отношению к символической семантике вещи (вербовой ветки) (Толстой 1982). Получая символическое значение, реалия из обозначаемого (денотата или десигната), каковым она была для естественного языка, превращается в знак, становится означающим, "словом" языка культуры, в то время как называющее ее настоящее слово приобретает вторичную, символическую семантику, становится знаком "вдвойне". Многослойность, многоурсвневость знаковых структур — неотъемлемое свойство языка культуры, обеспечивающее смысловую глубину культурных текстов. Несколько уровней символики может быть присуще и предметным (реальным) знакам. Та же реальная метла, выставленная у дверей дома, метонимически замещает (символизирует) типичное для этого орудия действие выметания, отгона, удаления нечистой силы или стихийных бедствий. В этом случае реальный предмет оказывается символом реального действия, приобретающего символическое и магическое значение. Зерно во многих обрядах используется как символ множества, обилия (эти же значения могут иметь искры, капли воды, песок, муравьи, маковые зерна, хвоя сосновой ветки и т.п.), а осыпание зерном — как символ наделения множеством благ, богатством. Здесь мы имеем двухступенчатую символику: зерно символизирует множество, а множество символизирует изобилие, богатство.

В качестве знака, означающего в культурных текстах могут выступать не только предметы и вербальные единицы (слова, фразеология, формулы и т.п.), но и абстрактные признаки и понятия (концепты), которым может придаваться символическое значение и магические функции. Одним из ярких примеров подобной символизации абстрактных понятий в традиционной славянской народной культуре может служить культурная семантика и функции славянских слов, производных от **vesel-* и обозначающих веселье, удовольствие, радость. Сравнительно с общеязыковой семантикой этих слов в современных славянских литературных языках круг значений, присущих им в контексте традиционной обрядности, верований и фольклора, намного шире и богаче. Могут быть выделены следующие основные семантические сферы, в которых представлена семантика и символика веселья: 1) рождение и Рождество, 2) весна и весенние праздники, 3) свадьба, 4) смерть, 5) светила и стихии — солнце, месяц, звезды, радуга, огонь, вода. Рассмотрим их подробнее.

**1. Рождение и Рождество**

Общим, инвариантным символическим значением слав. **vesel-* следует считать значение 'нового, рождающегося, молодого, здорового, растущего, процветающего'. Наиболее полное выражение эта семантика находит в верованиях, обрядности и терминологии, связанных с праздниками Рождества и Нового года (иногда и Крещения), причем она одинаково характерна для текстов дохристианского (языческого) содержания и для фольклорных и обрядовых форм, тяготеющих к народно-христианской традиции. Лексика, восходящая к праслав. **vesel-*, занимает одно из ключевых положений в терминологии рождественской и новогодней обрядности всех славянских народов (наряду с терминами *kolęda, surъva* и др.), а мотив веселья, которому придается магическое значение благопожелания, является стержневым мотивом рождественской обрядности и фольклора.

Мотив веселья и термин **vesel-* становится знаком и атрибутом всего комплекса представлений, образов, ритуалов, связанных с Рождеством. Сами праздники Рождества и ритуально и мифологически объединяемого с ним Нового года (днем св. Василия) получают эпитеты *радость* и *веселье* на основе мифопоэтического сближения слов *Рождество — радость, Василий — веселье*, ср. белорус. колядку: "За гэтым словом живиця з Богом! / Мы вашого двора дай не минаем, / Светым Васильем поздроўляем, / Светое *Рожаство радость* принясло, / Светое *Василля взвеселило*..." (Шейн, 56). Болгарские колядки девушке или парню завершаются словами: "*С веселина,* / с доб'р вечер / тебе пеем, / малка мома (или: доб'р іунак) (СбНУ XIII, 12—13). В Панагюрище мальчики-сурвакары, приходя на Новый год в дом, трижды осыпают всех пшеницей и произносят: "Тука радост и Свети Васил!", где *радост*, безусловно, отсылает к прошедшему празднику Рождества, а ассоциация *Васил — весел* поддерживается произносимыми далее словами: "Сурва година, *весела* година и до година с здраве!" (Арнаудов, 47), ср. также укр. поговорку "Поки *Василя,* поти *весілля*" (Номис, 175).

Календарная семантика **vesel-* закреплена в хрононимах — полесском *Веселая Щедруха* 'канун Нового года' (брест.), сербском *веселник дан* 'рождественский сочельник' (БХ, 194), словенском *veseli post* 'рождественский пост' (Kuret IV, 131). В польских колядках Рождество называется *wesoła chwila* (KL, 161), в хорватских звучит рефрен *"Vesel, vesel* ovi dan!" (Далмация — Milčetić, 22—25, 41—42), а в болгарских и македонских новогодних приговорах-поздравлениях магический эпитет *весела* регулярно придается слову *година*, обозначающему наступивший новый год: "Сурва, сурва година, / *Весела година,* / Голем клас на нива. / Удри, бабо, по г...а / Да потече масленица, / Сурваа, уд гудина *повесело*!" (Радовиш, вост. Македония — ГЕМС I, 144); "Сурова, сурова / година *весела* / живо и здраво / догодина, до амина!" (Благоевградско — Василева, 76); "Сурва, сурва година, / *Весела* година, / Голям клас на нива, / Живо, здраво до година! / М-и-й-иу / М-я-я-яу /!" (Маринов, 338).

Этому хрононимическому значению эпитета **vesel* соответствует известное всем славянам представление, что если весело провести первый день нового года (или канун его), то целый год будет "веселым" и благополучным. Ср. укр. "«Богатий вечір» старають ся провести як найвесіліше (щоб веселитись увесь рік") (Доманицкий, 89), хорв. чакавск. "Na Mlado leto se judi cel dan vesele ča jače moru, aš deju, da ki j' na Novo leto vesel, da će bit so leto" (Jadraš, 37); польск. мазовецк. "W święte wieczory nie wolno było pracować, należało się tylko bawić. Do wybuchu II wojny światowej powszechnie wierzono, że nieprzestrzeganie tych zasad przynosi szkody gospodarstwu" (Drozd-Piasecka, 84).

Семантической доминантой слав. **vesel*, однако, является не просто соотнесенность со всем комплексом символических значений Рождества — Нового года, а специальная закрепленность за центральным ритуалом колядования, которое получает в народной культуре мифологическое осмысление и магические функции (см. Виноградова). Все элементы, аспекты и мотивы колядных обходов могут обозначаться словами этого гнезда. Так, *веселыми* называются сами колядники (ср. др.-рус. *веселые люди* 'скоморохи' — СРЯ 2, 112), т.е. участники рождественских или новогодних обходов и исполнители поздравлений-благопожеланий (макед. *весели гости,* ср. также рефрен хорватских далматинских колядок: "Veselo, braćo koledari, veselo!"). *Веселыми* оказываются и адресаты благопожеланий, т.е. хозяева, к которым приходят обходники, ср. белор. колядку, обращенную к хозяйке: "Гаспадынечка, / *Весялінечка,* / Запалі свечачку, / Пайдзі у клетачку..." (ЗП, 431), а также дом, двор, куда приходят колядники: "От сему дому, от *веселому,* / Ци повелите колядовати..." (Головацкий III, 1), "Ід цему двору ід *веселому* / Прийшли гостеве у рік до тебе / Ци дома, дома наш пан господар?" (КЩ, 63); "Ой Овсень! Ой Овсень! Походи, погуляй! По святым вечерам, / По *веселым* теремам!" (Снегирев, 111).

Глаголом **veseliti* обозначаются действия колядников, т.е. глубинный смысл, цель и функция ритуала колядования и произнесения благопожеланий. Сербскохорв. диал. *veseliti* означает 'kolendati, ko-

ledati, pjevati, prikazivati koledu': "Došli smo vam veseliti, vodokršća dan čestiti" (сев. Далмация, о. Корчула — RHSJ 20, 768). В польском Подлясье колядники, подходя к дому, спрашивали у хозяев разрешения колядовать: "Panie gospodarzu, pani gospodyni, / Pozwólcie swój dom *poweselić,* / Boskim słowom pocieszyć, / Aby dom był *wesoły.* / Czy *weselić* czy nie?" (Drabik, 87—88). Там же они начинали свои поздравления словами: "My pryszli Chrysta Boha chwalić, / Wasz dom *weselić* / Wam i nam *wiesiołym* być. / Śpiewać czy nie?" (там же, 26). Аналогичные зачины имели колядки на Украине: "Пане господарю, / Ци спите, ци чуєте? / Ци дома ночуєте? / Ци скажете щедровати, / Свой дом *звеселити,* / Дробны дети побудити, / Сами *веселыми* быти?" (Головацкий III, 141). Ср. также болг. "...да ми дойд'т момци коладници, да ми попеят, да ме *развесельат*" (СбНУ XIII, 12—13). В Овручском Полесье перед началом ужина в рождественский сочельник приглашали мороз "повеселиться": "Мороз, мороз, ходи кутьи ести! / Тут тоби сегоння *вэселицца* / А летом тоби не бывати. / Будем пугом поганяти" (ПА — Тхорин Житомирск. обл.).

В польской традиции рождественского колядования и в самих колядных песнях, где преобладают религиозные мотивы прославления Рождества, эпитетом *wesoły* нередко определяется само событие рождения Христа, называемое *kolanda*, ср. отрывок из колядки, записанной в недавнее время на Люблинщине: "Pójdziemy, bracio, w droga z wiecora, / Wstąpimy najprzód do tygo dwora, / Będziemy śpiwali wszandzie / O tak *wesołej* kolandzie. / Hej kolanda!" (KL, 100), а также: "Dzieciątko sie narodziło. / Wszystek świat *uweseliło*" (KL, 182), "Stała nam sie nowina miła, / Panna Maryja Syna powiła. / Powiła go z wielkim *weselem,* / Będzie on naszym zbawicielem" (KL, 162). Рождение Христа принесло "веселье" миру, "развеселило" людей, стало "веселой" вестью: "Anioł pasterzom zwiastował, / że sie narodził, / nas *uweselił*" (KL, 161); "Rozkwitneła sie lelija, / a to jest Panna Maryja. / Zrodziła nam Syna, / *Wesoła* dla wszystkich nowina" (KL, 141), "Przylecieli, przylecieli tak śliczni anieli, / Wszyscy w bieli, złote piórka mieli. / Przynieśli nam *wesoło* nowine: / Panna Czysta zrodziła Dziecine" (KL, 150). Те же мотивы "веселых гостей" (колядников), "веселой вести" (о рождении Христа) и "веселья хозяина" присутствуют в македонской колядке: "*Весели се* домаќине / *Весели* гости ти дојдоа, / *Весел* абер ти донесоа..." (РМНП I, 245).

Наконец, веселье (хозяев и всех обитателей дома) — главный мотив произносимых колядниками благопожеланий, ср. белор. "Сею, сею, засяваю, / З Новым годам паздраўляю, / З Новым годам, / З новым шчасцем! / Штоб *вясёленька* жылі / Да й па чарачцы пілі" (ЗП; 435); польск. "Śpijże, Jasieńku, bądź *wesół.* / A nam kolędnikom dobru kolędu obiecuj" (KL, 123); словацк. "...aby ste boli *veselí*, ako v nebi anjeli" (Horváthová, 62); хорв. "Čestito vam božić, / da *se veselite.* / bog i boginje, / zdravlje i *veselje* / i duhovno spasenje. Amen." (Дубровник — Milčetić, 50); словенск. "*Veselo* novo leto vam želim!" (Möderndorfer II, 132) и т.п. В заключительных формулах болгарских колядок противопоставляется веселье как благо, даруемое колядниками, здоровью как благу, исходящему от Бога: "От Бога

ти много здраве, / От юнаци — *веселенье*!" (БНПП 2, 54, 107, 123 и др.), "Тебе пеем, млада булке, / Тебе пеем — много здраве. / От Бога ти много здраве, / А от назе *веселие*!" (БНТ 5, 268); "От дружина — веселбина" (БНТ 5, 100) и т.п.

В сербской рождественской обрядности, где главным символом Рождества служит ритуально сжигаемое на очаге полено бадняк, именно этот ритуальный предмет получает номинацию посредством слова **vesel*. По свидетельству П.А. Ровинского, в Черногории бадняку дается "более нежное название — *блажено дрво* или *весељак*" (Ровинский II/2, 169). Там же, в Катунской нахии к бадняку обращались с такими словами: "Badnjače, *veseljače,* ja ti dajem vino i pogače, a ti nama i vina, i pogače, i svake dobre plemenite sreće" (ZNŽO 29/1, 148). Так же именовался бадняк в западной Сербии — в Шабацком крае (Милићевић, 162), в Чачанском крае (Јовашевић, 207) и в Герцеговине (Грђић, 92). Хозяин, отправляя парней из своего дома в лес за бадняками, напутствовал их словами: "Здраво нам момци ове године по *весељаке* одлазили! Одлазили млого љета и година и *весељаке* здраво кући догонили, те нам кућа здраво и *весело* била! Ако Бог да!" (там же). В Черногории и прилегающих к ней районах Герцеговины и южной Далмации ветка или щепка от бадняка, предназначенная для разгребания углей в печи в рождественскую ночь, называлась *веселица* (РСКНЈ, 541).

Глаголом *veseliti se* обозначалось горение бадняка, которому придавалось сакральное и магическое значение. По герцеговинскому обычаю, хозяин, уложив бадняки на очаг и держа в руках чашу с вином, произносил здравицу-заклинание: "Ове године *весељаке весело привеселили,* дай Боже да нам се момци и јунаци вазда и увијек *веселили, весело* на сваки рад одлазили, а још *веселије* кући долазили, ако Бог да! Здрави сте ми, моји бадњаци, моји *весељаци*! *Весело* ми горили, а око вас момци *весело* винце пили и *весеље* проводили, као сретни и Богу мили Срби, ако Бог да!" (Грђић, 95). Всю ночь следовало бодрствовать, пока бадняк не перегорит, т.е. не распадется на головешки. Не упустить этот момент было делом чести для хозяина и всех мужчин в доме (СЕЗб L, 24). Перегорание бадняка символизировало "веселье", т.е. здоровье, процветание, благополучие в наступающем году. На перегоревший бадняк лили вино накрест и говорили: "Здрав, бадњаче, мој *весели весељаче*! сретно нам *се превеселио*! налагао те наше огњиште пуно љета и година да Бог да!" (Врчевић, 26). Сербы Фрушкой Горы перегоревший пополам бадняк тушили вином, а на Рождество после обеда выносили его из дома в сад, вешали на плодовое дерево и при этом пели: "Наш бадњаче, наш бадњаче, буди нам *весео*!" (СЕЗб LIV, 88).

Словом *весељак* могли обозначаться и другие ритуальные предметы сербских и хорватских рождественских обрядов. В Черногории *весељак* — лопатка, сделанная из бадняка, которой утром на Рождество подкладывают под бадняк *чесницу* — рождественский хлеб (РСКНЈ, 543). В Славонии и на Военной Границе около Карловца это название самого рождественского хлеба (ГЕМБ X, 124), который в других областях назывался *веселица.* Сербы-граничары на Рождество пекли

два калача — *веселицы*, один клали в решето и оставляли на столе, а другой надевали на вертел вместе с мясом, когда готовили другое обязательное блюдо рождественского стола — "печеницу", т.е. жареное мясо (Беговић, 94). С тем же значением *веселица* известна у сербов в Грбле около Боки Которской (СЕЗб L, 56). В Босанской Краине в Сочельник готовили "сухое мясо" и называли его *veseljak* (RHSJ 20, 772). В Поповом Поле в этот день хозяин шел в загон для скота и выбирал там поросенка для праздничного стола. Заклание поросенка обозначалось глаголом *превеселити* (Мићовић, 143). В Герцеговине и горных районах Боснии, вместо поросенка, иногда закалывали овцу и называли ее *заоблица* или *веселица* (Грђић, 95; СМР, 33). Вместе с чесницей (ритуальным хлебом) *веселица* — главное блюдо рождественского обеда (Лилек, 380). Хорваты Боснии и Герцеговины барана для праздничного стола кололи на бадняке и называли *veselica*, причем в других случаях (например, на свадьбе) жареный баран назывался не *veselica*, а *pečenica* (Marković, 32).

Подобные явления окказиональной ритуальной номинации характерны и для других элементов сербской и хорватской рождественской обрядности. Наделение предмета или лица новым именем на определенный обрядом срок повышает его семиотический статус, особенно если это имя, имеющее ключевую символическую функцию. В Боке Которской в Сочельник *веселицей* называли лопатку на очаге, а в другое время она так не называлась (ZNŽO 40, 494). В Среме (Воеводина) ритуальное имя получает одно из главных лиц рождественского обряда — полазник, т.е. первый посетитель дома в день Рождества. Его встречают и провожают с большими почестями и называют именем *Радован* все то время, пока он находится в доме (ГЕИ XVI—XVIII, 141). Так же зовут полазника в Груже (Шумадия). В Поповом Поле по этому имени обращаются друг к другу хозяин и полазник; в других случаях оно дается хозяину, когда он вносит в дом три бадняка, а другое лицо изображает хозяина и называется *domaćin* (Marković, 53). Там же имя *Радован* получает на три рождественских дня каждый вол и конь. У сербов Боснии полазник называется *весељак;* хозяйка, обращаясь к нему, говорит: "Устани, *весељаче"* (РСКНЈ 2, 543).

Сакральное "веселье" Рождества, согласно народным представлениям, освящает и каждое земное рождение, которое также становится источником "веселья". Ср. сербск. "Кад се роди дете, настане *веселье* у кући (ГЕМБ 49, 131). Это относится прежде всего к рождению мужского потомства, поскольку именно оно отсылает к "протособытию" рождения Христа, "взвеселившего мир". Ср. словен. *veseli* dogodek, букв. "веселое событие" — о рождении мальчика (SSKJ 5, 412); хорв. чакавск. U nih je *vesèlje,* rod in se sin (Hraste-Šimunović, стлб. 1319), древнепольск. "Szona thvoya... porodzy thobye syna..., a bądzye vessele tobye y radoscz" (SS X/1(61), 80); макед. "Деца су у породици *расонка,* т.ј. *увесељавајућа* бића" (Тановић, 272); укр. "Як син родицця, то й угли радуюцця" (Номис, 179) и т.п.

**2. Весна**

Созвучие слов **vesna* и **vesel-* во всех славянских языках и их вероятное этимологическое родство (Skok 3, 578—579) служит основой их символического и мифопоэтического сближения в языке традиционной духовной культуры, где календарное и ритуальное время весны в той же или даже в еще большей степени, чем время Рождества и Нового года, воспринимается как начало нового природного и хозяйственного года, требующее специального ритуального оформления, для того чтобы год был благополучным ("веселым").

Если в комплексе представлений о Рождестве немалую роль играл культурно-религиозный концепт божественного рождения как протособытия, сквозь призму которого воспринимается и природный смысл этого времени (перелом зимы, поворот солнца к лету и т.п.), то в представлениях о весне, безусловно, доминирует именно эта, природная семантика воз-рождения и за-рождения жизни, вегетации, расцвета, роста и т.п.

В польском Подлясье весь год делится на веселое и грустное, печальное время: *wesoły czas* — это прежде всего весна и первая половина лета (в связи со сказанным выше показательно, однако, что "веселое" время иногда отсчитывается от Рождества и Нового года), а *czas smutny* начинается со времени уборки урожая (Drabik, 87—88).

*Веселая* — постоянный эпитет весны в белорусских веснянках: "Вясна наша *вясёлая* — гу! / *Развесяліла* зямлю, ваду — гу! / Зямлю, ваду, мяне маладу — гу!" (ВП, 149); "Ой вясна, вясна *весёлая,* / Нарасла трава зялёна. У-у-у! / Да *ўзвесяліла* ўсе горачкі, далінaчкі, / Дзе парабочкі, там дзевачкі. У-у-у!" (Там же); "Вясна мая *вясёлая,* / Пусці воду па вуліцы, / Пусці воду па вуліцы, / У чыстым полі па даліне..." (ВП, 148). Так же может определяться и лето: "Табе, панічок, песня спета, / Песня спета проці лета, / Лета цёплага і *вясёлага* (Вол. П., 396). Релевантность признака "веселый" для образа весны (и коннотативной семантики слова *весна*) подтверждается устойчивыми сравнениями "веселый, как весна", ср. белор. "... Будзь здароў, як вада, / А расці, як вярба. / Будзь здароў на ўвесь год. / Будзь так *весел, як вясна.* / Будзь так моцны, як зіма..." (ВП, 488); укр. "Бувай здорова, як риба, гожа, як вода, *весела, як весна,* робоча, як бджола, багата, як земля святая" (Номис, 89); польск. подлясск. пожелание молодоженам: "Żeby byli wesoli jak wiosna i bogaci jak jesień" (Drabik, 47).

Как видно из приведенных выше весенних белорусских песен, главное действие (типичный предикат) весны — "веселить мир", т.е. возрождать, пробуждать его к новой жизни. Эпитет **vesel* получают на основе метонимии все атрибуты весны и прежде всего — зелень, трава, поля, весеннее солнце, благодатный весенний дождь, прилетающие птицы: "Pola, które obchodzono na św. Jerzego, Zielone Świątki lub w innym wiosenno—letnim terminie, były *wesołe* i pachnące. Ptaki *radowały się* przylatując, a *smutno* odlatywały jesienią. *Wesoły* jest majowy deszczyk, a w listopadzie deszcz *smutny*" (Drabik, 88). Ср. также украинский обычай называть весной журавлей *весе-*

*ликами, весельчуками,* иначе "будешь журитися [т.е. печалиться] весь год" (Гринченко I, 142). В полесских приговорах, сопровождающих ритуальное битье вербовыми ветками в Вербное воскресенье, свойство "веселья" приписывается вербе и должно магически передаться адресату и объекту ритуала: "Вярба бье, да й не я. / Будзь *вéсела, як вярба,* / Будзь здарова, як вада. / Будзь багата, як зямля" (ПА — Великое Поле Гомельск. обл.). В болгарском юрьевском обряде венок, сплетенный из специально собранных до восхода солнца цветов и трав, надевают на "кроткую" овцу и называют его *веселым,* считая, что "веселье" венка, т.е. его свежесть и жизненная сила, передадутся овце: "Както е *весел* венецът, и ти да си така *весела*!" (Арнаудов, 94).

Семантическая близость признаков "зелёный" и "веселый" находит подтверждение и в многочисленных примерах поэтического параллелизма типа сербск. "Усадих лозу сред винограда, / Наведох воду са три хладенца, / Да ми је лоза вазда *зелена,* / Наша невјеста вазда *весела*" (Караџић 1, 90). На связь весны, зелени и веселья в славянском фольклоре сто лет тому назад обратил внимание А.А. Потебня: "*Весна*, светлая, блестящая называется *веселою,* потому что и это последнее слово, происходя от того же корня, выражает то же основное представление; но она же зовется и *зеленою*, и в следующем месте: «Ой веселая весна да звеселила усі гірочки, Да не так гірочки, як долиночки» *звеселила,* м.б. значит покрыла зеленью" (Потебня 1989, 311).

По отношению к полям **vesel* означает не только 'свежий, зеленеющий, растущий', но и 'изобильный, плодородный, урожайный, благодатный', ср. древнерусск. значение глагола *веселитися* и прилагательного *веселоватый* в следующих примерах: "Тѣлеса убо подобьно вештьскыя приемлюшта пишта, растутъ же и *веселятся* до повеления таковыми въздрастъми мѣры и лѣта" Ефр. Корм., 1. XII в. Около того острова, 168 верстъ поля хлебородные зѣло тучные *веселоватые,* хлебом и овощи всякими хвалится и *веселится.* Козм. 325. 1670 г." (СРЯ 2, 112).

Мотив веселья как неотъемлемый компонент мифопоэтического образа весны, естественно, находит отражение в весенней обрядности и обрядовом фольклоре. Особенно насыщены этим мотивом у западных и восточных славян весенние обходные обряды (волочебный, конопелька и др.), а у южных славян — центральный весенний обряд Юрьева дня.

Белорусский волочебный обряд, исполняемый на Пасху, обнаруживает ту же символику веселья, что и зимнее колядование. Пасха, как и Рождество, ассоциируется с радостью и весельем: "Дай жа, Божа, / Гэта святца праважаці, / Свята вялічка дажыдаці! / Да й у *радасці, у весялосці* / Тры дні святца чырвоным яечкам разгаўляцца" (Вол. П., 123). Ср. также гадание, практиковавшееся в Силезии: в сочельник, ложась спать, клали под подушку сборник церковных песнопений, а утром открывали его наугад, и если попадалась постовая песня, считали, что грядущий год будет печальным, а если рождественская или пасхальная — год будет радостным (Broda, 131).

Как и в колядовании, главная цель волочебников — "развеселить" хозяев и пожелать им веселья на целый год до следующей Пасхи: "Ды с хазяінам павіталіся, / Ды хазяюшку *павесялілі"* (Вол.П., 243); "Стой, калінка, стой, не хіліся, / Слаўная пані, *развесяліся"* (Вол. П., 96); "Ото ж табе, пане гаспадару, / Песня спета напроці лета, / Тэн рок правадзіці, / Другога дачакаці / У *радасці, весялосці,* / У боскай апатшносці" (Вол. П., 188); "Будзь [жа] здароў, як зімою вада, / Да будзь жа багат, як у летку зямля, / Да із дзеткамі, да з сямейкаю, / Да з сямейкаю *весялейкаю,* / Проціў новага лета песенька спета..." (Вол. П., 184); "Слаўны пане, / Аддарыся, / Одплаціся. / Жыві сабе, / *Весяліся,* / Год ад году, / Век ад веку" (Вол. П., 132).

Называние хозяина, хозяйки, их дома и двора *веселыми* приобретает магическую силу наделения их весельем, благополучием, процветанием: "Добры вечар гэтаму дому! / Вясна красна на ўвесь свет! / Гэтаму дому свянцонаму, / Гаспадарыку *вясёламу*" (Вол. П., 132); "Хазяйскі двор шырок, *вясёл.* / Шырок, *вясёл,* на сем сажон". (Вол. П., 189).

Близкий к волочебному обряд "конопелька", распространенный в восточных районах Польши, исполнялся с вечера Светлого воскресенья и до утра пасхального понедельника и состоял в обходе домов группой парней, которые под окнами домов, где жили девушки, пели песни и получали за это вознаграждение в виде пирогов, сыра, колбасы, а чаще всего яиц. Начиналось исполнение песней религиозного содержания "Chrystus zmartwychwstaje, nam na przykład daje", а затем предводитель обходников обращался к хозяевам: "Pozwólcie Państwo swój dom *rozweselić* i nam *wesołem* być" (ср. приведенные выше аналогичные формулы рождественского колядования). Если хозяева соглашались, им исполняли песню *"Wesoły* nam dziś dzień nastał" и "Konopielka" (Dworakowski, 88).

Третий из весенних обрядов, включающий мотив магического веселья, — хорватский (отчасти известный и словенцам) обряд "Zeleni Juraj" — тоже представляет собой обход домов группой молодежи, в состав которой входит персонаж, изображающий св. Юрия. Это мальчик, с ног до головы укрытый зелеными ветками. Его водят от дома к дому, от его имени поют или произносят поздравления и благопожелания хозяевам, в его пользу ("для него") собирают дары. Подобно колядникам, "Зеленый Юрий" магически наделяет хозяев весельем и благополучием: "Hvaljen Isus i Marija! / Kruto jako *veseli se,* / Kano drvo zeleni se. / Kano drvo u zelenju / Sve ptičice u *veselju* / bis / ..." (Huzjak, 19).

Следующие юрьевские благопожелания по содержанию и структуре чрезвычайно близки к рождественским благопожеланиям полазника: "Dobro jutro, gazda i gazdarica! / Došao vam je zelen Đurađ na zelenom konju, / u zdravlju i *veselju,* svinskom prašenju, / kravljem telanju, konjskom ždrebenju, / kokošjem, purjem, pačem i guščem položenju!.." (Huzjak, 23). В работе И. Милчетича "Коляда у южных славян" приводится вне связи с обрядом "Зеленый Юрий" припев далматинской юрьевской песни, не просто сходный, но и прямо

перекликающийся с припевами колядных песен: "Slava, slava, Jurjev danu. / bila dobra godinica, a rodilo vino, pšenica / *veselo, veselo,* koledo! / Navijesti nam blaga kiša / Oj *veselo* Jurjev dane / na zelenu konicu / *veselo, veselo,* / Koledo, koledo!" (Milčetić, 47—48).

В сербском варианте юрьевского обряда отсутствуют обходы и связанные с ними благопожелания, но мотив магического наделения "весельем" может присутствовать в виде рефрена песни, исполняемой группой девушек и женщин, возвращающихся в село после ритуального сбора трав в Юрьев день. Так, в Хомолье пели: "Зелени се, зелен венче, — *весело!* / Ми идемо преко поља — *весело* ! / А облаци преко неба — *весело*! / Ми идемо кроз то село — *весело*! / Киша поли наша поља — *весело*! / Чије цвеће понајлепше — *весело*! / Ђурђево је понајлепше — *весело*!" (Милосављевић, 54). Совершенно очевиден заклинательный характер этого припева, имеющего ту же цель, что и развернутые формулы, эксплицитно выражающие пожелание "веселья", т.е. жизненной силы, роста, плодородия, изобилия.

Магическое "веселье" могло иметь не только вербальные, но и чисто ритуальные, акциональные формы выражения. Смех, шутки, громкое пение, танцы и т.п. часто бывали не просто проявлением удовольствия и радости, но ритуально предписанным поведением, преследующим определенные практические цели. По свидетельству В. Драбик, в Подлясье при начале весенних полевых и др. работ считалось необходимым веселиться, шутить, петь и т.п., чтобы начатое дело было успешным (Drabik, 88). На Гуцульщине колядники должны были спеть хозяевам-пчеловодам какую-нибудь веселую песенку, "аби бджоли були *весели*" (Воропай I, 88). В Полесье женщины, половшие лен, катались по полю, шутили, смеялись, чтобы лен уродился (ПА — В. Злеев Черниговск. обл.), а в день, когда сновали основу, с утра молились Богу, ничего не ели, надевали все чистое и "старались быть очень *веселыми*" (Хоромск Брест. обл. — ПЭС, 236). Украинцы, когда белили хату, пели веселые песни и смеялись, "чтобы в хате жилось *весело*" (Иванов, 46, Шевченко, 91). В Польше известен обычай, по которому крестные родители, неся ребенка из костела после обряда крещения, должны были петь по дороге или, придя в дом, с ребенком на руках исполнить несколько тактов польки, чтобы у их крестника была "веселая жизнь".

Помимо продуцирующей магии, ритуальное веселье у славян широко использовалось в качестве оберега и средства защиты от потусторонних сил (подробнее см. Толстой 1993).

**3. Свадьба**

Роль мотива и концепта веселья в сфере представлений, связанных с браком и свадебной обрядностью у славян, становится ясной уже из того, что само понятие свадьбы в украинском, белорусском, польском языках обозначается словом **veselьje*. В том же значении это слово известно некоторым чешским, восточнословацким, южно- и западнорусским диалектам (Eckert, 195—197; Дзендзелівський, 29—30; СРНГ 4, 179, 181). В сербскохорв. и болг. *весељe* и *веселба,* употребительных, главным образом, в фольклорных текстах, значение 'свадьба' еще неотделимо от исторически предшествовавшего ему

значения 'пир, торжество' (в том числе и 'свадебный пир'). Ср. серб. "Ал' Ђорђија два *весеља* гради: / Брата жени, а сестру удаје" (РСКНЈ 2, 544); хорв. "Da se mojā sestrā bŭjase lȧni oženī t, bŭjaxomo jei činȳt vẽlo ves'ẽlje (о. Сусак — HDZ 1, 182). Ср. также словенск. *veseli dan* 'помолвка или свадьба' (SSKJ 5, 412).

Хотя значение 'свадьба' для слав. **veselьje*, несомненно, является вторичным — оно зафиксировано в украинском языке с XV в. (Тимченко, 223), в белорусском — с XVI в. (ГСБМ 3, 143), а в польском — только с XVIII в. (Brückner, 607) — практически во всех славянских языках в той или иной мере дериваты праслав. **vesel-* (и **rad*) оказались вовлеченными в круг свадебной терминологии в качестве названий (или эпитетов) свадебных чинов, отдельных ритуалов и актов обряда, ритуальных предметов и т.п. (Гура, 265—266), ср. хорв. *veselnik* 'музыкант, сопровождающий сватов в обряде сватовства' (RHSJ 20, 770; ZNŽO 40, 100); моравск. *vesel'nīk* 'участник свадьбы' (Bartoš, 480); *радостньик* 'ритуальный свадебный хлеб, специально украшенный и предназначенный невесте' (словаки Воеводины — ГЕИ XVI—XVIII, 150); с.-в.-рус. *веселый стол* 'вечер у молодых на второй день свадьбы'; ярослав. *друженько веселый* (ТОП, 248), ю.-в.-рус. *веселое утро* 'утро после свадьбы' (СРНГ 4, 181) и т.п.

Семантика **vesel-* в славянской свадьбе не исчерпывается ни исторически производным значением 'свадьба', ни исходными для него значениями 'пир, торжество, веселье' и 'веселье, радость, удовольствие'. Как и в рассмотренных выше семантических комплексах Рождества и весны, **vesel-* в свадебных текстах и обрядовой номинации приобретает символическое значение 'жизненная сила, здоровье, плодородие' и магическую, заклинательную функцию наделения участников свадьбы, а прежде всего ее главных персонажей — жениха и невесты — этими свойствами. Веселье, пение, смех, шутки на традиционной свадьбе носят вполне ритуализованный характер (что не исключает, конечно, естественного проявления положительных эмоций). Действующие лица и гости на свадьбе должны веселиться, чтобы молодые и их семьи были здоровы и благополучны, ср. вост.-слав. свадебные заклинания: "*Весяліцеся,* людзі, / Ой *весяліцеся,* людзі..." (Вяселле 6, 108); "Улезь, медзьведзь, на клець, / а з клеці да на сцёбочку, / а з сцёбочкі да ў коробочку, / а в коробоццы насінейко. / *Весёлое* нам *весилейко*". (Moszyński, 248); "Світи, світилко, свічку́ [2], / ясную, восковую, / Щоб було виднесенько [2], / Вечером *веселесенько*!" (Весілля 1, 175); "Котилося колесце з клітки. [2] / Обніміться хорошенько, діткі,/ Щоб вам солоденько, / А нам *веселенько*" (Весілля 1, 135).

Сам акциональный план свадебного обряда определяется глаголом *веселиться.* В белорусских песнях невеста-сирота, приглашающая покойных родителей на свою свадьбу, получает от них такой ответ: "*Весялися,* дзіцятка, з госпадам Богам і з сваім родам" или "*Весяліся,* дзіцятка, *весяліся,* маладое" и т.п. (Вяселле 3, 93—95). Обряд предписывал веселье, смех, шутки при печении коровая (ГЕМБ II, 22), при бужении молодых после первой брачной ночи

и во многие другие моменты свадьбы. Цель этого ритуального веселья выражается обычно так: "чтобы молодые были веселы" (болг. "за да са *весели* младите" — Телбизов, 223).

Функция "веселить", принадлежащая прежде всего Богу, божеству (ср. сербскохорв. благопожелания типа *Бог те весели* — RHSJ 20, 768), в календарных (рождественских и весенних) обходах символически передается колядникам или волочебникам как посредникам между обыденным, земным и сакральным миром (см. выше), а в свадебном обряде эта функция передается жениху и невесте (и самому акту их брачного соединения). Жених, муж — источник "веселья" для невесты и молодой жены. Ср. белор. брест. "Месячык свецiць — вiдненька будзе, / Сонейка грэе — цёпленька будзе, / Жанiшок едзе — *вяселенька* будзе" (Вяселле 1, 287), рус. смолен. "Роўный муж — / *Звисялитель* мой, — / Старый муж — / Разслезитель мой! / Роўный муж — / *звисялитель* мой ! / *Звисялиў* мою галовушку, / Дявочую красотушку" (Добровольский, 61).

Что касается невесты, то она приобретает способность быть "веселой" и "веселить" других только во второй половине свадьбы, после венчания и первой брачной ночи, т.е. с преодолением границы девичества и получением нового социального статуса. Свою прежнюю, досвадебную девичью веселость (ср. рус. тверск. "*развеселое* житье девичье, распроклятая жизнь замужняя" — ТОП, 102) невеста утрачивает сразу после просватанья, ср. полесскую песню: "Ой дзiўко, дзiўко Марьянко, / почому ж ты вчора *весёла* була, / а сегодня раненько хмурненько? — / Ой якжеж бо мне *весёлой* буцi, / што осела меня чужина, / ўсе ж Петруськова родзiна" (Moszyński, 275). В русской костромской традиции невеста после просватанья ("сговоренка") просит подруг *развеселить* ее: "Вы попойте-ка, подруженьки, / *Веселы* да песни, *радошны.* / *Возвеселите-ка,* подруженьки, / Вы меня да молодешеньку!" (ТОП, 100). В белорусской свадьбе отец жениха, поджидая молодых, спрашивает: "Цi стогнiць дарога, / Цi шумiць дуброва, / Цi едуць мае госценькi. / Цi ўсе *вясёленькi,* / Цi пяюць песенькi? Адна *невясёла,* / Што ад бацька прывязёна. / Прывязёна ў ночы, / Заплаканы вочы" (Вяселле 6, 95).

После венчания и брачной ночи молодая не только сама становится веселой ("Катенька *веселая,* / Катя чернобровая" — ТОП, 285), но и приобретает способность магически "веселить" весь свой род: "Ой казали превражiї люде, / Що Маруся недобрая буде; / Аж вона да добренькая, / Свому роду *веселенькая"* (укр. полесск. — Весiлля 1, 386); "Зелена калина весь сад *взвеселила*! / Как наша Марьюшка да Ивановна / Весь род *взвеселила*!" (рус. ярослав. — ТОП, 296). В белорусском обряде свекровь встречает невестку благопожеланием: "Распусцi долю / Да па сваём полi, / Шчасце пры долi / Па маём падвор'i / Каб у мяне на полi / Да жыта радзiла, / Каб мая сямейка / *Вясёла* хадзiла" (Вяселле 6, 104—105).

Из всего сказанного следует, что славянский свадебный обряд, помимо своей основной функции — оформления акта "перехода", смены социального статуса вступивших в брак и их родственников, имеет еще и ярко выраженную сопутствующую магическую функцию

наделения всех участвующих в обряде лиц "весельем", т.е. здоровьем, силой, процветанием, благополучием, что сближает его с рассмотренными выше календарными обрядами рождественского и весеннего циклов.

**4. Смерть**

Если в семантических сферах Рождества, весны и свадьбы концепт веселья занимает вполне естественное положение и хорошо согласуется с другими существенными для них понятиями (прежде всего с идеей символического начала), то для области смерти и погребальной обрядности символика веселья кажется не только не мотивированной, но и противоестественной (ср. сербск. *весело је умро* — Миљанов 2, 5—6, 24). Тем не менее некоторые, пока немногочисленные и достаточно случайные примеры магической (но уже не продуцирующей, а охранительной) функции веселья (и соответствующей лексики) могут быть приведены.

Кроме известных восточнославянских игр и развлечений при покойнике (Кузеля; Bogatyrev) и святочных игр "в покойника" (Гусев; Савушкина), а также обычая устраивать в случае смерти незамужних похороны-свадьбу, иногда с буйным весельем, музыкой и играми (Bednarík, 68), в связи с данной темой следует прежде всего упомянуть южнославянские обычаи, относящиеся к похоронам детей. Так, в Лесковацкой Мораве (вост. Сербия), если в семье умирали дети, то после смерти очередного ребенка мать заставляли петь при выносе его тела из дома. При этом ей прикрепляли к одежде или волосам букетик базилика, что служило символом веселья и радости (Ђорђевић, 497). В Хомолье умерших детей-первенцев украшали цветами и перьями, "што је требало да значи *весеље*" (Милосављевић, 251). Если похороны приходились на воскресенье или праздник, когда в селе на площади или лужайке танцевали "коло", муж и жена, родители умершего ребенка, украшенные букетиками, шли в круг танцевать, а вернувшись домой, они пели песню. Так же поступали, когда умирали престарелые родители (Милосављевић, 251; Шневајс, 270).

В Полицах (Далмация) после смерти малого ребенка было принято устраивать *радовање:* родители с соседями радовались тому, что со смертью ребенка семья получила заступника на небесах в виде ангелочка (Шневајс, 270). В Таково (Сербия), если в доме случалось подряд несколько смертей, выбирали в семье одного человека, который после похорон, пока служилась панихида, должен был в доме во весь голос петь какую-нибудь песню. Верили, что так можно остановить смерть. Иногда пели и во время погребения, когда гроб опускался в могилу (Филиповић, 175). Такого рода магическая песня, способная преодолеть смерть, могла носить название *веселица*, ср. "Пастирка, седе и са преслицом у руци на неком гробу, пева из свег гласа неку *веселицу*" (РСКНЈ 2, 541).

У славян широко распространен запрет оплакивать и провожать на кладбище умершего младенца-первенца. В Болгарии в этом случае не соблюдался траур. Мать не только не ходила на кладбище и не носила траурную одежду, но и украшала себя цветами, что

считалось средством предотвратить смерть будущих детей (Вакарелски, 154).

В сербском народном языке для обозначения покойника часто употребляется эвфемизм *веселник* (Чајкановић, 59; Бандић, 109), имеющий ироническое значение 'бедняга, несчастный, неудачник' (РСКНЈ 2, 542; RHSJ 20, 767, 770). По-словенски *šel je v nebeško veselje* означает 'умер' (буквально: "ушел на небесное веселье, торжество, пир" — SSKJ 5, 412), ср. также древнепольск. *wesele niebieskie, rajskie, wieczne,* означающее смерть, загробное существование, вечное блаженство на небесах (SS X/1(61), 80; X/2(62), 81). Любопытно отмеченное Б. Сыхтой кашубское *veselė* 'осенний отлет птиц' (Ptâxë zb'ėrają są na *veselė*, bǫʒe vnet jesėń — Sychta VI, 142), которое в свете приведенных фактов может толковаться не только как метафора свадьбы (в ряду таких выражений, как серб. *мечка се жени* и под. 'грибной дождь' — Толстой 1976, 58—59; вост.-слав. *черт/ведьма женится* 'вихрь', польск. подлясск. *wesele bydła* 'праздник скота' — Drabik, 90; вост.-слав. *свадьба ступы с толкачем* и т.п.), но и в связи с представлениями об ирии как загробном мире.

**5. Светила и стихии**

*Веселый* — обычный эпитет солнца, солнечного дня, солнечной погоды (о связи веселья со светом см. Потебня 1883—1887, 48—53). Более специальное значение может иметь применительно к солнцу глагол *веселиться*. В восточных областях Польши и в некоторых районах Полесья им обозначается так наз. "игра солнца", когда солнце при восходе или на закате переливается разными цветами. По народным верованиям, это явление можно наблюдать в дни больших праздников (на Пасху, Воздвиженье, Купалу, Благовещенье и др.). Увидевшему оно сулит здоровье, счастье, удачу, однако не каждый может увидеть игру солнца — это доступно только праведным. Ср. "Na Boże Ciało słońce się weseli" (Niebrzegowska, 130); "Weseliło się słońce na Zwiastowanie albo na Wielkanoc czy św. Jana i chodzono o wschodzie lub zachodzie oglądać jak *igra* bądź *skacze*" (Drabik, 88). Глагол *веселиться* входит в данном случае в синонимический ряд с глаголами *играть, радоваться, купаться, гулять, скакать, танцевать, кружиться, крутиться, двигаться, дрожать* и др. (Толстая 1986, Niebrzegowska). Можно предположить, что в белорусских волочебных песнях представлено именно это значение: "Ва нядзельку паранюсенька / Ўзышло сонца *весялюсенька"* (Вол. II, 83); "— Чым пахвалішся, яснае сонца? / — Як я ўзыйду рана ў нядзелю, / Дак *парадуецца* ўвесь мір раждзёны" (там же, 55).

В народном восприятии с играющим разными цветами солнцем сближается многоцветная радуга, обозначаемая в восточнослав. языках дериватами корней **vesel-* (*веселка, веселуха* и т.п.) и **rad-* (*радуга, радовица* и т.п.) (см. Толстой 1976).

В сербской фольклорной традиции известны формулы-обращения к молодому месяцу, где он называется *весељак:* "Здрав здрављаче, *весељаче*! Венац ти на главу, а мени здравље и *весеље* у кућу!" (Милићевић, 62) или "Здрав, здравјаче *весељаче,* ти нама здравје и *весеље*, а ми теби колач и јабуку" (РСКНЈ 2, 543). Таким образом, месяц,

устойчиво ассоциируемый в народных представлениях с потусторонним миром, с царством мертвых, в еще большей степени, чем солнце, трактуется как источник, податель "веселья" людям.

**Vesel-* может относиться и к земному огню, но прежде всего в тех случаях, когда это сакральный и ритуальный огонь. Так, у сербов Грбля в обряде "слава" говорят не "погаси свечу", а *обесели* (+ob-veseli), причем берут кусочек хлеба, макают его в вино, а после того, как погасят им свечу, съедают хлеб (СЕЗб L, 23, 25). Македонцы района Скопле по тому, как горит свеча в Сочельник — "весело" или тускло, гадали о будущем, веря, что того, чья свеча "самая веселая", ждет счастливый год, здоровье и удача во всем (Кличкова, 220). В окрестностях Дубровника обряд возжигания костров накануне Иванова дня, Петрова дня или Видова дня называли *радовање* (СЕЗб XXXVIII, 103).

Наконец, свойство "веселить", т.е. оживлять, питать жизненными соками, может принадлежать воде: рус. арханг. "Речька у нас така *весела*, быстра" (АОС 3, 152), ср. также старослав. "Рѣчна стръмениѣ веселятъ градъ бжи" (Енински апостол, XI в. — ЕА, 169), древнепольск. "Rzeczna bistroscz *weseli* masto bosze" (Флорианская псалтырь, 1400 г. — SS X 2(62), 82).

* * *

Рассмотренные выше культурные контексты, в которых выступает слав. **vesel-*, а именно — комплекс рождественской обрядности и фольклора, свадебная обрядность и фольклор, обряды и верования, связанные со смертью, представления о небесных явлениях и светилах, — при всей их видимой разнородности содержат общий семантический компонент, объясняющий закрепление за ними одного и того же номинационного знака **vesel-*. Наиболее ярко этот общий компонент выражен в рождественском комплексе, где магическое "благопожелательное" значение веселья неотделимо от общей семантики сакрального начала (годового и жизненного цикла). В круге весенних обрядов и текстов эти значения имеют достаточно сильную природную мотивировку. Смысловое родство свадьбы и Рождества, свадьбы и весны, проявляющееся как на ритуальном уровне, так и в терминологии, делает понятным использование в свадебном фольклоре дериватов слав. **vesel-* в тех же значениях, 'жизненная сила, здоровье, процветание, плодородие'. Две последние сферы представлений — область смерти и верхний, небесный мир — реализуют преимущественно те значения концепта "веселья", которые связаны с апелляцией к источнику, подателю соответствующих благ (жизненной силы и процветания), пребывающему за пределами земной жизни.

Эти доминирующие в культурных контекстах "глубинные" значения, сакрализующие семантику веселья, создают как бы второй план или верхний уровень значений слав. **vesel-* по отношению к собственно языковой семантике, в которой преобладают значения, связанные с эмоциональным состоянием и поведением чело-

века. Любопытно, однако, отметить, что эти глубинные значения совпадают с реконструируемыми для слав. **vesel-* протозначениями 'живущий, здоровый, хороший и т.п.' (Skok III, 578—579; БЕР 3, 136—137, Младенов, 63 и др.).

Некоторые общеязыковые употребления дериватов **vesel-*, явно находящиеся на периферии и носящие скорее метафорический характер, несколько расширяют семантический спектр "веселья", ср. огонь *весело* горит; *весело* бежит ручей; *веселое* утро, *веселый* ветер, *веселое* место и т.п., а в отдельных случаях "прорываются" в круг культурных и символических значений. Примеры такого рода приводились выше при изложении материала, здесь к ним можно добавить хорв. диал. *vèselo* 'быстро': Divjô trōvâ *vèselo* rēstè (Dulčić, 716); рус. псков. "Кагда граза да ґром, растенье *висялицца*" (ПОС 3, 111); арханг. *весело* 'светло', *веселка* 'светелка', *веселить* 'заквашивать': "*веселю* дрожжами (= живить, наживлять), *веселиться* 'подыматься на дрожжах, бродить'" (АОС 3, 150—151, СРНГ 4, 179); близкие к ним значения, передающие воздействие на человека вина (ср. рус. *навеселе*); сербские и болгарские личные имена *Весела, Веселин, Веселина* и т.п., кашуб. *Vesołka* (Sychta VI, 138), безусловно, понимавшиеся как магические, заклинательные, защитные, и соответствующие имена домашних животных — коз и овец (*веселица* — РСКНЈ 2, 541), ср. также сербскохорв. *veselica, ptica veselica* 'птица, приносящая веселье, сулящая радость, в противоположность птице зловещей' (RHSJ 20, 766).

До сих пор семантика и символика слав. **vesel-* рассматривалась главным образом на материале народной, фольклорной традиции. Другие значения или акценты характеризуют семантику "веселья" в языке книжной культуры и церковнославянской письменности, где **vesel-* выступает в устойчивой корреляции с **rad-*. *Радость* и *веселье* составляют не только семантическую пару с разным для разных контекстов соотношением значений (от полной синонимии до антитетического противопоставления), но и риторическую фигуру стилистической симметрии (Лихачев): "Уповай, земле, *радуйся* и *веселуй*, яко возвеличи Господь..., яко древо принесе плод свой" (ВМЧ. Окт. 19—31, 1851. XVI в. — СРЯ 2, 111); "Бысть же... *радость* велика и *веселование*" (ВМЧ, ноябрь, 13—15, 914, XVI в. — там же); "тогда ісполнят ся *радості* оуста наша і языкъ нашь *веселиѣ*" (Синайская псалтырь, XI в. — SJS 4, 181); "*радостию радуи ся* и *веселиемь весели ся*" (Синайский евхологий — там же).

Подобным парам (кроме *радость — веселье*, к ним относят пары *мир — тишина, честь — слава, житие — жизнь, истина — правда, дивьнъ — страшьнъ, благодать — милость* и др.) посвящена большая литература (Лихачев; Лотман; Хафнер; Успенский; Толстой 1984). Как и другие пары, оппозиция *веселье — радость* в средневековых церковнославянских текстах может строиться на признаках "обыденное — сакральное" ("земное — небесное"), "телесное — духовное", "внутреннее — внешнее".

В символическом языке церковных текстов **vesel-*, хотя и относится часто к земному бытию, к человеку, однако определяет его

духовное устремление к Богу в особые, наиболее сакральные моменты, в частности, в праздник Пасхи: "В няже дни очистившися душа празднуеть свѣтло на Вскрснье Гсне *веселящися* о Бзѣ" (Лаврентьевская летопись 1074 — ПСРЛ I/1, стлб. 184); "Яко же обычаи есть христьяномъ въ тыя дни о Бозе *веселят/и/ся*" (Каз. лет. 66. XVII в. — СРЯ 2, 113); ср. также "Воскресения день, *веселимся*, людие, Пасха, Господняя Пасха!" и т.п.

Оппозиция **vesel-* — **rad-* по признаку "небесное, божественное — земное, человеческое" отчетливо выражена в ст.-слав. "да *веселятъ ся* небеса і *радоуетъ ся* землѣ" (Синайская псалтырь. XI в. — SJS 4, 181), то же др.-рус. "Да *веселують* ся нбса и да *радуеться* земля" (Усп. сб. 340. XII—XIII вв. — СРЯ 2, 111); ст.-слав. "с *радостію* же великою похвалиша Бога и *весели ся* Богъ о семъ зѣло" (Житие Константина, XV в. — SJS 4, 181) (ср. также приведенные Хафнером примеры из сербской редакции церковнославянского языка — Хафнер, 85).

Тяготение **vesel-* к сакральному полюсу значений, отмеченное уже при анализе народной рождественской традиции, находит отражение и в таких языковых явлениях, как словен. *veselo oznanilo* 'евангелие', сербскохорв. *muke paklene i veselja rajska* (RHSJ 20, 773). Любопытно, однако, что в более поздних формах "народного христианства" номинация посредством **vesel-* часто закрепляется за семантической сферой Рождества, тогда как пасхальная тематика использует преимущественно дериваты слав. **rad-*. Соотношение *веселье — радость,* в котором *веселье* связывается с сакральным, небесным, божественным началом, а *радость* — с земным, человеческим началом, может претерпевать инверсию (ср. словен. veselega človeka ima še bog rad — SSKJ 5, 412), подобно тому, как это произошло с оппозицией *правда — истина.* В современном русском узусе радость, несомненно, воспринимается как более возвышенное, духовное переживание (ср. Пеньковский), чем веселье, ассоциирующееся с эмоциональным состоянием удовольствия. Но и в древнерусском тексте "Изборника Святослава" 1076 г. "веселие света сего" имеет то же значение, что и в нашем языке, т.е. выступает как антитеза божественному, сакральному, небесному веселью: "Не въсхошти веселова/ть/ся въ мирѣ семъ все бо *веселие* свѣта сего съ плачьмъ коньчавает ся" (Изборник, 168).

Во многих контекстах в современных славянских языках *радость* и *веселье* оказываются абсолютными межъязыковыми (часто и внутриязыковыми) синонимами. Так, в соответствии с укр. "Я тобою, пташка, *веселюся*" (Шевченко) в русском языке возможно только *радуюсь.* Точно так же словацкому выражению *zo žitia sa veselili* соответствует рус. *радовались жизни,* словен. *iz veselega srca* эквивалентно рус. *с радостью*; **vesel-* и **rad-* одинаково представлены в слав. названиях радуги (Толстой 1976), ср. также близкие по значению и употреблению русские прилагательные *веселый* и *жизнерадостный.* Случаи синонимии **vesel-* и **rad-* отмечались нами и при анализе культурных контекстов **vesel-* (ритуал *радовање,* личное имя *Радован* и др.). Существенным для семантической характери-

стики дериватов корня **rad-* является значение, представленное в вост.-слав. *Радуница* 'поминальный день на Фоминой неделе', не имеющее прямого соответствия в номинационном поле **vesel-*.

Из других лексико-семантических корреляций, в которые входит **vesel-*, наиболее интересна пара *веселье — игра.* Как и в случае оппозиции *веселье — радость,* здесь можно наблюдать семантическое притяжение, обусловленное не столько контекстуальной смежностью или фразеологической связанностью двух лексем (ср. др.-рус. *веселье играти* 'играть свадьбу', синонимию глаголов *играть* и *веселиться* при обозначении "игры солнца" и т.п.), сколько общими для них значениями "жизнетворности", жизненной силы, роста. У дериватов **jigra* эти значения получают более сниженную трактовку (в том числе и значение 'futuere'; о семантическом спектре этого слова см. Лант; ЭССЯ 8, 208—210), тогда как **vesel-* остается в сфере "высокой" семантики и сакральной символики. Подобные же отношения связывают **vesel-* с семантическим полем глагола *гулять,* который в ряде контекстов оказывается синонимичным *играть* (ср. рус., белорус. *гулять свадьбу* и *играть свадьбу*; полес. *солнце играет* и *гуляет,* выражение *корова погуляла* — о случке и т.п.).

Выше приводились примеры, демонстрирующие корреляцию *веселый — здоровый.* Синонимия этих слов опирается на тот же общий признак жизненной силы и то же, что и в предыдущей паре, распределение значений между высшей, небесной, сакральной сферой (*веселье*) и земной, человеческой сферой (*здоровье*). Как можно видеть из приведенного материала (особенно текстов благопожеланий), во многих случаях эта пара слов образует устойчивую риторическую формулу, наделяемую магической силой заклинания, способного обеспечить физическое здоровье и духовное "веселье". Наконец, для полноты семантической характеристики слав. **vesel-* необходимо учесть и антитетические корреляции, в которых веселье противопоставляется печали, слезам, унынию, мукам и т.п.

Возвращаясь к общим рассуждениям о культурной семантике и символике, можно заключить, что семантическая структура языкового знака (слова, морфемы и др.), его смысловой стержень определяется не только как инвариант синонимического или перифрастического ряда (**vesel-, *bъdr-, *radostьn-, *sъčęstьliv-* и т.д.), но и как инвариант значений всех его дериватов, всего словообразовательного или этимологического гнезда (*veselъ — veseliti — veselica — veselъka* и т.д.). С другой стороны, его семантический спектр зависит не только от оппозиций с другими языковыми знаками, но и от семантических скрещений с ними (**vesel-/*rad-, *vesel-/*sъdorv-, *vesel-/*mold-, *vesel-/*igr-, *vesel-/*zelen-* и т.д.). Что же касается символического значения, то оно явно выходит за рамки языка, его носителем может быть как слово, так и реалия внешнего мира (предмет, ритуальное действие и т.п.), а также и прежде всего ментальный коррелят и слова, и реалии — объединяющий их "концепт".

АОС — Архангельский областной словарь. Под ред. О.Г. Гецовой. Вып. 3. М., 1983.

*Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.

*Арнаудов М.* Български народни празници. София, 1943.

*Бандић Д.* Трагови табуа у самртном ритуалу Срба // ГЕИ, књ. XXIII (1974). Београд, 1975. С. 95—116.

*Беговић Н.* Живот и обичаји Срба граничара. Загреб, 1887.

БЕР — Български етимологичен речник. Т. 1. А—З. София, 1971.

БНПП — Българска народна поезия и проза. Т. 2. Обредни песни. София, 1981.

БНТ — Българско народно творчество. Т. 5. Обредни песни. София, 1962.

БХ — Банатске Хере. Ред. М.С. Филиповић. Нови Сад, 1958.

*Вакарелски Х.* Български погребални обичаи. София, 1990.

*Василева М.* Коледа и Сурва. София, 1988.

Весілля. У 2-х книгах. Кн. 1, 2. Київ, 1970.

*Виноградова Л.Н.* Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования. М., 1982.

*Виноградова Л.Н., Толстая С.М.* Символический язык вещей: веник (метла) в славянских обрядах и верованиях // Символический язык народной культуры. Балканские чтения 2. М., 1993.

Вол.П. — Валачобныя песні. Мінск, 1980.

*Воропай О.* Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Т. 1. Мюнхен, 1958.

ВП — Веснавыя песні. Мінск, 1979.

*Врчевић В.* Трн главне народне свећаности. Божић, Крсно име и свадба. Панчево, 1883.

Вяселле. Песні. У 6-ці кнігах. Мінск. Кн. 1 — 1980, Кн. 3 — 1983, Кн. 6 — 1988.

ГЕИ — Гласник Етнографског инстнтута САН. Књ. XVI—XVIII (1967—1969). Београд, 1971.

ГЕМБ — Гласник Етнографског музеја у Београду. Београд. Књ. II — 1927, књ. X — 1935, књ. 49 — 1985.

ГЕМС — Гласнк на Етнолошкиот музеј. Год. 1. Скопје, 1960.

*Гнатюк В.* Колядки і щедрівки // Етнографічний збірник. Т. 35—36. Львів, 1914.

*Головацкий Я.Ф.* Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Т. 2—3. М., 1878.

*Гринченко Б.* Словарь української мови. Т. І. А—Ж. Київ, 1907.

*Грђић-Бјелокосић Л.* Из народа и о народу. [Библиотека Баштина, књ. 17], Београд [1986].

ГСБМ — Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Т. 3. Мінск, 1983.

*Гура А.В.* Опыт ареальной характеристики свадебного обряда и его терминологии // Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981, с. 261—278.

*Гура А.В.* Борона // Этнолингвистический словарь славянских древностей. Т. 1. М., 1993.

*Гусев В.Е.* От обряда к народному театру (Эволюция святочных игр в покойника) // Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Л., 1974, с. 49—59.

*Дзедзелівський Й.О.* Українсько-західнослов'янські лексичні паралелі. Київ, 1969.

*Добровольский В.Н.* Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.

*Доманицький В.* Народній календар у Ровенськім повіті, Волинської губернії // Матеріялн до українсько-руської етнольогії. Т. XV. Львів, 1912.

*Ђорђевић Д.* Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави [СЕЗб, књ. 70], Београд, 1958.

ЕА — *Мирчев К., Кодов Хр.* Енински апостол. Старобългарски паметник от XI в. София, 1965.

ЗП — Зімовыя песні. Калядкі і шчадроўкі. Мінск, 1975.

*Иванов П.* Народные обычаи, поверья, приметы, пословицы и загадки, относящиеся к малорусской хате // Харьковский сборник. Вып. 3. Отдел 2. Харьков, 1889. С. 35—66.

Изборник 1076 г. М., 1965.

*Иорданская Л.Н., Мельчук И.А.* Коннотация в лингвистической семантике // Wiener Slawistische Almanach. B. 6. 1980.

*Јовашевић Д.Д.* Обичаји у Чачанском крају // Зборник радова Народног музеја. II. Чачак, 1971.

*Караџић В.С.* Српске народне пјесме. Књ. 1. Београд, 1953.

КК — Логический анализ языка. Культурные концепты. Под ред. Н.Д. Арутюновой. М., 1991.

*Кличкова В.* Божиќни обичаи во Скопска Котлина // ГЕМС 1. Скопје, 1960. С. 193—266.

КЩ — Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Сост. О.І. Дей. Київ, 1965.

*Кузеля З.* Посижіне і забави при мерці в українськім похороннім обряді // Записки Наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1914, 1915. Т. 121, 122.

*Лилек Е.* Вјерске старине из Босне и Херцеговине. III. // Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини. Књ. VI. Сарајево, 1894. С. 365—388.

*Лихачев Д.С.* Стилистическая симметрия в древнерусской литературе // Проблемы современной филологии. М., 1965. С. 418—423. То же: Поэтика древнерусской литературы. Изд. 3. М., 1979. С. 169—175.

*Лотман Ю.М.* Об оппозиции "честь" — "слава" в светских текстах Киевского периода. // Труды по знаковым системам. Т. 3. Тарту, 1967. С. 100—112.

*Маринов Д.* Народна вяра и религиозни народни обичаи. София, 1914 [СбНУ, кн. 28].

*Милићевић М.* Живот Срба сељака. Београд, 1984.

*Милосављевић С.* Српски народни обичаји из среза Хомољског. Београд, 1913. [СЕЗб, књ. 19].

*Миљанов Поповић М.* Сабрана дела. Књ. 1—2. Титоград, 1990.

*Мићовић Љ.* Живот и обичаји Поповаца. Београд, 1952. [СЕЗб, књ. 65].

*Младенов С.* Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.

НЗЛ — Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. М., 1988.

*Номис М.* Українські приказки, прислівъя і таке инше. СПб., 1864.

ПА — Полесский архив. Материалы экспедиций Ин-та славяноведения и балканистики РАН под рук. Н.И. Толстого.

*Пеньковский А.Б.* Радость и удовольствие в представлении русского языка // КК. С. 148—155.

ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 3. В — взяться. Л., 1976.

*Потебня А.А.* Объяснения малорусских и сродных народных песен. Варшава, 1883—1887. Т. 1—2.

*Потебня А.А.* О некоторых символах в славянской народной поэзии. // Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989. С. 285—378.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Т. I. Лаврентьевская летопись. Вып. 1. Повесть временных лет. Изд. 2. Л., 1926.

ПЭС — Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983.

РМНП — Речник на македонската народна поезија. Т. 1. А—Г. Скопје, 1983.

*Ровинский П.* Черногория в ее прошлом и настоящем. Т. 2. Ч. 2. СПб., 1901 [Сб. ОРЯС. Т. 69. № 1].

РСКНЈ — Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 2. Богољуб — Вражогрнци. Београд, 1962.

*Савушкина Н.И.* Русский народный театр. М., 1976.

СбНУ — Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Кн. XIII. София, 1896.

СЕЗб — Српски етнографски зборник. САН. Београд. Књ. XXXVIII — 1926; Књ. L — 1934; Књ. LIV — 1939.

СМР — *Кулишић Ш., Петровић П.Ж., Пантелић Н.* Српски митолошки речник. Београд, 1970.

*Снегирев И.М.* Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. II. Москва, 1838.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 4. Л., 1969.

СРЯ — Словарь русского языка XI—XVII вв. Т. 2. М., 1975.

*Тановић С.* Српски народни обичаји у Ђевђелијској кази. Београд, 1927. [СЕЗб, књ. 40].

*Телбизов К., Телбизова М.* Традиционен бит и култура на банатските българи. // СбНУ, 1963, кн. 51.

Тимченко — Історичний словник українського язика. Під ред. проф. Є. Тимченка. Т. І. 1—2. Київ, 1930—1932.

*Толстая С.М.* Солнце играет // Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986. С. 8—11.

*Толстая С.М.* Зеркало в традиционных славянских верованиях и обрядах // Славянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал. М., 1993.

*Толстой Н.И.* Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. М., 1968. С. 339—365.

*Толстой Н.И.* Из географии славянских слов. 8. Радуга // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1976. С. 22—76.

*Толстой Н.И.* Из грамматики славянских обрядов // Труды по знаковым системам. XV. Типология культуры и взаимное воздействие культур. Тарту, 1982. С. 57—71.

*Толстой Н.И.* Слово в сакральном тексте (ритуале): сербск. *весел(ица) — Рад(ован)* // Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы докладов. М., 1984. С. 96—97.

*Толстой Н.И.* Веселье // Славянские древности. Т. 1. М., 1993.

ТОП — Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья. Под ред. Б.Н. Путилова. Л., 1985.

*Успенский Б.А.* Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983. С. 112—113.

*Филиповић М.* Таковци (етнолошка посматрања). Београд, 1972. [СЕЗб, књ. 84].

*Чајкановић В.* Мит и религија у Срба. Београд. 1973.

*Шевченко Л.* Звичаї, зв'язані з закладинами будівлі // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Вып. 1/2. Київ, 1926. С. 87—95.

*Шейн П.В.* Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. I. Ч. 1: Бытовая и семейная жизнь белорусов в обрядах и песнях. СПб., 1887.

*Шкарић М.Б.* Живот и обичаји "Планинаца" под Фрушком Гором. Београд, 1939. [СЕЗб, књ. LIV].

*Шневајс Е.* Главни елементи самртних обичаја код Срба и Хрвата // Гласник Скопског научног друштва. Књ. V. Скопље, 1929. С. 1—20 (263—282).

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О.Н. Трубачева. Вып. 8. М., 1981.

*Bartmiński J.* Definicja leksykograficzna a opis języka // Słownictwo w opisie języka. Katowice, 1984. S. 9—19.

*Bartmiński S.* Stereotyp jako przedmiot lingwistyki // Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej. III. Ossolineum, 1985. S. 25—53.

*Bartmiński J.* Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji // Konotacja. Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, 1988. S. 169—183. /a/

*Bartmiński J.* Słownik ludowych stereotypów językowych. Założenia ogólne // Etnolingwistyka. T. 1. Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, 1988. S. 11—34. /b/

*Bartoš F.* Dialektický slovník moravský. Praha, 1906.

*Bednarík R.* Duchovná kultura slovenského ľudu // Slovenská vlastivěda. T. 2. Bratislava, 1943.

*Bogatyrev P.* Les jeux dans les rites funèbres en Russie Subkarpathique. // Le Monde Slave. III, 1926, N. 11. P. 196—224.

*Broda J.* Święta godowe // Zaranie Śląskie. 1959, rocz. 22, z. 1. S. 127—134.

*Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957.

*Drabik W.* Obrzędy Podlasia. Kraków, 1992 (maszynopis).

*Drozd-Piasecka M.* Ziemia w społeczności wiejskiej. Studium wsi południowo-wschodniego Mazowsza (koniec XIX i XX wiek). Warszawa, 1991.

*Dulčić J. i P.* Rječnik bruškoga govora. Zagreb, 1985 [HDZb, knj. 7, sv. 2]

*Dworakowski S.* Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią. Białystok, 1964.

*Eckert R.* Zur slawische Hochzeitsterminologie // ZfSl, 1965. Bd. X, H. 2. S. 185—211.

FLS — Folklor Lachów Sądeckich.

*Hafner St.* O semantičkim inovacijama u srpskoj redakciji crkvenoslovenskog jezika. // Међународни научни скуп. Текстологија средњовековних јужнословенских књижевности. Београд, 1981. С. 77—87.

HDZb — Hrvatski dijalektološki zbornik. Zagreb. Knj. 1 — 1956.
*Horváthová E.* Rok vo zvykoch našho ľudu. [Bratislava] 1986.
*Hraste M., Šimunović P.* Čakavisch-Deutsches Lexikon. Teil I. Köln; Wien, 1979.
*Huzjak V.* Zeleni Juraj. Zagreb, 1957.
*Jadraš I.* Kastavština // ZNŽO, knj. 39, Zagreb, 1957.
JOŚ — Językowy obraz świata. Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, 1990.
*Kardela H.* Tak zwana gramatyka kognitywna a problem stereotypu // Etnolingwistyka. T. 1, Lublin, 1988. S. 35—46.
KL — Kolędowanie na Lubelszczyźnie. Pod red. J. Bartmińskiego. Wrocław, 1986.
*Kuret N.* Praznično leto Slovencev. D. 4. Zima. Celje, 1970.
*Lunt H.G.* Slavic **jьgra* 'dance, game, play' // Papers in Slavic Philology in Honor of James Ferrell. Ann Arbor, 1977.
*Marković T.* Božićni običaji Hrvata u Bosni i Hercegovini // Etnografska istraživanja i građa. II. Zagreb, 1940. S. 5—86.
*Milčetić J.* Koleda u Južnih Slavena // ZNŽO, 1917, knj. 22. S. 1—124.
*Moszyński K.* Polesie wschodnie. Warszawa, 1929.
*Möderndorfer V.* Verovanja, uvere in običaji Slovencev (Narodopisno gradivo). II. Prazniki. Celje, 1948.
*Niebrzegowska S.* Konotacja semantyczna słońca w polszczyźnie ludowej. Lublin, 1985 (praca dyplomowa).
RHSJ — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. D. 20. Zagreb, 1971.
*Siarkowski W.* Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pinczowa. Cz. 1 // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. T. 9. Kraków, 1885. S. 3—72.
SJS — Slovník jazyka staroslověnského. 4. Praha, 1961.
*Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knj. 3. Zagreb, 1973.
SLSJ — Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny. Wrocław, 1980.
SS — Słownik staropolski. Ossolineum. T. X, z. 1(61) 1988; z. 2(62) 1989.
SSKJ — Slovar slovenskega knjžnega jezika. Knj. 5. Ljubljana, 1991.
*Sychta B.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. VI. Wrocław etc., 1973.
*Tokarski R.* Znaczenie słowa i jego modyfikacje w tekście. Lublin, 1987.
*Tokarski R.* Konotacja jako składnik treści słowa // Konotacja. Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, 1988. S. 35—54.
*Wierzbicka A.* Lexicography and Conceptual Analysis. Ann Arbor, 1985.
*Wierzbicka A.* The Alphabet of Human Thoughts. Duisburg, 1989.
*Wierzbicka A.* Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w różnych kulturach // Etnolingwistyka. T. 4. Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, 1991. S. 7—40.
ZfSl — Zeitschrift für Slawistik. Berlin.
ZNŽO — Zbornik za narodni život i običaji Južnih Slavena. Zagreb. Knj. 29/1 — 1933; knj. 40 — 1962.

# IV

*М.И. Лекомцева, Т.М. Николаева*

## ПРОСОДИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ СЛАВЯНСТВА

В настоящей работе славянские языки классифицируются — типологизируются через совокупность так называемых просодических признаков. Так называемых потому, что, как показывают самые последние работы в области звукового строя языка (Зубкова, 1990), суперсегменты не только связаны с собственно сегментами, но часто являются и их определяющими. Так, язык с доминированием узких и передних гласных, т.е. с высокими микрочастотами, более склонен к тонам в структуре слова, чем язык с доминированием задних и низких гласных. Напротив, в языках, где в слове к тому же чередуются задние и передние гласные, задние, как абсолютно более долгие, перетягивают на себя ударение. По сути большинство фонетических законов младограмматиков так или иначе связано с ударением, т.е. с просодией. Таким образом, объектом нашего исследования будет служить лишь тот взгляд на сегментную структуру слова, который в той или иной степени пересекается с просодической словесной программой.

Наиболее сложным вопросом славистической типологизации является вопрос о диалектах versus литературных языках в представлении системы одного языка. Между тем нельзя не учитывать то обстоятельство, что славянские языки, как показывают работы в самых разнообразных областях их типологизации, имеют в виде фона некоторую общность форм употребления, которая в одних языках реализуется в их диалектных потенциалах, в других же — грамматикализируясь, характеризует литературный язык. Таким образом, привлекая факты всех литературных языков и всех диалектов славянства, мы неизбежно придем к картине тавтологической и недифференцированной. Мы смотрим на литературные языки как на некоторую отработанную форму в соответствии с их эволюционным механизмом оптимального варианта активной коммуникации, который в одних языках — ближе к общеславянским диалектам, в других — дальше. Слишком подробная картина исключит возможность ясного представления того или иного славянского языка в анализируемую эпоху.

Конечной целью нашего исследования (которое, как надеемся, скоро появится в печати), разумеется, является попытка представить просодическую эволюцию славянства в целом и славянских языков в отдельности с той же степенью верифицируемости и подробности, с какой это делается в классических исторических грамматиках славянских языков. Нельзя забывать, что еще имеются

опасные случаи графико-гипноза. Поэтому при реконструкции просодических явлений мы имеем право пользоваться только методами внутренней реконструкции и/или косвенных свидетельств. Современная интонология к этому еще не готова, хотя первые опыты подобного подхода имеются уже во многих странах. Кроме того, на данном уровне развития лингвистики ограничиваться простой констатацией явлений без их интерпретации является научной архаикой.

Отдавая себе отчет в том, что все просодические признаки по сути связаны с градуальными оппозициями по Н.С. Трубецкому, для чисто типологически-классификационной задачи мы вынуждены накладывать дискретную сеть описания на недискретную ткань языковых фактов. Поэтому всегда возможны априорные возражения носителей тех славянских языков относительно трактовки таких явлений, где данные формы выражения могут быть близки к тем же формам в других языках, но количественно их не достигают. В настоящее время в экспериментальной фонетической литературе доминирует интерес к направлению "фонетического синтеза". В этом случае для правильного воспроизведения человеческого высказывания машиной необходимо максимальное число возможных признаков, пусть даже имеющих одинаковую дистрибуцию. Разумеется, мы обладаем гораздо бóльшим числом описывающих язык просодических признаков, согласно которым можно построить модель просодии каждого языка. Однако для нужд типологической классификации необходимо минимизировать эти признаки, оставляя только те, которые классифицируют собственно славянские языки. Сходные по дистрибуции признаки исключены из описания, как и ряд признаков, имеющих детализирующие значения.

Для рассмотрения представлен следующий перечень признаков.

1. Несмотря на то что изолированного слова в реальном произнесении не существует, так как слово всегда произносится в "оболочке" той или иной фразовой интонации, вполне возможно выявить просодию слова как инвариантную модель. Эта модель определяется путем внутренней реконструкции, исходя из экспериментальных данных параметров слова, помещенного экспериментатором в разные фразовые позиции: начало, конец, середина синтагмы при разных мелодиках (т.е. разных типах высказываний), а также при смысловом подчеркивании. Сравнение этих данных с изолированным словом дает возможность выявить базовый каркас просодии слова.

Первый признак — фиксированность места ударения (13)*.

По нему различаются языки со "свободным" ударением: болгарский, украинский, белорусский, русский; языки с фиксированным ударением — чешский и словацкий (ударение инициальное) и поль-

* В дальнейшем при каждом порядковом номере просодического признака будет указан в скобках его номер в таблице-матрице (№ 1), где все собственно просодические признаки будут снабжены еще и индексом $^{п}$.

ский (ударение на предпоследнем слоге). Особое положение занимает сербохорватский язык, где на выбор акцента оказывает воздействие место ударного слога: нисходящие акценты могут быть только в первом слоге от начала, восходящие — не могут быть в конечном слоге. Также ограничен позиционно словенский язык, где краткий нисходящий может выступать в основном на последнем слоге и в односложных словах, где, как и в сербском, различаются виды акцентов: см. словенск. vrât, vrát, sèn, zób, lâs, stár и т.д. (наиболее полные экспериментально-фонетические данные о сербских словесных акцентах см.: Lehiste, Ivič 1986; о словенских — Toporišič 1968). Македонский язык не знает ударений на конечном слоге слова. Ударение в этих языках, таким образом, и фиксированное и свободное; как представляется, задача сегодняшнего дня не только разделять языки по принципу фиксированности—свободы, но и постараться понять, какие факторы в каждом языке определили выбор типа акцентной модели.

2. (11) Следующим важным признаком просодии слова, глубинным образом связанным с первым, является характеризация просодической схемы, автономной по отношению к ударению (см. впервые об этом признаке: Николаева 1977). Исследования славянской и балканской фразовой просодии, проводившиеся с 1965 по 1991 г., выявили многократно подтверждающийся факт, что просодия слова естественного языка имеет определенную структуру с сильными и слабыми точками для каждого из параметров. Так, для большинства славянских языков сильной, т.е. с наибольшими показателями, точкой интенсивности является начало слова, а слабой — его конец. Напротив, сильной точкой длительности является его конец. В этом случае мы говорим о правоориентированности и левоориентированности слова по параметру t или i. Например, македонский: *ка́нтата/канта́та.* Средняя длительность звука в изолированном слове в *ка́нтата* — 82,8 мсек, во фразе — 83,3 мсек. *Канта́та* — средняя длительность в изолированном слове — 90 мсек, во фразе — 87,4. См. в этом же языке длительность ударных: *а́рка* (140 мсек), *арка́да* (170 мсек). Ударение может налагаться при этом на сильные точки (которые мы называем акцентогенными), увеличивая их силу, ударные в слабых точках могут иметь меньшие числовые показатели, но могут и соответствовать им по величине; поэтому мы говорим о просодической схеме как о тенденции слова. Для большинства славянских и неславянских языков Европы (см., например, для итальянского: Bertinetto 1981) просодическая схема имеет вид:

. Однако, данные тюркских языков, которые мы здесь не имеем возможности приводить, как будто свидетельствуют о тенденции не уменьшать, а увеличивать интенсивность к концу слова.

В этой связи интересны и важны данные болгарского языка, повышение интенсивности в котором отмечалось еще Д. Тилковым (Тилков 1970). См. данные по длительности ударного в болгарском:

| | t ударного (в мсек) | | i ударного (в мсек) | |
|---|---|---|---|---|
| | Д1 | Д2 | Д1 | Д2 |
| *áрка* | | | | |
| в изолир. слове | 120 | 130 | 3,1 | 3,5 |
| во фразе | 112 | 127,5 | 2,5 | 2,8 |
| *аркá* | | | | |
| в изолир. слове | 135 | 130 | 3 | 3,5 |
| во фразе | 113 | 119 | 3,02 | 2,5 |

Здесь виден уровень интенсивности в конце слова, который, например, для русского языка невозможен. Конечное продление слова тоже не отмечено.

Данные контактных балканских языков (албанского, новогреческого) демонстрируют долготное усиление начала слова. В связи с этим можно обратиться, в свете гипотезы о наличии просодической схемы как отдельного феномена, к проблеме причин неоштокавского сдвига в сербохорватском языке. Все сербохорватские говоры демонстрируют тенденцию к долготному усилению словесного анлаута. Только в чакавских и кайкавских говорах это выразилось в усиленной долготе предударного слога, а в штокавских — в долготе постударного. Таким образом, по нашему мнению, в этом регионе широко осуществлялось долготное равновесие двух контактных слогов. В одном случае первый из них оставался долгим предударным (т.е. "сдвига" не было), в другом его долгота переходила через порог перцепции, необходимой для фонологизации ударения, т.е. восприятия сильной просодической точки именно как ударения, и этот слог становится ударным, а второй в ансамбле — долгим посттоником. Это левоориентированное движение, вероятно, остановило для с-х. говоров движение регрессивного, т.е. правоориентированного сдвига, который осуществил словенский язык (о словенском см. Vermeer 1986). Именно прояснение долготы до перцептивного порога ударности в с-х. говорах "прояснило" и движение тона на нем, не выделив из слова новый ударный мелодически настолько, чтобы он оторвался от своего контактного соседа — посттоника, в результате образовалась отмечаемая для с-х. двусложная структура восходящих тонов (см. о двусложности Masing 1876).

Примечательно и то, что неоштокавский сдвиг осуществлялся с востока к западу и то, что он по времени совпал с турецким продвижением. Но возможны здесь и более древние контакты в Балканском окружении.

Несомненно только, что просодическая схема не является универсальным фактом, как можно предположить, исходя из данных основных европейских языков (см. Lehiste 1970), а может быть отнесена к фактам типологическим и изменяющимся в ходе истории и/или под контактным воздействием.

Как было сказано выше, ударение связано с сильными точками просодической схемы слова через такое усиление, при котором усиленная точка становится перцептивно осознаваемой так, что

человек может ответить на вопрос: "Где здесь ударение?" Это и есть фонологизация, по Н.С. Трубецкому и Р. Якобсону, связываемая нами с когнитивным процессом. Гипотеза о просодической схеме слова объясняет возникновение начального и пенультивного ударения и объясняет и отсутствие фонологических долгот в польском языке, где ударение избрало сильную точку по длительности. Так называемое "свободное" ударение имеет в своем генезисе иные причины, на которых здесь останавливаться не будем.

Однако при автономии просодической схемы словесное ударение может тяготеть к выражению через один из просодических параметров, хотя и здесь можно говорить не о законе, а о тенденции. Поэтому можно говорить о t-ориентированных, i-ориентированных и f-ориентированных языках.

В соответствии с гипотезой о просодической схеме слова с сильными точками начала и конца типологически значимым является показатель того, чем выражено ударение в ритмической структуре — ´ — —, где ударение не падает на сильные точки схемы. Так, например, в русском языке (слова типа *гото́во*), по нашим данным, в 20% случаев ударный слог был отмечен интенсивностью и в 100% — длительностью; в белорусском же языке в этой структуре также 100% продления ударного гласного, но интенсивность выделяет его в 60%.

3 (14). Словесная просодия во всех языках находится в неизбежной корреляции с фразовой, которая может подчинить ее себе. Подчинение состоит в ряде перечислимых модификаций.

1) Сильное изменение отношения просодических корреляций в различных фразовых позициях без изменения его ритмики. Например, в слове *ма́ма* ударный доминирует над заударным всегда, но отношение длительностей их в начале фразы может быть 1,6 : 1, в середине — 1,2 : 1, в конце — 1,1 — 1. Или интенсивность в вопросе *Когда?* будет 1,4 : 1, а в переспросе — *Когда?* — 1,1 — 1 и т.д.

2) Изменение просодических корреляций внутри слова настолько сильно, что ритмика слова нарушается. Например, у того же слова *ма́ма* длительность начала фразы есть отношение 1,5 : 1, середины — 1 : 1, конца — 0,8 : 1.

3) Изменяются средние показатели слова во фразе, например, уменьшается или увеличивается средняя продолжительность звука или средняя интенсивность звука и под.

В том случае, если этих модификаций нет или они минимальны, мы говорим о слабом воздействии фразовой просодии на слово и о по-словном произнесении в данном языке. Если же эти модификации сильны, то мы имеем дело с сильным воздействием фразовой просодии на словесную и говорим о по-фразовом (по-синтагменном) произнесении в данном языке.

В пределах самой интонации ведущим и типологизирующим в наибольшей степени является мелодика, которую длительное время и отождествляли с интонацией вообще. Если в отношении длительности и интенсивности, строго говоря, мы имеем дело с фактами градуальными, фонологизируемыми на уровне перцеп-

ции носителя языка и/или метаописания исследователя, то мелодика представляет в гораздо большей степени структурированные фигуры, которые легко переводятся в графический облик.

Мелодика языка может быть устроена по четкому принципу: каждому семантическому типу — свой рисунок или представлять собой не слишком упорядоченное множество конфигураций, употребляемых с широким вариативным разбором. Только в первом случае мы можем говорить о полной грамматикализации интонации. Например, вопрос с *А* (*А Ната́ша?*) в русском языке имеет одну фигуру в украинском же этот тип вопроса ("уточняющий" вопрос) передается через такую же, как и в русском, фигуру, но и через и через .

4 (1). Присоединяясь полностью к мнению А. Мишевой (Мишева 1987) о том, что повествовательное высказывание мелодически рыхло и нехарактерно, а является неким полигоном для акцентных и темпоральных смысловых подчеркиваний, членений и под., мы считаем именно типы вопросительных предложений типологически релевантными. При этом возможны следующие ситуации: 1) представлена парадигма мелодических фигур и все они равным образом грамматикализованы (см. выше); 2) представлена мелодическая парадигма, но не все мелодические фигуры грамматикализованы в одинаковой степени: существует некая шкала грамматикализации; 3) все фигуры практически не полностью грамматикализованы. В соответствии с этой позицией нами был разработан набор вопросительных предложений, отражающий основные типы вопроса. Метод был отработан для анализа финно-угорской интонации (см. Николаева 1989).

4 (2). Существенным является движение тона в вопросительном предложении с вопросительным словом. Она может быть понижающейся: Kde stojí psací stůl? (Ч) или повышающейся к концу: Kiedy pani ma egzamin? (П). Этот признак делит славянское пространство приблизительно пополам.

5 (4). Существенна также мелодика вопроса с *А*. Он может заканчиваться подъемом: A kohútik? (Слвц.) или понижением: A dědeček? (Ч).

6 (5). В этой конструкции ударный слог интонационного центра может быть расположен низко: см. русское *А книга?* или на среднем уровне *А ри́за?* (Блг.) или занимать верхнее положение: *А мојот Иванчо* (М.) ,

7 (6). В 1980 г. И. Лехисте и П. Ивич (Lehiste—Ivić 1980) предложили к рассмотрению первый интонационный "балканизм" — так называемую "обратную модель" (reverse pattern) в восходящей вопросительной мелодике: с низким положением ударного + повыше-

ние + конечное понижение: . Оказалось, что эта модель характеризует не только балканские славянские языки, но и словацкий.

8 (7). Существен для большинства европейских языков подъем мелодики в общем вопросе до самого конца предложения безотносительно к тому, кончается оно ударным слогом или нет. Д. Болинджер считает эту модель универсальной и настолько обязательной, что "даже русские, попадая в Америку, меняют свою восходяще-нисходящую модель на восходящую" (Bolinger 1978). Представляется, что одного этого высказывания достаточно, чтобы признать этот признак характерологическим.

9 (3). Вопросы общего характера (да/нет вопросы) характеризуются также тенденцией перемещать интонационный центр к началу. При этом возможны следующие ситуации: 1) в данном языке конечное повышение обязательно, а сдвиг к началу параллельно осуществляет повышение тона. Тогда возникает фигура типа: ,

2) возможно и полное передвижение всей восходящей фигуры к началу с последующим конечным понижением. Тогда возникает фигура , характеризующая в первую очередь русский язык, а также финно-угорских соседей славян (см. об этом Николаева 1989).

10 (9). Последней опорной фигурой в кругу вопросительных предложений является переспрос. Для одних языков, например, восточнославянских, переспрос обязательно оканчивается восходящим движением тона, причем оно доходит до абсолютного конца. В западных и южных славянских языках эта конструкция может передаваться и через конечное понижение или как через повышение, так и через понижение.

11 (10). Общей характеристикой мелодики славянских языков является следующее ее свойство. Мелодическая информация может концентрироваться только на ударных слогах и для общего вопроса, например, существенно лишь движение тона и/или позиция конечного ударного слога, а движение тона в заударных нерелевантно. Напротив, существенным является подъем только для конечного слога (см. о словацком: Uhlár 1971). Т.е. важен вопрос, информативны ли для восприятия и безударные слоги. Мысль о разном распределении информации в пределах интонационного контура в современной интонологической литературе передается как различие base line (как бы основной, опорной мелодики) и top line (верхнего контура, ведущего все смысловые оттенки и смысловые задания мелодики). В русской литературе base line был назван "несущим тоном" и описан О.Ф. Кривновой (Кривнова 1975).

12 (12). Последние два признака славянской интонации не мелодические, а темпоральные. Первый из них связан с конечным двусложным ансамблем высказывания, т.е. с ударным + заударным в абсолютном конце. Так, в одних языках ударный, как правило, длительнее заударного, в других они равны, в третьих заударный обычно длительнее ударного. Например (в мсек):
Р — *кача́ло* — 95/115/90; в *сте́нку* — 114/98

П — Želásko — 80/120/120; z Brzéścia — 100/100
Слвц — strómček — 80/120; sviéčka — 120/170, nechápeš — 100/110/120.

13 (8). Среди признаков просодии слова был признак правой или левой ориентированности слова по длительности как одном из ведущих компонентов просодической схемы слова. Этот признак оказывается существенным и для высказывания. Продление высказывания вправо также считалось универсальным в интонации, однако наше исследование интонации балканских языков показало несомненную тенденцию к темпоральной увеличенности начала. Определялось это через изменение просодии слова в разных позициях фразы: начало, середина, конец, а также через показатель отношения Н/К, где Н — длительность первого ударного слога в высказывании, а К — длительность его последнего ударного слога.

См., например, усредненные показатели по Н/К для болгарского языка.

Повествование — 1,12 : 1; общий вопрос — 1,33 : 1; утверждение тождества — 1,2 : 1; императив — 1,6 : 1; вопрос с вопросительным словом — 0,87 : 1 (в последнем случае — за счет краткого произношения начального вопросительного местоимения). Несомненно, тенденция к левоориентированности имеет место (существенно также, что тип высказывания в свою очередь оказывает воздействие на количественную реализацию этого признака).

Переходя к рассмотрению сегментных признаков, обратимся сначала к некоторым явлениям, характеризующим фонологические системы в парадигматическом отношении, а потом — к некоторым синтагматическим особенностям (Lekomceva 1987).

15. Еще Э. Станкевич обратил особое внимание на признак, с которым связано противопоставление согласных по твердости—мягкости или в терминологии Р. Якобсона—М. Халле, признак диэзности. Роль этого признака в типологии славянских языков определяется тем, что это — "единственный признак для согласных, который не разделяется всеми славянскими языками" (Stankiewicz 1958). Этот признак определялся Н.С. Трубецким как корреляция палатализации. Роль ее он подчеркивал тем, что это была единственная тембровая корреляция, и "в качестве единственной тембровой корреляции она встречается в гэльском, польском, литовском, русском, украинском... и других языках" (Трубецкой 1960). В системе Н. Хомского—М. Халле этот признак — "высокий/невысокий" (high) — определяет противопоставление передних согласных, соответствующая оппозиция гуттуральных выражается в изменении признака "задний/незадний" (back).

Здесь противопоставление согласных по твердости—мягкости рассматривается как единый признак, по которому строится один-единственный классифицирующе-типологизирующий признак, выделяющий славянские языки, характеризующиеся оппозицией твердости—мягкости (болг., польск., белорусск., укр., русск.).

16. Такие противопоставления, как, напр., серб.-хорв. *ћи̏лим* — *ти̏лӣ* или *ђи̏пати* — *ди̏плити,* характеризуются по традиции как противостоящие палатального ряда дентальному, и у нас нет осно-

ваний отказываться от этой традиции. Однако палатальный ряд — признак наличия в языке оппозиции палатальных другим рядам согласных — обычно предполагает отсутствие корреляции палатализации, т.е. признаки эти считаются находящимися в отношении дополнительной дистрибуции — другими словами, типологически они могут быть одним признаком. Условием независимости этих признаков является существование языков, в которых нет ни одного из этих признаков, и языков, в которых они выступают одновременно. Примером фонологической системы без палатального ряда и корреляции палатализации может служить греческий язык. Примером языка, в фонологической системе которого существенную роль играет корреляция палатализации и одновременно можно обнаружить ряд среднеязычных, может быть польский язык. Конечно, в польском языке противопоставления типа ten — cień, denko — dzień могут трактоваться как выражение корреляции палатализации, что поддерживается исторической реконструкцией и морфонологическими отношениями (kogut — koguci, woda — wodzie). Но такая актуализация реконструируемых отношений и включение морфонологических отношений в собственно фонологическую систему потребует аналогичного рассмотрения и сербскохорватских форм типа *ħâк — ħáци, вȳк — вȳци, грѐхове* и *грêси.* Поэтому с типологической точки зрения кажется предпочтительнее трактовка Э. Станкевича, когда польский язык характеризуется им корреляцией палатализации только относительно гуттурального и/или лабиального рядов — как и "в верхне- и нижнелужицком, в некоторых восточноболгарских (родопских) диалектах и в польских диалектах (в стандартном польском отсутствует /x'/)" (Stankiewicz 1958).

В белорусском языке по свидетельству В. Чекмана и Э. Смулковой допустимо варьирование /п"/ и /п'/ (переднеязычного и среднеязычного) (Czekman, Smułkowa 1988, 267), как и /к"/, /к'/, /g/, /g'/, /ŷ/, /h'/, в целом же авторы считают, что корреляция мягкости/твердости выражается различными локальными рядами (там же, 261—270). Существование переднеязычного n", как и препалатальных с", з", говорят в пользу традиционного взгляда на фонологическую систему белорусск. яз. как характеризующуюся корреляцией палатализации и отсутствием палатального ряда — взрывных согласных.

17. Для определения направления развития корреляции палатализации особый интерес представляют сонанты. При обратном движении волны — при диспалатализации — из корреляции по твердости-мягкости первой выпадает пара /r/ — /r'/. Эта оппозиция отмечается в болгарском и русском языках. В украинском языке она уже практически не существует. Частота в процентах r — 0,60, r' — 8,02 (Перебийніс 1970), число минимальных пар на противопоставление — 5,5 (для r — 34,6) (там же, 201).

Система гласных в славянских языках на уровне идентификации отдельных признаков дает возможность построить два типологических признака.

18. Существуют славянские языки, гласные которых противопоставляются как tense — lax или — в терминах Н.С. Трубецкого —

как долгие и краткие. К таким языкам относятся словенский, сербскохорватский, чешский и словацкий.

19. Существуют языки (и разнообразные диалекты: Толстая 1964), где гласные противопоставляются по назальности. Напомним польск. *gest — gęsto, kos — kąsek.*

20. Если рассматривать комбинации признаков, то обращает на себя внимание набор признаков — *high — low — round*, который в таких языках, как сербскохорватский, македонский, польский, чешский, словацкий и украинский предполагает импликацию

$$\begin{bmatrix} -\ \text{high} \\ -\ \text{low} \\ -\ \text{round} \end{bmatrix} \rightarrow [\text{back}]$$

Это — языки, где из фонем среднего ряда возможны только /є/ и /о/.

В других языках эта импликация не действует, — там противопоставляются /е/, /о/, /ъ/:

| | е | о | ъ |
|---|---|---|---|
| high | – | – | – |
| low | – | – | – |
| back | – | + | + |
| round | – | + | – |

Это — словенский и болгарский языки. Сюда можно отнести и белорусский и русский языки, где эта фонема выступает в подсистеме безударного вокализма, так что ъ противопоставляется *е, о* здесь не непосредственно, а через противопоставления с /u/, /i/, /y/ — через естественную транизитивизацию отношения противопоставления.

21. При таком подходе выделяется в системе как фонема и /y/. Если оставить в стороне блестящий пример Л.В. Щербы — *ы́кать — о́кать*... и не выходить в ареально сопредельные языки, где /y/ и /i/ противопоставляются даже после /j/ (ср. латгальск. [jys] 'вы' — [jis] 'он'), то аналогично [y] противопоставляется /u/, а /u/ — естественно противопоставляется остальным гласным. Правило, лежащее в основе этой импликации:

$$\begin{bmatrix} +\ \text{high} \\ -\ \text{low} \\ -\ \text{round} \end{bmatrix} \rightarrow [\text{back}]$$

предполагает, что из гласных верхнего ряда в языке возможны только /i/ и /u/. Там, где это правило не действует, имеется противопоставление

| | i | u | y |
|---|---|---|---|
| high | + | + | + |
| low | – | – | – |
| back | – | + | + |
| round | – | + | – |

К таким языкам относятся польский, белорусский и русский.

22. Если говорить о синтагматических отношениях дифференциальных признаков, то на уровне слова из отдельных признаков интересным оказывается распределение признака звонкости. Во многих славянских языках наблюдаются внешние сандхи, при которых перед глухими согласными следующего слова или перед паузой конечный собственно согласный может быть только глухим:

$$\begin{bmatrix} -\ \text{Cons} \\ -\ \text{Voc} \\ -\ \text{Sonor} \end{bmatrix} \rightarrow [\text{Voic}]$$

Это правило не действует в сербскохорватском языке, где орфографической нормой является сохранение звонкости: *vid, mraz, grb, drag.* В украинском языке звонкие согласные на конце слова произносятся "четко и ясно" (Наконечный 1951, 187): *в'яз, глиб.* По данным Л.И. Прокоповой, сохранение звонкости на конце слова достигает 61% (Прокопова 1958). И. Лехисте провела исследования одной носительницы литературного словенского языка и показала, что здесь в конце слова глухие и звонкие противопоставляются как напряженные ненапряженным (*gost — gozd*) (Lehiste 1961).

23. Если говорить о внешних сандхи начала слова, то здесь выделяется чешский язык (как и верхне- и нижнелужицкий языки), в котором перед гласным начала слова образуется гортанная смычка, имеющая признак глухости. Возникает оппозиция *suchem — s'uchem, soka — s'oka* (*z'oka*) (Лекомцева 1968).

Классифицирующими для славянских языков являются сочетания собственно согласных с согласными.

24. Наличие сонанта между согласными выделяет сербскохорватский язык: *прст, врлина, врх,* где сонант может быть под ударением — быть словообразующим. Аналогична ситуация в чешском и словацком языках: чеш. *vrchol, čtvrtok, vlna,* слов. *vlk, vlka, krm, krma, srnka, dlźka.* В польском языке возможны такие сочетания, однако сонанты в польском являются неслогообразующими; напр., *w krwi, klnie* — с ударением на последнем слоге.

В русском языке сонанты между согласными возможны, и как правило они неслогообразующи: *сентябрьский, кадмский* (житель города Кадма). Правда, если такие сонанты оказываются в метрической схеме под ударением, то вставляется протетический *э*: (напр.: *Мы поедем в Ленинград · / На октябрьский парад*). В украинском языке эта последовательность представлена немногочисленно (ср. сочетания *-трд-, -врськ-, нтрг, нтльм* (Перебийніс 1970, 238, 239).

25. В начале слова сочетание сонанта с согласным известно в сербскохорватском: *rbanan* 'черепок', *rvati se* 'бороться', македонском: *рча́, рбе́т, рдо́ква.* ("Требуется отметить, что знак ' не означает никакого особого звука перед начальным р" (Б. Конески 1958, с.78)). В польском языке также регулярно отмечается сочетание сонанта с согласным в начале слова: *rdza, rdzeń, rtęć, rwać, lniany, lśnić, lwica, lżej, lżyć.* В чешском: *rdousiti, lhuta,* в словацком: *rdiet' sa, lživo, l'vica, rmut', rmutit'* и др., в украинском *ржа, ржут, лжевиність,* в русском: *рдеть, льгота, льняной, ржавый, лживый.*

В противоположность этим языкам в словенском такие сочетания сонанта с согласным невозможны, что подчеркивается развитием перед таким сочетанием гласного ə: rž [ərs], rkelj [ərkel'], rvati [ərvati] ("Slovenski Pravopis 1962). В болг. аналогичный гласный оказывается между сонантом и согласным: *лъжа, ръдоква.* В белорус. в этой позиции отмечается [и], [а]: *иржа, ильну, илба, илгац, ил'ва, имгла, аржаны* (Бірыла 1961).

26. Сочетание согласного с сонантом в конце слова представлено в одних славянских языках и отсутствуют в других.

В польском языке нормой является произношение *kmotr* (Шобер отмечает в словаре: не *kmoter* (диал.), *wiatr* (не *wiater*), *basń, spazm.* В чешском отмечаются такие примеры, как *bratr, mistr, mysl.* В украинском языке встречаются *зубр, літр, метр,* в русском языке естественны сочетания согласного с конечным *r, l*: *вепрь, добр, быстр, вопль, пошл.*

В противоположность этим языкам выделяется группа языков, где сочетание собственно согласного с сонантом в конце слова невозможно ни в исконной лексеме, ни в заимствованиях. В словенском языке "в конце слова когда пишем -er, когда одно -r, произносим же в обоих случаях ər: oder, veter, december, koper..." (Slovenski Pravopis 22). В сербскохорватском языке, как писал еще в 1895 г. Т. Маретич, "есть достаточно слов, в которых на конце между двумя согласными никогда не было никакого гласного, а теперь и уже давно между ними *а*...: bistar, dobar, ogan, vjetar" (T. Maretić 52). В македонском языке ситуация точно такая же: *бодар, добар, тигар, Петар.* В болгарском же языке *и* пишется всегда перед сонантом ъ: *добър, мисъл, театър, негър, цокъл.*

В словацком языке отмечаются между согласным и сонантом гласные [o] и [e], само сочетание согласного с сонантом в конце слова невозможно: *vietor, kafer, liter, zmysel* (Pauliny 1979).

27. Для славянских языков классифицирующим является вопрос вокалической структуры слова. Здесь можно отметить языки, в которых любой гласный может быть в любой позиции, как, напр., сербскохорватский, македонский, польский, чешский, и языки, где гласные образуют подсистемы для разных позиций. Так, в словенском языке в ударном слоге противопоставляются ε и *е*, ɔ и *о*, а в одной из сосуществующих систем вокализма еще и долгие гласные (Slovenski Pravopis 16): tȇle — têle, gospóda — gospôda (там же).

В болгарском языке "широкие гласные *а, е, о* приближаются к соответствующим узким ъ̆, й, ў, т.е. неударное *а* переходит в ъ̆, неударное *е* в *и*, а неударное *о* в *у* (*зелéно* > *зилéну, даровѐ* > *дъ̆рўвѐ, лесниньѝ* > *лиснинь̆* и др." (Стойков 1966).

В украинском языке противопоставляются *мостити* и *маститити* 'мостить' — 'мазать'), *завидно* и *завидна.* Однако в украинском языке наблюдается ограниченная регрессивная гармония гласных, когда е — і — у или о — у не различаются перед ударными слогами, причем их подъем (высота — high) определяется соответствующим признаком ударного гласного. Поэтому безударные гласные в *гребú* и в *грибú*, в *заплету* и в *за плиту* не отличаются друг

от друга, в то время как в *вела* и *вила* и в *блізечько* предударные гласные не меняют своего подъема. В русском (Аванесов) и белорусском (Бірыла) подсистемы ударного, предударного и заударного вокализма детально исследованы и наличие вокалической структуры слова является доказанной.

28. В словацком языке воздействие гласных в пределах слова регулируется "ритмическим законом", согласно которому после слога с долгой гласной может быть только слог с краткой гласной, ср.: *pekný,* но *krátky, češú,* но *vládzu.*

Выделенные признаки, естественно, не исчерпывают просодической характеристики славянских языков (как уже отмечалось, просодический уровень здесь включает в себя и собственно сегментный срез фонологической системы языка). Отчетливости ради следует отметить, что ряд выделенных признаков имеет длительную традицию исполнять роль классифицирующих признаков (корреляция палатализации согласных, отношение назализованных и чистых гласных, противопоставление фиксированного и свободного ударения), которые так же легко могут выполнить функцию и типологизирующих показателей. Ряд представленных признаков может рассматриваться как аналогичный названным выше (наличие палатального ряда, "ритмический закон" в словацком языке) — при образовании этих признаков используются те же единицы и те же операции метаописания фонологического уровня. Остальные признаки оказываются впервые введенными в типологическую характеристику славянских языков. Это связано с построением метаописания и непосредственного описания просодического (в узком смысле) уровня славянских языков. Очевидно, что вес всех этих признаков далеко не одинаков. Однако решать в настоящее время вопрос о способах определения веса предложенных признаков представляется преждевременным. Действительно, будет ли вес признака коррелировать с числом структурных импликаций, со статистическим показателем функциональной нагрузки или еще какими-то представлениями, — все это лучше определить, когда будут получены более полные характеристики достаточно большого количества языков. На первом этапе мы берем условно одинаковое значение для всех признаков: 1 (+) — когда данный признак характеризует данную систему, 0 (−), когда данный признак не характеризует данную систему и 0,5 (±), когда в языке представлены оба значения признака.

Тогда результаты характеристики славянских языков по выделенным признакам могут быть представлены в матрице (табл. 1), где в строках указаны языки, а в столбцах — соответствующие признаки. Каждая строка при этом является характеристикой по 28 признакам некоторого славянского языка. Каждый столбец при этом является характеристикой ареала распространения выделенного признака.

Так, признак отсутствия гласной как инициали представлен только в чешском языке и с точки зрения ареальной интерпретации может рассматриваться как область инновации или архаизма. Расширение ареального рассмотрения этого явления — аналогичные

*Таблица 1*

**Матрица идентификации славянских языков по общей сумме дифференцирующих признаков**

| Язык \ Признак | $1^{II}$ | $2^{II}$ | $3^{II}$ | $4^{II}$ | $5^{II}$ | $6^{II}$ | $7^{II}$ | $8^{II}$ | $9^{II}$ | $10^{II}$ | $11^{II}$ | $12^{II}$ | $13^{II}$ | $14^{II}$ | $15^{(1)}$ | $16^{(2)}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Словен. | – | – | + | ± | ±* | – | + | – | + | + | + | + | – | – | + | – |
| С.-х. | + | + | – | + | + | + | – | + | ± | – | + | + | ± | + | + | – |
| Мак. | – | + | – | ± | – | + | – | + | ± | – | + | + | ± | + | + | – |
| Болг. | + | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + |
| Польск. | – | + | – | + | + | – | + | – | – | + | + | – | + | – | + | + |
| Чеш. | + | – | + | – | – | – | + | – | – | + | + | – | + | – | + | – |
| Словац. | + | + | + | + | – | + | + | – | ± | + | + | – | + | + | + | – |
| Укр. | + | + | ± | ± | ± | + | – | + | + | – | + | – | – | – | – | + |
| Бел. | – | + | + | ± | ± | – | – | + | + | – | + | + | – | + | – | + |
| Русск. | – | – | + | + | + | – | – | + | + | – | + | + | – | – | – | + |

| Язык \ Признак | $17^{(3)}$ | $18^{(4)}$ | $19^{(5)}$ | $20^{(6)}$ | $21^{(7)}$ | $22^{(8)}$ | $23^{(9)}$ | $24^{(10)}$ | $25^{(11)}$ | $26^{(12)}$ | $27^{(13)}$ | $28^{(13)}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Словен. | – | + | – | + | – | + | + | – | – | – | + | – |
| С.-х. | – | + | – | – | – | + | + | + | + | – | – | – |
| Мак. | – | – | – | – | – | – | + | – | + | – | – | – |
| Болг. | + | – | – | + | – | – | + | – | – | – | + | – |
| Польск. | – | – | + | – | + | – | + | + | + | + | – | – |
| Чеш. | – | + | – | – | – | – | – | + | + | + | – | – |
| Словац. | – | + | – | – | – | – | + | + | + | – | – | + |
| Укр. | ± | – | – | – | – | + | + | – | + | + | + | – |
| Бел. | – | – | – | + | + | – | + | – | – | + | + | – |
| Русск. | + | – | – | + | + | – | + | + | + | + | + | – |

$1^{II}$ — представлено ли в языке множество неупорядоченных мелодических фигур?; $2^{II}$ — представлен ли в языке абсолютно конечный подъем мелодики при общем вопросе?; $3^{II}$ — есть ли тенденция перемещать интонационный центр общего вопроса к началу?; $4^{II}$ — есть ли подъем мелодики в уточняющем вопросе (”*а...?*”)?; $5^{II}$ — в *а*-конструкции ударный слог расположен низко?; $6^{II}$ — представлена ли в языке модель reverse pattern?; $7^{II}$ — оканчивается ли общий вопрос обязательным повышением тона?; $8^{II}$ — есть ли начальный подъем в общем вопросе?; $9^{II}$ — есть ли обязательный подъем в переспросе?; $10^{II}$ — информативны ли безударные слоги в мелодике?; $11^{II}$ — соблюдается ли европейская модель просодической схемы слова?; $12^{II}$ — в конечном темпоральном ансамбле самый длительный — ударный?; $13^{II}$ — ударение в языке — фиксировано?; $14^{II}$ — фразовая интонация подчиняет словесную?; 15 — есть ли в языке взрывные палатального ряда?; 16 — есть ли в языке противопоставление твердых и мягких согласных?; 17 — противопоставляются ли в языке [г] и [г']?; 18 — противопоставляются ли в языке долгие и краткие гласные?; 19 — противопоставляются ли в языке назальные и чистые гласные?; 20 — есть ли в языке [ъ]?; 21 — есть ли в языке [у]?; 22 — обязательно ли звонкие согласные оглушаются в конце слова?; 23 — может ли слово начинаться с гласной?; 24 — возможна ли в слове группа -CRC-?; 25 — может ли начинаться слово с RC-?; 26 — может ли слово оканчиваться на -CR?; 27 — есть ли в вокалической структуре слова зависимость между гласными?; 28 — есть ли зависимость между долготой и краткостью слогов в слове?

$\pm$ — этот знак указывает, что данное значение принимается условно.

ситуации в верхне- и нижнелужицком языках и в пространстве немецкого языка — позволяет говорить здесь об инновации с центром в области немецкого языка. Наоборот, признак противопоставления гласных назализованных и чистых, представленный польским языком, при расширении ареального рассмотрения (вернее, при увеличении масштаба рассмотрения (Толстая 1964) дает "кружевной" ландшафт, типичный для исчезающих явлений (Lekomceva 1987).

"Ритмический закон" в словацком языке мы решаемся считать инновацией исходя из того, что свойство предпочитать антиципацию регрессивному воздействию является для языков фреквенталией.

Остальные признаки охватывают каждый раз по несколько языков, не повторяя пространственную конфигурацию друг друга. Мы видим сложное переплетение сходных признаков у разных языков, но на этом возможности интерпретации распределения признаков почти исчерпываются.

Дальнейший шаг связан с переходом к количественным показателям сходства.

Но "schöne Resultate lassen sich etwa mittels der Clusteranalyse erzielen" (Goebl 1982). Кластерный анализ специально разработан для объединения в классы объектов в зависимости от меры сходства или расстояния между ними (Späth 1975). Чтобы корректно говорить о расстоянии между фонологическими системами и получаемыми классами, необходимо, чтобы пространство, в котором определяются расстояния между объектами, было метрическим. Метричность пространства, в котором будут рассматриваться ландшафтные конфигурации славянских языков, обеспечивается следующей формулой для определения расстояния d:

$$d = 1 - \frac{\alpha + \delta}{l},$$

где $\alpha = \sum_{k=1}^{l} \min(x_k, y_k)$

$$\delta = 1 - (\alpha + \beta + \gamma)$$

$$\beta = \sum_{k=1}^{l} x_k - \alpha \qquad \gamma = \sum_{k=1}^{l} y_k - \alpha$$

l — число признаков, определяющих все рассматриваемые языки (Lekomceva 1987).

В качестве способа объединения языков был выбран алгоритм "Linker" с определением среднего расстояния после каждого шага (Späth 1975). Этот алгоритм применим во всех случаях кроме ситуации, когда в двух или более клетках матрицы оказываются равные расстояния. Это ограничение было обойдено введением особого подалгоритма (Lekomceva 1987, 437). Расстояние (d) и мера сходства (s) определяются естественным соотношением:

$$d = 1 - s$$

Исходные данные сходства между просодическими системами славянства приведены в табл. 2.

*Таблица 2*

**Данные сходства между просодическими системами славянства**

| | Словен. | С.-х. | Мак. | Болг. | Польск. | Чеш. | Словац. | Укр. | Бел. | Русск. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Словен. | | 0,5000 | 0,5000 | 0,4643 | 0,4285 | 0,5714 | 0,5536 | 0,4643 | 0,6071 | 0,5357 |
| С.-х. | | | 0,8036 | 0,5357 | 0,4643 | 0,5000 | 0,6964 | 0,6071 | 0,4285 | 0,5357 |
| Мак. | | | | 0,6250 | 0,4821 | 0,4821 | 0,6429 | 0,6250 | 0,6250 | 0,4286 |
| Болг. | | | | | 0,3571 | 0,2857 | 0,4464 | 0,6071 | 0,6429 | 0,5357 |
| Польск. | | | | | | 0,6429 | 0,5893 | 0,4643 | 0,4643 | 0,5357 |
| Чеш. | | | | | | | 0,7321 | 0,4286 | 0,3214 | 0,3926 |
| Словац. | | | | | | | | 0,4821 | 0,3393 | 0,3036 |
| Укр. | | | | | | | | | 0,6607 | 0,6607 |
| Бел. | | | | | | | | | | 0,8215 |
| Русск. | | | | | | | | | | |

Рис. 1. Общая схема расстояния между славянскими языками
(а/ и б/ отличаются только разным подходом к месту словенского языка в системе)
1 — белорусский; 2 — русский; 3 — украинский; 4 — болгарский; 5 — македонский; 6 — сербскохорватский; 7 — словенский; 8 — словацкий; 9 — чешский; 10 — польский

Далее вступает в действие алгоритм Linker с указанным подалгоритмом. Согласно этому алгоритму определяется и фиксируется пара языков с наибольшим сходством (или наименьшим расстоянием). Затем эта пара объединяется в класс и пересчитываются средние расстояния между полученным классом и всеми другими просодическими системами. Этот цикл повторяется до тех пор, пока все системы не будут объединены. Этот алгоритм дает не только упорядочение последовательного объединения в классы (структуру сходства), но и количественные показатели уровня этого объединения.

В результате применения этого алгоритма получается схема, представляющая структуру (в прямом смысле) сходства просодических систем славянства (рис. 1).

Области максимального сходства — это русско-белорусская зона (0,8215), сербскохорватско-македонская (0,8036) и чешско-словацкая (0,7321). Минимальное сходство — 0,4956 — соединяет словенский язык как с группой сербскохорватско-македонско-болгарского, так и с группой чешско-словацко-польского языков. Надо отметить, что сам уровень сходства всех славянских языков очень высокий, даже минимальное сходство здесь едва заметно отличается от 0,5.

Особое положение словенского языка в просодическом ландшафте коррелирует, напр., с такими его особенностями, которые были отмечены в работе по квантитативной типологии славянских частиц (Николаева 1985). Так, по критерию количества лексем-частиц, известных только одному языку, словенский язык занимает особое место (в нем 88 таких слов — ср. в македонском 5). Второй критерий: сколько из этого числа частиц принадлежит только словен-

скому языку? Словенский язык и по этому критерию оказывается глубоко индивидуальным (Николаева 1985, 132) — из общеславянского фонда частиц в словенском оказывается 2514. Замечательно то, что, будучи максимизированным по числу унаследованных лексем этого класса, словенский язык занимает особое место и по числу заимствований, и по числу новообразований из форм полнозначных слов (Николаева 1985, 135).

Теперь постараемся представить эти различия в уровне сходства (или расстояния) между славянскими языками визуально. Здесь достаточно представить язык не в виде реальной карты его распространения, а в виде диаграммы соответствующего ареального расположения. Тогда мера различия — расстояние между языками будет представлено 3 координатой — напр., высотой (скажем, пиком на диаграмме). Так, с точки зрения словацкого языка структура различий — расстояний между славянскими языками будет выглядеть следующим образом (рис. 2).

Как уже отмечалось, структура сходства (или расстояний) между языками различается в зависимости от точки отсчета: будем ли мы смотреть на язык с точки зрения какого-либо языка внутри описываемой системы или будем наблюдать извне системы описания (Лекомцева 1987, 121—122). Можно сравнить рис. 2 — ландшафт, открывающийся с точки зрения словацкого языка — и рис. 3 — ландшафт, соответствующий структуре сходства славянских просодических систем в целом, соответствующий взгляду "извне".

Рассматривая открывающийся таким образом ландшафт, стоит обратить внимание на 3 ядра максимального сходства, соответствующих 3 группам традиционно выделяемых славянских языков. Здесь можно сказать, что indoles classificatoria просодического уровня оказались близки к признакам исторической фонетики, служившим до сих пор основанием деления славянских языков. Исследование взаимных связей — импликаций и других зависимостей — между этими признаками, как и между выделенными собственно просодическими соотношениями, представляет нашу дальнейшую задачу.

Пока стоит отметить, что полученный ландшафт все же не совпадает с традиционным — главным образом в том, что он гораздо больше содержит нюансов. Мы видим, что украинская и болгарская системы образуют переходную зону, связывая 3 ядерных области. Мы обращаем внимание на то, что польский и словенский образуют как бы крайние полюсы системы, напоминая результаты типологии А.В. Исаченко (Isačenko 1939). Интересно и то, что географически славянские языки разрезаны "проливом" венгерского и германо-романских языков, но с точки зрения структуры сходства славянские языки образуют единый континиум. Как всякая система признаков, общих для развивающихся генетически сходных объектов, предложенная система допускает движение по шкале расстояния — с минимизацией и максимизацией значений признаков, считающихся для исследователя релевантными. Эту типологическую относительность необходимо учитывать всегда и понимать, что число объектов задано для исследования извне — как в нашем

Рис. 2. Просодический ландшафт славянства с точки зрения словацкого языка

Рис. 3. Общий вид просодического ландшафта славянства

случае, вполне возможно, что при изменении геополитической карты славянского мира оптика просодического ландшафта может измениться.


*Аванесов Р.И.* Русское литературное произношение. М., 1969.

*Бірыла М.В.* Фанетика. Арфаэпія. Курс сучаснай Беларускай літаратурнай мови. Мінск, 1961.

*Конески Б.* Граматика на̀ македонскиот литературен јазик. Дело I. Скопје, 1952.

*Кривнова О.Ф.* Составляющая несущего тона в структуре мелодической кривой фразы // Исследование по структурной и прикладной лингвистике. М., 1975.

*Лекомцева М.И.* К типологии фонологических структур слова в славянских языках // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968. С. 277—295.

*Лекомцева М.И.* Структура сходства фонологических систем языков БЯС // Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы. София, 1989. Лингвистика. М., 1989. С. 113—122.

*Наконечный М.Ф.* Фонетика // Курс сучасної української літературної мови. Т. I. Київ, 1951.

*Николаева Т.М.* Фразовая интонация славянских языков. М., 1977.

*Николаева Т.М.* Интонация вопросительных предложений: славяно-финноугорские параллели // Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Odjeljenje društvenih nauka. Kn. 22, Sarajevo, 1989.

*Мишева Георгиева А.* Интонационна система на съвременния български книжовен език. Автореф ... докт. филол. наук. София, 1987.

*Перебийніс.* Кілокісні та якісні характеристики системи фонем сучасної української літературної мови. Київ, 1970.

*Прокопова Л.И.* Приголосні фонеми сучасної літературної мови. Київ, 1958.

*Стойков А.С.* Увод във фонетиката на българския език. София, 1966.

*Тилков Д.* Някои наблюдения върху промените на интензитета при ударените и неударените гласни // Изв. на ин-та за българския език. 1970. Кн. XIX.

*Толстая С.М.* Утрата ринезма в славянских языках // Структурно-типологические исследования. М., 1964.

*Трубецкой Н.С.* Основы фонологии. М., 1960.

*Bertinetto P.M.* Strutture prosodiche dell' italiano. Firenze, 1981.

*Bolinger D.* Intonation across languages //Human language. Stanford, 1978.

*Czekman W., Smułkowa E.* Fonetyka i fonologia języka bialoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej. W-wa, 1988.

*Goebl H.* Dialektometrie. Wien, 1982.

*Isačenko A.V.* Versuch einer Typologie der slavischen Sprachen // Linguistica Slovaca, 1. 1939.

*Lehfeldt W.* Phonologische Typologie der slavischen Sprachen // Die Welt der Slaven, XVII. H. 2. 1974. S. 318—339.

*Lehiste J.* The phonemes of Slovene // International Journal of Slavic Linguistics and Poeties, IV, 1961.

*Lehiste I.* Suprasegmentals. Cambr.-Mass. 1970.

*Lehiste I., Ivić P.* The intonation of yes-or-no qwestions — a new Balkanism? // Balkanistica, VI, 1980.

*Lehiste I., Ivic P.* Word and sentence prosody in Serbocroation. Cambr.-Mass. t., 1986.

*Lekomceva M.I.* On interpretation of linguistic maps // Mathematical processing of cartographie data. Tallinn, 1979.

*Lekomceva M.I.* Spatial configuration of types of phonological systems of Central and South-European languages // Proceedings of Phonetic Sciences, V, Tallinn, 1987.

*Maretić T.* Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Zagreb, 1963.

*Masing L.* Die Hauptformen des serbisch-chorwatischen Accents // Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St. Petersbourg. 1876, b, Séries. 7, v. 23.

*Pauliny E.* Slovenská fonologia. Bratislava, 1979.

*Sawicka J.* Structura grup spólgłoskowych w językach slowiańskich. Wrocław etc., 1974.

Slovenski Pravopis. Ljubljana, 1962.

*Späth H.* Cluster-Analysen-Algorithmen zur Object Klassifirrierung und Datenreduktion. München-Wien, 1975.

*Stankiewicz E.* Towards a phonemic typology of the slavic languages // American contributions to the Fourth International Congress of Slavicists. Moscow, 1958. Mouton & Co., 1958.

*Toporišič J.* Liki slovenskih tonemov // Slavistična revija, 1968. L. XVI.

*Uhlár V.* Z problematiky melodie opytovacích viet v slovenčine // Jazykovědne studie, v. 11, 1971.

*Vermeer W.* The treatment of the Proto-Slavic falling tone in the Resian dialects of Slovene // Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics. Amsterdam, 1984.

*Вяч.Вс.Иванов, А.В. Головачева, Т.Н. Молошная, Т.Н. Свешникова*

# ТИПОЛОГИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ В СЛАВЯНСКИХ И БАЛКАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Сектор структурной типологии славянских и балканских языков Института славяноведения и балканистики провел исследования двух категорий — определенности—неопределенности и посессивности — в языках славянской семьи и балканского языкового союза. Эти исследования напечатаны в виде двух коллективных монографий[1]. Хотя они по времени отделены друг от друга, в подходе к исследованию есть много общего. Концепция типологических исследований исходит из семантических критериев, соединяемых с формальными (например, определенный тип притяжательного местоимения, вводимый как критерий в книге о посессивности). Авторы считают, что типология может строиться эмпирически на основе сопоставления разных языков по единой схеме, априорные построения которой проверяются в ходе конкретной работы.

Типологическая и контрастивная модели в этом случае понимаются как частный случай построения (мета)языковой системы на основе сопоставления ряда отличных друг от друга (хотя изначально родственных или ареально сблизившихся друг с другом) систем. Иначе говоря, речь идет о внесении в общую модель всех тех черт, которые присущи каждой из систем, но обладают свойством переводимости на систему категорий других сопоставляемых языков. Принцип контраста существен там, где он позволяет очертить рамки каждого из языков в их противоположении другим.

В дальнейшей работе авторы продолжали изучение грамматических категорий, обращая внимание как на морфологические (в частности, в глаголе), так и на синтаксические способы их выражения.

Ниже приводятся фрагменты типологических исследований различных грамматических категорий в славянских и балканских языках.

## КАТЕГОРИЯ ЛИШИТЕЛЬНОСТИ

Славянские языки характеризуются наличием нескольких архаических форм, в которых отсутствие какого-либо свойства или предмета выражено посредством привативного элемента (в древности — отрицания, позднее в некоторых языках ставшего из первого члена словосочетания привативным префиксом, как в греческом): рус. *у-душье, у-богий* (с инославянскими параллелями). Для раннеславянского периода этот тип обозначения лишительности можно реконструировать как преобладающий и продолжающий старую индоевропейскую модель (и.-е. **n-/*ne-* > о.-слав. **q-/*ne-*). В позднейший (но еще не общеславянский) период под влиянием иранских языков и на основе общего с ними морфемного обозначения лишительности вырабатывалась новая префиксальная модель (тип. рус. *без-дом-н-ый*), соотнесенная с исходной предложной (тип *без дома*). Сравнение с

языками (енисейскими и алтайскими) сибирского ареала, где широко распространены аналогичные способы выражения лишительности (в том числе и с помощью особого падежа, как и в кетском и югском), позволяет предположить общеевразийский характер этого типа. Иначе говоря, можно думать, что грамматическая категория лишительности, соотносимая с посессивностью и ей противоположная, может быть одной из черт типологического строя евразийского языкового союза (особенно его сибирской зоны, простиравшейся и на юг к Центральной Азии).

Характерной особенностью языков, входивших в центрально-азиатскую зону евразийского языкового союза, было использование лишительных конструкций как ключевых в пределах одного текста, строящегося на лишительности как сквозном приеме, ср. в тохарском А *sne wāwlesu sne psäl* 'без (тох.А *sne*, тох.В *snai* = лат. *sine* 'без' > фр. *sans*) наработанного, без шелухи', повторяющееся дважды в "Puṇyavantajaka" 2а 3,5. Тохарское синтаксическое противопоставление двух предметов (тох.А *śla* 'с', *sne* 'без'), обозначающих соответственно комитативность—сопутствие и каритативность—лишительность, сходно типологически с аналогичным морфологическим противопоставлением падежей с двумя подобными значениями в тибетском и в енисейских языках. Возможность передачи лишительности любым из этих способов подтверждается систематическим переводом санскритских приративных сложений с начальным *a(n)-* 'не-' посредством сочетаний с тох.А *sne,* тох.В *snai* 'без': тох.А *sne-miyaslune* 'a-vihiṃsa', 'без причинения ущерба', *sne-ykorñe* 'a-pramāda', 'без небрежности', *sne-lyutār* 'an-utttara', 'не чрезмерно', тох.В *snai-yparwecce* 'an-ādi', 'без начала' и т.п. Синхронные соотношения в этих санскритско-тохарских переводах аналогичны диахроническому соотнесению славянских архаических приративных сложений типа др.-рус. **оу-родъ, оу-богъ** (ср. к значению хет. *a-šiwat-* 'нищий' < 'без Бога, без дара Божьего') и более поздних синтаксических конструкций с предлогом типа рус. *без(ъ)* (*у-род*: *без рода, у-бог*: *без Бога*; слова архаического типа в современном русском языке переосмыслены). Рус. *без рода без племени, без рук без ног* (ср. *язык без костей* при др.-инд. *an-astha-,* гр. 'αν-όστεος) могут служить славянскими примерами использования лишительности как сквозного приема построения (микро)текста, ср. развитие приема у Пушкина: "Без божества, без вдохновенья..."

## ТИПОЛОГИЯ ПАДЕЖА В ПОСЕССИВНЫХ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ

Семантика посессивных глагольных семантико-синтаксических структур PsVR (имя посессора — глагол-предикат — имя объекта обладания) определяется, с одной стороны, их лексическим наполнением, т.е. семантикой входящих в них слов, а с другой стороны — семантикой их синтаксиса, включающей в себя и семантику падежей, участвующих в их построении. При этом в каждом типе структур существует свой набор семантических, лексических или синтаксических

средств, являющихся доминирующими при формировании языковой семантики данной структуры, а именно семантика предиката V, семантика имени объекта обладания R, а также падежные формы имен посессора Ps и объекта обладания R.

В данной статье нами исследовались структуры русского, польского, чешского и словацкого языков, включающие в себя предикаты со значением тактильного действия ('погладить', 'ударить', 'поцеловать')[2]; для каждого из рассматриваемых глаголов в каждом из рассматриваемых языков были определены соответствующие им падежи имен Ps и R, при этом каждому падежу имени посессора и имени объекта обладания соответствовал свой набор из перечисленных выше глаголов. В связи с этим представляется целесообразным классифицировать материал по трем принципам — в зависимости от падежа имени R, в зависимости от падежа имени Ps и в зависимости от семантики предиката V. Сопоставления этих классификаций позволяет выявить конституирующую роль каждого из элементов модели.

В зависимости от падежной формы R могут быть выделены три класса структур: аккузативный ($R_{acc}$), локативный ($R_{loc}$) и номинативный ($R_{nom}$).

Класс $R_{acc}$ включает в себя три типа конструкций в зависимости от падежной формы Ps: дативный ($Ps_{dat}R_{acc}$), локативный ($Ps_{loc}R_{acc}$) и местоименный ($Ps_{pron}R_{acc}$).

Структуры типа $Ps_{dat}R_{acc}$ описывают действие, совершаемое посессором или некоторым другим лицом, направленное на часть тела посессора Ps и затрагивающее при этом самого посессора[3]. При этом в польском языке структуры $Ps_{dat}R_{acc}$ с рассматриваемыми глаголами вообще не употребляются (ср. **Pocałowała mu policzek*). Глагол 'ударить' не употребляется в данном типе структур ни в одном из рассматриваемых языков, поскольку этот глагол предполагает прямой объект только одушевленным ('ударить кого-л.'); часть тела, как и любой другой неодушевленный предмет, не может служить прямым объектом такого действия (ср. рус. **ударить руку*, **ударить стол/ударить по руке, по столу*). Глаголы 'поцеловать' и 'погладить' входят в структуры $Ps_{dat}R_{acc}$ в чешском и словацком языках: чеш. *Zlíbal jí tváře*, слвц. *Pobozkal jej ruku,* где они обозначают действие, направленное на часть тела посессора и затрагивающее самого посессора. В русском глагол 'поцеловать' употребляется в этих структурах в значении не столько ласкательного, сколько ритуального действия, лишенного какой-либо фамильярности, ср.: *поцеловал ей руку/*поцеловал ей голову*.

Структуры типа $Ps_{loc}R_{acc}$ характерны только для русского языка и включают только глаголы ласкательного значения (а, точнее, глаголы, обозначающие ласкательное действие в ритуальной его модификации), при этом узус весьма ограничен, ср. у Пушкина: <...> *это твой посажённый отец, поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит.*

Структуры типа $Ps_{pron}R_{acc}$ обозначают действие, направленное на часть тела посессора и не затрагивающее при этом посессора;

Ps представлен в них не падежной формой, а притяжательным местоимением (или изофункциональным ему родительным принадлежности $R_{acc}Ps_{gen}$). Такие сочетания не характерны для чешского и словацкого языков, менталитет которых, по-видимому, вообще не склонен интерпретировать процессы, происходящие с частью тела, изолированно от ее посессора. В польском и русском языках в таких сочетаниях может употребляться глагол 'поцеловать': *поцеловал ее руку* (ср. **поцеловал ее голову*); *całował jej ramiona, jej twarz, jej głowę.* Выражаемое такими структурами действие совершается агенсом "для себя" (а не для посессора, который при этом может оставаться безучастен), при этом в русском действие носит по преимуществу ритуальный характер, в польском — как ритуальный, так и эмоциональный.

Структуры класса $R_{loc}$ обозначают действие, совершаемое "в локусе" (пространстве) части тела R. Этот класс включает в себя пять типов конструкций: два личных ($Ps_{acc}R_{loc}$ и $Ps_{dat}R_{loc}$) и три типа безличных структур. Личные конструкции обозначают действие, совершаемое некоторым лицом по отношению к посессору в локусе его части тела R, безличные — процесс, происходящий в локусе части тела R. Наиболее распространенные в рассматриваемых языках личные конструкции $Ps_{acc}R_{loc}$ описывают действие, совершаемое в локусе части тела посессора и направленное на посессора (наивысшая степень затронутости Ps действием): рус. *поцеловать кого-л. в голову.* Помимо глаголов ласкательного значения, в этих структурах широко употребляется глагол 'ударить', ср. рус. *погладить, ударить кого-л. по голове.* На периферии узуса находятся структуры типа $Ps_{dat}R_{loc}$, употребляемые лишь с глаголами в значении 'ударить': ср. рус. *дать, врезать кому-л. по морде.* Три типа безличных структур: $Ps_{acc}R_{loc}$, $Ps_{dat}R_{loc}$, $Ps_{loc}R_{loc}$ также малоупотребительны и обозначают обычно физическое состояние человека: ср. пол. *boli go w dołku, szumiało mu w głowie,* рус. *у него потемнело в глазах.* Эти структуры значительно менее употребительны, чем структуры с $R_{nom}$ (см. ниже).

Структуры класса $R_{nom}$ обозначают действие, агенсом которого является часть тела R. Класс включает в себя три типа структур: дативные $Ps_{dat}R_{nom}$, аккузативные $Ps_{acc}R_{nom}$ и локативные $Ps_{loc}R_{nom}$. Последний тип характерен лишь для русского языка, склонного трактовать действия и процессы, агенсом которых является R, как происходящие в локусе Ps: *у него болит голова.* Западнославянские структуры $Ps_{dat}R_{nom}$ и $Ps_{acc}R_{nom}$ различаются семантически по степени затронутости Ps действием или процессом: действие, направленное на Ps, в большей степени затрагивает его, чем действие, воспринимаемое им; аккузатив сохраняет в этом случае оттенок значения прямого объекта, а датив — значение воспринимающего субъекта, поэтому процессы, протекающие в части тела (что может быть выражено формами $Ps_{acc}$ и $Ps_{dat}$), в аккузативных конструкциях воспринимаются в известной степени как "направленные" на посессора, а в дативных — как затрагивающие его, ср. пол. *bolały mnie nogi,* чеш. *svědí mě oko,* слвц. *nos ma svrbí* (тип $Ps_{acc}R_{nom}$) и пол. *serce mi zamiera,* чеш. *nos se mu svraštil,* слвц. *hlas sa mu chvel* (тип $Ps_{dat}R_{nom}$).

В зависимости от падежной формы Ps могут быть выделены четыре класса структур: аккузативный, дативный, локативный и местоименный (генитивно-посессивный).

Аккузативный класс структур $Ps_{acc}$ включает в себя три типа структур в зависимости от падежной формы R и личности/безличности предложения: локативный личный $(Ps_{acc}R_{loc})_{pers}$, напр. пол. *głaskał go po głowie,* локативный безличный $(Ps_{acc}R_{loc})_{impers}$, напр. чеш. *bolí ho v kříži*, и номинативный личный $Ps_{acc}R_{nom}$: слвц. *bolia ho nohy*. Действие или процесс, происходящий с частью тела, трактуются здесь как направленные на ее посессора.

Дативный класс структур $Ps_{dat}$ включается в себя четыре типа структур: аккузативный $Ps_{dat}R_{acc}$ (чеш. *pohladil dítěti hlavečku*), номинативный $Ps_{dat}R_{nom}$ (чеш. *chvějí se jí rty*), локативный личный $(Ps_{dat}R_{loc})_{pers}$ (чеш. *kopl mu pod břicho*) и локативный безличный $(Ps_{dat}R_{loc})_{impers}$ (чеш. *hučí mi v hlavě*). В этом классе структур действие или процесс, происходящие с частью тела, трактуются как затрагивающие ее посессора.

Локативный класс структур $Ps_{loc}$ характерен лишь для русского языка и включает три типа структур: аккузативный $Ps_{loc}R_{acc}$ (рус. *поцеловал у него руку*), номинативный $Ps_{loc}R_{nom}$ (рус. *у него болит голова*) и локативный $Ps_{loc}R_{loc}$ (рус. *у него потемнело в глазах*). В этом классе структур действие или процесс, происходящие с частью тела, трактуются русским языком как происходящие в локусе посессора.

Местоименный (генитивно-посессивный) класс $Ps_{pron}R_{acc}/Ps_{gen-poss}R_{acc}$ включает в себя один тип структур, характеризующий действие, направленное на часть тела посессора, как не затрагивающее его "независимое" действие: рус. *погладил ее руку,* пол. *ucałował dłoń królowej*. Структуры этого типа не характерны для чешского и словацкого языков, а в русском и польском употребляются с ограничениями (см. выше).

Вторая классификация имеет те преимущества, что она наглядно демонстрирует убывание степени затронутости посессора действием или процессом, происходящим с его частью тела: 1-й класс — действие направлено на посессора ($Ps_{acc}$), 2-й класс — действие затрагивает посессора ($Ps_{dat}$), 3-й класс — действие совершается "в локусе" посессора ($Ps_{loc}$), 4-й класс — действие не затрагивает посессора ($Ps_{pron}$). Полностью эти четыре стадии представлены только в русском: *поцеловал его в голову (*в руку) — поцеловал ему руку (*голову) — поцеловал у него руку (*голову) — поцеловал ее руку.*

На основании такой классификации можно построить таблицу, дающую информацию о распространенности (употребительности) структур разных типов в рассматриваемых языках для рассматриваемых глаголов (см. табл. 1).

При составлении данной таблицы мы исключили структуры, находящиеся на периферии узуса (см. выше), а также структуры, употребляемые с глаголами состояния. Наиболее употребительными для рассматриваемых глаголов оказались аккузативно-локативные структуры $Ps_{acc}R_{loc}$, трактующие действия как направленные на посессора.

*Таблица 1*

| структуры \ глаголы | погладить | поцеловать | ударить |
|---|---|---|---|
| $Ps_{acc}R_{loc}$ | р, п, ч, с | р, п, ч, с | р, п, ч. с |
| $Ps_{dat}R_{acc}$ | р, ч, с | р, ч, с | — |
| $Ps_{loc}R_{acc}$ | — | р | — |
| $Ps_{pron}R_{acc}$ | р, п | р, п | — |

Дативно-аккузативные структуры $Ps_{dat}R_{acc}$ наиболее употребительны в русском и словацком, менее — в чешском и не употребительны для данных глаголов в польском языке. Локативно-аккузативные структуры $Ps_{loc}R_{acc}$ характерны только для русского языка, структуры "независимого" действия — для русского и польского. Глагол 'ударить' употребителен в структуре, выражающей направленное действие, что связано с его лексико-семантическими свойствами, поскольку в качестве прямого объекта может выступать лишь одушевленный предмет. Отсутствие в польском языке дативно-аккузативных структур для данных глаголов отнюдь не свидетельствует о меньшей распространенности дательного посессивного в польском, ср. пол. *kula zraniła mu nogę, gałęzie podrapały mu twarz, przecięło mu żyły.*

Приведенный обзор падежных форм Ps и R в их сочетании с тактильными глаголами и глаголами состояния дает основание предположить существование в языковой парадигматике падежных комплексов, сочетающихся с глаголами определенной семантики и имеющих при этом собственное языковое значение.

## ИМПЕРАТИВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Общепризнано наличие во всех славянских языках двух косвенных наклонений — императивного (ИН) и сослагательного (СН)[4], сигнализирующих нереальность действия. Это значение нереальности выражается ИН и СН по-разному. Так, призывная модальность императива, заключающаяся в непосредственном волеизъявлении с целью побудить слушателя или собеседника к определенному действию, предполагает наличие двух лиц, участвующих в речевом акте. Этими лицами являются только 1 и 2; 3 лицо исключается из императивной семантики. Использование такого дифференциального грамматико-семантического признака позволяет выявить противопоставление ИН и СН друг другу при их общей противопоставленности индикативу. Соотношение индикатива, ИН и СН можно изобразить с помощью следующей схемы[5] (см. табл. 2).

К ИН, кроме 2 л. обоих чисел, относится также форма 1 л. мн. ч., называемая обычно формой совместного действия, в которой побуждение адресуется одновременно и к собеседнику/собеседникам, и к говорящему: *напишем*! (ты + я), *напишемте*! (вы + я). Обычная форма 1 л. мн. ч. *(мы) напишем* собеседника не включает.

Что касается форм 3 л., то большинство лингвистов не трактует

*Таблица 2*

| Нереальность действия | Ограниченность действия рамками 1 и 2 лиц | |
|---|---|---|
| | Выражена | Не выражена |
| Выражена | Императив:<br>*(на)пиши!*<br>*(на)пишите!*<br>*(на)пишем!* | Сослагательное наклонение:<br>*я бы (на)писал*<br>*ты бы (на)писал*<br>*он бы (на)писал* и т.д. |
| Не выражена | | Индикатив:<br>*я (на)пишу*<br>*ты (на)пишешь*<br>*он (на)пишет* и т.д. |

их как собственно императивные, потому что они выражают не императивное значение в строгом смысле, а пожелание или приказ говорящего, чтобы кто-то третий (не адресат сообщения) выполнил некоторое действие. Форма 1 л. ед. ч. никем, кроме Н.С. Трубецкого, не признавалась императивной формально[6]. В последнее время, однако, к точке зрения Н.С. Трубецкого присоединились В. Лефельдт, А.П. Володин, В.С. Храковский и Л.А. Бирюлин[7], которые включают в парадигму императива и формы 3 л., и форму 1 л. ед. ч.

Во всех славянских языках имеются синтетические формы (СФ) ИН: рус. *иди, идите, идем(те)*; с.-х. *чуј, чујте, чујмо*; чеш. *jdi, jděte, jděme*; пол. *nieś, nieście, niésmy*; бол. *пиши, пишете*; мак. *носи, носете*. В болгарском и македонском языках нет СФ совместного действия, а в серболужицких языках парадигма ИН шире — за счет двойственного числа: *pij* (2 л. ед.), *pijće* (2 л. мн.), *pijtaj* (2 л. дв.), *pijmy* (1 л. мн.), *pijmoj* (1 л. дв.). Таковы весьма серьезные различия между славянскими языками в области СФ императива.

Достаточно часто в лингвистической литературе встречается утверждение о существовании, кроме синтетических, также и аналитических форм (АФ) императива. Имеются в виду сочетания глагольных форм с различными модальными побудительными, запретительными и др. частицами. Так, в русском языке АФ нередко объявляются сочетания частицы *пусть/пускай* с формами наст. или буд. вр. (*Пусть/Пускай идет, Пусть/Пускай придут*), частицы *давай/давайте* с инфинитивом или 1 л. мн. ч. буд. вр. (*Давай/Давайте писать, Давай/Давайте напишем*), частицы *да* с формами наст. вр. (*Да здравствует!*), междометия *айда/айдате* с инфинитивом или с 1 л. мн. ч. буд. вр. (*Айда гулять!; Айда погуляем!*). В чешском языке в качестве аналитического императива рассматриваются следующие сочетания слов: частицы *ať, nechť, kéž* и личн. формы наст. вр. (*Ať přijde, Nechť jede, Kéž se objeví*). В польском к АФ относят сочетания частицы *niech/niechaj/niechże* с личн. формами наст. или простого буд. вр. (*Niech wejdzie, Niechaj biorą, Niechże wróci*). В сербскохорватском языке параллельно с СФ императива функционируют сочетания частиц *да* и *нека* с наст. вр. (*Да идем, Нека бежи*); частица

*хайде/хайдете/хайдемо* при синтетическом императиве усиливает его значение (*Хайде, изиди овамо!*). Многие грамматисты считают, что в болгарском языке для всех лиц и чисел возможны АФ ИН с частицами *да* и *нека* (*Да мълча!; Да си вървиш!; Да тръгне!; Да мълчат!; Нека отида!; Нека те испъди!; Нека мълчите!; Нека мълчат!*)[8]. Некоторые другие авторы, например, Ю.С. Маслов, не признают в болгарском языке АФ ИН с указанными частицами. Ю.С. Маслов рассматривал конструкции с *да* в качестве конъюнктива[9]. Кроме *да* и *нека*, в болгарском языке имеется целый ряд других побудительных частиц, служащих для усиления императивной семантики: *а, дано, де, я, ха, хайде (Де не плачи!)*. В болгарском существует также некоторая императивная синтаксическая модель, отличающая его от западнославянских — это беспаузовое следование двух СФ императива, из которых первая представлена глаголом движения (*ела си вземи*). В польском и чешском языках в подобных императивных конструкциях вторая форма бывает выражена инфинитивом (пол. *chodź to zrobić*, чеш. *jdi se pobavit*). В русском языке так же, как в болгарском, возможно сочетание двух синтетических императивов, если первый из них является глаголом движения (*иди позови*).

В сербскохорватском, болгарском и македонском языках имеются составные конструкции, выражающие отрицательное императивное значение — запрет производить действие: с.-х. *немој/немојте/немојмо* + инфинитив или *да*-сочетание (*Немојте плакати; Немој да се срамиш)*; бол. *недей/недейте* + "сокращенный инфинитив" или *да* с личн. формой наст. вр. (*Недей писа; Недей да пишеш*); мак. *немој/немојте* + *да* + наст. вр. (*Немој да одиш; Немојте да одите*). Естественно, во всех этих языках есть и синтетическая отрицательная форма императива: с.-х. *не иди*, бол. *не чети*, мак. *не кажи*.

Представляется необходимым обратить внимание на тот факт, что для всех славянских языков характерно более частое использование несов. в. глагола по сравнению с сов. в. в императиве с отрицанием. Но эти языки, кроме болгарского, все же допускают сов. в. в случае, когда запрет относится к будущему действию с намеком на возможные последствия его осуществления (значение предостережения: рус. *Не упади!*; чеш. *Nezlom si nohu*!; с.-х. *Не убиј*!). В болгарском языке в отрицательной императивной конструкции с *недей/недейте* сов. в. не употребляется, а в сербскохорватском языке в соответствующей конструкции сов. в. возможен: ср. бол. *Недей писа* и с.-х. *Немој написати*. Однако несмотря на принципиальную возможность употребления сов. в. в отрицательных императивных формах южнославянских языков, тенденция развития этих языков, осуществленная в болгарском, — устранение сов. в. из сферы императива с отрицанием. Данное утверждение не относится к словенскому языку, который в этом отношении ближе к остальным славянским. М. Ивич, предложившая делить славянские языки на две группы по признаку употребления/неупотребления сов. в. в прохибитиве для случаев, отнесенных в будущее, считает, что этот признак соответствует признаку употребления/неупотребления форм наст. вр. сов. в. в значении будущего[10].

В болгарском отмечаются также сочетания, выражающие требование прекратить или не возобновлять действие, состоящие из частицы *стига* и личн. формы перфекта несов. в. или аориста несов. в. знаменательного глагола: *стига си писал* или *стига писа* (2 л. ед. ч.), *стига сте писали* или *стига писахте* (2 л. мн. ч.). Такие конструкции возможны и с формами других лиц.

Как показало подробное рассмотрение перечисленных глагольных императивных словосочетаний в разных славянских языках[11], значительная их часть довольно частотна, лишь некоторые изолированы, например, *да* + наст. вр. в русском языке. В их состав входят глагольные формы всех лиц и чисел, в частности, 3 л. ед. и мн. ч. и 1 л. ед. ч., которые, как утверждают наиболее авторитетные грамматисты, не могут быть включены в парадигму императива. Следовательно, уже по одной этой причине такие словосочетания нельзя признать АФ ИН. В большинстве глагольных сочетаний с частицами, кроме категориального императивного значения, отмечается разного рода дополнительная семантика, что связано с неполнотой грамматикализации частиц. Степень сохранения лексического значения у разных частиц разная. Наиболее "пустыми", грамматикализованными представляются болгарские *да, нека, недей/недейте*. В соответствии с разной степенью сохранения собственного лексического значения частиц в составе глагольных императивных конструкций отмечается разная степень близости этих конструкций к грамматическим формам императива. Одни из них представляют собой свободные синтаксические сочетания слов, самостоятельно функционирующие в семантическом поле императивности, таковы, например, сочетания с частицами *айда, хайде, ајде, хајде* в русском, болгарском, македонском и сербскохорватском языках. Другие находятся ближе к АФ ИН, хотя и не превратились в них полностью, например, сочетания с *давай/давайте* в русском языке. Это так называемые аналитические конструкции. Третьи, например, бол. *да* и *нека* с формами 2 л. ед. и мн. ч., а также *недей/недейте* с "сокращенным инфинитивом" наиболее близки к положению АФ, наиболее втянуты в императивную парадигму — в один ряд с СФ, особенно благодаря отсутствию в этом языке СФ для 1 л. мн. ч.

## РАНГОВАЯ ГРАММАТИКА РУМЫНСКИХ И БОЛГАРСКИХ КЛИТИК

В структуре балканского текста важную роль играют клитики[12]. К ним относятся одно-двусложные незнаменательные слова — предлоги, союзы, местоимения, частицы, образующие довольно большие группы (комплексы), в которых каждый элемент занимает строго определенное место[13]. Один из возможных способов описания таких групп — ранговая грамматика, или грамматика порядков[14]. В данном исследовании используется методика, разработанная в известной статье И.И. Ревзина и Г.Д. Юлдашевой[15], — в ее применении к румынскому и болгарскому материалу. При этом мы ограничиваемся анализом групп клитик, центральным элементом которых являются показатель конъюнктива *să* в румынском и союз *да* в болгарском.

*Таблица 3*

| Порядок<br>Клитика | − 2 | − 1 | O | + 1 | + 2.1 | + 2.2 | + 3.1 | + 3.2 | + 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nu | fără | să | nu | îmi<br>îţi<br>îi<br>ne<br>vă<br>le | îmi<br>îţi<br>îşi<br>ne<br>vă<br>îşi | mă<br>te<br>îl, o<br>ne<br>vă<br>îi, le | mă<br>te<br>se<br>ne<br>vă<br>se | cam<br>mai<br>prea<br>şi<br>tot |

*Таблица 4*

| Порядок<br>Клитика | − 2 | − 1 | O | + 1 | + 2.1 | | + 2.2 | + 3.1 | + 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | не | без | да | не | ми<br>ти<br>му<br>й<br>ни<br>ви<br>им | си | си | ме<br>те<br>го<br>я<br>ни<br>ви<br>ги | се |

Способы порождения этих групп клитик отражены в табл. 3 и 4.

Как можно видеть, центральным элементом группы является для румынского показатель конъюнктива *să*, который никогда не опускается и потому образует минимальную группу. В болгарском аналогичную роль играет союз *да*. Ср., например: рум. *Şi poruncind mulţimii să şadă jos pe pămînt, a luat cele şapte pîini şi peşti* (Mat., 15, 35—36)*; бол. *Тогава заповяда народу да насяда на земята* (Мат., 15, 35).

Клитикой +1 порядка служит отрицательная частица *nu* в румынском и, соответственно, *не* в болгарском: *Atunci a poruncit ucenicilor Lui să nu spună nimănui că El este Hristosul* (Mat., 16, 20); *Тогава Иисус заповяда на учениците Си, никому да не обаждат, че Той, Иисус, е Христос* (Мат., 16, 20); рум. *Şi cînd a sosit în acest loc, le-a zis: Rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispită* (Luca, 22, 40); бол. *молете се да не паднете в изкушение* (Лука, 22, 40); ср. также: рум. *Vi se întîmplă să nu vă aduceţi aminte în ce zi sînteţi* (Seb., 35) 'С вами бывает, что вы не помните, какой сегодня день?'; бол. *се плашеха да не бъдат убити.*

Следующий (+2) порядок можно разбить на два подпорядка. К +2.1. подпорядку относятся личные безударные местоимения в дативе. В отличие от показателя конъюнктива *să* в румынском и союза

* В работе использованы следующие издания: Biblia. Bucureşti, 1988; Библия. Н.З. София, 1982 (в скобках указаны номера глав и стихов).

*да* в болгарском, а также отрицательных частиц в обоих языках, которые не допускают никаких замен, личные местоимения образуют парадигмы из шести элементов в румынском и семи в болгарском, так что каждое местоимение в зависимости от смысла может замещаться другими представителями своей парадигмы. Ср., например: рум. *Cornelia începe să-mi spună că...* (Blaga, 256) 'Корнелия начинает говорить мне, что...'; *Eu am vrut să-i cumpăr o perucă* (Neagu, 67) 'Я хотел(а) купить ему (ей) парик'; *Trebuie să ne-o cultivăm* (A. Bl., 9) досл. 'Надо, чтобы мы в себе ее культивировали'; бол. *Започва да им бáе; Той се отказа да им пише повече хроники; И натъжи се царят; но заради клетвата и сътрапезниците си заповяда да ѝ я дадат* (Мат., 14, 9).

Возвратные местоимения в дативе входят в +2.2 подпорядок. Ср.: рум. *Nu poţi să ţi-o închipui* (C. Petr., 268) 'Ты не можешь себе ее вообразить'; как и предыдущий подпорядок, подпорядок +2.2 образует парадигму из шести элементов.

+3 порядок также распадается на два подпорядка. Подпорядок +3.1 состоит из восьми элементов в румынском и семи в болгарском. Его образуют личные безударные местоимения в аккузативе. Примеры: рум. *Pentru aceasta, Pilat căuta să-L elibereze* (Ioan, 19, 12); бол. *От това време Пилат търсеше случай да Го пусне* (Иоан, 19, 12); рум. *Deci au aruncat-o şi nu mai puteau s-o tragă de mulţimea peştilor* (Ioan, 21,6); бол. *И не можаха вече да я измъкнат поради многото риба* (Иоан, 21,6); рум. *Vrei să le numeri pe toate*? (Seb., 74) 'Ты хочешь их все пересчитать?'; *Şi-ncepe să-i descînte* (Bîrlea, III, 11) 'И начинает их заговаривать'. Подпорядок +3.2 включает возвратные местоимения в аккузативе, образующие в румынском парадигму из шести элементов, а в болгарском представленные возвратным местоимением *се*. Ср., например: рум. *Mă gîndesc să nu se prăbuşească prăpastia* (Sor., 25) 'Я думаю о том, чтобы не разверзлась пропасть'; бол. *И тъй, в събота е позволено да се прави добро* (Мат, 12,12); *А Той отговори и рече: не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата* (Мат., 15, 26); *Възможност да ми се напечатат две томчета; Най-после животът започваше да им се усмихва.*

К +4 порядку в румынском относятся наречия *cam* 'немного, чуть-чуть', *mai* 'еще, больше', *prea* 'слишком', *şi* 'как раз, именно; тотчас же', *tot* 'и сейчас, еще; все время, постоянно'. Ср.: *Imposibil s-o mai recunoască* (Min., 37) досл. 'Ее уже невозможно узнать'; *Ai voit să-mi şi dau părerea asupră-i* (DLRLC, IV, p. 340) 'Ты хотел, чтобы я еще и мнение свое о ней высказал'. В болгарском этот класс наречий выделить не удается, в чем проявляется его отличие от румынского.

В качестве элемента −1 порядка выступают предлоги *fără* в румынском и *без* в болгарском. Они в значительной мере утратили свою предложную функцию и выступают как показатели связи слов. Ср., например: рум. *Am lăsat butoiul fără să beau* (Băn., 75) досл. 'Я оставил бочку, не выпив из нее'; *Să sar din tren fără să mă lovesc prea rău* (Băn., 59) 'Выскочить из поезда и не очень ушибиться'; бол. *Да се изскочи от влака без да се удари;* рум. *Mersi! rosti, fără să*

*mai aştepte de astă* dată *mustrarea privirilor* (Petr., 11); бол. *Мерси! — каза тя, без да чака тоя път укорителните погледи* (Петр., 10).

К −2 порядку относится отрицание *nu* в румынском и, соответственно, *не* в болгарском. Оно отличается от отрицательной частицы, входящей в +1 порядок, тем, что сочетается с предлогом, в отличие от первой, которая является отрицанием при глаголе. Обе отрицательные частицы находятся в отношении дополнительного распределения. Ср., например: *Ne-am despărţit nu fără să stabilim o altă oră* (Blaga, 243) досл. 'Мы расстались не без того, чтобы назначить другой час'.

Заметим, что центральный элемент группы клитик в обоих языках может сочетаться с клитикой любого порядка. Порядки группируются вокруг центрального элемента, образуя самые разные сочетания. То, что какой-то порядок опущен, не меняет действительного порядка следования элементов. Исключение составляет −2 порядок, который не может присоединяться к центральному элементу без −1 порядка. Ср. рум. *nu fără să*, но не: *nu să* и, соответственно, бол. *не без да...* (но не *не да...*).

Примеры различных сочетаний клитик:

Группа из одного элемента: *să*; *да*.

Группа из двух элементов: рум. *fără să; să nu, să-i, să te, să mai;* бол. *без да, да не, да го, да им, да ги, да я, да ви, да ѝ, да му, да се.*

Группа из трех элементов: рум. *fără să nu, nu fără să, să nu-ţi, să nu vă, să nu mai, să mi-l*; бол. *без да не, не без да, да не го, да му се, да ѝ я, да им се.*

Группа из четырех элементов: рум. *fără să nu mai, să nu-i mai, să mi-l mai.*

Группа из пяти элементов: рум. *să nu i le mai.*

Изложенные выше наблюдения над комплексами румынских и болгарских клитик и попытка установить их иерархию представляют собой один из подходов к проблеме так называемых неполнозначных слов в ее грамматико-типологическом аспекте.

Типологические исследования структуры и функционирования различных грамматических категорий славянских и балканских языков позволяют обнаружить ряд формальных и семантических универсалий, а также выявить определенные типологическиие различия, на основании чего может быть построена типологическая классификация рассматриваемых языков.

[1] Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979; Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., 1989.

[2] *Головачева А.В.* Категория посессивности в плане содержания // Категория посессивности...; *Она же.* Семантические функции падежа в западнославянских и русском языках // Синхронно-сопоставительное изучение грамматического строя славянских языков: Тез. докл. и сообщ. советско-польской конференции 3—5 октября 1989 г. М., 1989; *Она же.* Семантические фукнции падежа в посессивных структурах // Проблемы сопоставительной грамматики славянских языков. М., 1990.

[3] *Wierzbicka A.* A Study of the Polish Dative // Case in Slavic. — Columbia, Ohio, 1986; *Idem.* Ethno-syntax and the Philosophy of Grammar // Studies in Language. Amsterdam, 1979. V. 3. N. 3.

[4] Из разных названий этого косвенного наклонения "условное", "потенциальное", "желательное" и проч. предпочтительным представляется термин "сослагательное". Преимуществом этого термина является его отвлеченность: он не описывает значения данной формы, а лишь условно ее называет.

[5] Ср. *Исаченко А.В.* Грамматическнй строй русского языка в сопоставлении с словацким. Ч. II. Морфология. Братислава, 1960. С. 474.

[6] Troubetzkoy's Letters and Notes. The Hague; Paris, 1975. P. 223.

[7] *Lehfeldt W.* К определению множества словоформ повелительного наклонения в современном русском литературном языке // Russian Linguistics, 1981. V. 5, 267—385; *Володин А.П., Храковский В.С.* Парадигма русского императива // Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 719, 1985; *Бирюлин Л., Храковский В.* Парадигма славянского императива с общетнпологических позиций // Prace slawistyczne Instytutu słowianoznawstwa PAN, N 89. W-wa, 1991.

[8] *Андрейчин Л.* Грамматика болгарского языка. М., 1949; Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. Морфология. София, 1983; *Куцаров Ив.* Очерк по функционално-семантична граматика на българския език. Пловдив, 1985.

[9] *Маслов Ю.С.* Грамматика болгарского языка. М., 1981. С. 286—288.

[10] *Ивић М.* Употреба вида у словенском императиву с негацијом // Славянская филология. II. М., 1958.

[11] *Молошная Т.Н.* О так называемых аналитических формах императива в славянских языках // Синхронно-сопоставительное изучение грамматнческого строя славянских языков... *Она же.* К вопросу о так называемых аналитических формах императива в русском языке // Russian Linguistics, 1990, V. 14, N 1; *Она же.* Об аналитических формах императива в славянских языках // Prace slawistyczne Institutu slawistyki PAN, № 97. W-wa, 1992.

[12] Из обширной литературы, посвященной клитикам, см., например, *Jakobson R.* Les enclitiques slaves // Atti del III Congresso Internazionəle dei linguisti. Firenze, 1935; *Găzdaru D.* Sopra una consequenza del carattere di legge fonetica generale della proclisi ed enclisi // *Décaux E.* Morphologie des enclitiques polonais. Paris, 1955; *Иванов В.В.* Хеттский язык. М., 1963, С. 167—170; *Он же.* Общеиндоевропейская праславяиская и анатолийская языковые системы. М., 1965, С. 197 и сл.; *Цыхун Г.А.* Синтаксис местоименных клитнк в южнославянских языках. Минск, 1968.

[13] Ср.: *Цивьян Т.В.* О построении синтаксиса в грамматике балканского языкового союза // III Международный съезд по изучению страи Юго-Восточной Европы. Доклады и сообщения советской делегации. Бухарест, 4—10 сентября 1974. М., 1974, ссылка 4.

[14] Ср., например, *Глисон Г.* Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959. С. 164—169.

[15] *Ревзин И.И., Юлдашева Г.Д.* Грамматика порядков и ее использование // ВЯ. 1969. № 1; ср. также: *Свешникова Т.Н.* Ранговая грамматика румынских клитик // СБЯ. М., 1977.

*А.В. Бондарко*

# ПРЕДЕЛЬНОСТЬ И ГЛАГОЛЬНЫЙ ВИД
## (к проблематике славянской функциональной аспектологии)

**1. Предел и возникновение новой ситуации (к постановке вопроса).** Проводимый нами анализ категории вида в ее связях с оппозицией предельности/непредельности[1] включает не только комплекс признаков ограниченности действия пределом (ОГР) и целостности (Ц)[2], но и признак возникновения новой ситуации (ВНС). Далее ему уделяется основное внимание. Речь идет главным образом о функ-

ционировании форм сов. вида (СВ); по поводу несов. вида (НСВ) мы ограничимся лишь краткими замечаниями.

Признак ВНС связан с характеристикой не только глагольного действия (предиката), но и всей ситуации, включая изменения в состоянии субъекта и объекта[3]. Например: *Цивилизация шла, шла и зашла в тупик. Дальше некуда* (Л. Толстой) — процесс достиг завершения, которое вместе с тем знаменует наступление нового состояния, приписываемого субъекту; *Она узнала его, и удивленная радость осветила ее лицо* (Л. Толстой) — актуально наступление состояния, касающегося всех актантов ситуации; *Валерий вернулся ночью, разбудил нас всех, зажег свечу...* (Г. Горышин) — предел первого действия влечет за собой изменение локализации субъекта, предел остальных действий означает, что субъект, достигнув цели, определяет переход каждого из объектов из одного состояния в другое; в данной конструкции цепь ограниченных пределом целостных действий выступает вместе с тем как ряд сменяющих друг друга "новых ситуаций". Ср. чешск. *Zprvu jsem nechápal, potom jsem se dovtípil* (J. Havlíček) 'Сначала я не понимал, потом догадался' — длительность состояния сменяется результативным ментальным актом, означающим переход субъекта в новое состояние (далее мы ограничимся, как правило, лишь русскими примерами)[4].

Анализ видовой семантики, учитывающий (при разной терминологии) признак ВНС, подготовлен аспектологической традицией. Характеристика перехода к новому состоянию (в связи с понятиями целостности и предела) содержится в опубликованной в 1948 г. статье Ю.С. Маслова, предвосхитившей многие из идей, вошедших теперь в научный обиход. Рассматривая предложения типа *Я вышел из дому,* Ю.С. Маслов пишет: "...действие взято в его целостности, представляющей скачок в новое состояние — от бытия в доме к бытию вне дома..."[5]. Ср. также формулировки типа "факт скачкообразного перехода субъекта или объекта действия в новое качественное состояние" (о глаголах СВ, являющихся членами видовых пар типа *убивать — убить*), "критическая точка, знаменующая переход к новому состоянию, граница, отделяющая новое состояние от старого"[6]. По существу здесь уже заложены основы того подхода к анализу видовых значений, который выявляет соотношение предела и наступления нового состояния в разных типах глагольной лексики, выступающей в различных условиях контекста[7].

В более поздних трудах Ю.С. Маслов развил концепцию, основанную на понятии целостности действия, раскрыв соотношение общих и частных видовых значений в их связях с предельностью и способами действия. Эта теория развивается и в наши дни. Вместе с тем трудно переоценить значение того "лексически фундированного" направления в аспектологии, намеченного в статье 1948 г., которое включает и идею соотнесенности предела ("критической точки") и "перехода в новое состояние".

Связь проблематики предельности и "начала результирующего состояния" четко выявляется в концепции А.А. Холодовича. Предельные процессы трактуются им как позволяющие "предсказать,

что в результате естественного их завершения непременно наступит состояние и этим состоянием будет состояние $s_i$ и только состояние $s_i$, если на пути перехода к этому состоянию не возникнут какие-либо препятствия"[8]. В переходе от процесса с одной степенью свободы к состоянию $s_i$ выделяются три момента: а) сам процесс с одной степенью свободы, б) его естественное завершение и начало результирующего состояния, в) результирующее состояние $s_i$ (*засыпаю — заснул — сплю*)[9].

Связь оппозиции предельности/непредельности (П/НП) с категорией вида очевидна. Любой глагол СВ в любом акте его употребления является носителем комплекса признаков ОГР/Ц. Тем самым в форме СВ получает грамматическое выражение один из типов предельности — эксплицитный реальный предел. Что касается НСВ, то он может передавать различные отношения к П/НП. Ср.: 1) направленность действия на достижение предела (*Строим дом*); 2) имплицитные варианты реального предела (*Всегда добивался своего*; *Вдруг раздается звонок*); 3) непредельность (несоотносительные глаголы НСВ типа *гулять, спать* и т.п.). Во всех случаях налицо отношения, которые может передать только НСВ. Таким образом, хотя оппозиция "СВ : НСВ" не совпадает с оппозицией "П : НП", разные типы отношения к пределу четко распределены по противоположным видам.

Рассматриваемые связи подчеркивают необходимость четкого разграничения понятий предельности (как одного из членов оппозиции "П : НП") и "видового предела" как одного из компонентов категориального значения СВ. Это предел особого рода — 1) всегда сопряженный с признаком Ц, 2) всегда эксплицитный, 3) всегда реальный (не потенциальный). Основной его признак — грамматическая облигаторность и связанная с нею обобщенность.

Мы исходим из широкого понимания предельности как языкового представления действия в любом варианте внутреннего предела — реального или потенциального, эксплицитного или имплицитного, абсолютного или относительного. Выделяются две разновидности предельности, которые мы называем тендентивной и нетендентивной. Тендентивная предельность предполагает отношение "направленность — достижение результата". Это понятие охватывает не только контролируемые действия (*догонять — догнать* и т.п.), но и неконтролируемые, что не всегда отмечается, ср.: *поправляться — поправиться, проясняться — проясниться, стареть — постареть.* Нетендентивная предельность предполагает, что действие представлено в пределе, не связанном с элементом "направленность процесса на достижение результата": *прийти — приходить* (в прямом значеении), *закричать, случиться — случаться, изголодаться*)[10]. Приведенные примеры показывают, что нетендентивная предельность, как и тендентивная, может быть контролируемой и неконтролируемой.

Рассматриваемые типы предельности соотносятся (хотя здесь нет полного совпадения) с выделенными З. Вендлером лексическими классами глаголов "исполнения" (accomplishments) и "достижения"

(achievements)[11]. Вместе с тем представляется, что анализ рассматриваемого различия под углом зрения понятия предельности отличается по своей направленности (именно на характеристику предела) от анализа указанных лексических классов глаголов и соответствующих семантических типов предложений (анализ ориентируется на ряд дифференциальных признаков, помимо отношения к пределу).

Разделяемое нами широкое истолкование предельности расширяет и сферу распространения понятия "начало нового состояния": оно охватывает не только "начало", связанное с естественным результатом процесса "с одной степенью свободы", но и такое начало нового состояния, которое сопряжено с "общим результатом", не соотнесенным с предваряющим его процессом: *Соня повредила ногу, и очень болит* (Л. Толстой).

"Подготовленность/неподготовленность" предела/начала во многом зависит от контекста. Способность глагола к выражению тендентивной предельности реализуется не всегда. Контекст в одних случаях актуализирует тендентивность, а в других — подавляет ее, так что переход в новое состояние оказывается скачкообразным. Ср. а) *Григорий долго вставал, но все-таки встал и шагнул...* (Г. Горышин); б) *Я встал и прошел в ту сторону, которую указал мне гарсон* (И. Бунин).

Рассмотрение многообразных связей семантики предела с категорией вида (в том числе и в том, что касается "диалектики начала и конца") четко противопоставлено концепции, полностью отделяющей предельность от вида[12].

Мы проводим различие между статусом признаков ОГР/Ц, с одной стороны, и ВНС, с другой. Признаки ОГР/Ц конституируют категориальное (системное) значение СВ, являющееся инвариантным (речь идет о типичном примере "общего значения" грамматической формы). Что же касается признака ВНС, то он относится к функциональному потенциалу СВ, но, на наш взгляд, не включается непосредственно в категориальное значение формы СВ. Эта функция относится к уровню высказывания[13]. В содержании высказываний с формой СВ возможна неактуализированность признака ВНС, ср.: *Саша хочет еще пожить вне дома* (Л. Толстой); *Люблю поспать* (см. ниже). При анализе признака ВНС доминирует рассмотрение аспектуальных ситуаций, представленных в речи (в принципе возможно, хотя и в редких случаях, обозначение ВНС и без участия видовых форм глагола, но при активном участии обстоятельств типа *вдруг*: *Шли матросы колонной... Вдруг — стрельба сбоку, неизвестно откуда* (А. Солженицын).

Для НСВ характерна прежде всего способность передавать в высказывании противоположный признак — "отсутствие ВНС", т.е. обозначать не новую, а данную, исходную ситуацию (— *Что ты там делаешь? — Готовлю обед*). Вместе с тем НСВ способен сочетаться с признаком ВНС, выступающим в имплицитном варианте. Эта способность реализуется в определенных условиях, например, в настоящем историческом: *Было уже поздно; вдруг меня зовут к телефону* (И. Бунин) (подробнее см. ниже).

Предпосылки выражения элемента ВНС реализуются при участии ряда актуализирующих факторов. Существенна роль лексического значения глагола, способов действия, таксисных отношений в полипредикативных конструкциях, а также актантов ситуации и обстоятельств типа *вдруг*. Актуализации рассматриваемого признака способствует семантика акциональной перфектности.

Естественна актуализация признака ВНС в глаголах СВ со значением 'приобрести качество', 'стать каким-то (веселым, больным, сухим и т.п.)', ср. глаголы типа *повеселеть, помрачнеть, заболеть, засохнуть, располнеть* и т.п.[14] Например: *Лицо его разгладилось, повеселело...* (Д. Гранин); *А Яков заболевает, практически уже заболел* (И. Грекова).

Четко выражено ВНС при функционировании начинательных глаголов: *...он бурно и неудержимо зарыдал и не мог остановиться* (М. Булгаков).

Признак ВНС находит актуализированное выражение в глаголах типа *увидеть, услышать, узнать, почувствовать, полюбить* и т.п., выражающих значение 'вступить в состояние'. Например: — *Ты видишь, что там справа? — Да, вот сейчас увидел.*

Семантика ВНС актуализируется при наличии в лексическом значении глагола и в контексте элементов, подчеркивающих изменение в местоположении субъекта, переход от одного положения в пространстве к другому (*Мальчик выбежал на улицу* — 'был дома, но в результате данного действия оказался на улице')[15].

Одним из факторов актуализации признака ВНС является включение действия в аспектуально-таксисные ситуации типа "цепь фактов", "длительность — наступление факта" и т.п.: *Жене казалось, что она войдет, сядет и разрыдается* (Б. Пастернак); *Все молчали. Вдруг кто-то громко вскрикнул...* В таких случаях "ряд наступлений" или контраст "наступления" и длительного фона усиливает, подчеркивает семантику ВНС и в отдельном действии, включенном в рассматриваемые синтагматические связи[16].

Сложно и неоднозначно соотношение признака ВНС и семантики перфектности. Употребление страдательно-причастных форм в акционально-перфектном значении (*Решение принято*) актуализирует семантику ВНС. Однако сама по себе данная форма еще не свидетельствует о наличии признака ВНС. При ее статальном употреблении (*Мы подошли к дому, дверь была открыта*) четко выражено наличное состояние, но нет элемента "наступление (начало) состояния". Как известно, между акциональной и статальной перфектностью нет резкой грани, и это осложняет отношения между факторами актуализации и ослабления признака ВНС.

Заслуживают внимания также различные типы перфектности (акциональной и статальной)[17] при употреблении форм прошедшего времени. Акциональная перфектность актуализирует элемент ВНС, например: — *Где отец? — Ушел.* При статальной перфектности, напротив, семантика "начала", "наступления" не выступает в явном виде или вообще отсутствует. Например: — *Что с тобой? — Устал.* Действие здесь не выражено, налицо лишь констатация наступив-

шего состояния, причем самый акт наступления не актуализируется, в центре внимания находится состояние, которое субъект испытывает в данный момент. Ср. полное отсутствие элемента "наступление" в случаях типа — *Вы, Агей Алексеич, выпивши и возбуждены* (А. Чехов). Между "слабым наступлением" и отсутствием данного семантического элемента нет четких граней. Все же при статальной перфектности, в отличие от акциональной, следует скорее констатировать "данную" статальную ситуацию, а не "наступление нового состояния".

2. **Интерпретация предела/начала как "точки". Отношение к временной протяженности**. Говоря о точечном включении действия, выраженного формой СВ, в линию времени, Ф. Копечный подчеркивал, что речь идет о точечности в том смысле, что в силу комплексности действие не имеет "темпоральной перспективы" (perspective temporelle, по С. Карцевскому): "...на линии временной оси, которая, разумеется, действительна для несовершенных глаголов, совершенные глаголы выступают как точки. Их протяженность, поскольку они ею обладают, относится к иной плоскости. Эта протяженность может быть даже очень значительной (*Prospal celý život* 'Он проспал всю жизнь'), но нас в ней интересует лишь та конечная точка, через которую мы включаем ее в линию "бегущего времени..."[18]

Характерный для СВ способ включения в линию времени связан не только с комплексом ОГР/Ц, но и с признаком ВНС: новая ситуация возникает в той критической точке, которая включена в ось времени.

Точечный характер предела/начала отнюдь не исключает протяженности обозначаемого действия, если иметь в виду его "полный объем". При тендентивной предельности временная протяженность действия в его "полном объеме" может быть связана с импликацией (а в части случаев и со специальным выражением средствами контекста) процесса, предшествующего переходу в новое состояние: *В конце концов все успокоились.* В "общий объем" обозначаемого действия входит и элемент 'постепенно успокаивались', но собственно предел, включенный в категориальное значение СВ, — это лишь конечная точка, и именно она определяет наступление нового состояния. Ср.: *Навстречу медленно, как во сне, ... проплыл мужик, в санях не по времени* (Ю. Тынянов). И здесь временная протяженность действия сочетается с "результативной точкой", сопряженной с переходом в новое состояние (когда мужик исчез из поля зрения).

При нетендентивной предельности с участием глагола СВ также может обозначаться действие, охватывающее некоторый (в части случаев весьма значительный) период времени. Однако и в таких случаях временная протяженность "фокусируется" в точечном пределе/начале нового состояния. Так, в предложениях типа *Переломал все игрушки*[19] "сборный" результат знаменует наступление новой ситуации (все игрушки переломаны), и именно эта критическая точка — предел отдельных проявлений действия и вместе с тем

начало нового состояния — фиксируется как отнесенная к "итоговому моменту".

"Точечное" включение в линию времени не обязательно связано с обстоятельствами типа *в этот момент, в семь часов*. Возможны и сочетания СВ с обстоятельствами *к семи часам, за два дня* и т.п. (*За пять минут просмотрел все конспекты*). Возможно и отсутствие каких бы то ни было обстоятельств: *Обрубили все сучья*. Важно лишь то, что при возможной протяженности действия в полном его объеме (*Постепенно все наладится*) предел/начало нового состояния включается во временную ось как "точка". Точечное включение в линию времени — понятие, охватывающее не только "достижения", но и "исполнения", в том числе связанные с суммарностью и временной протяженностью всего объема действия[20].

Полемизируя с "пунктуалистами", чьи взгляды на значение СВ напоминают положение С.О. Карцевского о редукции всего процесса перфективного глагола к конечной результативной точке[21], Й. Крекич замечает, что упускаются из виду "временно- и количественно-предельные глаголы, достигающие в своем значении лишь своего количественного предела"[22] (речь идет, в частности, о концепции А. Вежбицкой, по мнению которой выражение "точечности" связано с семантическим инвариантом всех глаголов СВ, а именно с элементом "начало"[23]).

На наш взгляд, финитивные глаголы типа *отгреметь, отшуметь, отговорить* без всяких затруднений допускают "точечную интерпретацию": *Все ждали, когда он отсмеется* — 'ждали того момента, когда полностью прекратится данное действие и тем самым наступит новое состояние: он уже не будет смеяться'.

Не связана с особыми затруднениями и точечная интерпретация "количественно-предельных" глаголов: *нагуляться вдоволь, немало наплакаться, заболтаться чересчур, убегаться* и т.п.[24] *Что-то я заболтался*: действие, представленное в чрезмерной длительности своего проявления, воспринимается говорящим в данный момент как достигшее "критической точки"; тем самым фиксируется и наступление нового состояния.

Специального анализа заслуживают глаголы делимитативного и пердуративного способов действия (*немного поспать*; *просидеть целый час*). Эти глаголы ведут себя по-разному. В тех случаях, когда они выступают в ситуациях типа "цепь", "наступление факта — длительность" и т.п., точечное включение в линию времени вполне очевидно: *Посплю и пойду гулять*; *Пролежал целый месяц в постели и теперь собираюсь домой*. В таких случаях критическая точка в ограниченном проявлении действия актуализируется его включением в таксисные отношения: одна ситуация сменяется другой.

Действительными контрпримерами являются высказывания типа *Люблю поспать*; *Собираюсь пробыть здесь до начала июля*. В таких случаях отсутствуют аспектуально-таксисные отношения, которые подчеркивали бы смену ситуаций. В последнем примере кон-

текст указывает на то, что речь идет о сохранении на некоторое время той ситации ('быть здесь'), которая наличествует в данный момент. Предел (количественный) есть, но нет ни "точечности", ни "наступления нового состояния".

Случаи слабой выраженности или невыраженности признака ВНС не исчерпываются глаголами делимитативного и пердуративного способов действия. Примером может служить употребление форм инфинитива при отсутствии контекстуальных, лексических и синтаксических факторов, которые могли бы актуализировать элемент ВНС: *Ему нужно помочь*; *Многое еще предстоит сделать* (ср. актуализацию признака ВНС в высказываниях с формами страдательных причастий: *Помощь будет оказана*; *Будет сделано*).

Возникает вопрос: реализуется ли "точечное включение в линию времени" и связанный с ним признак ВНС лишь при обозначении ситуаций, локализованных во времени, или же элементы "точечности" и наступления нового состояния возможны и при выражении ситуаций обычных и "вневременных"? На наш взгляд, следует констатировать последнее. Обозначение узуальных и вневременных ситуаций еще не означает, что в их языковом представлении исключаются элементы образной конкретности. При употреблении форм СВ в наглядно-примерной функции обычная или "вневременная" ситуация представляется "на примере" конкретного эпизода, репрезентирующего то, что происходит неоднократно, обычно, всегда: *Всю ночь видел мою тяжелую борьбу с ней. Проснусь, засну, и опять то же* (Л. Толстой); *Как вспомню, что на мне висит тыща моторов, так и вскакиваю с дивана* (Ю. Антонов); *Не знаешь, где найдешь, где потеряешь*. В таких случаях налицо метафорическая интерпретация повторяющихся и узуальных действий как локализованных во времени. При этом в метафорическом варианте выступает и семантический элемент "включения в линию времени". Следовательно, признак ВНС, связанный с таким включением, может реализоваться и при обозначении повторяющихся, узуальных и "вневременных" ситуаций.

Итак, если "точечность" понимать широко (в духе С.О. Карцевского и Ф. Копечного), то данная трактовка может быть отнесена к широкому кругу фактов. Поскольку критическая точка знаменует и наступление нового состояния, сфера точечности является вместе с тем сферой реализации признака ВНС. Конечно, как и в других случаях, "прототипический центр" сочетается с периферией, где признаки данного явления могут быть выражены неявно или вообще "подавляются". ВНС представляет собой функцию уровня высказывания, реализация которой зависит от множества факторов взаимодействия видовой системы с окружающей средой (лексической, синтаксической, контекстуальной и ситуативной). В данных условиях сочетание четкости проявления признака ВНС в одних случаях с "размытостью" или невыраженностью в других вполне естественно. В этом проявляется сущность признака ВНС как характеристики высказываний с формами СВ, а не характеристики самой по себе формы СВ.

Таким образом, мы приходим к выводу, что признак ВНС не является для СВ инвариантным. Вместе с тем он, несомненно, характерен, типичен для функционирования глаголов СВ. Сфера распространения его "прототипической реализации" не может быть признана узкой или ограниченной. Не будучи инвариантным, признак ВНС является тем не менее одним из важнейших элементов характеристики высказываний с формой СВ.

3. **ВНС и "временная последовательность" ("секвентная связь").** Как полагает Г. Галтон, уделивший понятию временной последовательности значительное внимание, СВ указывает на нечто дальнейшее, а не только на само событие, тогда как НСВ абстрагируется от временной последовательности[25]. Хотя данное истолкование значения СВ охватывает и выражение относительно изолированных действий, все же для него характерно то, что можно назвать "таксисной доминантой"[26].

Временная последовательность (секвентная связь, секвентность) важна для характеристики видовой синтагматики[27], а также для аспектологического анализа текста (ср. вопросы, связанные с ролью форм СВ в выражении динамики развития линии повествования, в отличие от роли статичного "фона", характерной для НСВ)[28]. Однако, на наш взгляд, нет достаточных оснований для того, чтобы трактовать временную последовательность как значение СВ (такова позиция Г. Галтона). Отношение к данному признаку может быть отнесено к той части функционального потенциала видовых форм, которая связана с комбинаторикой видов и с взаимодействием семантики вида и таксиса.

Взаимосвязи комбинаторики видовых форм и таксисных отношений, устанавливаемых в полипредикативных конструкциях, очевидны. С одной стороны, наступление нового состояния как семантический элемент каждого из действий, включаемых в аспектуально-таксисные ситуации, участвует в их построении. С другой стороны, как уже было отмечено выше, таксисные отношения, устанавливаемые в тексте, актуализируют признак ВНС в аспектуальной характеристике отдельного действия. Например: *Я вошел, и человек маленького роста... немедленно преградил мне дорогу* (М. Булгаков); *Летом 1836 года я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес мне последнюю книжку "Телескопа"* (А. Герцен). В этих условиях признак ВНС выступает в вариантах "ряд наступлений", "длительность — наступление факта", "наступление факта — длительность" и т.п. Вместе с тем ВНС не следует отождествлять с секвентностью. ВНС — это аспектуальная функция, базирующаяся на комплексе признаков ОГР/Ц и реализующаяся (способная реализоваться) на уровне высказывания в различных условиях, в том числе и в монопредикативных высказываниях (— *Куда я попал?* и т.п.), тогда как секвентность — это таксисное в своей основе отношение, выражаемое в полипредикативных конструкциях и в более широких фрагментах текста.

4. **НСВ: отношение к признаку ВНС.** Как уже было сказано выше, для НСВ характерна способность передавать нечто противополож-

ное по отношению к признаку ВНС, т.е. данную ситуацию — без перехода к новой. Ср., например, непредельно-процессное употребление НВС в случаях типа *Полный раздумья, шел я однажды по большой дороге* (И. Тургенев).

Рассмотрим, как ведут себя по отношению к признаку ВНС высказывания, в которых НСВ выражает направленность процесса к пределу: — *Что они там делают? — Разгружают вагон.* В данном типе употребления НСВ потенциальный предел сопряжен с потенциальным возникновением новой ситуации, т.е. с новой ситуацией в перспективе. Эта перспектива выходит за рамки модального плана "чистой реальности", связанного с самим процессом протекания действия. Кроме основного признака реальности, модальная семантика высказывания включает потенциальные элементы намерения (желания, стремления) достичь определенной цели: 'для того, чтобы разгрузить и тем самым, достигнув цели, "выйти к новой ситуации", когда вагон будет разгружен'[29].

Элемент "намерение достичь цели" связан с признаком контролируемости. При неконтролируемости действия возможна импликация иных модальных оттенков — неизбежности, возможности, вероятности (*Он уже выздоравливает*). Во всех случаях речь идет об имплицируемой перспективе потенциального предела и потенциального ВНС. Выражение "данной ситуации" с элементом перспективы возникновения новой ситуации в более позднем временном плане создает динамику в представлении данной ситуации на пути ее перехода к новой, однако это именно данная ситуация: реального наступления нового состояния нет.

Особого внимания заслуживает функционирование НСВ в высказываниях с элементом имплицитного предела. С имплицитным пределом сопряжено и имплицитное представление признака ВНС.

Комплекс "имплицитный предел"/"имплицитное представление ВНС" реализуется в таких временных планах, как настоящее историческое (*Выбегаю, соскакиваю на пристань...*), настоящее и прошедшее время повторяющегося и обычного действия (*Он приходит к нам каждый день*; *Всякий раз он выигрывал*; *И всегда Корней Иванович, поболев, поправлялся.* — Е. Шварц).

Различие между эксплицитным (при СВ) и имплицитным (при НСВ) представлением признака ВНС четко выявляется при сопоставлении настоящего исторического в русском языке, где в этом временном плане возможен лишь НСВ, и в чешском, где настоящее историческое допускает оба вида[30]. Ср.: *Náhle vidí zblízka... pár pronikavých očí, jak do něho vpíchli, naráží na něčí rameno, vypraví ze sebe cosi jako "promiňte" a vzdaluje se s křečovitou důstojností* (K. Čapek) 'Вдруг он видит вблизи пару проницательных глаз, как они впились в него, наталкивается на чье-то плечо, выдавливает (букв. выдавит) из себя нечто вроде "извините" и удаляется с натянутым достоинством'; *Prokop se vrhá na lavičku a položí hlavu do dlaní* (K. Čapek) 'Прокоп бросается на скамейку и охватывает голову ладонями (букв. положит голову в ладони)'.

Мы не сможем здесь коснуться всех функций НСВ в их отно-

шений к признаку ВНС. Ограничимся отдельными замечаниями, касающимися обобщенно-фактической функции.

Содержание высказываний с НСВ предельных глаголов в обобщенно-фактической функции может включать импликацию реального предела (*К тебе кто-то приходил*[31]). Можно предположить, что с имплицитным пределом связана и импликация ВНС: была ситуация "пришел и ушел", включающая имплицируемые состояния "дома" и "вне дома". Следует, однако, заметить, что эти имплицитные элементы не меняют общей направленности высказывания на выражение данной, а не новой ситуации. Общеинформативная направленность высказывания фиксирует внимание на самом факте существования данной результативной ситуации в прошлом. Речь идет о том, что было (с достигнутым результатом), а не о том, что стало, наступило.

В ряде случаев даже при предельности глагола сама импликация результата в языковом представлении смысла высказывания весьма проблематична, хотя во внеязыковой ситуации действие результативно. Рассматривая высказывание *Где апельсины покупали?*, Е.В. Падучева замечает, что результативное понимание возникает из внеязыкового контекста, так что компонент "результативность", возможно, вообще не входит в семантическое представление предложения[32]. Тем более сомнительна в таких случаях импликация признака ВНС. Скорее всего, речь должна идти о его отсутствии, невыраженности.

Следует еще раз подчеркнуть, что наиболее характерным для НСВ является то отношение к признаку ВНС, которое противоположно отношению, присущему СВ. Если при функционировании СВ доминирует тенденция к реализации признака ВНС, то НСВ связан прежде всего с обозначением данной ситуации.

5. **Заключительные замечания.** Обращение к признаку ВНС в его связях с другими элементами аспектуальной семантики существенно для анализа функций, выступающих на коммуникативном уровне. Для данной функции характерна возможность "выхода в речевой смысл". В этом отношении ВНС отличается от значения целостности действия. Признак Ц непосредственно не связан с намерениями говорящего. Мы не можем сказать, что говорящий употребляет СВ "для того, чтобы выразить неделимую целостность действия" (примечательно, что понятие целостности плохо усваивается в практике изучения славянского глагольного вида; далеко не всегда помогает и ссылка на то, что целостность ассоциируется со взглядом на действие "со стороны").

Более высокая степень интенциональности связана с признаком ОГР, однако лишь при тендентивной предельности (ср. видовые контрасты типа *Добивался, но не добился*). Признак ВНС, актуализируемый в высказывании, столь же интенционален. Например: — *Что там с консервами? — Кончаются... Вернее, уже кончились.* В таких случаях наступление нового состояния (когда консервов в магазине уже нет), не менее существенно для смысла высказывания, чем "критическая точка" в протекании процесса. И при нетен-

дентивной предельности глагола признак ВНС может быть существенным для смысла высказывания, например, при выражении начинательности: — *Смотри-ка, совсем иначе заговорил!* В таких случаях наиболее актуализированным элементом аспектуальной семантики является именно ВНС.

Основной смысл сказанного выше сводится к следующему.

1. Анализ признака ВНС в его отношении к различным типам предельности ориентирован на выявление связей между системными значениями видовых форм и функциями, которые могут иметь непосредственный "выход в речевой смысл".

2. ВНС рассматривается как функция уровня высказывания, базирующаяся на комплексе признаков ОГР/Ц, конституирующих категориальное значение форм СВ и лежащих в основе видовой оппозиции.

3. Отношение к признаку ВНС — элемент аспектуальной характеристики широкого круга высказываний с формами СВ и НСВ. Вместе с тем данный признак не является для СВ инвариантным. Выше были рассмотрены некоторые факторы актуализации семантики ВНС, с одной стороны, и "трудные случаи" и контрпримеры, с другой.

4. Анализируя семантику предела/начала, мы придаем особое значение оттенкам ее языковой интерпретации. В частности, проводится различие между эксплицитной (при СВ) и имплицитной (при НСВ) интерпретацией предела действия и наступления нового состояния. Интерпретационный компонент видовой семантики играет существенную роль в "точечном" представлении включения предела/начала в линию (ось) времени.

5. Признак ВНС не следует отождествлять с "секвентной связью" ("секвентностью"). Вместе с тем эти семантические элементы связаны друг с другом: отношения секвентности, устанавливаемые в тексте (в аспектуально-таксисных ситуациях типа "цепь фактов", "длительность — наступление факта" и т.п.), актуализируют признак ВНС, обусловливая его реализацию в вариантах "ряда наступлений", "ВНС на фоне предшествующей длительности" и т.п.

6. В системе вариативности семантики ВНС первостепенную роль играют два типа ее реализации ("процессуально подготовленной" и "скачкообразной"), сопряженные с двумя типами предельности — тендентивной и нетендентивной.

7. Включение признака ВНС в систему анализа аспектуальной семантики имеет отношение не только к изучению функций видовых форм, но и к анализу предельности: содержание самого понятия предела дополняется отношением к наступлению нового состояния.

[1] *Бондарко А.В.* Предельность и глагольный вид (на материале русского языка) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1991. Т. 50. № 3. Здесь же приводится литература вопроса.

[2] О взаимосвязи признаков ОГР и Ц см.: *Бондарко А.В.* О значениях видов русского глагола // ВЯ. 1990. № 4. С. 6—11.

[3] Ср. понятие "аспектуального актанта", используемое в кн.: *Крекич Й.* Семантика и прагматика временно-предельных глаголов. Изменения значений. Будапешт, 1989. С. 20, 24—27.

[4] О различиях между славянскими языками в закономерностях фукнционирования видов, имеющих отношение и к реалнзации признака ВНС, см., например: *Иванчев Св.* Контекстово обусловена ингресивна употреба на глаголите от несвършен вид в чешкия език // Годишник на Софийския университет. Филологически факултет. Т. 54. 1961. Кн. 3; *H. Galton.* The main functions of the Slavic verbal aspect. Skopje, 1976; *Stunová A.* Aspect and Sequence of Events in Russian and Chech. A Contrastive Study // Studies in Slavic and General Linguistics. Vol. II. Amsterdam, 1988; *Idem.* In Defence of Language-Specific Invariant Meanings of Aspect in Russian and Chech // Studies in West Slavic and Baltic Linguistics. Amsterdam, 1991.

[5] *Маслов Ю.С.* Очерки по аспектологии. Л., 1984. С. 48.

[6] Там же. С. 60—61.

[7] Истолкование вндового протнвопоставления на основе отношения к новой ситуации (при разной терминологии) представлено в целом ряде работ: *Wierzbicka A.* On the semantics of the verbal aspect in Polish // To honor Roman Jakobson. Vol. 3. The Hague, Paris. 1967. P. 2232—2234; *Барентсен А.А.* Наблюдения над формированием союза *пока* // Dutch contributions to the VIII International congress of slavists. The Hague, 1978. P. 4, 7, 11, 97; *Гловинская М.Я.* Семантические типы видового противопоставления русского глагола. М., 1982. С. 26—115; *Апресян Ю.Д.* Глаголы моментального действия н перформативы в русском языке // Русистика сегодня. Язык: система и ее функционнрование. М., 1988. С. 73—74.

[8] *Холодович А.А.* Проблемы грамматической теории. Л., 1979. С. 138.

[9] Там же. С. 139—140. Ср. *Сильницкий Г.Г.* Структура глагольиого значения и результатив // Типология результатнвных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983. С. 54—60.

[10] Ср. констатацию данного различия в терминах "процессуальио-терминативных" и "абсолютно-терминативных" глаголов: *Breu W.* Zur Rolle der Lexik in der Aspektologie // Die Welt der Slaven. XXIX. 1. N.F. VIII. München, 1984. S. 124—125; ср. также разновидности предельных глаголов, связанные а) с результатнвно-целевой направленностью действия, б) с количественным (временным, интенсивным) пределом: *Шелякин М.А.* Категория вида и способы действия русского глагола. Таллинн, 1983. С. 161.

[11] Ср.: *Булыгина Т.В.* К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982; *Она же.* Классы предикатов и аспектуальная характеристика высказывания // Аспектуальные и темпоральные значения в славянских языках. М., 1983; *Мелиг Х.Р.* Семантика предложения и семантика вида в русском языке (к классификацин глаголов Зино Вендлера) // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985; *Гиро-Вебер М.* Вид и семантика русского глагола // ВЯ. 1990. № 2.

[12] *Телин Н.* Вид и способ действия в русском языке // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985. С. 251—254, 257—260.

[13] Ср. следующую формулировку: "Признак целостности может пониматься как представление действия в его границах. Далее можно сказать, что целостно интерпретированное действие в тексте служит для того, чтобы изменить данную ситуацию" (*Breu W.* Zum kontrastiven Vergleich des Verbalaspekts im Englischen und Russischen // Probleme der russischen Gegenwartssprache und Literatur in Forschung und Lehre. Materialien des Internationalen MAPRJAL-Symposiums Marburg, 8.—10. Oktober 1985. Hamburg, 1986. S. 28).

[14] Ср.: *Гловинская М.Я.* Указ. соч. С. 71—115.

[15] Ср.: *Холодович А.А.* Указ. соч. С. 144—147.

[16] Ср. "ситуационные типы", выделенные Э. Кошмидером, — фон — наступление, ряд последовательных "наступлений" и т.п. См.: *Кошмидер Э.* Очерк науки о видах польского глагола. Опыт синтеза // Вопросы глагольного вида. М., 1962. С. 149—150.

[17] Ср.: *Маслов Ю.С.* Результатив, перфект и глагольный вид // Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983. С. 41—54; *Breu W.* Resultativität. Perfekt und die Gliederung der Aspektdimension // Slavistische Linguistik 1987. Referate des XIII. Kostanzer Slavistischen Arbeitstreffens Tübingen 22.—25.9.1987. Slavistische Beiträge. B. 230. München 1988. S. 46—49, 71—72.

[18] *Копечный Ф.* Из книги "Основы чешского синтаксиса" // Вопросы глагольного вида. М., 1962. С. 199.

[19] См. *Шелякин М.А.* Указ. соч. С. 41.

[20] Ср. иную интерпретацию понятия точки на временной оси в работе: *Селиверстова О.Н.* Второй вариант классификационной сетки и описание некоторых предикатных типов русского языка // Семантические типы предикатов. М., 1982. С. 106—109.

[21] *Kartsewski S.* Études sur le système verbal du russe contemporain // Slavia. I. 1922. № 3. P. 495.

[22] *Крекич Й.* Указ. соч. С. 19—20.

[23] *Wierzbicka A.* Указ. соч. С. 2245.

[24] *Крекич Й.* Указ. соч. С. 18.

[25] *Galton H.* Slovesný vid a čas // Slovo a slovesnost. XXX. 1969. 1; *Он же.* The main functions... P. 9—13.

[26] Ср.: *Гуревич В.В.* О значениях глагольного вида в русском языке // Русский язык в школе. 1971. № 5. С. 73—79.

[27] О различиях между русским и чешским языками в отношении к признаку "секвентной связи" (sequential connection) см.: *Stunová A.* Указ. соч. (см. примеч. 4).

[28] *Thelin N.B.* Verbal aspect in discourse: on the state of the art // Verbal aspect in discourse. Amsterdam/Philadelphia, 1990.

[29] Ср.: *Гуревич В.В.* Семантическая производность в грамматике. М., 1988. С. 32.

[30] *Бондарко А.В.* Настоящее историческое (praesens historicum) глаголов несовершенного и совершенного видов в чешском языке // Slavia. XXVII. 1958. 4; *Он же.* Настоящее историческое в славянских языках с точки зрения глагольного вида // Славянское языкознание. М., 1959.

[31] Ср. интерпретацию данного примера в статье: *Падучева Е.В.* К семантике несовершенного вида в русском языке: общефактическое и акциональное значение // ВЯ. 1991. № 6. С. 36.

[32] Там же.

*И.С. Улуханов*

# СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

1. Лингвисты неоднократно и справедливо говорили о слабой изученности исторического словообразования славянских языков. Так, Ф. Пепловский в 1974 г. писал, что "историческое словообразование польского языка, в отличие от описательного, чрезвычайно редко становилось предметом лингвистического исследования" (1, с. 5). Он отмечал, что после работ В. Дорошевского (2) и Й. Рамберга (3), опубликованных в конце двадцатых годов, историческим словообразованием польского языка не занимались почти полвека. З. Русинова в монографии 1984 г. писала, что исторического словообразования чешского языка "помимо разрозненных глосс или статей, посвященных отдельным явлениям, в сущности не существовало" (4, с. 7).

Историческое словообразование славянских языков изучено, как правило, слабее других разделов истории этих языков. Это отражается в том, что словообразование либо вообще не входит в исторические грамматики и вузовские курсы по истории этих языков, либо дается в них кратко и поверхностно.

Вместе с тем следует отметить, что в последние десятилетия исследования по историческому словообразованию славянских языков (особенно польского, русского и чешского) оживились, появились монографии конкретного и обобщающего характера (это монографии Ю.С. Азарх, И. Ауербаха, Э.А. Балалыкиной, Г. Борека, В. Борыща, Ж.Ж. Варбот, С. Вархоля, М. Войтылы-Швежовской, Х. Гайера, Р. Гжегорчиковой, Л.Л. Гумецкой, А. Достала, М. Ежовой, Р.В. Железновой, Е. Жетельской-Фелешко, Н.П. Зверковской, Х. Йелитте, Х. Кайперта, В. Кипарского, Ф. Копетца, В.И. Максимова, А.Л. Максимовой, В.М. Маркова, Г.А. Николаева, Ф. Пепловского, Е.Н. Прокопович, З. Рудник-Карватовой, З. Русиновой, В.Б. Силиной, Ф. Славского, Р. Смаль-Стоцкого, П. Сцяцко, Д. Флеминга, М. Форгаши, И. Фурдика, В.Н. Хохлачевой, Р.М. Цейтлин, Н.Т. Шелиховой, Т. Шиманского, Д. Шлосара, Л. Шнайдера, "Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в.").

Наличие довольно большого количества конкретных исследований является одной из предпосылок создания обобщающих описаний исторического словообразования славянских языков. Естественно, что описание исторического словообразования одного славянского языка не может не учитывать работ по индоевропейскому, праславянскому, старославянскому словообразованию и по историческому словообразованию других славянских языков, по диалектному словообразованию.

2. Вторая предпосылка: прогресс в сфере исторической и этимологической лексикографии славянских языков. Правда, наиболее фундаментальные исторические и этимологические словари полностью не опубликованы, но имеются их картотеки, основываясь на которых, можно выявить большое число новых словообразовательных явлений и закономерностей. Особенно ценным является материал словарей тезаурусного типа. Например, материалы, относящиеся к восточнославянскому периоду XI—XIV вв., представлены почти с исчерпывающей полнотой: как известно, картотека "Словаря древнерусского языка" (XI—XIV вв.) (5) включает каждое употребление каждого слова во всех использованных памятниках. Этот материал имеет не только фактографическое, но и теоретическое значение. Это обширный материал памятников, сохранившихся в списках XI—XIV вв. (за исключением церковно-канонических), который в ближайшее время существенно может быть дополнен, видимо, только из новонайденных новгородских берестяных грамот. Располагая данными о каждом употреблении каждого слова, мы получаем возможность на практически исчерпывающем материале судить о степени частотности и продуктивности различных типов мотивированных слов и словообразовательных средств.

С помощью всех названных выше источников, но прежде всего исторических словарей и их картотек, можно определить место (сферу употребления, функционально-стилистические свойства) каждого слова в системе разновидностей языка Древней Руси. Возникает возможность построения достаточно обоснованной типологии словарного состава языка Древней Руси с функциональной точки

зрения. Наличие этимологических и диалектных словарей и их картотек позволяет построить и генетическую типологию этой лексики. Соединение этих двух типологий — функциональной и генетической — дает возможность, с одной стороны, выявить генетический состав функционально однородной лексики, с другой — сферу функционирования генетически однородной лексики.

Возникает возможность построения функционально-генетической типологии всего словарного состава, отраженного в памятниках XI—XIV вв., созданных или переведенных на Руси, либо переведенных за ее пределами, но имевших на Руси длительную традицию употребления. Так, примерно 30.000 слов, имеющихся в картотеке "Словаря древнерусского языка" (XI—XIV вв.), довольно отчетливо делятся на три функционально однородные группы (подробнее см. в 6, с. 150—154):

а) слова, свойственные, по-видимому, только языку повседневного общения, в значительной степени отраженному в светских памятниках. Анализ части материала вышедших четырех томов словаря показал, что все десять томов словаря будут содержать не менее 1500—2000 таких разговорных слов, многие из которых словообразовательно мотивированы. Анализ их словообразовательной структуры с различных точек зрения выявит, надо полагать, словообразовательные закономерности и единицы, свойственные народно-разговорному языку Древней Руси XI—XIV вв. С генетической точки зрения эти слова делятся на: 1) праславянские; 2) восточнославянские рефлексы праславянских слов; 3) восточнославянские новообразования; 4) устные заимствования. Наибольшее число мотивированных слов содержит третья группа (*беззадьница, безголовиѥ, беспеньныи, бессоудьныи, борьца* и др.) и, несколько меньше, первая (*бъчька, бѣлька, бътарь, божьница*), представляющие наибольший интерес для исторического словообразования;

б) слова, свойственные как разговорной речи, так и церковнославянским памятникам;

в) слова, свойственные только церковнославянским памятникам.

Генетический состав слов групп *б* и *в* один и тот же: праславянские слова, старославянизмы и книжные новообразования. Однако наборы слов каждой из этих групп (описывать которые нет возможности в рамках данного доклада) различаются количественно — числом лексем и их употребительностью: праславянских слов гораздо больше в группе *б*; из славянизмов в этой группе представлены лишь наиболее употребительные; подавляющее большинство книжных новообразований находится в группе *в*.

Понятно, что определив место каждого мотивированного слова в лексической системе разновидностей языка Древней Руси, мы получаем возможность определить место и представленных в этих словах единиц словообразовательной системы. Попытки такого определения делались и ранее, но лишь с появлением славянских исторических словарей (в том числе словарей-тезаурусов) и их картотек эти выводы приобретают максимально возможную в настоящее время достоверность.

Располагая многочисленными контекстами употребления слов, исследователь исторического словообразования получает возможность оперировать убедительными количественными данными и давать их качественную интерпретацию. Следует согласиться с Я. Пузыниной, писавшей в 1975 г.: "Для исторических исследований в области словообразования очень существенны данные о частотности употребления слов" (7, с. 173).

Не случайно работы последних десятилетий по историческому словообразованию славянских языков [в особенности те из них, которые основаны на славянских исторических словарях тезаурусного типа (5, 8)], богаты статистическими сведениями о распространении словообразовательных единиц в памятниках различных жанров, отражающих разные функционально-стилистические единицы языка или разные языки (древнерусский и церковнославянский). В частности, по материалам картотеки "Словаря древнерусского языка" (XI—XIV вв.), а также в результате сплошного обследования многих памятников XV—XVII вв. была выявлена сфера распределения ряда морфем — общеславянских *без-* + *-н-* (9) и старославянских по происхождению (*пре-, предъ-,* см. 10), их восточно-славянских коррелятов (*пере-, передъ-*), также синонимичных, но генетически не родственных книжных и разговорных средств выражения одного и того же значения (выделительного у префиксов *из-* и *вы-,* см. 11), суф. *-тва* (см. 12) и др.

"Словарь польского языка XVI в." (8), также представляющий собой тезаурус, является источником обильных статистических данных о распространении мотивированных слов в произведениях различных жанров и стилей [ср., например, данные об употреблении суффиксальных существительных со значением лица, содержащиеся в монографии Ф. Пепловского (1)].

Со словообразовательной точки зрения интересны не только данные о частотности единиц словообразовательной системы, но и данные о частотности отдельных слов, образующих или содержащих эти единицы. Эти данные дают возможность судить о соотношении узуальных и окказиональных единиц. "В современном языке границу между тем, что принадлежит общему языку, и тем, что является индивидуализмом, часто можно определить просто при помощи собственного языкового чутья. Для исторических эпох это средство отсутствует, и мы должны опираться прежде всего на данные о частотности, чтобы определить приблизительный контур общего языка" (7, с. 173).

Этот контур создается прежде всего наиболее частотными словами. Так, исследование частотности слов, принадлежащих некоторым словообразовательным типам, показало, что именно наиболее частотные слова характеризуются наиболее широкой жанрово-стилистической распространенностью. Это относится к словам с префиксом *без-* и суффиксом *-н-* (наиболее частотны *беззаконьныи, безумьныи, бесчисльныи, безбожьный,* см. 9, с. 191—195), с префиксами *пре-* (*пребыти, пребывати, преставитиса*, см. 10, с. 23, 24), *из-* ("выделительного значения": *избрати, изидти,* см. 11), с суф. *-тва*

(*молитва*; см. 12, с. 26, 27) и другими морфемами. Все эти наиболее частотные слова представлены во всех разновидностях языка Древней Руси.

Знание употребительности слов дает возможность ставить и решать и другие проблемы исторического словообразования, например, проблемы соотношения словообразовательных синонимов, ср. данные из ДРС XI—XIV: *гражанинъ* (99) — *градьникъ* (2), ср. *гражданинъ* (3), *горожанинъ* (42); *защититель* (8) — *защитьникъ* (6); *изкоуситель* (5) — *изкоусьникъ* (7); *городьныи* (10) — *городьскыи* (21); *дѣлати* (542) — *дѣльствовати* (1) — *дѣтельствовати* (15) — *дѣяти* (328) и мн. др. Представляет интерес сравнение употребительности мотивирующего и мотивированного: первое, как правило, частотнее второго: *городъ* (846) — *городище* (28), *городъкъ* (49), *городьникъ* (2), *история* (18) — *историчьскыи* (1), *козьлъ* (31) — *козьлии* (21) и мн. др., хотя имеются и обратные отношения: например, *прикасати* (5) — *прикасатисѧ* (128), ср. *касатисѧ* (8) — при отсутствии *касати, жечи* (*-щи*) (50) — *зажечи* (*-щи*) (72); *заклати* (72) — при отсутствии *клати*; *клати* (98) — *клатисѧ* (231) — *клатва* (306); *крыти* (49) — *крытисѧ* (61); *крьстити* (231) — *крьститисѧ* (307); *лишати* (33) — *лишатисѧ* (48); *лишити* (81) — *лишитисѧ* (118); *ложити* (1), *ложитисѧ* (2) — *въложити* (259), *выложити* (4), *доложити* (3), *заложити* (88), *изложити* (72). Причины большей частотности мотивированного в разных случаях различны и заслуживают специального изучения.

3. Третья и last but not least предпосылка создания обобщающих описаний исторического словообразования славянских языков — высокая степень изученности материала и разработанность теории синхронного словообразования, многие материалы, выводы, понятия и термины которой в сохраненном или измененном виде могут быть использованы в теории исторического словообразования и в описании эволюции словообразовательных систем славянских языков.

В связи с этим необходимо сделать краткий обзор словообразовательных понятий и терминов, используемых в синхронном словообразовании, и рассмотреть возможность их использования в историческом словообразовании.

3.1. Бóльшая часть терминов синхронного и исторического словообразования совпадает. Исключение составляют исходные термины — *мотивация* и *производность, мотивированный — производный.* В большинстве работ по синхронному словообразованию первый член этих пар означает формально-семантические связи слов в современном языке, второй — указывает на реальный путь возникновения слова. Общеизвестно, что синхронные словообразовательные отношения (мотивация) не всегда аналогичны ("изоморфны") пути образования слова (производность).

Необходимо описать все виды отношений между мотивацией и производностью (ср. попытку систематизации этих отношений на русском материале (13). Это уже задача комплексного синхронно-диахронического описания и задача пока отсутствующего синхронно-диахронического словообразования славянских языков.

Наибольший интерес представляют разнообразные случаи расхождения между производностью и мотивацией. Следует вскрыть те процессы диахронического характера, результатами которых явились эти виды отношений.

В связи с изучением соотношения между диахронической производностью и синхронной мотивацией возникает проблема изучения словообразовательных процессов, имевших место у тех слов, которые в современном языке занимают пограничную зону между мотивированными и немотивированными словами. Изучение истории этих слов могло бы быть вспомогательным средством создания теории степеней синхронной мотивации (ср. 14).

Интересные проблемы возникают и в связи с диахронической интерпретацией синхронных видов мотивации. В ряде работ (15, 16, 17, 18, 19) описана та роль, которую играет синхронная опосредствованная мотивация в процессе возникновения новых словообразовательных морфов (например, рус. — *-лищ-, -тельн-, -лив-, -ница-, обез-, недо-* и мн. др., укр. *-чук* в названиях невзрослых лиц; пол. *-arnia, -qtek, -qtko, -aczek,* болг. *-ленце* и мн. др.), новых способов словообразования, например, в русском языке префиксально-суффиксально-постфиксальный способ возник в XVIII в.: глаголы типа *переговариваться* (< *говорить*), *опроститься* (< *простой*), образованные по модели опосредствованной мотивации, свойственной постфиксальным (или префиксальным) глаголам типа *перебрасываться, очиститься*, 17, с. 124—126), завершающим цепочки типа *бросить — перебросить — переброситься — перебрасываться* или *чистый — чистить* < *чиститься* / *очистить* > *очиститься.*

В последнее время в работах по историческому словообразованию славянских языков стало отмечаться такое явление, как множественность производности или многопроизводность (16, с. 25, 30, 62, 71, 74 и др.; 20, с. 26; 21, с. 54, 55), например, *игрище — играти, игра, клеветникъ — клеветати, клевета* и мн. др., соответствующее активно разрабатываемому понятию множественности синхронной мотивации. Множественность производности заслуживает специального изучения: надо полагать, что можно говорить о неоднократном возникновении одного и того же слова от разных слов. При этом следует согласиться с А. Крупянкой, показавшей на материале глаголов типа пол. *osolić* (*sół, solić*), что для многих из них (а этот вывод можно распространить на множество других производных разной структуры) "точное установление истинной деривационной основы невозможно, поскольку очень часто оба исходных слова <...> существуют в одну и ту же эпоху" (22, с. 95). С синхронной точки зрения случаи множественности производности могут быть интерпретированы в терминах видов мотивации (23).

Специального диахронического изучения заслуживают и те случаи, которые в некоторых синхронных работах интерпретируются как взаимная мотивация; ср. об этом (21, с. 55, 56).

В историческом словообразовании почти не изучаются такие явления, как словообразовательная цепочка, словообразовательное гнез-

до и словообразовательная парадигма. Между тем проблемы состава типовых и конкретных цепочек, парадигм, гнезд, заполненности/незаполненности мест, предназначенных для тех или иных производных, не менее актуальны для исторического словообразования, нежели для синхронного. Возникают проблемы диахронического изменения состава типовых и конкретных парадигм, развития и конкуренции средств заполнения определенных мест парадигмы и др.

3.2. В работах по историческому словообразованию славянских языков большое внимание уделялось истории словообразовательных формантов, прежде всего — словообразовательных аффиксов. Изучение истории славянских аффиксов может опираться на классические праславянские "морфемарии" В. Вондрака, А. Мейе, А. Вайяна, на более поздние исследования праславянского словообразования. Традиции поморфемного описания исторического словообразования продолжил для русского языка В. Кипарский (24). Тем не менее история славянских словообразовательных аффиксов описана совершенно недостаточно. Их описание могло бы быть осуществлено в историко-этимологическом словаре славянских морфем или морфем отдельных славянских языков. Словарей такого типа в мировой лексикографии пока нет. К сожалению, работа над такими словарями, насколько известно, нигде не ведется.

Основные задачи изучения истории славянских аффиксов состоят, надо полагать, в следующем.

1. Необходимо определить те процессы, в результате которых возникают новые морфемы.

Новые суффиксы чаще всего возникают, как известно, по модели опосредствованной мотивации путем переразложения — отхода к новому суффиксу части производящей основы, реже — путем вставки фонем на морфемном шве или путем контаминации морфем. Префиксы возникают как путем переразложения (*обез-*), так и двумя другими путями: во-первых, соединением служебного слова (частицы *не-*) и префиксов того слова, которому оно предшествует (например, префиксов *до-, без-*; так возникли русские префиксы *недо-, небез-* и т.п.); во-вторых, путем превращения предлога в префикс (*дочиста, смолоду*; *сверхштатный*). Последний из названных процессов остается живым и в новое время и в современных языках. Так, недавно возникли русские префиксы *около-, внутри-* и *вне-*. Видимо, можно говорить о возникновении префикса *вдоль-*; ср. сельскохозяйственный термин *вдольрядный*; окказ. *вдольбереговые огоньки* (К. Ваншенкин), *вдольстенный бордюр* (устн. речь). Другие предлоги пока выступают в роли префиксов лишь в окказионализмах: по русскому обычаю смех тот — "*сквозьслезный*" (Веч. Москва, 22 авг. 1990 г.); *околокожевники, возлескорняки* (А. Межиров); Семен Нариньяни больше интересуется этическими проблемами "*вокругфутбольной*" среды (Сов. спорт, 22 февр. 1970 г.); — Мы ведь делаем "*вместогосударственную*" работу (Огонек, 1988, № 48); ...фильм сделан "из-за плеча Каспарова..." Вот где "*из-заплечный*" кинематограф постарался (Шахматное обозрение, 1988, № 14); пришла пора прощаться с прежним образом жизни московского *близ-*

*церковного* интеллигента (Лит. газета, 27 сентября 1989 г.) и др.

Древнейший процесс возникновения префиксов (из наречий, определяющих глагольное действие) завершился, видимо, в дописьменную эпоху. В памятниках (по крайней мере бытовавших на Руси) он почти не отражен, тем интереснее крайне немногочисленные фиксации этого процесса: Первѣе оубо възрастеньꙗ великымъ оц҃мъ. ѥго же ѡбща показателꙗ. понетьское море. *предъ* тогда *поставлꙗше* на добръ нравъ. (греч. προὐβάλλετο). Григория Богослова 16 слов с толкованиями Никиты Ираклийского, XIV в., ГИМ, Син, № 954 (картотека "Словаря древнерусского языка" (XI—XIV вв); ср. глаголы *предъпоставити, предъпоставлꙗти.* Наречное происхождение префиксов проявляется и в тех контекстах, где они употребляются в конструкциях, синтаксически параллельных конструкциям с наречиями: і прѣдьходꙗштєі. і въ слѣдъ ходꙗштєі (οἱ προάγοντες). Зографское евангелие, Марк, XI, 9 (см. 25, с. 434); ср. в Мстиславовом евангелии: и предъидоущеи и въ слѣдъ градꙗщеи (26, л. 113а).

Окказиональное употребление наречий в позиции префикса, иногда в параллельных конструкциях с префиксальными словами, возможно и в современном языке: в эту нишу из гослитературы выбывали реформисты, крутые либералы, идейные еретики (*слишком-ленинцы, сверхмарксисты*). Лит. газета, 10 октября 1990 г.; Идея "**насквозь-социальности**" при этом прошла сквозь чистилище вульгарного социологизма (27, с. 37). В таких конструкциях наречие делает первый шаг на пути превращения в префикс; но от этого окказионального употребления в тексте еще очень далеко до превращения в узуальный префикс.

2. Необходимо выявить сходства/различия в семантике и сочетаемостных свойствах между исходными (первичными) морфами и вторичными морфами, возникшими на базе первичных (ср. рус. *-льник-*, сочетающийся только с глаголом, и *-ник,* обладающий более широкой сочетаемостью). Необходимо выявить и причины возникновения этих различий. Это позволит приблизиться к решению сложной задачи — разработке принципов идентификации морфов (их объединений в морфему) применительно к диахронии. Синхронное словообразование, как известно, располагает целым рядом теорий идентификации морфов.

3. Необходимо выявить различные генетические пласты морфем (праславянские: *-nьje, -ostь, -ьstvo, -ьnikъ, -i-, -nǫ-, -iv-* и др., восточнославянские: *-щик/-чик* и др., русские: *-нича-* и др., заимствования), уточнить время их возникновения.

4. Необходимо разработать типологию процессов развития новых значений морфем и причин, вызывающих это развитие. На этом вопросе остановимся несколько подробнее.

Основной причиной развития новых значений у словообразовательных аффиксов следует считать расширение их сочетаемости с мотивирующими словами (основами). Сочетаясь в старом значении с новой, семантически отличной, основой, аффикс может развить новые компоненты значения, сохраняя старые. Эти новые компоненты могут возникнуть либо под влиянием семантики но-

вого мотивирующего, либо просто заимствоваться у него или у внешнего контекста. Так, значение "вторичности действия" у приставки *пере-* (ее исконное значение "направленность из одного места в другое") возникает, видимо, в сочетании с такими мотивирующими глаголами, которые могут означать перемещение чего-л. уже однажды где-л. помещенного; ср. совмещение значений "перемещения из одного места в другое" и "вторичности действия" у глагола *переставить*: а бани велѣть имъ изъ острогу вынесть и *переставить*, на простое мѣсто, чтобъ они близко острогу не были (Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею, т. 5, СПб., 1842, с. 231; 1685 г.).

Заимствование значения морфемы у значения мотивирующего слова ("семантическое заражение" — термин М. Бреаля) имеет место у таких глаголов, как *обжулить, обокрасть, обворовать*, в которых к чистовидовому значению префикса *об-* добавилось значение "обмана", свойственное мотивирующим глаголам и перешедшее затем в такие глаголы, как *обмерить, обсчитать*, мотивирующие которых не имеют значения "обмана" (подробнее об этих процессах см. ниже).

Развитию и утверждению дистрибутивного значения префиксов (*по-, пере-*) могли способствовать контекстные показатели множественности; ср., например, *пометати* в знач. 'оставить, покинуть' (все или многое) (27, с. 14) в контекстах типа *лодкы, запасы, жены и дети* и т.п., *пометавъше*.

Значения словообразовательных аффиксов в исследованиях по славянскому словообразованию (как синхронному, так и историческому) описывались обычно изолированно друг от друга. Задача заключается в том, чтобы выявить связи этих значений, пути развития одного из значений на базе другого. Далеко не всегда эти связи можно обнаружить, изучая какой-либо синхронный срез. Так, связь значения "начала" действия (приставки *за-, вз-*) с другими значениями можно гипотетически выявить путем этимологического анализа праславянских слов; в памятниках эта связь уже не представлена. Семантика "начала" у приставки *за-* восходит, видимо, к пространственному значению направления действия непосредственно за границу какого-л. предмета, на его начальную часть (ср. глаголы типа *запилить* 'надпилить край чего-л.', *зачистить, замыть*), а у приставки *вз-* — к пространственному значению 'направленности вверх' (ср. связь значений 'начать' и 'вверх' в контекстах типа *поднять рев-взреветь* и т.п.). Целесообразно изучить различные источники всех синонимичных значений аффиксов.

Итогом выявления связей между значениями морфем может быть типология регулярных зависимостей между разными словообразовательными значениями: 'приближение' → 'небольшая интенсивность', 'направленность на (большую) поверхность' → 'большая интенсивность', 'направленность на много мест' → 'многократность', 'пространственное покрытие' → 'возмещение' и 'отсутствие или ликвидация последствий' (ср. *быльем поросло* и *забылось*), 'направление вниз' → 'уменьшение' и мн. др. [ср. описание совмещения значений

приставки *o-* (*ob-*) в польском языке XIV—XX вв. (22, с. 45, 58, 61, 66, 73)].

Описание изменений в форме и значениях морфем славянских языков должно привести в итоге к созданию исторической морфемики славянских языков.

3.3. В историческом словообразовании может быть успешно применено такое понятие, как словообразовательный тип, выработанное главным образом на синхронном материале русского и чешского языков. Эволюция словообразовательной системы — это прежде всего появление (реже — исчезновение) словообразовательных типов, а изменение состава словообразовательных типов — это изменение параметров, образующих словообразовательный тип: форманта, его значения, его сочетаемости со словами различных частей речи.

3.4. В детальном описании и теоретической разработке нуждается история способов словообразования славянских языков. Сам термин — диахроничен (как впрочем и термин словообразование), но целесообразно различать диахроническую и синхронную интерпретации этого термина. Как в синхронии, так и в диахронии способы словообразования характеризуются видом словообразовательного форманта. Но в диахронии формант — это словообразовательное средство, с помощью которого образуется слово, а в синхронии — "это наименьшее в формальном и семантическом отношении словообразовательное средство (средства) из числа тех средств, которыми... мотивированное слово отличается от мотивирующих" (29, с. 134). Поскольку синхронная мотивация слова далеко не всегда соответствует реальной производности, то и синхронный способ словообразования слова (resp. его синхронный формант) далеко не всегда тождествен диахроническому способу образования этого слова (диахроническому форманту). Примеры многочисленны: ср. хотя бы синхронически префиксально-суффиксальное, но диахронически префиксальное *обогатить,* образованное от вышедшего из употребления *богатить,* а синхронно мотивированное прилагательным *богатый* (подробнее см. 13).

Естественно, что необходимо описать причины и время появления новых способов словообразования.

Состав способов словообразования славянских языков обогащается в основном за счет смешанных способов, возникающих по модели опосредствованной мотивации (примеры см. выше), а также в результате утраты каких-либо звеньев словообразовательной цепочки.

Из чистых способов наиболее "молодыми" являются аббревиатурное усечение (нередко в сочетании с другими способами) и различные обратные способы. И усечение, и обратные способы распространены в разговорной речи (обратные — в основном в окказионализмах).

В отличие от некоторых исследователей (30, 31) мы не выделяем ни в синхронии, ни в диахронии "семантического" (или "лексико-семантического") способа словообразования. Процессы и соотношения, описываемые этими терминами, имеют место не между

разными словами, а в семантической структуре одного слова. Они происходят достаточно длительно, чего нельзя сказать о словообразовательных процессах. Возникающие в результате этого способа омонимы, естественно, с синхронной точки зрения отношениями мотивации не связаны (иначе они не были бы омонимами). Поэтому целесообразно "семантический способ" считать лексикологическим явлением, входящим в ряд других лексико-семантических способов пополнения словарного состава языка (лексические заимствования, семантические кальки).

3.5. Заканчивая обзор единиц описания исторического словообразования, нельзя не сказать о слабой изученности диахронических морфонологических явлений, сопровождающих словообразовательные процессы. Необходимо создать историческую словообразовательную морфонологию славянских языков, включающую в свой состав и их историческую словообразовательную акцентологию (ср. 32, 33). При этом могут быть использованы материалы, система понятий и терминов, содержащиеся в описаниях морфонологии ряда современных славянских языков (29, 34, 35 и др.).

4. Переходя к некоторым замечаниям об общих теоретических основах возможного в настоящее время описания исторического словообразования славянских языков, необходимо отметить, что это описание, несмотря на известное отставание в изученности материала, должно соответствовать состоянию современного этапа развития истории языка как научной дисциплины (по-видимому, не только истории языка).

4.1. Своеобразие этого этапа состоит прежде всего в переходе (пока нередко декларативном) от констатирующего способа описания к объяснительному, от фиксации фактов и процессов к выявлению причин, закономерностей их возникновения, развития и функционирования.

Факты являются исходным материалом для реконструкции потенциальных возможностей языка, закономерностей действия его механизма.

При таком способе исследования система языка (и словообразовательная система, в частности) должна рассматриваться как организованная совокупность потенциально возможных единиц, каждая из которых занимает в этой системе определенное предназначенное ей место ("клетку"). Это место может быть либо заполнено, либо пустовать. Один из важных процессов эволюции языка и состоит в заполнении этих пустующих клеток. Задача состоит в реконструкции этих клеток, а также в выявлении причин, способствующих или препятствующих как заполнению существующих клеток, так и появлению новых.

Проблема реконструкции, как ясно из сказанного, имеет важнейшее значение. Существует немало примеров прекрасных реконструкций отдельных фактов и даже систем. Однако единой теории реконструкции не существует, и ее необходимо создать.

4.2. При таком подходе к изучению эволюции словообразовательной системы можно стремиться к обнаружению достаточно

общих закономерностей этой эволюции, свойственных системе в целом или ряду ее единиц. Основной внутриязыковой источник эволюции словообразовательной системы известен — это образование по аналогии. Однако далеко не полностью выявлены те связи и соотношения в словообразовательной системе, которые могут быть моделью для новообразований. В качестве модели чаще всего рассматривалось отношение *непосредственно мотивирующее — мотивированное* (или *производящее — производное*). Между тем новообразования могут осуществляться по модели самых разнообразных (и не только мотивационных) отношений в словообразовательной системе. Любые сотношения в словообразовательном гнезде (и прежде всего словообразовательная пара) могут читаться не только слева направо, но и справа налево, и в этом случае по модели словообразовательной пары осуществляется обратное словообразование (ср. *турист → туристка* и *доярка → дояр*).

Образования, возникающие по аналогии, семантически и формально могут существенно отличаться от своих образцов, не являясь их простым повторением. В результате образований по разнообразным, иногда достаточно "отдаленным" образцам постоянно осуществляется расширение сочетаемостных возможностей формантов и тем самым — заполнение пустующих клеток словообразовательной системы. Таким путем возникают не только слова, но и более крупные единицы системы: словообразовательные типы, форманты, их новые значения, способы словообразования.

4.3. Образование различных единиц словообразовательной системы может осуществляться в результате аналогичных эволюционных процессог: сначала возникает переходная форма, совмещающая старые и новые свойства, затем в ней остаются только новые. Так возникают, в частности, новые значения формантов, новые форманты и новые способы словообразования. Образование этих различных единиц сходно. Рассмотрим ряд примеров.

Появляются образования, совмещающие в себе старое и новое качество: с одной стороны, в приведенных выше глаголах типа *обжулить* приставка сохраняет результативное значение: *обжулить* можно истолковать как 'совершить, довести до результата действие по глаголу "жулить"'; с другой стороны, она уже "заражена" значением 'обмана': тот же глагол можно истолковать как 'обмануть с помощью действия *жулить*'; с одной стороны, в глаголах типа *модничать* сохраняется суф. *-а-* (в соотношении *модник — модничать*), но с другой стороны, уже зарождается новый суф. *-нича-* (в соотношении *мода — модничать*); с одной стороны, глаголы типа *перебрасываться* являются суффиксальными (*переброситься — перебрасываться*), но с другой стороны, на основе соотношения *бросать — перебрасываться* в них зарождается новый формант *пере + ива + ся*.

Затем на основе новых значений или соотношений, зарождающихся в указанных словах, где это новое еще совмещено со старым, возникают такие слова, в которых новое значение (соотношение) является единственным: в *обмерить* приставка *об-* имеет только

значение 'обмана', в глаголах типа *лентяйничать* выделяется только суф. *-нича-*, а в глаголах типа *переговариваться* — только префиксально-суффиксально-постфиксальный формант *пере + ива + ся,* т.е. появляется новый способ словообразования.

Как видим, обнаружение переходных явлений, совмещающих в себе старые и новые признаки, может явиться ответом на вопрос о причинах эволюции многих словообразовательных единиц.

4.4. Изучение исторического словообразования не должно ограничиваться лишь выявлением факторов, создающих возможности новообразований. Необходимо и изучение факторов, способствующих или препятствующих реализации этих возможностей. Иначе говоря, изучение системы должно сопровождаться изучением нормы (ср. 36).

Факторы, влияющие на реализацию системных возможностей, обычно являются экстралингвистическими и обусловлены социальными потребностями в лексике той или иной структуры. Возникает необходимость функционального изучения исторического словообразования. Это изучение может базироваться на функционально-генетической типологии словарного состава, изложенной выше. Историческое словообразование вступает в тесную связь с историей литературного языка, исторической стилистикой (21). Не имея возможности рассмотреть многообразные аспекты этой связи, отметим лишь необходимость введения этой проблематики в историческое словообразование славянских языков, поскольку судьба многих словообразовательных единиц в системе языка определяется особенностями их функционирования в различного типа текстах. Так, устойчивым употреблением в определенном окружении следует объяснить ослабление мотивированности ряда заимствований в русском языке из старославянского (*предать, превосходить, издать* и др.), а также превращение многих типов в факт реликтового характера, находящихся вне регулярных системных соответствий. Таковы, например, славянизмы с приставками *пре-, из-* (выделительного значения); в то же время слова с синонимичными русскими приставками *вы-, пере-* принадлежат к живой, действующей системе. Возможны, как известно, и явления противоположного характера — закрепление в русском языке старославянской морфемы (*предъ-, -ущий* и др.) и выход из употребления русской. Необходимо детальное изучение причин различий в судьбе разных морфем.

4.5. Особого рассмотрения заслуживает проблема "историческое словообразование" и "историческая диалектология" славянских языков. Пока не выявлено распространение словообразовательных единиц по диалектам славянских языков. Необходимы специальные разыскания, которые покажут возможности исторического диалектного словообразования. В настоящее время можно отметить, что многие словообразовательные типы и модели (например, русские глаголы на *-нича-* и др.) были в прошлом свойственны преимущественно устной речи и отражены диалектными словарями в гораздо большей степени, чем письменными памятниками.

Таковы некоторые положения, которые, как кажется, должны

быть учтены при создании фронтального описания истории словообразования славянских языков.

5. Конкретное построение описания исторического словообразования отдельного славянского языка во многом определяется, конечно, жанром, объемом и адресатом этого описания. Учтена должна быть, по-видимому, и структура существующих наиболее полных синхронных описаний композиционно (да и концептуально, хотя и не всем) достаточно близких друг к другу [см. 29, 37, 38, 39; ср. 40, где "Словообразование" распределено по разделам "Морфологии"]. В этом случае историческое словообразование давало бы наиболее эксплицитно сведения по истории существующих и описанных типов. Однако, могут быть обсуждены некоторые общие принципиальные особенности создания и построения описания исторического словообразования славянского языка.

Идеальной и теоретически безупречной была бы такая последовательность работы над этими описаниями: 1) создание синхронных описаний словообразовательных систем, свойственных нескольким синхронным срезам каждого из славянских языков; 2) описание эволюции их словообразовательных систем, опирающееся на описание синхронных срезов (ср. 7, с. 178). Однако практически такой путь описания в настоящее время вряд ли целесообразен. Во-первых, не существует ни одного полного или даже претендующего на полноту описания словообразовательной системы какого-либо синхронного среза какого-либо славянского языка. Во-вторых, не разработаны принципы такого описания, а их разработка неизбежно встретится с рядом трудностей как источниковедческого, так и теоретического характера: источники и лексикографическая база у разных славянских языков неодинакова, но в целом, по-видимому, недостаточна для убедительной стратификации по синхронным срезам большого числа фактов, на базе которых могли бы быть реконструированы синхронные словообразовательные системы этих срезов. Как ясно из сказанного в разделе 1, с наибольшей убедительностью такие системы могли бы быть реконструированы на базе словарей тезаурусного типа и их картотек. В наибольшей степени этой задаче соответствуют материалы "Словаря польского языка XVI века" (8). Поэтому создание "Словообразования польского языка XVI века" могло бы быть, по-видимому, начато в настоящее время. Однако попытка реконструкции словообразовательной системы синхронного среза на базе другого тезауруса — "Словаря древнерусского языка"(XI—XIV вв.) поставила бы исследователя перед серьезными трудностями: этот словарь охватывает материалы четырех веков, и это обстоятельство затрудняет хронологическую стратификацию слова, поскольку время создания (перевода) памятника или время летописной записи чаще всего не совпадает со временем создания изучаемого списка (применительно к словообразованию см. об этом в 41, с. 5).

Исходя из сказанного, в настоящее время целесообразнее создание описания истории словообразовательных систем славянских языков, не разорванное по синхронным срезам, но указывающее

узловые моменты (в том числе и хронологические) в их эволюции, которые могут и не совпадать со временем среза. Исходным состоянием этого описания были бы эпохи древнейших памятников (с учетом данных праславянского словообразования, реконструкция которого должна быть осуществлена на базе создающихся праславянских словарей (42, 43; ср. также 44). В таком описании можно было бы: 1) выявить все словообразовательные форманты и установить время их возникновения; 2) описать семантическую и формальную эволюцию их системных и нормативных признаков; 3) выявить изменения в системе отношений между близкими по значению формантами; 4) описать эволюцию закономерностей сочетаемости этих формантов с мотивирующими словами (или их основами); 5) установить место формантов и степень их продуктивности в системе разновидностей языка изучаемых эпох; 6) установить особенности употребления мотивированных слов, связанные с изменением их словообразовательных свойств.

6. Во всех предшествующих разделах речь шла о состоянии и возможностях создания исторического словообразования отдельных славянских языков. В перспективе возможно, конечно, и создание сопоставительного-исторического словообразования двух и более или всех славянских языков. В таком описании были бы представлены сходства и различия в процессах эволюции словообразовательных систем разных славянских языков, т.е. выявлены те эволюционные различия, которые явились причиной различий в их синхронных словообразовательных системах (например, основные синхронные различия между славянскими языками в инвентаре словообразовательных аффиксов могут быть охарактеризованы только в диахронических терминах: это заимствованные аффиксы и формально вторичные аффиксы, возникшие в результате переразложения основ (подробнее см. 45).

Ясно, что в полной мере создание сопоставительно-исторического описания словообразования славянских языков возможно лишь после того, как будут созданы описания исторического словообразования каждого из них. В настоящее время возможно лишь фрагментарное сопоставление процессов эволюции отдельных участков (единиц) словообразовательных систем славянских языков.

1. *Pepłowski F.* Odczasownikowe nazwy wykonawców czynności w polszczyźnie XVI wieku. Wrocław etc., 1974.

2. *Doroszewski W.* Monografie slowotwórcze. Formacje z podstawowym *-k-* w części sufiksalnej // Prace Filologiczne. W-wa, 1928, t. XIII.

3. *Ramberg J.* Dzieje przyrostków -'ec i -'ca w nazwach osobowych // Prace Filologiczne, W-wa, 1927, t. XI.

4. *Rusínova Z.* Tvoření staročeských adverbií. Univerzita J.E. Purkyné v Brně, 1984.

5. Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). Т. 1—4, М., 1988—1991.

6. *Улуханов И.С.* О некоторых перспективах изучения истории русского языка // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Ч. 1, М., 1991.

7. *Puzynina J.* Jak pracowac nad slowotwórstwem historycznym języka polskiego?// Poradnik językowy. 1975. № 4.

8. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 1—11. Wrocław etc., 1966—1978.

9. *Виноградова В.Н.* Употребление образований с приставкой *без-* в памятниках разных жанров XI—XIV вв. // Древнерусский язык. Лексикология и словообразование. М., 1975.

10. *Улуханов И.С.* О судьбе славянизмов в древнерусском литературном языке (На материале глаголов с приставкой *пре-*) // Памятники древнерусской письменности. Язык и текстология. М., 1968.

11. *Белозерцев Г.И.* Соотношение глагольных образований с приставками *вы-* и *из-* выделительного значения в древнерусских памятниках XI—XIV вв. // Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964.

12. *Горелова И.В.* Отглагольные существительные с суффиксом *-тва* в древнерусском языке / Вопросы словообразования и лексикологии древнерусского языка. М., 1974.

13. *Улуханов И.С.* Мотивация и производность (о возможностях синхронно-диахронического изучения языка) // ВЯ. 1992. № 2.

14. *Улуханов И.С.* О степенях словообразовательной мотивированности слов // ВЯ. 1993. № 1.

15. *Варбот Ж.Ж.* Древнерусское именное словообразование. М., 1969.

16. *Максимова А.Л.* Существительные с суффиксами *-ич-*, *-ищ-* и их производные в русском языке. Л., 1985.

17. Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Глагол, наречне, предлоги и союзы в русском литературном языке XIX века. М., 1964.

18. *Лопатин В.В., Улуханов И.С.* Структура славянской морфемы в синхронном и диахроническом аспектах // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.

19. *Klemensiewicz S., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S.* Gramatyka historyczna języka polskiego. W-wa, 1955.

20. Суффиксальное словообразование существительных в восточнославянских языках XV—XVII вв., М., 1974.

21. *Николаев Г.А.* Русское историческое словообразование. Теоретические проблемы. Изд. Казанского ун-та, 1987.

22. *Krupianka A.* Formacje czasownikowe z przedrostkiem *o-* (*ob-*) w języku polskim. Toruń, 1969.

23. *Улуханов И.С.* Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. М., 1977.

24. *Kiparsky V.* Russische historische Grammatik. Band III. Entwicklung des Wortschatzes, Heidelberg, 1975.

25. Slovník jazyka staroslověnského. 31. Pr., 1977.

26. Апракос Мстислава Великого. М., 1983.

27. *Караулов Ю.Н.* "Четыре кита" современной лингвистики, или о предпосылках включения "языковой личности" в объект науки (от содержания науки — к ее истории) // Соотношение частнонаучных методов и методологии в филологической науке. М., 1986.

28. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 17. М., 1991.

29. Русская грамматика. Т. 1. М., 1980.

30. *Марков В.М.* О семантическом способе словообразования в русском языке. Ижевск, 1981.

31. *Марков В.М.* О семантическом способе образования слов // Русское семантическое словообразование. Ижевск, 1984.

32. *Дыбо В.А.* Славянская акцентология. М., 1981.

33. *Зализняк А.А.* От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

34. *Laskowski R.* Studia nad morfonologią współczesnego języka polskiego. Wrocław etc., 1975.

35. *Улуханов И.С.* Закономерности ударения в русском словообразовании (ударение в словах, образованных с помощью префикса) // Русский язык за рубежом, 1985, № 1.

36. *Mengel S.* О сущности словообразовательной нормы, ее особенностях в древнеболгарском литературном языке и релевантности для языковой ситуации Киевской Руси // Die slawischen Sprachen, Bd 28. 1991.

37. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. W-wa, 1984.

38. Беларуская граматыка. Частка I. Мінск, 1985.
39. Mluvnice češtiny. Praha, 1986.
40. Граматика на съвременния български книжовен език. Т. II. Морфология. София, 1983.
41. *Чурмаева Н.В.* История наречий в русском языке. М., 1989.
42. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 1—17, М., 1974—1990.
43. Słownik prasłowiański. T. 1—5. Wrocław etc., 1974—1984.
44. *Sławski F.* Stan i zadania słowotwórstwa prasłowiańskiego // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, t. XXI, 1962.
45. *Лопатин В.В., Улуханов И.С.* Сходства и различия в словообразовательных системах славянских языков // Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1983.

*Е.А. Земская, О.П. Ермакова, З. Рудник-Карват*

# ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

## (семантико-функциональный аспект)

**Введение.** 1. Перед лингвистами, занимающимися сопоставительным словообразованием славянских языков, стоит важная задача: поиск метода, обеспечивающего объективность исследования.

1.1. Сопоставительное, или конфронтационное, исследование можно проводить двумя основными методами. Первый из них состоит в описании языка А, исходящем из языка Б, или, наоборот, в описании языка Б, исходящем из языка А. При этом за основу сопоставления берется главным образом форма или, реже, семантика (смысл). Такой подход ставит в привилегированное положение один из сопоставляемых языков, подчиняя ему систему другого языка. Для того чтобы восстановить равенство обоих языков при сопоставительном исследовании, можно, в свою очередь, описать язык Б, исходя из языка А или, соответственно, язык А, исходя из языка Б. Процедура эта не только неэкономна, но она по-прежнему не дает объективных результатов[1]. В итоге получаются два отдельных и различных сопоставления языков.

1.2. Второй подход, в отличие от первого, акцентирует применение метода, объективирующего сопоставительное исследование. Безусловно, при сопоставлении как мыслительном процессе нужны такие величины, как сопоставляемые объекты, с одной стороны, и основание сравнения (tertium comparationis) — с другой. Исходя из этой теоретической предпосылки, сопоставительное словообразование славянских языков должно изучать и описывать определенные величины — категории, относящиеся к общему tertium comparationis.

Попытки определить и использовать язык-посредник отражают новый подход к сопоставительным исследованиям. Он связан с возникающими в течение последних 20 лет семантическими теориями языка. Однако, как нам кажется, линвисты еще не нашли четких

и объективных критериев выделения этой единицы сопоставления. Описания расходятся в понимании характера языка-посредника. Чаще всего называются логико-понятийные категории, функционально-семантические или семантические категории или языковые модели[2].

1.2.1. В рамках второго подхода имеются два основных направления: от семантики к форме или от формы к семантике[3].

Отправным пунктом сопоставительного изучения славянского словообразования, согласно представленным ниже методологическим подходам, является смысл. Форма, будучи идиоматичной (т.е. неуниверсальной, свойственной не всем, но отдельным языкам), сама по себе не может служить основой целостного сопоставления[4]. Напомним, что определяющая роль такого направления исследования как основной исходной позиции предлагалась еще М. Докулилом[5].

1.2.2. Другой важный принцип — рассмотрение словообразования как системы: мы предлагаем изучать не отдельные атомарные явления, но исследовать их во взаимосвязи. Признание системного характера словообразования диктует многоаспектность исследования. Сопоставлению подлежит вся совокупность параметров, характеризующих систему словообразования и ее функционирование в языке и тексте. Именно поэтому мы намечаем в дальнейшем различные аспекты, цели и методы сопоставительного изучения славянского словообразования.

Различие предлагаемых аспектов объясняется в значительной мере тем, что разные участки словообразовательной системы диктуют разные методы исследования, ибо разные классы производных слов представляют собой языковые единицы, значение которых структурировано различным образом. В соответствии с этим в качестве tertium comparationis избираются разные объекты.

При рассмотрении всех аспектов важную проблему представляет установление тех явлений, которые свойственны всем славянским языкам.

I. **Набор словообразовательных значений (СЗ).** 1. Слова разных частей речи и разные семантико-функциональные классы производных имеют СЗ разной природы, разной степени абстракции и национальной индивидуализации[6].

2. Наиболее многоаспектным представляется исследование словообразования существительных. Существительные называют разные типы природных и неприродных объектов (артефакты и биофакты), принципы номинации которых существенно различаются. Существительным свойственны все виды мотиваций. Наиболее конкретные и вместе с тем варьирующиеся от языка к языку СЗ имеет класс мутационных существительных. Именно существительное обладает наибольшим набором деривационных значений, их сопоставление в славянских языках может обнаружить значительные различия в словообразовательном выражении некоторых смыслов. Ср., например, номинации типа ч. *ruština, čeština*[7] наряду с расчлененными обозначениями ч. *ruský jazyk, český jazyk*; русские субстантиваты *французский, немецкий, чешский* наряду с теми же расчлененными названиями; польские *angielszczyzna, niemczyzna, polszczyzna, ruszczyzna* 'английский, немецкий, польский, русский язык'. Некоторые суще-

ствительные данного типа могут иметь также значение более широкое: 'культура, искусство, их проявления, особенно произведения прикладного искусства, образ жизни, обычаи этноса, обозначаемого адъективной основой', напр., п. *chińszczyzna, japońszczyzna, tatarszczyzna.* Ср. также п. *włoszczyzna* — собирательное, обычно о расфасованных в пакетах овощах (этимологически — свойственных Италии, привезенных в Польшу в период Ренессанса из Италии) и *chińszczyzna* метафорическое, о чем-то непонятном говорящему. Ни в русском, ни в чешском (а также украинском) такой смысл не выражается словообразовательно. Русские слова *неметчина, славянщина, татарщина, цыганщина, итальянщина* имеют нетипизированные значения и не соответствуют полностью аналогичным по структуре польским словам.

3. Сопоставительное изучение словообразования должно проводиться внутри семантических или тематических групп, составляющих словообразовательную категорию: лица, инструмента, места и т.д. Для установления как сходства, так и различия требуется полное обследование всей семантической группы.

В конечном итоге предполагается выяснить набор деривационных значений, присущих всем славянским языкам и каждому в отдельности. Другая проблема — установление распространенности разных видов мотиваций внутри части речи и семантических групп. Кроме того, должен быть выявлен полный набор значений, выражаемых с помощью словообразования и лексически, т.е. сопоставлен состав слов производных (имеющих внутреннюю форму) и непроизводных в отдельных славянских языках.

II. **Словообразовательные парадигмы (СП).** 1. Чтобы избежать атомарности и показать системный характер словообразования, следует изучать не только бинарные отношения между производным и базовым словом, но и комплексные единицы словообразовательной системы — словообразовательные парадигмы (СП), цепи и гнезда. Рассмотрим более подробно одну из этих единиц — СП, ибо она, являясь удобным объектом сопоставления, наиболее отчетливо показывает системный характер словообразования. Понятие СП — сравнительно новое в теории словообразования. Возникновение этого понятия связано с поисками изоморфизма между строением разных подсистем языка[8]. Знаменательно, что понятие СП почти одновременно начали использовать разные ученые[9], что свидетельствует о важности этого понятия для теории словообразования. Мы предлагаем различать два вида СП — конкретные (КСП) и типовые (ТСП). КСП — это набор производных одного базового слова, находящихся на одной ступени словообразования. ТСП получаем, отвлекаясь от средств выражения словообразовательного значения[10]. СП является той матрицей, заполнение клеток которой воплощает действие механизма словообразования. Для того, чтобы уяснить себе матричное строение массива производной лексики какого-либо языка, необходимо изучить деривационный потенциал каждой лексико-семантической группы (ЛСГ) всех частей речи. Эта работа еще только начата. Но уже сейчас можно утверждать,

что основной состав производных слов создается в пределах тех возможностей, которые ему диктует СП. Подобно тому, как в морфологии имя существительное имеет формы падежей, но не может иметь формы времени или лица, так и в словообразовании каждая ЛСГ порождает свои, закономерно ей присущие производные, а каждое узуальное производное есть реализация словообразовательного потенциала определенного базового слова.

Выявление и описание словообразовательного потенциала разных классов слов разных частей речи в разных славянских языках составляет важнейшую задачу сопоставительного системного изучения словообразования и лексики.

2. Рассматривая словообразовательный потенциал слов определенной части речи и определенных ЛСГ (иными словами, устанавливая состав СП определенных ЛСГ), мы создаем некоторую научную абстракцию (конструкт), отражающую свойства реального объекта, но лишь в общем виде, ибо мы отвлекаемся от тех коррективов, которые в явления системы языка вносит ее реализация узусом и нормой. Именно этими различиями между абстрактным строением системы и ее реализацией и объясняются расхождения между типовыми и конкретными СП, которые нередко обнаруживаются, потому что на состав конкретных СП влияет лексический состав языка, а именно явления словообразовательного супплетивизма (ср. *лев — львица, тигр — тигрица* и *баран — овца, бык — корова* и под.), а также различные виды ограничений, действующие при соединении морфем[11].

Для сопоставления представим суммарно, абстрагируясь от членения базовых имен на ЛСГ, набор деривационных значений, входящий в типовую СП существительного (табл. 1) и глагола (табл. 2). Эти таблицы содержат лишь самую общую квалификацию типа словообразовательного значения; мы вынужденно отвлекаемся от анализа всего многообразия семантических мест.

3. Уже простое сопоставление СП субстантива и глагола показывает глубокое различие между теми деривационными значениями, которые их формируют. Естественно, что словообразовательный потенциал и имени, и глагола зависит от семантики базовой основы, но если структура СП глагола определяется его валентностными свойствами[12], то в строении СП существительных и прилагательных синтаксическая сочетаемость базового слова не играет такой роли. Структура СП существительного определяется в первую очередь составом семантических компонентов базового слова, таких, как личность (+, −), одушевленность (+, −), конкретность (+, −), вещественность (+, −), темпоральность (+, −), локативность (+, −) и т.п.[13]

Семантико-синтаксические связи также влияют на порождающие способности существительного. Так, для названий музыкальных инструментов характерна связь с предикатом *играть на,* поэтому *пианист* — 'тот, кто [играет на] пианино', *гитарист* — 'тот, кто [играет на] гитаре' и т.п., для названий обществ, учреждений характерно значение принадлежности — 'член коллектива' — *динамовец, спартаковец, торпедовец, миитовец, мхатовец* и т.п.

Таблица 1

**Суммарная СП существительного**

| Часть речи производного | Характер производного | Семантические места |
|---|---|---|
| Существительное | Модификационное | Уменьшительность/увеличительность<br>Женскость<br>Невзрослость<br>Собирательность<br>Единичность |
| | Мутационное | Имя лица, имеющего отношение к ...<br>Имя предмета, имеющего отношение к ... |
| Прилагательное | Транспозиционное | Относящийся к ... |
| | Мутационное | Принадлежащий<br>Свойственный, подобный<br>Наделенный чем ...<br>Наделенный в большом количестве чем ... |
| Глагол | Мутационное | Процесс, имеющий отношение к ... |

Таблица 2

**Суммарная СП глагола**

| Часть речи производного | Характер производного | Семантические места |
|---|---|---|
| Глагол | Мутационное и модификационное | Пространственные модификации<br>Временные модификации<br>Модификации по степени интенсивности |
| Существительное | Мутационное | Имя деятеля<br>Имя пассивного лица<br>Имя объекта<br>Имя инструмента<br>Имя места<br>Имя расходуемого продукта |
| | Транспозиционное | Имя отвлеченного действия |
| Прилагательное | Мутационное | Активный процессуальный признак<br>Пассивный процессуальный признак |
| Наречие | Мутационное | Процессуальный признак признака |

Характер словообразовательного потенциала существительного зависит в значительной степени от его семантической структуры: предметно-идентифицирующие или признаковые имена, денотативный или сигнификативный характер семантики, вид отношения к референту (онтологический, функциональный или эпистемический).

Итак, СП — это структуры с закрытым числом членов, выявляющие словообразовательный потенциал лексического состава языка.

4. Введение в словообразовательную теорию понятия СП дает возможность подойти к словообразованию не как к совокупности отдельных производных слов, но как к иерархически организован-

ной системе, упорядоченность которой достигается разбиением всего массива базовых основ по грамматико-семантическим признакам.

Сопоставление типовых СП в разных славянских языках позволяет сравнить словообразовательный потенциал таких классов лексики, как части речи и лексико-семантические группы. Этот аспект исследования в отличие от предикатно-аргументного (см. об этом далее) охватывает все разряды производных и все группы лексики.

Представим для примера конкретную СП одного из разрядов имен существительных — наименований животных в двух славянских языках — русском и польском (см. табл. 3).

5. Сопоставительный анализ языков по СП предполагает ответ на такие вопросы: Какие семантико-грамматические классы слов, порождающие одинаковый набор словообразовательных значений (СЗ), имеются в каждом славянском языке? Иными словами: как словообразование структурирует разбиение лексики на классы? Каковы сходства и различия между подобными семантико-грамматическими классами в разных славянских языках?

Какова структура СП (в том числе набор СЗ), реализуемых словами разных частей речи и разных лексико-семантических классов в каждом славянском языке?

Каковы общие черты СП, характеризующие все славянские языки? Каковы особенности отдельных славянских языков в строении СП?

Ответы на сформулированные выше вопросы представляют собой необходимый и удобный для сопоставления материал, который позволит выявить сходства и различия между отдельными славянскими языками не только в наборе СЗ и средств их выражения, но и в системном строении словообразования.

III. **Предикатно-аргументные структуры.** 1. Мы исходим из положения, что сопоставительное описание, направленное от семантики к форме, является более объективным, чем описание от формы к семантике. Применяя модель семантика → форма, следуем концепции лингвистов, разрабатывающих теорию языка, понимаемого как механизм преобразования смысла в текст[14].

Первая попытка описания словообразования одного из славянских языков (существительных мутационного типа в польском языке) в рамках порождающей модели языка представлена Р. Лясковским[15]. В основном в этом духе дано и описание системы польского словообразования[16]. Сопоставительного описания славянского словообразования в рамках подобной концепции пока нет, хотя о возможности использования предикатно-аргументных структур и семантических ролей аргументов при изучении славянских существительных мутационного типа уже писали[17].

2. Особое место в разработке представленной ниже модели принадлежит С. Кароляку[18]. В общих чертах эта модель сводится к картине порождения т.н. долексического элементарного предложения (ЭП), информационно полной и автономной единицы, содержащей только облигаторные семантические компоненты: 1) Непроизводную предикатноаргументную структуру (НПАС). 2) Эпистемически немар-

Таблица 3

**Конкретные СП существительных — названий животных в русском и польском языках**

| Часть речи производного слова | Словообразовательное значение | Исходное существительное | | |
|---|---|---|---|---|
| | | волк — wilk | баран — baran | обезьяна — małpa |
| Существительное | Уменьшительность | — — | — — | обезьянка—małpka |
| | | волчок — wilczek | барашек—baranek | — — |
| | | — — | баранчик — | — — |
| | Увеличительность | волчище—wilczysko | баранище—baranisko | обезьянища—małpisko |
| | | волчина — | — — | — — |
| | Оценочность | — — | — — | — małpeczka |
| | | — — | — baraneczek | — — |
| | | — — | — — | (обезьянушка) — |
| | | волчишка — | (баранишка) — | (обезьянишка?) — |
| | | — — | — — | — (małpunia) |
| | | — — | — — | — (małpusia) |
| | | — — | — — | — małpiszon |
| | Самка (самец) | волчиха — | ср. овца ср. owca | — — |
| | | волчица—wilczyca | — — | — — |
| | Детеныш | волчонок — | [ягненок] — | — — |
| | | волчоныш — | — — | обезьяныш — |
| | | — wilczę | — [jagnię] | — małpię |
| | | — wilczątko | — [jagniątko] | — małpiątko |
| | Мясо животного | (волчина) — | баранина—baranina | (обезьянина) — |
| | | волчатина — | — — | — — |
| | Лицо, связанное с животным | волчатник — | — — | — — |
| | | — — | [овчар]—[owczarz] | — — |
| | метаф. | — — | — — | — małpiarz (редко) |
| | Помещение для животного | волчатник — | — — | обезьянник — |
| | | — — | [овчарня]—[owczarnia] | — małpiarnia |
| Прилагательное | Принадлежащий, свойственный животному | волков — | баранов — | (обезьянин) — |
| | | волчий—wilczy | бараний—barani | обезьяний—małpi |
| | | волчиный — | — — | — — |
| Глагол | Производить на свет | [щениться]—[szszenić się] | [ягниться]—[jagnic się] | — — |
| | Вести себя как ... | — — | — — | обезьянничать — |
| | | — — | — — | — małpować |
| | Становиться таким как ... | — — | — baranieć | — — |

кированную модальность типа констатации (асерцию). 3) Немаркированную темпоральность[19].

Семантическую базу ЭП составляет НПАС. Дальнейшая процедура описания — это выявление механизмов преобразования НПАС в производные предикативно-аргументные структуры (ППАС). На следующем этапе моделирования представлены правила репрезентации ППАС и актуализаторов высказывания: темпоральных, модаль-

ных и темо-рематических. Таким образом, поэтапное описание соотносится с динамическим процессом словообразования.

2.1. Семантическая структура ЭП связана с их денотативным аспектом и описывается в терминах предикатов и аргументов. В состав их языковых коррелятов, структурирующих разные типы ЭП, входят предикатные и аргументные выражения. НПАС трактуем как понятийный конструкт (концепт), построенный на семантических отношениях между компонентами ЭП. Иначе говоря, аргументы в нашей модели — это понятия предметов, предикаты — понятия свойств предметов (в одноаргументных НПАС) или понятия отношений между предметами (в более чем одноаргументных НПАС).

В НПАС семантические свойства предикатов находят отражение в синтаксических свойствах. Это заключается в требовании предикатов входить в синтаксические связи с аргументами: они открывают позиции (места) для аргументов, аргументы же занимают места, открываемые предикатами. Предикат, обладающий свойством характеризовать, является всегда конституирующим компонентом НПАС, имплицирующим аргументы. Аргумент, обладающий референцией, является имплицированным компонентом НПАС (иными словами: занимающим место при конституирующем компоненте НПАС). Таким образом, предикат играет в НПАС центральную роль как конституирующий компонент, требующий сопровождающих его аргументов и определяющий типы отношений к нему этих аргументов (каузатор, агенс, пациенс, бенефициенс, экспериенцер, результат, локатив, инструмент, материал)[20].

Типы НПАС предопределяются семантическими свойствами предикатов, отражающимися в количестве и типах открываемых позиций аргументов, а также в семантических признаках аргументов. К главным семантическим признакам предметных аргументов, релевантных при определенных позициях, относятся: одушевленность (+, –), личность (+, –), конкретность/вещественность, единичность/множественность, инициативность (+, –), контролируемость (+, –). Напр., аргументу, занимающему место агенса, приписываются семантические признаки: одушевленность и инициативность, экспериенцеру: одушевленность и неконтролируемость, инструменту: одушевленность (–), конкретность.

Так как ЭП отличаются универсальным характером (одни и те же формулы действуют в разных славянских языках), именно их можно избрать как точку отсчета на начальном этапе исследования. Исходя из ЭП и их типов, свойственных классам предикатов, а не априорно выделяемых понятийных категорий или внеязыковых ситуаций, как это обычно делается в лингвистических работах, мы имеем в виду следующее: лингвистическое исследование не должно отрываться от языковой действительности.

2.2. НПАС (соответственно и ЭП) как минимальные семантико-синтаксические единицы могут служить основой для разных операций, порождающих производные структуры ППАС. Наиболее интересны для нас, в связи с принятым методом описания, операции, которые традиционно определяются как мутация. Ниже ограничимся

проблемами описания существительных мутационного типа, отмечая, что целостное исследование должно охватывать все части речи.

Открытым представляется вопрос о том, следует ли резко разделять отглагольное и отыменное образование существительных и описывать раздельно отглагольные и отыменные словообразовательные категории[21]. Так как существуют аргументы за и против такого разделения, считаем, что эта проблема требует дальнейшего изучения.

Исходя из НПАС, мутацию существительных относим в наиболее общем виде к операции заполнения определенного места аргумента. В процессе коммуникации семантическое место аргумента называется опосредованно, через отношение с другими компонентами НПАС. На поверхностном уровне выражена комбинация двух или трех компонентов: а) аргумента и предиката или б) аргумента и какого-то другого аргумента, или в) аргумента, предиката и другого аргумента, причем словообразовательной базой служит один (или больше — в сложениях) предикат или аргумент. При сопоставлении славянского словообразования этот общий механизм альтернативной комбинаторики легко обнаружить. Напр., при НПАС агентивного типа агенс комбинируется и с предикатом, и с имплицированными им аргументами, но словообразовательное воплощение получает или комбинация агенса с предикатом (р. *носильщик*, ч. *nosič*, п. *grajek*), или агенса с аргументом (р. *балалаечник*, п. *bagażowy, blacharz, salowa* ч. *rybář*), или агенса с предикатом и другим аргументом (р. *птицелов*, п. *listonosz*, ч. *kulometník*; ср. эксплицитную невыраженность объектного аргумента п. *łowca* (*ptaków*), но не п. **czytelnik wierszy*, р. **читатель стихов*).

Следующая схема показывает возможности порождения агенса:

Здесь: Ag — агенс, P — предикат, Pat — пациенс, Ob — объект (в узком смысле, подвергающийся воздействию Ag, но в отличие от Pat не претерпевающий изменения), I — инструмент, Mat — материал, Loc — локатив.

Итак, словообразовательная категория (СК) агенса, т.н. nomina agentis подразделяется на следующие группы дериватов с встроенным аргументом: Ag(Pat), Ag(Ob), Ag(I), Ag(Mat), Ag(Loc). СК агенса отличается наибольшим структурным многообразием. При порождении других СК реализуются не все (или реализуются только в отдельных словах) возможные отношения данного аргумента с другими аргументами, напр., в СК Loc в русском и польском языках не выражена комбинация с I. С другой стороны, языки могут отличаться разной комбинаторикой компонентов НПАС. Так, для польского языка более характерно Loc(P): *szwalnia, tkalnia, pracownia* и т.п., тогда как для русского Loc(Pat): *котлетная, колбасная,*

*пельменная, бутербродная* и др. (ср. немногочисленные р. *красильня, читальня* и под.).

Таким образом, используя при сопоставлении языков общие схемы типовых НПАС с определенными ролями аргументов (из-за отсутствия места мы представили только схему агентивного типа), можно обнаружить универсальный механизм образования мутационных существительных: 1) все роли аргументов (их набор тождествен для славянских языков) реализуются в СК; 2) СК выявляют альтернативную комбинаторику компонентов НПАС: аргумент (: предикат), а также аргумент (: предикат и аргумент) или аргумент (: аргумент), подразделяясь на субкатегории Ag(Pat), Ag(I) и др.; 3) вся возможная для данного типа НПАС комбинаторика представлена в СК Ag, ограниченную комбинаторику выявляют СК Pat и СК Loc.

Дальнейший анализ на уровне субкатегорий выявляет общую для сопоставляемых языков, но иную чем на предыдущем этапе исследования, организацию словопроизводства. Наблюдаем перемещение с линейного порядка соотношений в вертикальный, родовидовой. Напр., в рамках субкатегории Ag(I) 'тот, кто [действует] с помощью I' выделяются такие классы, как напр., 'тот, кто [водит] I': р. *комбайнер,* п. *traktorzysta,* ч. *taxikář* и др.; 'тот, кто [играет] I', напр., р. *доминошник,* п. *piłkarz,* ч. *šachista* и др. Приведенные серии производных слов соотносятся семантически с более крупными и общими единицами, входящими в Ag(P): р. *водитель, игрок,* п. *kierowca, gracz,* ч. *řidič, hráč*. Таким образом, обнаруживаются гиперо-гипонимические связи между Ag(P) и Ag(I). Здесь особо заметна близость словообразования и лексики. Метод, использующий НПАС, оказывается на этом этапе сопоставительного описания менее пригоден. Лучшие результаты дает метод, изучающий словообразовательные парадигмы (о котором мы писали выше).

Итак, наша трактовка семантико-синтаксического и семантико-парадигматического подхода к сопоставительному словообразованию допускает разные методы описания. На разных этапах исследования могут быть использованы разные дополняющие друг друга подходы.

IV. **Виды мотивации.** Исследование видов мотиваций производных внутри определенных семантических групп предполагает разные подходы. Назовем некоторые из них: 1) выяснение того, как мотивация отражает актантную структуру слова: мотивация предикатом или его актантами — названием объекта, места, инструмента[22].

Сопоставление названий тождественных реалий в славянских языках с точки зрения актантной структуры может выявить "пристрастие" к определенным принципам наименований производных — названий лиц, мест, инструментов и других объектов в каждом языке или преобладание одного и того же мотивационного принципа во всех языках.

Некоторые языки в синонимических обозначениях одних и тех же реалий (синонимы по денотату) нередко используют разные виды мотивации: в одном из языков мотивация предикатом, в других — различными актантами. Ср.: р. *свалка,* п. *śmietnik, śmietnisko* (но и

*zwałka, wysypisko*), ч. *smetiště, rumiště* (но и *skládka*); р. *сапожник*, ч. *švec* и *obuvník*, п. *szewc*; р. *мясник*, п. *rzeźnik*, ч. *řezník*; р. *дачник*, ч. *chatář*, п. *letnik*; р. *дворник*, ч. *domovník*, п. *dozorca*; р. *парник*, *теплица*, ч. *skleník*, п. *szklarnia, cieplarnia*; р. *носильщик*, п. *bagażowy*, ч. *nosič*.

По предварительным наблюдениям, наибольшее единство в принципе наименования обнаруживается у однофункциональных предметов (артефактов), напр., инструментов, наименьшее — в кругу названий естественных реалий (биофактов) — растений, животных, птиц, насекомых, хотя как совпадения, так и несовпадения возможны в каждой группе слов.

Несколько примеров: р. *холодильник* — ч. *chladírna, chladič*, п. *chłodziarka*, но разг. *lodówka*; р. *будильник*, ч. *budík*, п. *budzik*; р. *счетчик*, п. *licznik*, ч. *počítač*. Названия породы собак: в р. заимствование *такса* — в п. *jamnik*, в ч. *jezevčík* (от *jezevec* 'барсук').

2) Изучение типов мотивирующих значений: мотивация прямая (основная и гипонимическая), метафорическая и др.[23] Выявление соотношения основной и гипонимической мотивации в производных одной семантической группы. Под гипонимической мотивацией мы понимаем мотивацию предметными существительными-гипонимами, называющими определенный вид того или иного класса предметов, тогда как производное выражает отношение не только к этому виду, а к целому классу. Так, р. *столяр*, п. *stolarz* называет человека, делающего мебель (а не только столы), *сапожник* — того, кто производит или чинит обувь (а не только сапоги), *кашевар* — того, кто готовит пищу (а не только кашу) и т.д.

В других славянских языках такой тип мотивации также встречается. Ср., например. ч. *popelář* — 'мусорщик' (*popel* 'зола, пепел'), ч. *truhlář* 'столяр' от *truhla* 'сундук', 'ящик', 'ларь'; ч. *chlebník*, п. *chlebak* 'дорожная сумка для продуктов' (не только для хлеба); у. *мисник* — 'полка для посуды, шкаф для посуды' (не только для мисок, хотя есть областное *посудник*).

В то же время необязательно названия одних и тех же реалий в разных языках имеют один тип мотивации. Так, не совпадают по типу мотивации р. *сапожник* (мотивация гипонимическая) и ч. *obuvník* (мотивация основная).

В связи с изучением разных видов метафорических мотиваций интересно отметить место так называемой преобразующей мотивации в каждом языке внутри разных частей речи и семантических групп. Пока установлено только, что слова такого типа есть во многих языках как славянских, так и неславянских. Ср.: р. *молокосос, сердцеед*, п. *niebotyczny, młokos, żółtodziób*, ч. *holobrádek, zelenáč, cucák, srdceryvný*, у. *молокосос, сердцеїд* и т.п.

Особый аспект исследования — выяснение сходства и различия внутренней формы (ВФ) при одном виде мотивации.

Уже отмечалось, что мотивация прилагательным порождает один возможный тип ВФ у названий всех категорий предметов. Так, ВФ слов, мотивированных прилагательными со значением цвета, однотипна во всех языках.

Мотивация существительным дает различные типы ВФ у разных предметных наименований, у производных, относящихся к разным частям речи[24]. Так, ВФ названия животного не содержит указания на его предназначение, в то время как в названии растения это возможно. В названия любого предмета (в том числе лица) мотивирующее существительное не вносит свои причинно-следственные связи, но нередко вносит пространственные (*подорожник, поморник* и т.п.) и временные (*дородовой, предзащитный* и т.п.). Целевые отношения, как правило, бывают представлены в наименованиях предметов имплицитно. Ср.: р. *дождевик, ветровка* — 'плащ/куртка для защиты от дождя/ветра', аналогичны п. *deszczowiec, wiatrówka,* ч. *pršiplášť* или *pršák,* п. *prochowiec* (*пыльник*).

Изучение разных типов ВФ при субстантивной мотивации в разных славянских языках — одна из задач сопоставительного словообразования. Важно установить, какие именно типы отношений к разным видам субстанций могут порождать названия тех или иных классов денотатов в разных славянских языках. С другой стороны, идентичные по словообразовательной структуре и по мотивирующему слову наименования, в разных славянских языках именуют разные денотаты[25]. Ср.: р. *ночник,* п. *nocnik,* ч. *nočník,* у. *нічник*; р. *парник,* п. *parnik,* ч. *parník,* у. *парник*; р. *зимник,* ч. *zimník*; р. *вечерник,* ч. *večerník,* у. *вечірник*; р. *вечеринка,* п. *wieczorynka*; р. *словник,* п. *słownik* и т.д.

V. **Идиоматичность семантики производного слова.** Безусловный интерес при изучении славянского словообразования представляет выяснение того, как в разных языках соотносятся идиоматичные и неидиоматичные производные. Идиоматичность лексической семантики производного слова целесообразно рассматривать внутри разных частей речи и семантических групп. Изучение этого вопроса на материале разных славянских языков может выявить некоторые важные закономерности: какие предикаты могут не получать формального (морфемного) выражения и присутствуют в значении производного слова имплицитно? Что более типично для производных разных семантических групп в каждом языке — невыраженность предиката или актанта? Есть ли различия в семантической организации идиоматичных производных в разных славянских языках? Какие "смысловые приращения" внутри одних и тех же семантических групп имеют универсальный характер, какие свойственны только отдельным языкам?[26]

VI. **Картина мира и словообразование.** Проблематика представления мира в словообразовании — многоаспектна и совсем не разработана. Ее можно рассматривать с разных позиций. Предлагаем некоторые материалы, показывающие наши размышления, которые касаются лексико-семантических классов слов.

Сопоставительный анализ семантических групп производных может в определенных случаях показать различие фрагментов картины мира, отраженной в национальном сознании. Наблюдения в этой сфере обнаруживаются при изучении названий тождественных реалий в разных славянских языках, с одной стороны, и при выяснении

того, каким реалиям соответствуют слова разных славянских языков, идентичные по словообразовательной структуре и по мотивирующим лексемам, с другой стороны.

Каждый язык выбирает из синонимического ряда или лексической парадигмы (глаголы движения, деструкции и т.д.) свою базовую единицу, мотивирующую наименование. Исследование совпадений и различий в этом выборе может дать интересный материал для обобщений. Ср.: р. *беженец*, п. *uchodźca*, ч. *utečenec*; р. *скороход*, п. *szybkobiegacz*; р. *ступенька*, п. *schodek*; р. *свалка*, п. *zwałka, wysypisko*; ч. *skládka*; р. *сторож*, п. *stróż*, *dozorca*, ч. *hlídač*; р. *идолопоклонник*, п. *bałwochwalca*, ч. *modloslužebník* (*modla* — *идол*); р. *черновик*, п. *brudnopis*; р. *националист*, п. *nacjonalista, narodowiec*, ч. *nacionalista*; р. *людоед*, п. *ludożerca*, ч. *lidojed, lidožrout*.

Нам кажется, что особого внимания заслуживает проблематика антропоцентризма, рассмотрению которой посвящаем специальный раздел.

VII. **Антропоцентризм.** В последние годы возрос интерес лингвистов к проблеме антропоцентризма в языке. Рост интереса к этой проблематике мог быть стимулирован отчасти концепцией А. Вежбицкой[27]. В центре этой семантической модели ставится 'я' со свойством 'думать', 'говорить', 'хотеть'/'не хотеть' (и несколькими другими "семантическими примитивами"), противопоставленное 'ты', обладающему такими же свойствами. Окружающая действительность трактуется как нечто внешнее по отношению к 'я'. Описание артефактов и биофактов проводится с позиций антропоцентризма, т.е. исходя из ситуаций, в которых объекты функционируют, соприкасаясь с человеческим миром.

2. Проблематика антропоцентризма важна и для сопоставительного словообразования. Для иллюстрации выделим два круга вопросов: 1) представление действительности, ориентированной на человека; 2) представление действительности через восприятие человека.

2.1. В общем виде первое обнаруживается как изображение главенствующей, привилегированной позиции человека по отношению к другим объектам действительности. Объекты с семантическим компонентом 'лицо' характеризуются большей словообразовательной активностью, чем неличные и неодушевленные. Это проявляется в большей продуктивности существительных и других частей речи, связанных с общей семантикой 'профессия', 'житель', 'член коллектива' и т.п., в большей продуктивности глаголов и прилагательных, связанных с семантикой говорения (в широком смысле), думания, поведения, оценки и под. Действительность в словообразовании изображается как ориентированная на действующее лицо. Это отражается в большем удельном весе агенса и каузатора, тогда как пациенс и бенефициенс в славянском словообразовании занимают ничтожное место.

2.2. Второе находит отражение в предложениях с производными перцептивными глаголами типа *белеть, чернеть*. Напр., в строке *Белеет парус одинокий в тумане моря голубом...*, содержится информация о том, что поэт является наблюдателем и он констати-

рует факт проявления признака 'белизны' (у паруса) в данной ситуации (а не просто информация о том, что объект обладает признаком 'белизны'). Позиция наблюдателя находит отражение также в предложениях с производными локативными глаголами. Напр.: — *Я вам фруктов нарву, — сказал Виктор Максимович и ... быстро удалился в глубину сада* (Искандер). Здесь содержится информация о том, что повествователь является наблюдателем и он констатирует факт перемещения героя (удаления) по отношению к пункту, где находится в данной ситуации повествователь (а не просто информация о том, что герой пошел в глубину сада).

3. Мы выделяем подобные вопросы, потому что по отношению к словообразованию проблема антропоцентризма специально не рассматривалась. Между тем антропоцентризм пронизывает славянское словообразование, и — следует полагать, что не только славянское.

VIII. **Функциональный аспект.** Полное представление о системном характере словообразования требует освещения функционального аспекта: какие функции выполняет словообразование в языке?

При изучении русского языка выявлено пять функций словообразования: 1. номинативная, 2. конструктивная, 3. компрессивная, 4. экспрессивная, 5. стилистическая[28]. Представлены ли все эти функции во всех славянских языках? В каких группах производных слов? В каком объеме? Существуют ли функции, свойственные словообразованию лишь отдельных славянских языков?

Заслуживает внимания иное направление исследований внутри функционального аспекта: словообразование и текст. Какие функции выполняет словообразование в тексте? Особая неисследованная проблема — изучение текстовых функций словообразования в разных славянских языка и их сопоставление[29].

* * *

Авторы осознают всю сложность взятой на себя задачи. Многоаспектность избранной проблематики и чисто техническая необходимость заключить содержание в рамки одной строго ограниченной по объему статьи определили в ряде случаев фрагментарность изложения и невозможность полностью представить литературу вопроса.

[1] Подобную оценку этого методологического подхода см.: *Topolińska Z., Vidoeski B.* Polski — macedoński. Gramatyka konfrontatywna (Zarys problematyki). Z. 1. Wrocław etc., 1984.

[2] См., напр.: Studia konfrontatywne polsko-południowosłowiańskie. Wrocław etc., 1984; *Koseska-Toszewa V.* O języku pośredniku i badaniach konfrontatywnych // Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich. W-wa 1991; *Daneš F.* Some Thoughts in the Semantic Structure of the Sentence // Lingua. 1968, 21; *Horecký J.* Ku konfrontačnému výzkumu slovnej zásoby // Českosl. rusistika. 1974. 19, č. 2; *Topolińska Z., Vidoeski B.* Указ. соч.

[3] См., напр.: Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987.

[4] Конечно, словообразовательные средства могут быть предметом изучения. См. интересные работы: *Леков И.* Словообразователни склонности на славянските езицы. София, 1958; *Лопатин В.В., Улуханов И.С.* Сходства и различия в словообразова-

тельных системах славянских языков // Славянское языкознание: IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1983.

[5] *Dokulil M.* Ke koncepci porovnávací charakteristiky slovanských jazyků v oblasti "tvoření slov" // Slovo a slovesnost. 1963. XXIV, 2.

[6] См. подробнее: *Земская Е.А.* Словообразование как деятельность. М., 1992.

[7] Далее приняты следующие сокращения: р. — русский, п. — польский, ч. — чешский, у. — украинский.

[8] *Земская Е.А.* О парадигматических отношениях в словообразовании // Русский язык: вопросы его истории и современного состояния (Виноградовские чтения I—VIII). М., 1978; Парадигматика в лексике и словообразовании. Красноярск, 1987.

[9] *Манучарян Р.С.* Некоторые вопросы сопоставления словообразовательных категорий (на материале русского и армянского языков) // Вопросы семантики. Тезисы докладов. М., 1971; *Земская Е.А.* Современный русский язык. Словообразование. М., 1973; *Лопатин В.В.* Словообразование как объект грамматического описания // Грамматическое описание славянских языков. Концепции и методы. М., 1974; *Guilbert L.* La créativité lexicale. Paris, 1975.

[10] См. подробнее: *Земская Е.А.* Словообразование // Современный русский язык. Под ред. В.А. Белошапковой. М., 1989. С. 334—353.

[11] См.: *Земская Е.А.* Современный русский язык...

[12] См.: *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика. М., 1974; *Buzássyová K.* Sémantická štructúra slovenských deverbatív. Br., 1974; *Морозова Т.С.* Структура словообразовательных парадигм русского глагола. Канд. дис. М., 1980.

[13] Интересная попытка изучения этой проблематики содержится в: *Резанова З.И.* Словообразующие возможности существительного. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1983.

[14] См. *Chafe W.L.* Meaning and the Structure of Language. Chicago-London, 1971; *Fillmore Ch.* The Case for Case // Universals in Linguistic Theory. N.York, 1968; *Мельчук И.* Опыт теории лингвистических моделей: Смысл ⇔ Текст. М., 1974. Уже после окончания работы над этим докладом вышла из печати важная в теоретическом отношении статья: *Мельчук И.А.* Словообразование в лингвистических моделях типа "смысл ⇔ текст" // Metody formalne w opisie języków słoviańskich. Bjalystok, 1990. S. 47—74.

[15] *Laskowski R.* Struktura formalna a struktura semantyczna rzeczowników słowotwórczo podzielnych // Studia Semiotyczne. 1973. T. IV.

[16] *Grzegorczykowa R., Puzynina J., Kallas K., Wróbel H.* Słowotwórstwo // Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. W-wa, 1984.

[17] *Bałtowa J., Siatkowski J.* Konfrontatywny opis słowotwórstwa języków blisko spokrewnionych // Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo. W-wa, 1988. Ser. 7.

[18] *Karolak S.* Z problematyki opisu wyrażeń predykatowo-argumentowych // Studia gramatyczne. Wrocław etc., 1977. T. I; *Idem.* Składnia wyrażeń predykatywnych // Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. W-wa, 1984.

[19] Кароляк (Składnia.., s. 28) выделяет также облигаторный локативный компонент, напр.: Jest mi tutaj zimno. Wszędzie się nudzę. Как нам кажется, локативная характеристика не охватывает всех предложений, ср., напр.: Jan jest moim bratem, но не *Jan jest moim bratem tutaj / w Warszawie. Примеры Кароляка надо интерпретировать как содержащие локативный элемент, отсылающий к говорящему 'я', являющемуся субъектом внутреннего состояния. См. в этой связи: *Wierzbicka A.* Semantic Primitives. Frankfurt a/M., 1972; *Апресян Ю.Д.* Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. М., 1986. Вып. 28; *Падучева Е.В.* Говорящий: субъект речи и субъект сознания // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1992.

[20] Семантические роли, впервые предложенные Ч. Филлмором (Указ. соч.) были объектом описания во многих работах. См., напр., в связи с валентностью глагола: *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика...; *Buzássyová K.* Указ. соч.; *Морозова Т.С.* Указ. соч.

[21] См. разные подходы: *Bałtowa J., Siatkowski J.* Указ. соч.; *Grzegorczykowa R., Puzynina J., Kallas K., Wróbel H.* Указ. соч.; *Земская Е.А.* Словообразование // Современный...

[22] Разумеется, существуют мотивации, основанные совсем на других принципах. Это, например, признаковая мотивация в словах типа *синеть, синева* или мотивация

модификационных образований. Эти мотивации одинаковы во всех языках и не представляют интереса в качестве объекта сопоставительного словообразования.

[23] См. подробнее об этом: *Ермакова О.П., Земская Е.А.* К уточнению отношений синхронной словообразовательной производности // Russian Linguistics. 1991. 15.

[24] См.: *Ермакова О.П., Земская Е.А.* Сопоставительное изучение словообразования и внутренняя форма слова // Изв. АН СССР. Сер. литер. и яз. 1985. № 6.

[25] Ср.: *Dokulil M.* K otázce prediktability lexikálního významu slovotvorně motivovaného slova // Slovo a slovesnost. 1978. XXXIX, č. 3—4.

[26] Ср.: *Бузашиова К.* Возможности и границы моделирования на уровне словообразовательных парадигм // Сопоставительное изучение словообразования...

[27] *Wierzbicka A.* Указ. соч.; *Idem.* Lingua mentalis. The Semantic of Natural Language. Sydney, 1980; *Idem.* Lexicography and Conceptual Analysis. Ann Arbor, 1985. См. также: *Апресян Ю.Д.* Дейксис...; *Падучева Е.В.* Указ. соч.

[28] См. об этом: *Земская Е.А.* Словообразование как деятельность... С. 8—12.

[29] По отношению к русскому языку это исследование проведено, например, в работе: *Земская Е.А.* Словообразование и текст // ВЯ. 1990. № 6.

*Г.П. Нещименко*

## К ПРОБЛЕМЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ (на материале славянских языков)

При написании настоящей статьи в ряду задач, которые мы ставили перед собой, было показать, что в силу многослойности строения языка как феномена протекающие в нем процессы развиваются разнонаправленно и неравномерно в различных звеньях и пластах его системы. При этом имелась в виду отнюдь не разная степень мобильности отдельных языковых уровней — факт в общем-то тривиальный; ср., к примеру, бóльшую динамичность лексики по сравнению с морфологией и т.п. Гораздо важнее для нас было показать и доказать на конкретных фактах, что подобная закономерность прослеживается и в рамках одного и того же уровня — в нашем случае словообразовательного.

Факторы, влияющие на направленность деривационной динамики и темпы ее протекания, достаточно многообразны. Первоочередное значение здесь имеют закономерности внутриязыкового развития, т.е. имманентные свойства языковой системы. Наблюдаемая в этом случае картина варьируется по языкам в зависимости от того, преобладают ли в них конвергентные или же дивергентные тенденции. Не менее существенна и стимулирующая роль межсистемного взаимодействия, интерференции между языками, экзистенциальными формами одного и того же этнического языка, различными стилевыми пластами. Скорость протекания инновационных процессов может определяться и экстралингвистическими причинами, в частности, социальной потребностью в тех или иных номинациях, их фреквенцией в общеречевом потоке. Последнее немало зависит от конкретной исторической ситуации, характера социального заказа, потребности обозначить новые реалии и понятия, создать или же пополнить терминологические номенклатуры и т.п. В силу этого в истории

языка отмечаются периоды особой активизации словотворческой деятельности, сменяющиеся затем периодами более спокойного, "замедленного" развития, в ходе которого стабилизируется лексика, отсеиваются избыточные дериваты с непродуктивными формантами, происходит размежевание дублетов и т.д.

Направленность языковой динамики, в том числе и словообразовательной, наиболее отчетливо выявляется при диахронном изучении языка, позволяющем сравнивать между собой хронологически удаленные языковые состояния и в силу этого фиксировать разные стадии протекания одного и того же языкового процесса, видеть его историческую перспективу. Не менее важным, однако, является изучение синхронной динамики, когда предметом наблюдения становятся формирующиеся или же потенциальные тенденции, направленность развития которых просматривается уже в пределах данного синхронного среза либо становится объектом прогностических предположений. В этой связи чрезвычайно важно учитывать и тщательно анализировать факты языковой конкуренции, свидетельствующие со значительной долей вероятности о возникновении потенциальной языковой или же коммуникативной дискомфортности, о появлении точек напряженности в системе, о контактном взаимодействии различных языковых систем друг с другом. В последнем случае мы имеем в виду контакты не только с другими языками, но и с экзистенциональными формами, прежде всего литературного и разговорного языков. Заметим, что в целом разговорный язык гораздо динамичнее, чем литературный, развитие которого во многом регламентируется кодификационными предписаниями.

Проблема словообразовательной динамики вбирает в себя широкий круг явлений, численность и состав которых во многом зависят от избранного угла зрения, а также от степени обобщения деривационного материала. Исходной базой для наблюдения динамических тенденций является деривационный анализ, осуществляемый на лексемном уровне, т.е., по сути дела, тот микроанализ, результаты которого впоследствии осмысляются в более широком деривационном контексте. В рамках данного микроанализа для решения проблемы деривационной динамики особый интерес представляют такие явления, как изменение словообразовательной членимости слова, возникновение альтернативных мотивировок, одновременно соотносящих лексему с различными производящими основами, зарегистрированными на исследуемом синхронном срезе. Иными словами, речь идет о варьировании словообразовательной структуры деривата, рассматриваемой через призму двух его основных составляющих: суффикса и основы. Проведенные наблюдения достаточно убедительно показали, что вариативность членения дериватов, подтвержденная многочисленными языковыми фактами, может стимулировать внутреннюю перестройку словообразовательной категории (далее: СК), что в свою очередь влечет за собой изменения в общей структурации деривационного континуума.

Для обобщения наблюдений, сделанных при словообразовательном "микроанализе", т.е. на лексемном уровне, наиболее эффек-

тивным является использование таких фундаментальных понятий деривационного синтеза, как СК и словообразовательный тип (далее: СТ). Понятие "СТ" в литературе трактуется более или менее единообразно; интерпретация понятия "СК", напротив, не является столь однозначной. Не вдаваясь в полемику, уточним лишь нашу собственную позицию, поскольку от степени широты толкования этого понятия зависит и круг явлений, относящихся к сфере словообразовательной динамики.

СК нами понимается как гомогенная иерархизованная макросистема, включающая в качестве строевых системообразующих компонентов однопорядковые изофункциональные СТ, скрепленные тождеством словообразовательного значения и идентичностью классификационной принадлежности форманта. В соответствии с последним уточнением рамками одной и той же СК объединяются номинации, произведенные посредством одного и того же способа словообразования. Заметим, что целый ряд отечественных лингвистов и, в частности, Р.С. Манучарян (Манучарян 1987, 54—55), склонны к расширительному толкованию СК, полагая, что СК целиком покрывает словообразовательную зону того или иного номинационного поля, вбирая в себя ряды производных с разными формантами и разными способами словообразования.

СК является пересечением сложных взаимосвязей, позволяющих ее рассматривать под разными ракурсами. Так, набор СК составляет каркас общей деривационной системы языка, в которую они входят в качестве системообразующих подсистем. Вместе с тем СК является составной частью и такого сложного и неоднородного понятия, как ономасиологическая категория, отличающаяся гетерогенностью средств ее языковой реализации. Для деривационного воплощения ономасиологической категории обычно используется какая-то одна СК. Именно так обстоит дело, к примеру, у деминутивов (Nomina deminutiva; далее: ND), парных феминативов (Nomina mota; далее: NM), у Nomina agentis (далее: NAg) и многих других. У прилагательных со значением интенсификации признака — две СК: суффиксальные деадъективы (рус. *тоненький*), префиксальные деадъективы (рус. *сверхтонкий, архиопасный*); у прилагательных со значением ослабленного признака — три СК: префиксальные деадъективы (продуктивны в южнославянских языках), суффиксальные и префиксально-суффиксальные деадъективы (Нещименко 1968; 1983). Таким образом, СК по отношению к СТ является следующим шагом абстракции, при котором элиминируется лишь конкретная манифестация форманта. Тем самым СТ вводятся в контекст себе подобных феноменов, что позволяет наблюдать их взаимодействие друг с другом, конкуренцию и т.п., т.е. внутреннюю динамику в СК.

В ходе последующего изложения проблема словообразовательной динамики нами будет рассматриваться через призму СК, с учетом двух аспектов: интракатегориального (внутренняя организация СК), и интеркатегориального (межкатегориальные взаимоотношения).

А. Интракатегориальный аспект

Определяя СК как множество СТ, мы хотели бы подчеркнуть,

что ее деривационный ареал не равняется сумме дистрибутивных ареалов СТ с определенными формантами. Здесь отмечаются следующие ситуации: а) полное разграничение дистрибуции формантов; б) частичное пересечение (величина зоны пересечения может варьироваться); в) полное совмещение или же перекрывание дистрибутивных сфер формантов — в данном случае один из аффиксов является избыточным. Появление у одних и тех же основ подобных зон пересечения (при сохранении тождества словообразовательного значения) может быть обусловлено рядом причин, которые мы лишь бегло назовем: а) действие адаптивного морфонологического механизма (чередования стыковых согласных, использование вставных гласных): (чеш.) *dramaturg — dramaturgyně, dramaturgička, dramatúržka*; *svetr — svetřík, svetýrek*; б) наличие изофункциональных суффиксов с идентичными комбинаторными предпосылками (рус. *геолог — геологиня, геологичка, биолог — биологиня, биологичка* и пр.); в) присоединение изофункциональных суффиксов с разными дистрибутивными предпосылками к различным алломорфам одной и той же производящей основы; ср. чеш. *cimøra / cimer — cimřička, cimerka*; *učeň / učøň — učeňka, učnice* и пр. Варьирование суффиксов может быть обусловлено и спецификой ономасиологической структуры слова, т.е. характером связки, не отраженной в структуре деривата, но выявляемой при его семантической интерпретации: *lampárna* 'помещение, где хранятся лампы железнодорожников', *lampovna* 'помещение, где хранятся лампы шахтеров'; *motorárna* 'предприятие, где делают моторы', *motorovna* 'помещение, где находятся моторы', *houslista* 'скрипач, т.е. человек, который играет на скрипке', *houslař* 'скрипичный мастер, т.е. человек, который делает скрипки'.

Выше уже отмечалось, что СК представляет собой иерархизованное единство, т.е. значимость СТ в системе СК не равноценна. Их дифференциация может осуществляться на разных основаниях, однако наиболее распространенной является градация СТ по степени продуктивности, с использованием шкалы, дробность которой варьируется у различных исследователей. Аттестуя форманты по степени их продуктивности, мы получаем ценную информацию об их качественных параметрах, о реализованной или же потенциальной словообразовательной активности. И тем не менее для выявления правил внутренней организации деривационной системы как целого, особенностей ее функционирования этих сведений недостаточно. Для установления значимости тех или иных СТ в общей архитектонике СК как иерархизованной системе оправдывает себя использование известной оппозиции "центр — периферия". На этом основании в составе СК выделяются две функциональные ниши: центр, или же организующее ядро, и периферия. Эта же дифференциация распространяется и на форманты. Используя понятие "периферия", мы отнюдь не имеем в виду нечто второстепенное. Напротив, это обширная и многослойная ее зона, имеющая важное значение для функционирования как самой СК, так и деривационной системы в целом. Возможно, уместнее было бы говорить об оппозиции "центр — не центр". Существенным является и отсутствие жесткой демаркацион-

ной линии между центром и периферией. Следует также учитывать, что в силу развивающихся в языке динамических процессов некоторые из периферийных явлений со временем смещаются в более ранжированное место системы. Соответственно идет и обратный отток из центра на периферию. К верхнему ярусу периферии, очевидно, можно было бы отнести так называемые среднепродуктивные и ограниченно продуктивные форманты, востребуемые по мере необходимости для обслуживания определенных структурно-семантических ситуаций. К периферии относится, например, суф. *-ynĕ* (чеш.), сочетающийся в основном с непроизводными лексемами; ср.: *sok — sokynĕ, otrok — otrokynĕ*. Непродуктивен этот формант и в русском языке (*раб — рабыня* и пр.). Впрочем, в Русской грамматике (Русская грамматика I 1980, 202) отмечается его продуктивность в русской разговорной речи (*шефиня, филологиня* и пр.) — подобная оценка, однако, нам представляется завышенной.

Функциональное назначение суффиксального центра заключается в оптимальном обеспечении основного состава производящих основ и, соответственно, в оптимальной реализации релевантного для данной СК словообразовательного значения. При формировании центра решающее значение имеют комбинаторные предпосылки формантов, их совместимость с дистрибутивными параметрами производящих основ и, в частности, с типовой контактной зоной (далее: КЗ) данной СК. Заметим, что под КЗ мы понимаем конечную и предконечную фонемы основы, наиболее тесно примыкающие к суффиксу. Как показал анализ, по своим дистрибутивным параметрам центровые суффиксы соответствуют типовым КЗ, характерным для данной СК. Причем при унифицированном строении КЗ состав суффиксального ядра может быть максимально сжатым, т.е. включать лишь один доминирующий формант; ср. у NM в большинстве славянских языков центровым является суф. *-øk-*. Абсолютное преобладание КЗ вокального типа отмечается у NAg (зачастую вокалом бывает представлен финальный компонент КЗ), поэтому и центровые суффиксы здесь представлены консонантными формантами; ср. рус. *-тель, -чик / -щик*; чеш. *-tel* и *-č*; в сербохорватском в центре находятся два взаимодополняющие друг друга форманта: *-тел, -ач* (западный вариант), *-лоц, -ач* (восточный вариант)[1]; (болг.) *-тел, -ач*. Бóльшая часть из обследованных нами СК имеет КЗ вокального и консонантного вида (первые преобладают), поэтому и в состав центра входят суффиксы с консонантным и вокальным зачином, в дистрибутивном отношении взаимодополняющие друг друга, т.е. взятые в совокупности они обеспечивают возможные комбинаторные ситуации, являются самодостаточными в комбинаторном отношении.

Численность центровых формантов обычно стихийно регулируется действием тенденции языковой экономии, вследствие чего на периферию системы из центра вытесняются суффиксы, дублирующие комбинаторные параметры более продуктивных формантов.

---

[1] Материал сербохорватского языка собран и интерпретирован Ю.Ю. Гайдуковой.

Функциональное назначение аффиксов, относящихся к периферии, существенно отличается: прежде всего они обеспечивают некоторые локальные структурно-семантические ареалы, используются для экспрессивного варьирования. Последнее обстоятельство во многом объясняет наличие особенно большого пласта периферийных суффиксов в таких категориях, как ND, Nomina attributiva (NAt), отчасти NAg, т.е. там, где велика потребность в выразительных, броских, незатертых лексемах; ср.: (болг.) *кривчо, глупчо, плачльо, сънльо*; (рус.) *ворюга, хитрюга, хапуга, растеряха, выпивоха* и пр. Ср. также развернутую суффиксальную периферию у NAt в чешском языке: *-áč* (*naháč, zelenáč, bradáč*), *-och* (*tlusťoch*), *-'as* (*pruďas, kruťas*), *-án* (*dlouhán*), *-oun* (*blboun, vztekloun*), *-oň* (*blboň*, slepoň), *-ín* (*bolestín*).

Численность периферийных суффиксов расширяется за счет использования как внутриязыковых (в первую очередь) ресурсов, так и ресурсов других языков. Кроме того, их число пополняют избыточные аффиксы, "вытолкнутые" из центра. Так, в ND, NM отошли на периферию аффиксы с консонантом "с" во всех языках, кроме сербохорватского. Подобная же судьба постигла суф. *-ыня* (*-yně*) в NM. Из числа заимствованных аффиксов можно было бы назвать, к примеру, для NM суф. *-есса* (*шефесса, прозаикесса, критикесса, патронесса* и пр.). Основной костяк среди периферийных формантов составляют аффиксы архаические, непродуктивные, входящие в состав СТ с нарушенными системными признаками. Образованные по этим схемам дериваты имеют размытое, лексикализованное значение, состав производящих основ некомплектен, с большим количеством лакун.

Периферию системы в определенном смысле правомерно рассматривать как своего рода запасник, компоненты которого в случае необходимости могут быть востребованы носителем языка. Так, например, в современном чешском языке активизировалось употребление и образование дериватов на *-no* (Nomina essendi — NEs) в текстах философского, литературоведческого и т.п. характера; ср.: *duševno, estetičnó, nevyslovitelno* и пр. К периферии относятся и многие окказионализмы, образованные по малопродуктивным схемам; ср. чеш. *vlakuška* 'проводница в поезде' по образцу *letuška* 'стюардесса' или же русские новообразования типа *несун, везун, несунизм* и т.д. Примечателен также окказионализм *шейха* 'дочь шейха' в речи комментатора, а также на титрах ТВ, где для образования феминатива используется непродуктивный способ деривации.

В отличие от центрального ядра, имеющего уплотненную структуру, периферия более разрежена, здесь не действуют строгие нормативные регламентации, в силу чего открывается больший простор для языкового экспериментирования, появления окказиональных, экспрессивно окрашенных образований. Периферия более проницаема для воздействия других языковых систем, в том числе и других СК, экзистенциальных форм, иных языков.

Процесс поляризации формантов между центром и периферией проходит во всех СК и во всех более частных фрагментах словообразовательной системы. По нашим наблюдениям, высокой сте-

пенью центрированности отличаются в чешском языке ND, поскольку они имеют мощную деривационную базу и высокую фреквенцию. Менее интенсивно поляризация формантов проходит в NAt, имеющей более периферийное положение, однако и здесь выделяется организующее ядро в виде консонантного форманта *-øc-* и *-ík-* (чеш.); *-ик* / *-øц* (рус.); *-ец* / *-ик* (болг.).

В целом в условиях гомогенных систем поляризация формантов более очевидна. Сложнее этот процесс развивается в гетерогенных системах со свойственным им полицентризмом. Впрочем, тенденция к двуцентровости может отмечаться и у гомогенных систем с внутренней расчлененностью деривационного рельефа. Так, у NL в сфере наименований открытого пространства профилированным центровым аффиксом является суф. *-ище* (рус.), *-iště* (чеш.), *-ище* (болг.), *-иште* (серб.-хорв.); в словацком и польском доминирует *-isko*, непродуктивный в чешском. У обозначений замкнутого пространства суффиксальный центр включает консонантный и вокальный форманты; ср. *-na* и *-árna* (чеш.). В южнославянских языках центровое положение занимают вокальные форманты; ср. *-алня* (болг.), *-арница, -оница* (серб.-хорв.). Обособленную группу в рамках СК нередко образуют заимствованные аффиксы, во всяком случае до их полной интеграции в языке, когда они начинают "на равных" конкурировать с другими формантами.

Положение, занимаемое в системе СК суффиксами идентичного строения, в близкородственных языках не всегда совпадает. Так, суф. *-árna* (NL) в чешском языке является центровым, а в сербохорватском — периферийным (*цинкарна, коксарна*). Аналогично суф. *-na* (также NL) продуктивен в чешском и непродуктивен в русском языках (ср. рус. *бойня, пекарня*). По-разному складывается судьба так называемого неравнофонемного суффикса *-če* (*-čet-/-čat*) (чеш.); ср.: *jelen — jelínče, medvěd — medvídče* (о молодых животных), но и *kantor — kantůrče, doktor — doktůrče* (с ироническим оттенком). Значительно выше продуктивность форманта в южнославянских языках. Так, в болгарском он является центровым в ND (м.р.): *другар-че, стол-че, мост-че, водопад-че* и пр. Имеются и другие примеры: суф. *-ица* в сербохорватском является центровым в ND, в чешском же он практически полностью утратил продуктивность; суф. *-енце* в южнославянских языках используется для образования обозначений "молодых животных" (*прасе — прасенце, теле — теленце* в сербохорватском, *орле — орленце, семе — семенце* в болгарском), в чешском языке он является полностью реликтовым. Количество подобных расхождений достаточно велико, что побуждает к большей осторожности при выведении глобальных универсалий для близкородственных языков.

Как показало проведенное исследование, общий организационный принцип строения СК ("центр — периферия") стабильно сохраняется в истории языка, однако конкретная наполненность этих функциональных ниш, скорость и результаты поляризации формантов исторически изменчивы. Стабильной является и общая тенденция формирования максимально компактного центра в противовес более

аморфной периферии. Следует, однако, учитывать, что языковая динамика в центре СК является более замедленной, чем на периферии.

Динамические процессы, происходящие внутри СК, отличаются разнонаправленностью: они носят как центробежный, так и центростремительный характер. Сказанное наблюдается и в центре, и на периферии системы. Наиболее жизнеспособные периферийные аффиксы с течением времени могут повысить свой статус и проникнуть в центр системы. Красноречивой иллюстрацией этого является многофонемный суф. *-i(i)čØk-* (*-ичØк-*), который в силу своей семантической выразительности не только "проник" в центр у чешских деминутивов ж. и ср.р., но даже обусловил перестройку центровых формантов в ср.р., где этот аффикс более активен, чем *-Øk-*, доминирующий в м. и ж.р. Активные позиции занимает этот формант у NM в словацком языке, где он, по сути, автоматически присоединяется к заимствованным основам на *-lóg*. В современном чешском языке использование суф. *-ičØk-* в этой функции пока что отмечается лишь спорадически; ср. разговорные *bohemistička, psychiatrička* и некоторые другие. Заслуживает внимания и активизация многофонемных формантов с препозиционными наращениями в некоторых других категориях; ср.: (NAg) *-льщик* (рус.): *голосовальщик, говорильщик, проверяльщик, потакальщик* и пр.; (Nomina actoris — NAct): *-овик*: *шестовик* (о спортсмене), *бытовик* 'работник службы быта', *орговик* 'специалист по оргвопросам', *поисковик* 'участник группы "Поиск"', *зерновик* 'специалист по зерну, зерновому хозяйству' (многие из этих лексем носят разговорный характер и могут рассматриваться как универбы); ср. также NAct с *-овец*: *агитпереходовец, огоньковец, ринговец* 'участник ТВ-передачи "Музыкальный ринг"', *щитовец* 'член военной организации "Щит"', *взглядовец* 'участник ТВ-передачи "Взгляд"' и др. Несмотря на свою фонемную громоздкость, подобные форманты отличаются семантической выразительностью, а также комбинаторной неприхотливостью.

Вместе с тем действует и встречная центробежная тенденция, особенно характерная для эволюции центровых аффиксов, когда из центра по закону языковой экономии вытесняются форманты, дублирующие дистрибуцию более продуктивных суффиксов. В результате взаимодействия обеих тенденций устанавливается подвижное равновесие, заключающееся в наличии компактного, самодостаточного в комбинаторном отношении центра и развернутой периферии.

Аналогичные тенденции действуют и на периферии, однако здесь отток формантов значительно ниже их притока, что приводит к разрастанию периферии, имеющей более проницаемую и восприимчивую к влиянию других языковых систем структуру.

Для выявления направленности эволюции словообразовательных закономерностей большое значение имеет изучение очагов конкуренции. Особый интерес, в частности, представляет пересечение изофункциональных аффиксов у одних и тех же основ. Нецелесообразное с точки зрения языковой экономии дублирование обычно

завершается либо вытеснением менее перспективных образований, либо функциональным "разведением" конкурирующих лексем. По сути дела, в данных случаях мы можем наблюдать поиск более адекватного способа выражения; ср. попытки освоения нового заимствования: *рекетир, рекетёр* и даже *рекетист* в русском языке.

Особого внимания заслуживают случаи конкуренции "К" и "С"-формантов. Вопреки довольно устойчивому мнению о сильной позиции "С"-формантов у деминутивов в болгарском языке (для сербохорватского языка этот факт бесспорен), есть основания говорить об активизации "К"-формантов (Нещименко 1983, 47). Ср. также конкуренцию деминутивных суффиксов *-ка* и *-ица* в истории русского языка (*рыбка, речка, ручка* вм. *рыбица, речица, ручица* и пр.). В NM картина не столь однозначна, так как даже в сербохорватском языке при доминирующем положении суф. *-ица* его позиции потесняются суф. *-ка, -киња*. Так, как показала в своей диссертации Ю.Ю. Гайдукова (Гайдукова 1990), в восточном варианте литературного сербохорватского языка из 38 дериватов с *-ица,* образованных от основ на *-иста,* 36 имеют параллельные образования с *-киња* и *-ица* (*трафикантица / трафиканткиња*); ср. также *адвокатица / адвокаткиња, аристократица / аристократкиња*. Впрочем, в западном варианте сербохорватского языка суф. *-ица* у заимствованых основ занимает более прочное положение. Однако и здесь есть симптомы потеснения *-ица*. Так, он не сочетается с заимствованиями на *-лог*. Примечательно, что у новых лексических поступлений отмечаются прежде всего суф. *-ка* и *-киња*: *космонауткиња, дактилографкиња, детективка, шампионка* и т.п. Подобные факты наводят на мысль о необходимости дополнительной проверки вывода об узурпирующем положении суф. *-ица* в сербохорватском языке.

Процесс размежевания словообразовательных дублетов в ряде славянских языков активно проходил в XIX г. Так, если в XIX в. еще были возможны контексты типа najaly se služky a *učitelkyně* i učitelové (B. Němcová. Báchorky), то в XX в. образование *učitelkyně* было полностью вытеснено дериватом *učitelka*. Аналогично для начала XIX в. еще были возможны дублеты *herečka* и *herkyně* в одном контексте. Впоследствии производные с *-kyně* существенно сузили сферу своего употребления (в отличие от сербохорватского). Впрочем, полностью процесс размежевания дублетов еще не завершился. Приток новой лексики, в особенности заимствований, приводит к возникновению новых комбинаторных ситуаций, стимулирует поиск оптимальных деривационных решений.

Изучение конкуренции словообразовательных формантов полностью подтверждает вывод о доминирующем положении суф. *-Øk-* для всего славянского региона (за исключением случаев, о которых говорилось выше), об инвазии многофонемных суффиксов в ряде СК. Интерес представляет анализ фактов дублетности чешских суф. *-ař/-ář* и *-ník* (NAct), приводимых Д. Шлосаром (Historický vývoj češtiny 1977, 256), красноречиво свидетельствующих об укреплении позиций суф. *-ař/-ář* в данной СК в истории чешского языка; ср.: *lyžař — lyžník, sochař — sošník*. Аналогично складываются отно-

шения суф. *-щик/-чик,* с одной стороны, и *-ник* — с другой, в русском языке. Множественные очаги пересечения суффиксов отмечены в NL в чешском языке. Так, Фр. Данеш зафиксировал не менее 100 подобных случаев; *soustruh — soustruhovna, soustruhárna, soustružna*, где у одной и той же основы пересекаются аффиксы с вокальным зачином (*-ovna, -árna*) и консонантным зачином *-na* (в последнем случае отмечается морфологическое чередование). Во многих приводимых примерах зарегистрирована сильная позиция суф. *-árna* (Tvoření jmen podstatných 1967, 438). В NL в сербохорватском языке отмечаются факты конкуренции суф. *-ар(а)* и *-ан(а),* используемых для образования обозначений производственных помещений; ср.: *стаклара, стаклана*; *пивара, пивана,* где суф. *-ар(а)* оказывается в более сильной позиции (*железара, кожара, пивара* и пр.).

Вряд ли нужно специально доказывать, что для достоверности наблюдений за ходом конкуренции необходимо привлечение достаточно обширного языкового материала. Так, к примеру, при рассмотрении конкуренции суф. *-∅k(a)* и *-kyn(ě)* в чешском языке нами было обследовано 160 случаев конкуренции феминативов, в 127 была зафиксирована сильная позиция *-∅k(a)* и 10 *-kyn(ě)* или же *-yn(ě),* в 23 — исход был неясен (Нещименко 1960, 190). У суф. *-∅к* и *-ік* (ND м.р.) было проанализировано 245 случаев конкуренции (122 — победа *-∅к*, 78 — *-ік*, 45 — процесс не завершен) и т.д. См. статистику (Нещименко 1980).

Важное стимулирующее воздействие на динамические процессы внутри СК оказывает ее значимость в системе номинации. В ходе интенсивной репродукции деривационных схем активнее осуществляется селекция словообразовательных формантов. Присходящие при этом изменения затрагивают не только репертуар СТ, входящих в СК, их иерархию, но и взаимоотношения между самими СК. Это особенно очевидно для таких СК, как NAct (см. ниже), NEs, где также интенсивно проходит поляризация формантов, приводящая к образованию значительной дистанции между центром и периферией (*-ость, -ство,* с одной стороны, и *-ота, -изна* и пр., с другой). Несколько в стороне от магистралей номинации находятся NAt, однако в результате действия тенденции окачествления относительных прилагательных, как и в NEs (ср. новообразования в чешском: *mezinárodnost, mezioborovost, prášivost, kusovost, zvířeckost, rozhodnutelnost, rizikovost* и пр.), стимулируется словообразовательная активность некоторых формантов, например, *-ик* (*скоростник, международник* и т.д.).

В связи с активизацией словопроизводства все более отчетливо прорисовывается доминирующая роль суф. *-ка* практически во всех обследуемых языках. Значительная дистанция отделяет его от остальных аффиксов в чешском языке; несколько сглажен этот разрыв в других языках, в частности, сербохорватском. Во всех языках непродуктивен суф. *-ыня, -иня,* сочетающийся в основном с непроизводными основами.

Б. Интеркатегориальный аспект

Мы уже говорили, что деривационная система объединяет в своем

составе множество СК, функционирующих в качестве ее системообразующих подсистем. Несмотря на наличие внутренней расчлененности, структура деривационной системы не является аморфной и мозаичной, поскольку СК не только тесно взаимодействуют между собой, но и образуют континуальное единство с плавным переходом от одной СК к другой.

Взаимодействие СК может осуществляться на разных уровнях их структуры. Обычно это происходит в наиболее проницаемой зоне, т.е. периферии СК. Отмечаются, впрочем, и случаи взаимодействия СК на уровне их центров. Это приводит, как правило, к серьезным преобразованиям внутри СК, обусловливает, в частности, ее перестройку.

В этой связи наиболее интересны взаимоотношения между NAct и NAg во всех славянских языках, т.е. речь идет об универсальной закономерности, формировавшейся в ходе их исторического развития.

Оценивая взаимоотношения, сложившиеся между обеими СК, следует отметить, что сильным партнером в конце концов оказались NAct, занимающие центральное место в номинационной системе имени. Сказанное во многом обусловлено цельностью этой СК в противовес внутренне неоднородной NAg. По типу семантико-синтаксической структуры NAg является зеркальным отражением NAct: в обеих СК важное значение имеет предикат, однако в NAct (сложный ономасиологический признак) он находится в глубинной структуре, т.е. подразумевается, выявляется лишь при семантической интерпретации; ср.: *čistotář* 'тот, кто (заботится) о чистоте, (любит) чистоту'; *kaktusář* 'тот, кто (разводит) кактусы'; *наперсточник* 'тот, кто (играет) в азартную игру с наперстком' и пр. У NAg (простой ономасиологический признак) предикат как бы выведен наружу, т.е. зафиксирован в поверхностной структуре; ср.: *читатель* 'тот, кто читает', *vychovatel* 'тот, кто воспитывает' и т.д. Далее, NAct в семантическом отношении является очень емкой категорией: она фиксирует широкий спектр отношения к субстанции (*газовщик* — объект воздействия, *лекальщик* — инструмент воздействия, *видеосалонщик* — место деятельности, *барьерист* — вид спорта и пр.), однако вся эта детальная спецификация отношения к субстанции раскрывается на глубинном уровне, не отражена в структуре слова и, следовательно, не является регламентированной, давая носителю языка полную свободу в насыщении слова информацией.

Рассматривая под этим углом зрения NAg, мы должны отметить, что, помимо собственно агентивных обозначений (с выраженной глагольностью), они включают блок дериватов (многие из них являются профессиональными обозначениями), соотносимых одновременно как с глаголами, так и с существительными:

*перебегать*, *перебежка* > *перебежчик*

*поливать*, *полив, поливка* > *поливальщик*

*доносить*, *донос* > *доносчик*

Заметим, что субстантивная мотивировка поддерживается и морфонологически, так как в структуре деривата глагольная основа воспроизводится в усеченном виде, без инфинитивных показателей; кроме того, совпадает постановка ударения, характер стандартных альтернаций и т.п. Сказанное подтверждается и направленностью исторической эволюции, заключающейся в ослаблении глагольной мотивировки (Суффиксальное словообразование... 1974, 58).

Таким образом, в отличие от NAct у NAg выделяются два подполя: с выраженной глагольностью (*поливать* > *поливальщик, доносить* > *доноситель, léčitel* 'целитель' в противовес *lékař* 'врач'); с глагольностью ослабленной, а, по сути, нивелированной. Указанная ситуация создает напряженность в СК, близкую к ее расколу. Тем самым возникают благоприятные предпосылки для втягивания второго подполя, т.е. профессионального блока, в состав NAct, у которых субстантивная мотивировка является единственно возможной. Существенно и еще одно обстоятельство: у профессиональных обозначений, на наш взгляд, субстантивная мотивировка является более важной, чем глагольная, так как она более конкретна: по мере усложнения трудового процесса спецификация по выполняемому действию становится недостаточной, более информативна, несомненно, предметная отнесенность; ср.: *спасатель* = *лавинщик* 'спасатель, специализирующийся на лавинах', *плетельщик* = *корзиночник* 'человек, специализирующийся на плетении корзин'. Неслучайно, обозначения ремесленников основывались на предметной конкретизации (*шляпник, обувщик* и т.д.); на этой же оппозиции (действие — субстанция) основывается противопоставление *hasič* — *požárník* в чешском языке.

Возникновение зоны пересечения с NAct обусловило перестройку структуры NAg, в результате чего "профессиональный блок", перешедший в NAct, оказался втянутым в деривационную сферу наиболее продуктивного суф. *-щик/-чик* (в чешском *-ař/-ář*). В оставшейся части NAg (с выраженной глагольностью) доминирующее положение занял специализированный формант *-тель,* а также *-льщик*. Важно и то, что, судя по характеру новообразований, NAg во многом приобрела экспрессивный характер; ср.: *доноситель, потакатель, маратель, кропатель, пенкосниматель, прихлебатель, ухаживатель, очернитель, спаиватель, исказитель, наводитель* (порядка), *возглавитель, запретитель, оскорбитель, опровергатель,* (велеречивый) *выступатель, опошлитель, медлитель, агент-языкознатель, делатель* (гигантов) и пр. В этом отношении NAg сближается с NAt, для которой также характерен простой ономасиологический признак, вынесенный в поверхностную структуру; ср. рус. *несун, нюхач* 'дегустатор запахов; токсикоман'; чеш. *pouštěč desek* 'диск-жокей', *nenechavec* 'несун', *kradoš, lhář, žvanil, klepař, staral* и др. Сказанное, разумеется, не исключает возможности использования суф. *-тель, -ник* для образования неэкспрессивной лексики, имеющей выраженный книжный характер; ср.: *умиротворитель, увещеватель, обольститель, преследователь, завоеватель, спаситель, преподаватель*; *заступник, защитник* и т.д.

Важно подчеркнуть, что в современном языке NAct в системе номинаций занимает исключительно сильные позиции, вбирая в себя лексику и из других категорий, в частности, асимметричных феминативов, NAt и пр. Немалую роль в укреплении позиций NAct играет то, что они принадлежат к числу наиболее востребуемых носителями языка категорий. Потребность в данной лексике стабильно проявляется во все исторические периоды существования языка.

Континуальность деривационной системы находит свое отражение и в наличии переходных зон между NAg и Nomina instrumenti (ср. инструментальное значение у дериватов с *-тель* в русском языке и с *-č-* в чешском; ср.: рус. *измеритель*; чеш. *měřič* и т.д.), между ND и названиями молодых существ, между NM и обозначениями жен (ср.: чеш. *profesorka* 'женщина-профессор', *profesorová* 'женщина-жена профессора' и т.д.). Иллюстрацией непрерывности системы могут служить и деминутивы (исконные) со стертым значением деминутивности; ср.: *шляпка* (гвоздя), *донышко* (шляпы), *глазок* (в двери); ср. также чеш. *hlavice, hvězdice,* обозначающие ныне соответственно 'головка, в том числе боеголовка ракеты', 'морская звезда' и т.п. Указанные и им подобные лексемы переходят в другие лексические разряды. У ND утрата деминутивного значения сопровождается трансформацией их семантико-синтаксической структуры, в частности, изменением функционального назначения суффикса: из модификационного он становится мутационным, фиксирует субстанциональное значение.

Континуальность системы укрепляется и за счет периферии отдельных СК, так как именно в эту зону смещаются дериваты, становящиеся избыточными и переходящие в другие категории. Ярким примером появления переходной зоны на периферии СК является так называемые асимметричные феминативы (Нещименко 1966), т.е. непарные феминативы, которые, строго говоря, не являются NM и могут рассматриваться в составе других СК, например, NAt (чеш. *půvabný — půvabka, otylý — otylka*), NAg (*plakat — plačka*; ср. пол. *praczka*), NAct (чеш. *fabrika — fabrička, skript — skriptka*; ср. *Sověty — sovětka*). Можно привести также в качестве примера деадъективный окказионализм *советичка* 'советская женщина, вышедшая замуж за иностранца' (ср.: "советичка" — кличка-то какова: Лит. газ., 1988). Особый интерес представляют феминативы, которые, хотя и образованы без промежуточной стадии в виде существительного м.р. со значением лица, однако включают в состав сложного аффикса сегмент, материально совпадающий с суф. м.р. со значением лица; ср.: чеш, *šatařka, kartonářka, paličkářka, batikářka, salatářka, sukařka, kabinářka, přešívačka*; ср. пол. *bukieciarka.* В некоторых случаях сответствующая в структурном отношении лексема м.р. имеется, однако с другим значением; *vařička — vařič* Nomina instrumenti; *cigaretářka* 'работница сигаретной фабрики' — *cigaretář* 'курильщик'; *sálovka* 'хирургическая медсестра' — *sálovec* 'спортсмен, выступающий на крытом стадионе'. Ср. также в восточном варианте сербохорватского языка: *читалац — читателка, гледалац —*

*гледателка,* где адекватное в фонемном отношении существительное м.р. со значением лица попросту отсутствует, однако оно воспроизведено в структуре феминатива.

Важным фактором, динамизирующим деривационные процессы, является влияние разговорной речи. Есть все основания говорить, что целый ряд словообразовательных тенденций, отмечаемых в литературном языке, имеет свои корни именно в непринужденной разговорной речи, являющейся одной из важнейших форм существования этнического языка. Зачастую устойчивость позиций того или иного форманта в разговорной речи укрепляет и его позиции в литературном языке; ср.: активизация суф. *-arz* (пол.), *-ař/-ář* (чеш.), *-ар* (болг.), потеснившего своих конкурентов в NAct. Примечательна значительная активизация суф. *-щик/-чик* в русском литературном языке, чему также немало способствует разговорная речь; ср. рус. *лимитчик, переговорщик, телевизионщик, панорамщик* ('участник Панорамы на РВ'), *самиздатчик, аппаратчик, номенклатурщик, видеосалонщик, алиментщик, компьютерщик, безальтернативщик, застойщик, уотергейтщик* и мн.др. Данный формант может присоединяться и к уже имеющемуся деривату; *межрегионал — межрегиональщик, неформал — неформальщик* или же *кооператор — кооператорщик.* Несмотря на то, что многим из этих дериватов сопутствуют нежелательные для строгой литературной нормы стилистические коннотации разговорности, тем не менее иная деривационная альтернатива (пожалуй, кроме *перестроечник*) здесь отсутствует: литературный язык им может противопоставить лишь громоздкие описательные конструкции, что не всегда приемлемо в аспекте языковой экономии (ср.: *сторонник перестройки*; *участник переговоров* и пр.). Имеются, впрочем, и новообразования с конкурирующим аффиксом *-ник*; ср.: *перестроечник, отказник, рефьюзник, вейтник, рыночник, чернорыночник* и пр., однако в целом доминирующее положение суф. *-чик/-щик* является бесспорным. Общая тенденция потеснения суф. *-ник* прослеживается во всех славянских языках. Дериваты, образованные посредством этого форманта, зачастую имеют оттенок книжности. В чешском языке очень продуктивен суф. *-ař, -ář*, однако активную инвазию осуществляет и суф. *-ák* (тот же процесс наблюдается в других славянских языках). Ср.: *uraňák, pojišťovák, dražák, čundrák, kiňák, radiák, dopravák, kádrovák.* Ср. NAt: *notorák, skromňák, důležák, cizák, drsňák.* Активен этот формант и в русской разговорной речи, где он вторгается даже в сферу образования наречий; ср.: *верняк, стабильняк, точняк* и т.д. Важно отметить, что для разговорной речи не является препятствием полисемия форманта, хотя многие исследователи именно в этом видят ограничитель продуктивности суффикса. По-видимому, полисемия форманта может затруднять его использование в таких специфических сферах коммуникации, как профессиональная речь, особенно в терминологической номенклатуре, т.е. там, где желательна четкая соотнесенность с обозначаемым, в разговорной же речи имеется множество компенсаторов (уточняющий контекст, жестикуляция и пр.), выявляющих смысловую нагрузку дери-

вата. Примечательно, что в разговорной речи нередко имеются своего рода параллельные структуры, конфронтирующие с соответствующими аналогами в литературном языке; ср. рус. *синхронист — синхронщик, журналист — журнальщик, компьютерист — компьютерщик*; чеш. *bagrista — bagrák, houslista — houslák, výčepní — výčepák, cvičiště — cvičák, učiliště — učňák, diskotěka — diskárna, stadión — stadák, dělník — dělňas, četník — četňas, rentgenolog — rentgenář.*

Большая регулярность отмечается в разговорной речи при образовании NM: ср.: *лекторша, дикторша, комментаторша, докторша, репортерша, профессорша, директорша* (литературный аналог *директриса*), *авторша, импровизаторша* и мр.др. Значительно активизирован в чешской разговорной речи суф. *-árna*: *nudárna* 'нудистский пляж', *rybárna* 'рыбный ресторан' (NL). Иногда он же встречается в иной огласовке: *betonárka, cementárka, vegetárka.* Данный формант используется и в иной функции — в качестве выразительного экспрессивного средства; ср.: *dobytčárna, lumpárna, sprostárna, všivárna, štěničárna, chuligárna, opičárna, krysárna.*

В настоящей статье мы смогли рассмотреть лишь некоторые аспекты интересующей нас проблемы словообразовательной динамики. Учитывая сложность и многоаспектность данной проблемы, мы постарались наметить направление возможного научного поиска, а также предложить собственную интерпретацию языковых фактов, имеющих непосредственное отношение к исследуемому явлению.

*Гайдукова Ю.Ю.* Функциональная нагрузка суффикса *-иц-а* в современных сербохорватском, русском и чешском языках. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1990.

Historický vývoj češtiny (*Lamprecht A., Šlosar D., Bauer J.*). Pr., 1977.

*Манучарян Р.С.* Аспекты и вопросы сопоставительно-типологического изучения словообразования // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987.

*Нещименко Г.П.* Словообразование существительных женского рода со значением лица в современном чешском языке // Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР, 19. М., 1960; *Она же.* Явление асимметрии у существительных со значением лица в чешском языке // Сов. славяноведение. М., 1966; *Она же.* История именного словообразования в чешском литературном языке конца XVIII—XX вв. (Прилагательное). М., 1968; *Она же.* Очерк деминутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка. Прага 1980; *Она же.* О некоторых аспектах сопоставительного изучения славянского словообразования // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1983.

Русская грамматика. I. М., 1980.

Суффиксальное словообразование существительных в восточнославянских языках XV—XVII вв. (*Прокопович Е.Н., Хохлачева В.Н., Шелихова Н.Т.*). М., 1974.

Tvoření slov v češtině. 2. Odvozování podstatných jmen / Za redakce Fr. Daneše, M. Dokulila, J. Kuchaře). Pr., 1967.

*В.С. Храковский*

# УСЛОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ (семантика, исчисление)

1. Вводные замечания.

Условные конструкции (УК), которые, можно думать, есть во всех языках, в том числе, разумеется, и в славянских, не относятся к числу забытых богом лингвистических объектов и активно изучаются не только языкознанием, но также психологией, логикой и философией.

Можно считать, что УК достаточно хорошо проанализированы в лингвистике с формально-грамматической точки зрения. И в нормативных грамматиках, и в специальных работах много внимания уделяется характеристике условных союзов, глагольных форм, употребляющихся в УК, и классификации прототипических УК по различным формальным признакам. Пожалуй, лишь периферийные УК, которые формально отличаются от прототипических, относительно часто остаются вне поля зрения специалистов. Из других проблем, которые довольно успешно исследуются особенно в наши дни, можно упомянуть проблему синхронно-диахронных семантико-синтаксических связей УК с другими конструкциями, прежде всего с временными, уступительными, причинными и др., которым, как принято считать, свойственно общее значение обусловленности[1]. Формальные различия между УК и названными конструкциями могут быть довольно зыбкими.

Если формально-синтаксические особенности прототипических УК изучены относительно хорошо, то этого нельзя сказать об их смысловых, прагматических и коммуникативных свойствах, поскольку их углубленное исследование началось только в последние десятилетия. Естественно, что в работах этого направления учитывались результаты изучения УК в логике и философии, где получил распространение тезис, что УК естественного языка довольно точно отображают логическую операцию импликации, а понятие материальной импликации служит точкой опоры для семантического определения УК[2].

Хорошее представление о степени изученности УК на современном этапе дает коллективная монография "On Conditionals", в которой лингвисты, психологи, логики и философы изложили результаты разноаспектных исследований УК. Хотелось бы подчеркнуть, что, по мнению редакторов и составителей этой монографии, УК играют весьма важную роль в речемыслительной деятельности человека, поскольку они "непосредственно отражают типично человеческую способность размышлять об альтернативных ситуациях, делать выводы, основанные на неполной информации, предполагать возможные корреляции между ситуациями и понимать, как мир менялся бы, если бы определенные корреляции были бы другими. Понимание концептуальной и поведенческой организации этой спо-

собности конструировать и интерпретировать условные конструкции обеспечивает понимание когнитивных процессов, лингвистической компетенции и выводных стратегий человеческой деятельности"[3].

Насколько я могу судить, менее всего УК исследованы с универсально-типологических позиций. Из относительно небольшого количества книг и статей, рассматривающих эту проблему, следует прежде всего отметить работу Дж. Гринберга, который в список универсалий, связанных с порядком слов, включил под номером 14 универсалию, посвященную порядку следования частей УК. Эта универсалия гласит: "В условных конструкциях условная часть предшествует заключению. Такой порядок является нормальным порядком слов для всех языков". Представляет также интерес книга Н. Даниельсена, в которой автор, исходя из формальных особенностей показателей условного значения, выделяет четыре типа УК. Однако наиболее важной я считаю статью Б. Комри из уже упомянутой коллективной монографии. В этой статье предпринята попытка охарактеризовать УК с точки зрения их лингвистической значимости, а также указать параметры, на базе которых, по мнению автора, должно проводиться общелингвистическое описание УК[4].

Слабая изученность УК с универсально-типологических позиций в большой мере предопределила тему данного доклада, в котором делается попытка представить для обсуждения концепцию, дающую возможность описывать УК в славянских языках (как, впрочем, и в любых других языках) в такой форме, которая позволяет эксплицитно представить как их общие, прежде всего семантические свойства, так и их типологические, прежде всего формальные различия, не так уж редко наблюдаемые в родственных языках.

2. Концептуальная база.

2.1. Синтаксические типы условных конструкций.

Первая проблема, которая возникает при типологическом изучении УК, может быть сформулирована следующим образом. Какие эмпирические факты с семантической (!) точки зрения соответствуют концепту 'условная конструкция'?

Во всех славянских языках, как впрочем и в любых других, встречаются предложения, эквивалентные по смыслу следующим русским: (1) *Если завтра будет хорошая погода; (то) мы (возможно) поедем за город,* (2) *Если завтра будет хорошая погода, поезжай за город!,* (3) *Если завтра будет хорошая погода, мы поедем за город?,* (4) *Если бы (вчера/завтра) была хорошая погода, (то) мы бы поехали за город,* (5) *Будь кворум, президента выбрали бы еще вчера,* (6) *Бояться волков — быть без грибов,* (7) *Взяв пешку, белые получали выигрышную позицию,* (8) *Придерживаясь этой точки зрения, вы не решите ни одной проблемы,* (9) *Кошка, сброшенная с высоты первого этажа, в большинстве случаев встает на лапы,* (10) *При ходе конем белые выигрывают,* (11) *Без положительного ответа от фирмы мы не получим визы,* (12) *В случае опасности вы можете уехать из города,* (13) *Скажи еще одно слово и я звоню в полицию,* (14) *Что там случилось? — Открой дверь и тебе все*

*станет ясно,* (15) *Что я могу сделать, если он арестован!,* (16) *Будет очень хорошо, если ты хоть немного отдохнешь!*

Я полагаю, что с семантической точки зрения эти и подобные им повествовательные, повелительные, вопросительные и восклицательные предложения можно квалифицировать как условные (хотя бы в одном прочтении, если прочтений больше одного)[5].

Подчеркивая семантическое тождество приведенных предложений (все они являются условными), я вместе с тем обязан отметить их формально-синтаксическую неоднородность. Среди этих предложений в соответствии с традиционной классификацией различаются: 1) сложноподчиненные (расчлененные) предложения (1—6, 15—16), 2) осложненные предложения, т.е. простые предложения с деепричастным или причастным оборотом (7—9), 3) простые предложения с обстоятельствами (10—12), 4) сложносочиненные предложения (13—14).

Формально-синтаксический статус УК играет немаловажную роль при решении вопроса о том, какие из УК, представленных в данном языке (или в родственных языках), являются исходными, прототипическими, а какие — производными, периферийными, способными по определенным правилам трансформироваться в исходные. Скажем, в славянских языках к числу исходных УК, очевидно, следует отнести сложноподчиненные предложения[6], тогда как простые предложения (осложненные и с обстоятельствами) и сложносочиненные предложения являются производными УК. В других языках ситуация может быть иной. Например, в эскимосском языке условных сложноподчиненных предложений вообще нет и прототипическими УК являются осложненные предложения. Интересной фреквенталией, а скорее всего и универсалией, следует считать тот факт, что простые предложения с обстоятельствами условия[7] и сложносочиненные предложения не являются прототипическими. Это связано с семантической спецификой УК, к рассмотрению которой мы сейчас переходим.

2.2. Смысловые особенности УК.

2.2.1. Бипредикативность.

При любой формальной репрезентации (будь то сложноподчиненное, осложненное, простое или сложносочиненное предложение) УК представляет собой бипредикативную конструкцию. Это значит, что в УК выражаются две пропозиции, или два положения вещей, которые определенным образом связаны между собой. Данное обстоятельство является решающим для того, что прототипическими УК не бывают, во-первых, простые предложения, в которых прототипически выражается одна пропозиция, а, во-вторых, сложносочиненные предложения, между частями которых нельзя усмотреть какой-либо постоянной семантической связи, кроме таксисной[8].

Таким образом, с семантической точки зрения любая УК состоит из двух частей, для обозначения которых в языкознании используется несколько пар соотносительных терминов, призванных отразить семантическую специфику синтаксически зависимой и синтаксически независимой частей конструкции. В отечественной литературе наиболее употребительной является пара: условие (р) — след-

ствие (q). Пользуясь этими терминами, мы можем сказать, что в примере (1), представляющем прототипическую УК, зависимая часть *Если завтра будет хорошая погода* выражает условие, а независимая (главная) часть *(то) (возможно) мы поедем за город* выражает следствие.

Бипредикативность присуща и многим другим конструкциям, в частности временным (точнее таксисным), причинным, уступительным. Специфичным для УК оказывается значение этой разновидности бипредикативных конструкций.

2.2.2. Гипотетичность.

Характеризуя смысл УК, мы сразу же обратим внимание на то, что любая УК реализуется в акте речи как неутверждающее, или гипотетическое, высказывание. Это значит, что, например, в предложении (1) ни зависимая часть, выражающая условие, ни главная часть, выражающая следствие, не характеризуются говорящим (или повествователем) с точки зрения их существования в мире, как истинные или ложные. Иначе говоря, они рассматриваются говорящим по отношению к миру не как действительные, а как возможные, или нефактивные. Указанная смысловая особенность составляет универсальный отличительный признак УК. Важно, однако, при этом обратить внимание на следующее обстоятельство. Хотя УК фактически является гипотетическим высказыванием, говорящий, произнося УК, как бы просит слушающего считать это высказывание утверждающим. Можно полагать, что, исходя из принципа кооперации, слушающий соглашается с просьбой говорящего, и в таком случае он относится к зависимой части конструкции, как к пресуппозиции, на базе которой высказывается утверждение, содержащееся в главной части конструкции, если эта часть является повествовательным предложением.

Принимая такую трактовку, можно считать, что реализация условия создает реальную или потенциальную базу для реализации следствия. Ср. (1а) и (1б):

(1а) *Если завтра будет хорошая погода, (то) мы поедем за город.*

(1б) *Если завтра будет хорошая погода, (то), мы, возможно, поедем за город.*

С типологической точки зрения важно отметить, что в некоторых языках, в том числе и в славянских, семантические различия между (1а) и (1б) маркируются с помощью употребления разных глагольных форм в главной части УК. Такая ситуация характерна, например, для болгарского языка, где в главной части УК типа (1а) употребляется форма будущего времени, а в главной части УК типа (1б) — форма условного наклонения. Ср.:

(17) *Ако събера повече пари, ще си купя хубаво радио* 'Если накоплю побольше денег, куплю себе хороший радиоприемник'.

(18) *Ако събера повече пари, бих си купил хубаво радио* 'Если накоплю побольше денег, то, возможно, куплю себе хороший радиоприемник'[9].

Учитывая сказанное, можно предложить следующее приблизи-

тельное толкование УК: 'произнося УК, говорящий (или повествователь) считает, что в случае реализации одного положения дел, которое в принципе может иметь место в реальном или воображаемом мире, ему сопутствует, т.е. либо будет реализовано, либо может быть реализовано некоторое другое положение дел'.

Обратим внимание на следующее обстоятельство. Существуют такие УК, которые на первый взгляд могут трактоваться как негипотетические высказывания. Рассмотрим в связи с этим предложение

(19) *Если он вчера выступал на семинаре, то и сегодня будет выступать.*

Это предложение может быть составной частью диалога

(19а) — *Он выступал вчера на семинаре? — Не знаю. — Если он вчера выступал на семинаре, то и сегодня будет выступать.*

В приведенном диалоге предложение (19) прочитывается как условное. Вместе с тем это предложение может быть составной частью следующего диалога

(19б) — *Он выступал вчера на семинаре? — Выступал. — Если он вчера выступал на семинаре, то и сегодня будет выступать.*

Из этого диалога следует, что содержание условия в предложении (19) в данном случае как будто бы не является гипотетичным, поскольку выступление действительно имело место. Однако тонкость заключается в том, что сам говорящий не утверждает истинность условия, перекладывая ответственность за это на собеседника, которому он может и не доверять. Свое недоверие к информации собеседника говорящий может подчеркнуть, употребив в условной части конструкции выражения типа *на самом деле, действительно, как вы говорите.* Ср.:

(19в) *Если он вчера, как вы говорите, действительно выступал на семинаре, то и сегодня будет выступать.*

Таким образом, в УК типа (19) условие характеризуется говорящим как гипотетическое и в тех случаях, когда со слов собеседника говорящему известно, что содержание условия соответствует действительности.

2.2.3. Логика связи между условием и следствием.

Перейдем к вопросу о характере связи между условием и следствием. Начнем с того, что для лингвистов очевидно наличие определенной смысловой связи между условием и следствием. Вместе с тем понятие связи не фигурирует у логиков при анализе имликации, которая, как принято считать, отображается в естественном языке с помощью УК. Специалисты не без основания подчеркивали, что таблица материальной импликации "упускает идею связи, которая присутствует в случае if — then"[10].

Мы полагаем, что в УК обе части конструкции связаны друг с другом именно таким образом, который позволяет одну часть квалифицировать как условие, а другую — как следствие, хотя вообще-то говоря природа этой связи может быть различной. В частности, связь между положениями дел может быть естественной, "причинно-следственной" (осуществление условия автоматически

влечет за собой выполнение следствия). Роль говорящего сводится к тому, что он, зная о наличии объективной закономерности, сообщает о ней слушающему.

(20) *Если температура воздуха упадет ниже нуля, то вода замерзнет.*

В очень многих случаях логика связи между условием и следствием в УК остается тайной говорящего. Во всяком случае у нас нет оснований говорить о наличии причинно-следственной связи в примерах (19) и (21):

(21) *Если ты не вымоешь пол, я буду спать целый день.*

По-видимому, причинно-следственная связь между условием и следствием отсутствует тогда, когда говорящий одновременно является исполнителем действия, обозначаемого в главной части конструкции. В (21), например, истинная причина, вызывающая данное следствие, на наш взгляд, не называется. Скорее всего ею является воля говорящего. Что касается невымытого пола, то его следует характеризовать не как причину, а как повод, принимающий форму условия.

В итоге можно прийти к выводу, что логика связи между положениями дел в УК в общем случае неопределенна. В принципе говорящий сам устанавливает эту связь. Лишь в частном случае эта связь может интерпретироваться как причинно-следственная, причем такое толкование не является компонентом условного значения и относится к пресуппозиции[11].

В связи с изложенным хотелось бы подчеркнуть, что УК скорее всего не является тем средством, которое специально предназначено для отображения в естественном языке операции импликации. Мы полагаем, что операции импликации

(22) $X \rightarrow Y$

в языке соответствует другая конструкция. Мы руководствуемся при этом тем, что операция импликации обладает следующими двумя свойствами: 1. истинности X-а сопутствует истинность Y-а, 2. сопутствие Y-а X-у закономерно[12]. Аналогичными свойствами в естественном языке, в данном случае в русском, обладает референт конструкции

(23) Из X-а следует Y.

Иными словами, мы считаем, что операции импликации соответствует, например, предложение

(24) *Из того, что завтра будет хорошая погода, следует, что мы поедем за город,*

а не предложение

(1а) *Если завтра будет хорошая погода, (то) мы поедем за город.*

Интуитивно очевидно, что предложения (24) и (1а) не синонимичны. Их смысловые различия состоят в следующем: 1. в (24) говорящий утверждает, что завтра будет хорошая погода, тогда как в (1а) говорящий только допускает эту возможность, 2. в (24) говорящий при наличии хорошей погоды считает поездку за город объективно неизбежной, т.е. закономерной, тогда как в (1а) поездка за город может детерминироваться различными причинами, в том

числе волей участников поездки, одним из которых является говорящий. Наличие хорошей погоды в (1а) не выступает в качестве причины поездки за город, но может рассматриваться как повод. Легко заметить, что указанным выше свойствам операции импликации соответствуют семантические особенности (24), но не (1а).

Остается добавить, что конструкции типа (24) встречаются в основном в языке науки (логики и математики), тогда как УК присущи любому естественному языку во всех его разновидностях.

3. Основания для классификации УК. Исчисление.

УК доступны субкатегоризации по целому ряду параметров, многие из которых являются релевантными как для УК, так и для других бипредикативных конструкций, а некоторые — только для УК. С нашей точки зрения в основу универсальной исчисляющей классификации УК могут быть положены четыре параметра.

Первый параметр, который специфичен только для УК, — это отношение к миру гипотезы, высказываемой в УК. Данный параметр принимает два значения: 1) УК выражает гипотезу, которая относится к реальному миру, см., например, (1); 2) УК выражает гипотезу, которая относится к воображаемому миру, см., например, (4).

Второй параметр — таксисная зависимость между условием (p) и следствием (q). Этот параметр, который в принципе релевантен для всех бипредикативных конструкций, принимает три значения: 1) p раньше q, 2) p позже q, 3) p одновременно с q[13].

Третий параметр — временная отнесенность условия и следствия. Как известно, любое локализованное во времени положение вещей может быть отнесено либо к будущему, либо к настоящему, либо к прошедшему. Соответственно данный параметр, который релевантен для всех бипредикативных конструкций, принимает девять значений: 1) q в будущем, p в будущем, 2) q в будущем, p в настоящем, 3) q в будущем, p в прошедшем, 4) q в настоящем, p в будущем, 5) q в настоящем, p в настоящем, 6) q в настоящем, p в прошедшем, 7) q в прошедшем, p в будущем, 8) q в прошедшем, p в настоящем, 9) q в прошедшем, p в прошедшем[14].

Четвертый параметр — кратность условия и следствия. Этот параметр, который релевантен для всех бипредикативных конструкций принимает четыре значения: 1) q однократно, p однократно, 2) q однократно, p неоднократно, 3) q неоднократно, p однократно, 4) q неоднократно, p неоднократно.

Легко понять, что исчисляющая классификация, проведенная по этим четырем параметры, включает 216 моделей УК. Эта цифра представляет собой результат перемножения значений каждого из классификационных параметров: $2 \times 3 \times 9 \times 4 = 216$. Разумеется, число 216 является достаточно большим, и если бы всем этим моделям соответствовали реальные УК, то с ними было бы просто трудно работать. Целесообразна такая исследовательская схема, в которой число функционирующих моделей относительно невелико и каждой модели соответствует достаточно широкий класс конкретный употреблений УК. Иначе описание УК может стать слишком громоздким и соотвественно неудобным для пользования. В нашем случае

из логически допустимых 216 моделей реально функционируют только 104 модели. Нам представляется, что с этим числом моделей уже вполне можно работать.

Небольшой фрагмент предложенного исчисления фиксируется в следующей таблице.

| №№ | Классификационные параметры I | II | III | IV | Примеры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 1 | 1 | *Если я в ближайшие дни получу приглашение, (то) я поеду на конференцию.* |
| 103. | 1 | 1 | 5 | 4 | *Если газеты опаздывают, (то) за ними выстраиваются длинные очереди.* |
| 194. | 2 | 1 | 9 | 1 | *Если бы я хорошо подготовился, (то) я бы сдал вчера экзамен.* |

4. Обсуждение результатов.

4.1. Функционирование реализуемых моделей.

Хотя с системной точки зрения все реализуемые модели логически равноправны, но при функционировании в речи картина заметным образом меняется. В этом плане мы можем говорить о прагматических предпочтениях и ограничениях, которые неодинаковы для разных моделей. Отметим, в частности, что большинство реальных текстовых примеров приходится на долю тех трех моделей, которые представлены в приведенном фрагменте исчисления. Первая из них — это модель № 1. В этой модели выражается гипотеза, относимая к реальному миру (первое значение первого параметра), условие предшествует следствию (первое значение второго параметра), и условие, и следствие отнесены к будущему (первое значение третьего параметра), и условие, и следствие однократны (первое значение четвертого параметра). Решающим фактором, определяющим частотность этой модели, с нашей точки зрения, служит то обстоятельство, что в ней и условие, и следствие отнесены к будущему времени. Дело в том, что будущее время уже по своей сути является гипотетическим и поэтому оно представляет собой наиболее удобную среду для реализации гипотезы, относимой к реальному миру.

Вторая модель — это модель № 103. В этой модели выражается гипотеза, относимая к реальному миру (первое значение первого параметра), условие предшествует следствию (первое значение второго параметра), и условие, и следствие отнесены к настоящему (пятое значение третьего параметра), и условие, и следствие неоднократны (четвертое значение четвертого параметра). В данном случае фактором, определяющим частотность этой модели, является то, что в ней отнесенность условия и следствия к настоящему сочетается с их неоднократностью. В результате сочетания этих значений повторяющиеся действия утрачивают конкретную временную отнесенность, поскольку в данном сочетании значение настоящего времени преобразуется во "всевременное", или "вневременное" зна-

чение. Иначе говоря, эта модель частотна потому, что она является удобным средством для фиксации знаний, отражающих повседневный человеческий опыт.

Подчеркнем, что УК, соответствующие модели № 103, очень близки по смыслу таким временным (точнее таксисным) конструкциям, в которых также выражаются неоднократные действия, не имеющие конкретной временной отнесенности, ср. (25) и (26):

(25) *Если выпадает много снега, на улицы города выходят все снегоуборочные машины.*

(26) *Когда выпадает много снега, на улицы города выходят все снегоуборочные машины.*

Сравниваемые предложения можно считать квазисинонимами. Хотя условное предложение (25) — это гипотетическое высказывание, а временное предложение (26) таковым не является, данное различие в большой мере нейтрализуется благодаря тому, что и в том, и в другом случае выражаются повторяющиеся положения вещей, причем ситуации, составляющие каждую из повторяющихся пар, не имеют конкретной временной отнесенности.

Третья модель — это модель № 194. В этой модели выражается гипотеза, относимая к воображаемому миру (второе значение первого параметра), условие предшествует следствию (первое значение второго параметра), и условие, и следствие отнесены к прошедшему (девятое значение третьего параметра), и условие, и следствие однократны (первое значение четвертого параметра). Частотность этой модели объясняется тем, что в ней отнесенность гипотезы к воображаемому миру сочетается с отнесенностью условия и следствия к прошедшему. Такая сочетаемость представляется прагматически наиболее естественной. Дело в том, что положения вещей, связанные с воображаемым миром, в принципе существуют только в головах людей. Если такие положения вещей локализованы в прошедшем, то они уже не могут перейти из воображаемого мира в реальный, ибо представляют собой неосуществившуюся возможность, которая является доминантой воображаемого мира. Неосуществившиеся возможности — это те сценарии, которые не попали в реальный мир, хотя в принципе могли в него попасть.

Важная особенность неосуществившихся возможностей, выражаемых в УК этой модели, состоит в том, что они абсолютно точно указывают на те возможности, которые осуществились, т.е. перешли из воображаемого мира в реальный. Осуществившиеся возможности являются антонимичными по отношению к неосуществившимся:

(27) *Если бы студент решил вчера задачу, он бы сдал экзамен,*

(28) *Если бы я не получил приглашение, я бы не поехал на конференцию.*

Решение задачи из примера (27) и неполучение приглашения в примере (28) — это те неосуществившиеся возможности, которые отнесены к воображаемому миру. Те же возможности, которые осуществились, — это нерешение задачи в примере (27) и получение приглашения в примере (28). Грань между реальным и воображаемым миром, столь резко очерченная в прошедшем, может стираться

в будущем, которое по своей природе является уже гипотетичным, и где по этой причине до известной степени нейтрализуется оппозиция значений первого классификационного параметра. Сравним в этой связи предложения (29) и (30), относимые к моделям 1 и 2:

(29) *Если вы купите мне завтра дачу, я выйду за вас замуж,*

(30) *Если бы вы купили мне завтра дачу, я бы вышла за вас замуж.*

Суть семантических различий между этими предложениями, очевидно, сводится к большей или меньшей степени вероятности осуществления высказываемой гипотезы. Стирание граней между реальным и воображаемым миром в плане будущего может приводить к тому, что подобные предложения иногда отличаются друг от друга только степенью вежливости:

(31) *Если вы придете к нам в среду, мы будем очень рады,*

(32) *Если бы вы пришли к нам в среду, мы были бы очень рады.*

Хотелось бы обратить внимание на то, что гипотеза, относимая к реальному миру, и гипотеза, относимая к воображаемому миру, противоположным образом коррелируют с планами временной отнесенности. Если оценивать планы временной отнесенности с позиций естественности их корреляции с той или другой гипотезы, то для гипотезы, относимой к реальному миру, характерна следующая цепочка планов временной отнесенности: отнесенность к будущему, отнесенность к настоящему, отнесенность к прошедшему. В этой цепочке каждое последующее звено обладает меньшей преференцией по сравнению с предыдущим. Что касается гипотезы, относимой к воображаемому миру, то для нее характерна такая цепочка: отнесенность к прошедшему, отнесенность к настоящему, отнесенность к будущему.

Поскольку УК — гипотетическое высказывание, то в силу этого существует ряд ограничений, препятствующих говорящему выступать в роли субъекта очень многих положений дел, выражаемых в условиях, в том случае, если эти положения дел локализуются в настоящем или прошедшем и если гипотеза относится к реальному миру. Сравним, например, предложения (33), (34) и (35):

(33) ?*Если у меня сейчас болит голова, то я приму таблетку анальгина,*

(34) *Если бы у меня сейчас болела голова, то я бы принял таблетку анальгина,*

(35) *Если у тебя сейчас болит голова, то прими таблетку анальгина.*

Природа этих семантических ограничений очевидна. Предложение (33) является семантически неправильным потому, что в его условии выражается такое положение дел, в реальности или нереальности которого у говорящего не может быть сомнений. Если же у говорящего есть основания сомневаться в реальности или нереальности определенных положений дел, то указанные ограничения снимаются:

(36) *Если я действительно отравился, то нужно немедленно вызвать врача.*

Отметим также, что положение вещей с постоянными свойствами и признаками стандартно употребляются в УК, если выражаемая

гипотеза относится к воображаемому миру, и не употребляются в УК, если выражаемая гипотеза относится к реальному миру. Сравним в этой связи нормативное предложение (37) и семантически странное предложение (38):

(37) *Если бы он был женщиной, то у него было бы много поклонников,*

(38) ?*Если он будет женщиной, то у него будет много поклонников.*

То же следует сказать о положениях вещей с предикатами, обозначающими преходящие свойства и признаки, но обязательно присущие субъекту в определенный период времени. Сравним в этой связи нормативное предложение (39) и семантически странное предложение (40):

(39) *Если бы мне было 16 лет, то я бы поехал в Москву,*

(40) ?*Если мне будет 16 лет, то я поеду в Москву.*

Особо обратим внимание на то, что условные повелительные предложения могут выступать не во всех из реализуемых моделей. В частности, эти предложения не реализуются во всех тех моделях УК, где выражаемая гипотеза относится к воображаемому миру (четные модели). Что касается моделей, в которых выражается гипотеза, относимая к реальному миру, то в них повелительные предложения возможны лишь в тех случаях, когда следствие относится к будущему, а условие либо предшествует следствию, либо реализуется одновременно с ним. См., например, (2), (35), а также (41) и (42):

(41) *Если ты уже отдохнул, то сходи, пожалуйста, в магазин,*

(42) *Если он будет завтра шуметь, ты постарайся не обращать на это внимания.*

4.2. Анализ запретов.

Причины, в силу которых существует запрет на реализацию 112 моделей из 216, входящих в исчисление, достаточно очевидны. Это — несочетаемость друг с другом отдельных значений второго и третьего классификационных параметров, т.е. таксисной зависимости между условием и следствием и временной отнесенности условия и следствия. Так, не сопрягаются друг с другом: а) второй параметр в значении 3 (одновременность условия и следствия) и третий параметр в значениях 2, 3, 4, 6, 7, 8 (отнесенность условия и следствия к разным временным планам), б) второй параметр в значении 1 (условие предшествует следствию) и третий параметр в значениях 4, 7, 8 (условие относится к временному плану, который на временной оси расположен правее временного плана, где представлено следствие), в) второй параметр в значении 2 (условие следует за следствием) и третий параметр в значениях 2, 3, 6 (условие относится к временному плану, который на временной оси расположен левее временного плана, где представлено следствие).

4.3. Заключительные замечания.

Завершая краткие и сугубо предварительные комментарии к предложенной исчисляющей классификации, подчеркнем, что все ее параметры являются семантическими, а не формальными. Иными

словами, речь идет о значениях, а не о формальных средствах, выражающих эти значения в конкретных языках. Анализируя с этих позиций предложение

(43) *Если он пишет, что приедет, то, значит, обязательно приедет,*

мы должны обратить внимание на следующее обстоятельство. Глагол в зависимой части этого предложения выступает в форме настоящего времени, однако положение вещей, составляющее условие, фактически осуществилось до момента речи и тем самым его следует отнести к плану прошедшего времени.

Отметим, что на базе данной классификации строится анкета, в соответствии с которой должны описываться УК в различных славянских языках. Эта анкета включает вопросы по семантике, прагматике, морфологии и синтаксису УК. Иными словами, формальная специфика УК, составляющая основу для их типологической характеристики, устанавливается при анализе того, как реализуемые модели исчисляющей классификации функционируют в конкретных языках и какие формальные средства используются для их маркировки. К сожалению, рамки данной публикации не позволяют нам подробно рассмотреть типологические особенности УК. Укажем лишь, что они связаны главным образом с употреблением различных финитных и инфинитных глагольных форм в зависимой и главной частях УК, с количеством употребительных условных союзов и их дистрибуцией по моделям исчисляющей классификации, с соотношением союзных и бессоюзных УК в системе и тексте.

[1] См., например: Русская грамматика. М., 1980. Т. II. С. 562.

[2] См., например: *Hajman J.* Conditionals are Topics // Language, 1978. № 3. P. 564.

[3] *Traugott E.C., Meulen ter A., Reilly J.S., Ferguson C.A.* On Conditionals. Cambridge, 1986.

[4] *Гринберг Дж.* Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. М., 1970. Вып. V. С. 126; *Danielsen N.* Zum Wesen des Konditionalsatzes nicht zuletzt im Indoeuropäischen // Odense University Studies in Linguistics. 1968. Vol. 1; *Comrie B.* Conditionals: a Tipology // On Conditionals. Cambridge, 1986. P. 77—99.

[5] Мы не убеждены, что предложенная квалификация приведенных примеров не вызовет определенных возражений, поскольку она несколько расходится с традиционными установками, существующими в славистике. Как известно, в нормативных грамматиках квалификация конструкции осуществляется с учетом как семантических, так и грамматических критериев. При таком подходе исследователи часто не находят достаточных оснований, чтобы включать примеры типа (7)—(14) в число УК.

[6] Условные сложноподчиненные предложения и сами по себе формально неоднородны, В частности, бессоюзные условные предложения типа (5)—(6) скорее всего имеет смысл описывать как трансформы условных предложений, вводимых союзами.

[7] Интересно в этой связи напомнить известный факт, что непроизводные наречия условия и соответствующее вопросительное слово как будто бы отсутствуют в конкретных языках.

[8] Высказанное утверждение значимо лишь в рамках синхронного анализа. С диахронической точки зрения "сложносочиненные" предложения, видимо, послужили базой для формирования сложноподчиненных и осложненных предложений.

[9] Примеры (17) и (18) взяты из книги: *Андрейчин Л.А.* Грамматика болгарского языка. М., 1949. С. 238.

[10] *Stalnaker R.* A theory of conditionals. 1975. P. 167. Цит. по: *Haiman J.* Ук. соч. P. 578.

[11] См.: *Haiman J.* Ук. соч. P. 579.

[12] *Гладкий А.В.* О значении союза ЕСЛИ // Семиотика и информатика. Вып. 18, 1982. С. 43—75.

[13] Следует подчеркнуть, что речь идет о денотативной соотнесенности p и q. В речемыслительной деятельности p всегда предшествует q.

[14] Легко понять, что данный параметр иррелевантен для УК с не локализованными во времени положениями вещей типа *Если он умный, он все поймет, Если он умный, он все понимает, Если он умный, он все понял.*

*Н.Н. Пшеничнова*

# ТИП ДИАЛЕКТА
## (славянский диалектный континуум)

Лингвогеографические данные, представленные большим числом диалектологических атласов славянских языков, а также многочисленные специальные исследования славянских говоров показывают, как славянская языковая непрерывность проявляется на диалектном уровне, на котором в ряде случаев невозможно провести языковую границу. В то же время в славянском языковом континууме достаточно четко прослеживаются и черты дискретности. В этом отношении показательна характеристика славянского языкового пространства, данная Н.И. Толстым (со ссылками на обширную литературу): "Лингвистическая непрерывность, т.е. зоны переходных говоров, наблюдаются в современной Славии лишь в пределах отдельных славянских языковых групп: восточнославянской, южнославянской и западнославянской. Типичными представителями переходных зон являются Смоленщина на белорусско-великорусском пограничье... средневеликорусские говоры между массивами северно- и южновеликорусских говоров, затем шопско-торлакские говоры между болгарским и сербскохорватским основными массивами, кайкавское наречие между словенским и сербскохорватским языками, восточноморавские говоры и крайнезападнословацкие между остальными чешскими и словацкими диалектными группами и т.д. Переходность и "непрерывность" еще ярче выступают при рассмотрении говоров в более мелких масштабах. Характерно, однако, что переходных говоров между отдельными группами славянских языков — южно-, западно- и восточнославянских нет"[1].

Проблема характеристики диалектного пространства по степени его континуальности или дискретности ("определение отношений между непрерывностью и прерывностью", по формулировке Э. Станкевича[2]), а также вопрос, непосредственно связанный с этой проблемой, — об определении типа диалекта[3] — по-прежнему остаются актуальными. Названная проблема решается как проблема классификации говоров.

Признанным методом диалектного членения является группировка говоров по пучкам изоглосс (ареальная классификация). Такой метод хорошо обоснован и дает убедительные результаты. Вместе с тем классификация говоров может быть проведена и на основе иных позиций,

при этом сопоставление результатов, полученных разными методами, может оказаться особенно продуктивным. Имеющийся в распоряжении диалектологов-славистов огромный материал, отражающий состояние славянских диалектов середины XX в., с одной стороны, успешно развивающаяся автоматизация диалектологических исследований — с другой, создали возможность подойти к решению проблемы классификации с некоторых новых для диалектологии позиций: классифицировать говоры вне территории как единые и целостные языковые системы — частные диалектные системы (ЧДС) на основании их полных описаний по всем языковым уровням. Результаты такой классификации могут быть представлены на лингвогеографической карте.

Цель такой классификации состоит не в выделении территориальных единиц (наречий и их подразделений) — это задача диалектного членения по пучкам изоглосс, или ареальной классификации. Задача классификации может быть сформулирована следующим образом: проанализировать всю совокупность исследуемых говоров[4] с точки зрения дискретности или континуальности этой совокупности[5], т.е. определить, выделяются ли группы близких между собой ЧДС, установить число уровней деления, число и состав групп каждого уровня, для каждого уровня деления найти признаки, оказавшиеся классификационно наиболее важными, и признаки, характеризующие разные типы говоров. В результате проведения такой классификации должно быть также определено одно из важнейших в диалектологии понятий — "тип диалекта", а также "группа говоров", "переходные говоры", "смешанные совокупности разнородных говоров".

Бытует мнение, что классификация очень большого числа говоров по очень большому числу характеристик невозможна, но если она все-таки окажется осуществимой, то для говоров, представляющих собой континуум, результаты ее будут маловыразительными: показанные на лингвогеографической карте, они отразят большую диалектную "пестроту".

Решить эту сложнейшую задачу, какой является классификация большого числа говоров по общему основанию из очень большого числа признаков, позволил некоторый новый подход к классификации и, в частности, к оценке существенности признаков, взятых в качестве ее основания.

Был разработан метод, который позволяет учитывать очень большое число объектов и очень большое число характеризующих их признаков. Метод позволяет устанавливать (как бы "улавливать") и учитывать классификационную значимость признаков, т.е. способность признаков различать сравниваемые объекты[6]. Никакие содержательные оценки признаков во внимание не принимаются — их содержательный отбор производится до исследования и определяется целью классификации. Классификационная значимость признака ("вес") зависит от вклада последнего в деление всего множества говоров на подмножества. Самые важные ("Главные") признаки — это те, вес которых является наивысшим.

Важно отметить, что результаты классификации предложенным

методом не зависят от выбора исходного говора. Какой бы говор ни был взят в качестве "точки отсчета", классификация приводит к получению одних и тех же единиц деления.

Предложенным методом (с помощью ЭВМ[7]) была проведена типологическая классификация русских говоров (4195 ЧДС) территории, входящей в "Диалектологический атлас русского языка" (ДАРЯ)[8], т.е. наиболее старых русских поселений (Центр европейской части России), по всем показателям, которые в ДАРЯ представлены (4416 признаков).

Возможность такой классификации для русских говоров обусловлена прежде всего характером "Диалектологического атласа русского языка", который был положен в основание классификации. В соответствии с теорией, на которой построен атлас[10], каждая карта ДАРЯ отражает отдельное вариативное звено системы русского диалектного языка (СДЯ), а весь атлас в целом воплощает СДЯ во всех ее основных вариативных звеньях (русский диалектный язык середины XX в.). По данным ДАРЯ каждая ЧДС (говор), входящая в атлас, может быть смоделирована во всех основных элементах языковой системы в их материальном воплощении и структурных отношениях (т.е. по всем тем показателям, которые содержатся в ДАРЯ)[11]. Следовательно, по атласу в целом могут быть получены и данные о типологических сходствах и различиях между говорами. Таким образом, ДАРЯ является базой для создания типологии русских говоров и, в частности, для их типологической классификации.

Предлагаемый подход к классификации говоров отличается от известных типологических классификаций языков и диалектов. В этом плане здесь важно отметить следующие два момента. Во-первых, в основе типологических классификаций лежит один или несколько (иногда даже много) признаков, но при этом не известны такие типологические классификации, в основу которых были бы положены полные описания языковых систем по всем основным языковым показателям, как это предлагается в данной работе. Во-вторых, в существующих типологических классификациях характеристики типов постулируются до исследования. В отличие от этого в предлагаемой классификации и число типов, и характеристики типов определяются в результате классификации.

Результаты проведенной классификации русских говоров могут быть рассмотрены в разных планах. Остановимся на следующих.

1. Классификационная структура рассматриваемой совокупности говоров, т.е. распределение говоров по выделившимся единицам классификации разных уровней.

2. Характеристики выделившихся классификационных единиц. Тип диалекта.

3. Лингвогеографическая проекция результатов классификации.

4. Оценка диалектного пространства с точки зрения его дискретности или континуальности.

1. Проведенная классификация показала, что все множество анализируемых русских говоров как единых и целостных языковых систем

по всем основным языковым показателям имеет многоуровневую ("многослойную") классификационную структуру.

Для каждого уровня получено число классификационных единиц и их состав (перечень входящих в них ЧДС); для каждого уровня определены Главные классификационные признаки; сформулированы понятия: "группа говоров", "переходные говоры", "смешанная совокупность разнородных говоров".

На каждой ступени классификации все множество рассмотренных говоров распадается на подмножества. Одни из этих подмножеств образуют однородные группы, которые в ряде случаев частично пересекаются, другие представляют собой совокупности неоднородных говоров, которые ни с какими другими подмножествами не пересекаются.

Введем следующие определения.

Будем называть "группой говоров" остаток от пересечения подмножеств данного уровня классификации; пересечение подмножеств — "переходными говорами" (переходные между соседними группами); неоднородное подмножество, не пересекающееся с другими, условимся называть "смешанной совокупностью разнородных говоров". Так, на первом уровне классификации выделились четыре единицы: две группы — севернорусских и южнорусских говоров, переходные (между севернорусскими и южнорусскими) говоры — среднерусские и смешанная совокупность разнородных говоров.

Результаты проведенной классификации можно представить в виде схем, отражающих деление всей совокупности говоров на разных уровнях (дано четыре уровня).

В приведенных ниже схемах даны следующие обозначения: цифра — номер группы говоров, С — группа севернорусских говоров, Ю — группа южнорусских говоров, П — переходные говоры, Р — смешанная совокупность разнородных говоров. Классификационные единицы 1-го уровня деления обозначаются (далее в тексте) одним знаком (С, Ю, П, Р), 2-го уровня — двумя (С1, С2 ...), 3-го уровня — тремя (С11, С12, С13 ...), 4-го уровня — четырьмя (С111, С11Р, ... ЮП11...).

Обратим еще раз внимание на то, что результаты классификации не зависят от выбора исходного говора: какой бы говор ни был принят за "точку отсчета", в любом случае классификация приводит к выделению именно этих, отраженных в таблицах, групп, переходных говоров и смешанных совокупностей разнородных говоров. Следовательно, выделяются группы говоров, имеющиеся в действительности, а значит, полученная классификация близка к естественной, или истинной. Это можно считать положительной оценкой предложенного метода и результатов проведенной с его помощью классификации.

2. Для каждой выделившейся классификационной единицы получены следующие характеристики: 1) система диалекта (СД) как максимальная модель описания диалекта; 2) эталон типичности[12] (ЭТ) — совокупность признаков, наиболее распространенных в говорах, относящихся к данной классификационной единице (ЭТ позволяет, в частности, определять для каждой единицы классификации постоянные элементы СД, т.е. признаки, совпадающие во всех говорах

Схема 1

| Уровень классификации | Обозначение классификационных единиц | | |

Схема 3

| Уровень классификации | Обозначение классификационных единиц | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | П | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-й | 1 | | | | 2 | | | | П | | | | Р | | | |
| 3-й | 1 | | Р | | 1 | | Р | | 1 | | Р | | 1 | | Р | |
| 4-й | 1 | Р | 1 | Р | 1 | Р | 1 | Р | 1 | Р | 1 | Р | 1 | Р | 1 | Р |

Схема 4

| Уровень классификации | Обозначение классификационных единиц | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | Р | | | | | | | | | | | |
| 2-й | 1 | | | | 2 | | | | Р | | | |
| 3-й | 1 | | Р | | 1 | | Р | | 1 | | Р | |
| 4-й | 1 | Р | 1 | Р | 1 | Р | 1 | Р | 1 | Р | 1 | Р |

данной единицы); 3) тип диалекта; 4) мера компактности классификационной единицы как показатель степени ее однородности и некоторые другие.

Остановимся специально на понятии "тип диалекта".

В ареальной классификации говоров (по пучкам изоглосс) дается перечень признаков, наиболее всего различающих единицы диалектного членения, и эти признаки являются характеристиками диалектных типов полученных единиц деления (наречий или других территориальных единиц). В отличие от этого в классификации говоров как единых и целостных языковых систем по всем основным языковым показателям тип диалекта конструируется для классификационной единицы вне территориального аспекта, — лишь по сходствам и различиям между сравниваемыми говорами.

На основании результатов проведенной классификации предлагается следующее понимание типа диалекта.

Тип диалекта для некоторой совокупности (множества, класса) говоров, т.е. для какой-либо классификационной единицы конструируется (как и в диалектном членении, после проведения классификации) как комплекс признаков, являющийся обобщенной характеристикой этой совокупности. Тип диалекта является понятием того же структурного плана, что и СД и ЭТ. Различие между этими тремя конструктами заключается в составляющих каждый из них признаках.

Тип диалекта любой классификационной единицы состоит из признаков двух видов: признаки типоопределяющие и сопутствующие. Типоопределяющие признаки — это такие, которые отличают данный

тип от других типов, т.е. определяют или диагностируют тип; сопутствующие — это признаки, которые характеризуют тип, но не могут его диагностировать, так как достаточно широко распространены не только в пределах классификационной единицы, для которой определяется тип диалекта, но и в других единицах того же уровня деления.

Какие признаки можно считать в классификации говоров типоопределяющими, и какие сопутствующими?

Все типоопределяющие признаки должны иметь большой классификационный вес[13]. Однако не все признаки с большим весом (Главные) относятся к типоопределяющим.

Поскольку признаки по их весам выстраиваются в такой ранжированный ряд, в котором веса меняются монотонно, выделить Главные признаки (с наибольшим классификационным весом) можно только до некоторой степени условно[14]. В связи с этим и классификационное деление носит вероятностный характер: границы между единицами классификации являются наиболее вероятными. Наиболее вероятным является и комплекс признаков, составляющих тип диалекта каждой из классификационных единиц.

Предлагается следующее определение типоопределяющих и сопутствующих признаков.

Будем считать, что типоопределяющим является такой Главный признак, наивысшая из относительных частот которого в классификационных единицах данного уровня не менее чем в 2 раза больше любой из остальных частот (в других единицах того же уровня деления). Этот признак может входить в ЭТ единицы классификации, для которой конструируется тип диалекта (если относительная частота признака в данной единице деления $\geqslant 0{,}5$), и не входить в ЭТ (если его относительная частота $< 0{,}5$).

Сопутствующими признаками являются следующие: 1) Главный признак во всех тех единицах деления данного уровня, в которых его относительная частота отличается от максимальной на данном уровне менее, чем в 2 раза (сопутствующим такой признак является и в той классификационной единице, в которой его относительная частота является наибольшей); 2) признак из числа не-Главных, если он входит хотя бы в один из ЭТ рассматриваемого уровня деления: сопутствующим такой признак является в характеристике типа каждой классификационной единицы, в ЭТ которой он содержится, а также такой единицы, в которой данный признак в ЭТ не входит, но имеет относительную частоту, отличающуюся от максимальной менее чем в 2 раза.

Смысл такого понимания признаков как типоопределяющих или сопутствующих можно показать на примерах.

На первом уровне классификации к числу Главных относится признак "Гласный [о] на месте *о* в 1-м предударном слоге в абсолютном начале слова: [о]*тня́л,* [о]*дну́* и т.п." (его вес равен 2991,6 и составляет 94,6% от наибольшего, равного 3166). Его относительная частота в классификационных единицах 1-го уровня равна: С — 0,966; Ю — 0,012; П — 0,398; Р — 0,098. Самая высокая

частота — в группе С, она более чем в 2 раза выше, чем в любой другой совокупности данного уровня. Следовательно, этот признак является для группы С типоопределяющим. Этот признак относится и к числу наиболее распространенных в группе С (входит в ЭТ). Но типоопределяющим может быть и редкий признак, если он соответствует данному выше определению. Так, например, признак "Форма инфинитива глаголов с основой на задненебный согласный *секчи́, берегчи́* и т.п." также относится к типоопределяющим группы С, хотя его относительная частота в этой группе составляет лишь 0,463. По классификационному весу этот признак относится к Главным (39,8% от наибольшего веса), а относительная частота его в других единицах деления того же, первого, уровня составляет: Ю — 0,010, П — 0,034; Р — 0,052. Каждая из этих трех относительных частот более чем в 2 раза ниже максимальной (0,463). Эти цифры показывают, что рассматриваемый признак, хотя и является редким в группе С, все-таки с наибольшей вероятностью определяет тип диалекта С, чем какой-либо другой единицы деления того же уровня.

К сопутствующим признакам типа диалекта С следует отнести, например, признак "Гласный [а] на месте *а* в 1-м предударном слоге после мягких согласных: *г*[р'а]*да́,* [п'а]*тно́, т*[р'а]*су́* и т.п.", относительная частота которого в группе С составляет 0,642, а в других единицах деления того же уровня: Ю — 0,013; П — 0,462; Р — 0,074. Признак относится к числу Главных (его вес составляет 47,7% от максимального). Менее чем в 2 раза от максимальной относительной частоты (0,642) отличается частота 0,462 (П), следовательно, рассматриваемый признак входит как сопутствующий в характеристику типа диалекта группы С и должен был бы войти в характеристику типа говоров П. Но здесь возникает проблема, связанная с тем, что не для каждой совокупности любого уровня деления можно определить тип диалекта, на чем мы остановимся ниже, рассмотрев еще один пример.

К сопутствующим признакам типа С относится: "Форма П.п. ед.ч. существительного *конец — на (в, при, о) конце́*". Этот признак не является Главным (его вес = 224,35 и составляет ≈14,1% от максимального). В характеристику типа С признак входит, так как достаточно широко распространен в говорах группы С (его относительная частота в С — 0,505 — на данном уровне она является максимальной). Вместе с тем этот признак не может диагностировать тип диалекта С, так как степень его распространенности в некоторых других единицах того же уровня деления незначительно отличается от степени распространенности в группе С: Ю — 0,334; П — 0,472; Р — 0,179. В группе Ю и совокупности П относительная частота рассматриваемого признака менее чем в 2 раза отличается от максимальной (от 0,505), следовательно, данный признак является сопутствующим также в характеристике диалектного типа Ю и должен был бы войти в характеристику типа говоров П. Однако здесь, как и в связи с признаком, приведенным выше, необходимо ввести некоторое уточнение в определение типа диалекта.

Будем считать, что единица классификации не имеет типа, если в ней

нет типоопределяющих признаков. К таким совокупностям относятся переходные говоры разных уровней деления: в обобщенной характеристике (аналог диалектного типа) этих совокупностей совмещаются только признаки (сопутствующие) диалектных типов тех групп, между которыми эти говоры являются переходными.

Классификация русских говоров показала, что тип диалекта можно определить для группы говоров и единично для смешанных совокупностей разнородных говоров. Последнее на первый взгляд кажется парадоксальным, но только на первый взгляд. Дело в том, что однородность или неоднородность совокупности по всем принятым критериям — это явление одного порядка, а отличие выделившейся единицы классификации (в том числе и неоднородной) в целом от других единиц деления того же уровня — явление другого порядка. Так, на 1-м уровне классификации для смешанной совокупности разнородных говоров (территория их преимущественного распространения — западная периферия русских говоров, т.е. полоса вдоль русско-белорусской и русско-украинской границы) получен тип диалекта, который можно назвать "западнорусский диалектный тип". В характеристику этого, западнорусского, диалектного типа входит 58 типоопределяющих признаков, которыми этот тип отличается от севернорусского и южнорусского диалектных типов. В число типоопределяющих признаков западнорусского типа входят, например, такие (приводятся первые десять в порядке убывания их классификационного веса): 1) наличие протетического [в] перед ударенными [о] и [у]: [во́]*кна,* [во́]*сень* и т.п., [ву́]*тка,* [ву́]*чит* и т.п.; 2) основа на <и> в формах настоящего времени и повелительного наклонения глаголов типа *крыть*: *м*[ы́]*ю, м*[ы]*й, кр*[ы́]*ю, кр*[ы]*й, р*[ы́]*ешь, р*[ы]*й* и т.п.; 3) конструкции с частицей и/или союзом *ти: ти он заскучал? поехал ти в Брянск, ти з Москву; девок нас было пять ти шесть*; 4) фонема <е> в ударенных окончаниях 2 л. ед.ч. глаголов I спряжения с основой на парный твердый согласный: *нес<е́>шь, бер<е́>шь* и т.п.; 5) объектно-целевые конструкции типа *пойти в ягоды, в грибы, в цветы, в воду; поехать в дрова, в жерди...;* 6) форма И.п.мн.ч. местоимения 3-го лица — <j>*оны́* ([jо]*ны́* [jе]*ны́,* [jи]*ны́,* [jа]*ны́*); 7) протетический [и] отмечен перед сочетанием "плавный + согласный": [и]*ржа́ть,* [и]*льдо́м* и т.п.; 8) лабиализованный гласный ([у], [о], [ъ$^{у}$] и др.) на месте *о* и *а* в 1-м предударном слоге при диссимилятивном аканье: *в*[у]*да́, тр*[у]*ва́* и т.п.; *в*[о]*да́, тр*[о]*ва́* и т.п.; 9) глагол *(за)хова́ть* со значением "прятать"; 10) аканье диссимилятивное жиздринского типа: совпадение в [а] при ударенных *и́, у́, о́, е́* и в гласном не *-а* при ударенном *а́*: *в*[а]*ды́, к*[а]*су́* и т.п. и *в*[ы]*да́, к*[ъ]*са́* и т.п.

Для окончательного вывода относительно возможности выделить тип диалекта смешанной совокупности разнородных говоров необходимо учитывать данные лингвогеографии.

3. Результаты классификации говоров, проведенной вне территории, представляются на лингвогеографической карте[15]. Карта позволяет выявить для всех уровней классификации четкую тенденцию в территориальном распространении ЧДС, относящихся к разным

единицам деления. Эта тенденция состоит в следующем. Говоры одной группы почти все объединяются и территориально. Переходные говоры в своем подавляющем большинстве распространены между территориями, занятыми группами, с которыми связаны переходные говоры, и образуют переходные зоны. Разнородные говоры смешанных совокупностей распространены, как правило, по периферии групп или отдельными разрозненными вкраплениями на других территориях.

Можно полагать, что выявленная тенденция позволяет положительно оценить итоги проведенной классификации.

Территориальное распределение говоров разных групп, переходных говоров и разнородных говоров смешанных совокупностей обнаруживают значительное сходство с диалектным членением русского языка по пучкам изоглосс[16]. Это совпадение является взаимопроверкой карт, составленных на основе анализа материала разными методами, и достаточно убедительной их оценкой.

Территориальная проекция типологической классификации в ее сопоставлении с ареальной для таких генетически и типологически близких языковых систем, как русские говоры, требует специального рассмотрения. Здесь обратим внимание лишь на два момента.

Карта, отражающая проведенную нами классификацию русских говоров, в общих чертах близка схеме диалектного членения по пучкам изоглосс К.Ф. Захаровой и В.Г. Орловой. Эта близость определяется не только тем, что обе карты построены на анализе одного и того же материала, но более всего — общим подходом к оценке значимости признака для классификации, а именно в зависимости от того, каков вклад признака в деление: в диалектном членении по пучкам изоглосс признак имеет тем большее значение, чем более четко он противопоставляет территориальные единицы; в предложенной классификации вес признака тем выше, чем значительнее его вклад в разделение всей совокупности на составляющие ее части.

В то же время между названными картами — диалектного членения и классификации, проведенной вне территории, — есть и существенные различия. Не рассматривая здесь все расхождения и их причины, остановимся на главном. Главное же различие между двумя картами состоит в том, что они отражают разные сущности: диалектное членение — это схема, на которой дано расположение территориальных единиц (наречий, их подразделений и среднерусских говоров), в отличие от этого карта классификации представляет не наречия и их подразделения, а территориальное распределение групп ЧДС разных типов, а также ЧДС переходных и смешанных совокупностей разных уровней деления (при этом каждая отдельная ЧДС точно соотнесена с определенным населенным пунктом).

Необходимо отметить еще одно важное различие между двумя рассматриваемыми картами. В диалектном членении почти все подгруппы наречий получены на втором уровне, межзональные и среднерусские говоры имеют три уровня деления. Классификация же представлена как четырехуровневое деление (см. приведенные выше схемы), что позволяет видеть неодинаковую степень близости между синхронно существующими ЧДС разных единиц деления.

4. Полученные результаты позволяют уточнить характеристику русского диалектного пространства как пространства, образованного целостными языковыми системами — ЧДС, — с точки зрения его дискретности или континуальности.

Принято считать, что русские говоры, как и говоры других славянских языков, образуют континуум. В действительности — и это показали результаты проведенной классификации — все пространство русских говоров является дискретно-континуальным, т.е. таким, в котором, с одной стороны, выделяются группы близких между собой ЧДС, а с другой — между этими группами отмечаются переходные говоры и смешанные совокупности разнородных говоров, при этом различия между говорами нарастают плавно (см. сноску 5).

5. Классификация предложенным методом позволила выявить некоторые определяющие черты дискретно-континуального характера русского диалектного пространства. К наиболее важным из них относятся следующие. 1) Признаки (основание классификации) по их классификационным весам выстраиваются в такой ранжированный ряд, в котором веса изменяются достаточно монотонно, и, следовательно, провести границу между самыми важными для деления (Главными) признаками, менее важными и т.д. во многих случаях можно только условно. 2) Типы говоров не являются "чистыми": характеристики разных типов одного уровня деления частично пересекаются (типы состоят из типоопределяющих и сопутствующих признаков). 3) Классификация является многоуровневой ("многослойной") — представлены четыре уровня, — при этом она характеризуется следующей особенностью: начиная с третьего уровня, как правило, в каждой классификационной единице выделяется одна однородная группа, а все остальные говоры образуют на данном уровне смешанную совокупность разнородных говоров (см. схема 1, 2, 3, 4). Таким образом, в каждой единице деления третьего уровня на следующем, четвертом, выделяется подгруппа наиболее близких между собой говоров. Это как бы ядро или центр единицы деления и третьего, и второго уровней. Образно говоря, на четвертом уровне классификации выделяются "родоначальники" единиц более высоких классификационных рангов — центры самых контрастных говоров в пределах всей рассматриваемой совокупности. От этих центров "расходятся" ареалы единиц следующих более высоких рангов. Лингвогеографическая карта, отражающая результаты проведенной классификации, выявляет дискретно-континуальный характер русского диалектного пространства в его синхронном состоянии и тем самым открывает новые возможности в исследовании процессов диалектного развития.

В настоящее время учеными Беларуси, России и Украины ведется большая совместная работа по созданию атласа "Восточнославянские изоглоссы". Было бы очень важно, в частности, и в связи с этой проблематикой, провести классификацию предложенным методом также и белорусских и украинских говоров. Теоретические основы восточнославянских диалектологических атласов близки, и результаты трех классификаций в их совокупности и в сопоставлении с диалектным членением по пучкам изоглосс, которое создано для каждого из

восточнославянских языков, могли бы оказаться чрезвычайно продуктивными как для сопоставления синхронного состояния диалектных систем, так и для диахронических исследований.

Можно полагать, что не континуальный, а дискретно-континуальный характер имеет не только русское диалектное пространство, но и все диалектное пространство языков мира в целом. При этом, по-видимому, как правило, чем выше уровень деления, тем определеннее черты дискретности, чем ниже классификационный уровень, тем более континуальной является совокупность языковых систем (ср. в этом отношении приведенное выше высказывание Н.И. Толстого). Эта тенденция, очевидно, проявляется неодинаково в разных языках и, как показали русские говоры, неодинаково в разных совокупностях ЧДС одного языка. Классификация языковых систем на диалектном уровне (именно классификация ЧДС в предложенном аспекте, а не диалектное членение по пучкам изоглосс) позволила бы выявить существенные черты диалектного пространства разных языков и тем самым в будущем — всего диалектного пространства в целом.

[1] *Толстой Н.И.* О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977. С. 39—40.

[2] *Stankiewicz E.* Towards a phonemic typology of the Slavic languages // American contributions to the 4th Intern. Congr. of Slavists. S-Gravenhage, 1958. P. 316—317.

[3] Диалект понимается как сложная система или система частных диалектных систем (максимальная модель, диасистема), моделируемая для любой классификационной единицы. В том же значении употребляется термин "система диалекта"; для языка в целом — "система диалектного языка".

Впервые понимание диалектного языка в его территориальном варьировании как системы систем с постоянными и вариативными звеньями дано Р.И. Аванесовым в работе "Вопросы фонетической системы русских говоров и литературного языка" // (Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1947, т. VI, вып. 3) (перепечатано в: *А.А. Реформатский.* Из истории отечественной фонологии. М., 1967); термин "диалектный язык" для обозначения этой системы введен также Р.И. Аванесовым (см.: Русская диалектология / Под ред. Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой. М., 1964). Позднее практически в том же значении У. Вайнрайх употребил термин "диасистема" (*Weinreich U.* Is a structural dialectologie possible? // Word. 1954. V. X. N 2—3).

[4] Говор понимается как частная диалектная система (ЧДС).

[5] Считаем условно, что совокупность дискретна, если она делится на однородные группы говоров (в пределах группы говоры различаются незначительно, а между группами различия существенны); совокупность континуальна, если все говоры рассматриваемой совокупности можно выстроить в такой ряд, в котором различия между каждыми двумя соседними в этом ряду говорами незначительны, т.е. различия между говорами нарастают постепенно; совокупность дискретно-континуальна, если она представляет собой комбинацию двух названных выше.

[6] Метод изложен в работе: *Пшеничнова Н.Н.* Метод классификации большого числа объектов по большому числу признаков // Труды Машинного фонда русского языка (в печати).

[7] Программы для ЭВМ по заданному методу были разработаны и реализованы математиком-программистом О.Н. Долговым.

[8] Диалектологический атлас русского языка. Центр европейской части СССР. В трех вып. Вып. I. Вступительные статьи, справочные материалы. Фонетика. М., 1986. Вып. II. Морфология. М., 1989. Вып. III. Синтаксис. Лексика. 1992 (в печати).

[9] Условимся называть признаком каждый отдельный член вариативного звена СДЯ. Так, например, суффикс сравнительной степени *-ée* (*добрée* и т.п.), *-éй* (*добрéй* и т.п.), *-é* (*добрé* и т.п.), *-éйше* (*добрéйше* и т.п.), *-éйче* (*добрéйче* и т.п.), *-áе* (*добрáе* и т.п.), *-áй* (*добрáй* и т.п.), *-á* (*добрá* и т.п.), *-áйше* (*добрáйше* и т.п.) — это девять признаков.

[10] Оригинальная теория, на которой построен русский атлас и которая, в частности, вводит русскую диалектологию в проблематику типологических исследований, разработана Р.И. Аванесовым и его единомышленниками. Основные положения этой теории даны в упомянутой выше работе Р.И. Аванесова "Вопросы фонетической системы...", а наиболее полно она изложена в книге "Вопросы теории лингвистической географии". М., 1962.

[11] Описания ЧДС, моделируемых по данным ДАРЯ как единых и целостных языковых систем, с определенной долей условности можно считать полными: в ДАРЯ представлены ЧДС, отражающие основную для говоров разновидность диалектного говорения — бытовую речь (ее нейтральный стиль) старшего поколения во всей ее вариативности; список характеристик каждой ЧДС, хотя и не является в ДАРЯ исчерпывающим (а таковым он и не может быть в принципе — полнота описания любой языковой системы всегда относительна), охватывает все основные звенья языковой системы всех языковых уровней (фонетики, морфологии, синтаксиса, а также лексико-семантического уровня в той его части, которая относится к наиболее употребительной лексике бытового общения). При этом элементы, известные к середине XX в. как совпадающие во всех ЧДС и литературном языке (постоянные звенья СДЯ) в ДАРЯ не представлены. Эти элементы в классификации не участвуют, что не может отразиться на ее результатах, так как элементы, совпадающие во всех говорах, ничего не различают (их классификационный вес равен нулю).

[12] О формировании ЭТ см.: *Пшеничнова Н.Н.* Метод классификации...

[13] Это утверждение выглядит как противоречащее известному положению о том, что "типологическая релевантность не тождественна классификативной релевантности" (Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. М., 1973, с. 242). Однако оно строго соответствует задаче классифнкации в той постановке, которая была сформулирована выше.

[14] К Главным признакам на каждом уровне классификации относим такие, вес которых составляет не менее 25% от максимального веса признака.

[15] См.: *Пшеничнова Н.Н.* Типологическая классификация русских говоров // ОЛА. 1992. Материалы н исследования. М. (в печати).

[16] 1) *Дурново Н.Н., Соколов Н.Н., Ушаков Д.Н.* Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением Очерка русской диалектологии. М., 1915; 2) *Захарова К.Ф., Орлова В.Г.* Диалектное членение русского языка. М., 1970.

*В.Н. Телия*

# КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОННОТАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
## (от мировидения к миропониманию)

Фразеологический состав языка, по общепринятому мнению, — наиболее самобытное его явление. Эта самобытность обусловлена прежде всего тем, что фразеологизмы возникают на основе образного представления о действительности, отображающего по преимуществу обиходно-эмпирический, исторический и духовный опыт языкового коллектива, связанный с его культурными традициями. Достаточно привести ряд примеров, подтверждающих культурно-национальное своеобразие фразеологизмов.

Отражение обиходно-эмпирического опыта характерно в основном для фразеологизмов-идиом, в составе которых имеются названия предметов материальной культуры типа (I): *лезть* (или *переть*) *на*

*рожон* — эта идиома восходит к фрагменту охоты на медведя, когда он, в ярости, сам хватался за выставленную рогатину с *рожном* — заточенным с обеих сторон ножом, следовательно — действовать сгоряча, бессмысленно подвергая себя опасности и не думая о неприятных последствиях, отсюда и значение 'предпринимать что-либо заведомо рискованное'; *бить баклуши* — изначально разбивать полено на *баклуши* — чурки, из которых вырезались ложки и другие поделки, следовательно — заниматься легким по сравнению с изготовлением самих изделий делом, не требующим особого напряжения, отсюда 'проводить время, занимаясь мелкими, незначительными делами'; *заваривать кашу* — приготавливать *кашу* как особое ритуальное угощение (на свадьбу, именины и т.п.), в подготовке которого обычно принимало участие несколько человек (даже из нескольких семей), следовательно — устраивать суматоху, путаницу, усложнять дело, отсюда — 'затевать сложное, хлопотливое и суматошное дело' (см. [Шанский, Зимин, Филиппов 1987; Фелицина, Мокиенко 1990]). Описания подобного рода обычно приводятся в страноведчески ориентированных словарях, где, наряду с разъяснением значения безэквивалентной лексики (типа *рожон, баклуша, каша*), объясняется исходный смысл словосочетания, лежащего в основе формирования фразеологизмов.

Фразелогизмы этого типа наглядно — в самом лексическом составе — содержат указание на национальное своеобразие. Но это указание связано со сферой материальной культуры (ср. также: *гроша ломаного не стоит, тертый калач, на ять* и под.). Не случайно именно такого рода идиомы кочуют из словаря в словарь, они же приводятся в работах, посвященных идиоэтническим аспектам фразеологии (см., например, [Эккерт 1990] и др.).

Второй круг примеров (II) связан с отображением в идиомах исторического опыта народа, ставшего достоянием его национального самосознания или просто "памятным знаком": *Мамаево побоище* — первоначально о Куликовской битве (1380 г.), в которой русские войска разгромили татарские полчища хана Мамая, следовательно — сражение, драка с большим числом участников, отсюда — 'крупная ссора с беспорядочной дракой и побоями'; ср. также: *погиб, как швед под Полтавой, Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!* и т.п. В идиомах этого типа также встречаются страноведчески маркированные компоненты, но осознание значения в них связано с историческими фактами, которые нуждаются в комментариях страноведческого характера.

Не случайно идиомы из групп (I) и (II) — предмет описания страноведческих словарей, исходящих из национальных примет культуры, а по существу — из "поверхностных" ее манифестаций. Отсюда и постановка проблемы, характерная для сопоставительных работ: исследование и описание национально-культурного своеобразия, когда за исходное принимается план выражения идиомы или фразеологических сочетаний (лексических коллокаций — в терминологической традиции англо-американских исследований) типа *без зазрения совести, закадычный друг, каурая кобыла, щепетильный вопрос, ядреная баба* и т.п.

Однако наряду с идиомами приведенных выше типов существуют — и образуют подавляющее большинство — идиомы и фразеологические сочетания, план выражения которых не обнаруживает никаких национальных черт. Так, синонимичные с *бить баклуши* идиомы *гонять собак, ворон, считать мух, плевать в потолок* и др., равно как синонимичные с *тертый калач — стреляный воробей, старый, травленый волк* и под., не обнаруживают этих черт и не включаются в страноведческие словари (см., например, [Фелицина, Мокиенко 1990]), что сужает представление о национальном богатстве и своеобразии фразеологического состава. Так, весь синонимический ряд, возглавляемый идиомой *бить баклуши,* свидетельствует о том, что для русского человека праздное и бесполезное времяпрепровождение связано с образами активной деятельности по пустякам, а по существу — с имитацией активной деятельности. При этом в менталитете народа заложен стереотип, предписывающий трудиться "в поте лица", отсюда — и отрицательная рациональная оценка в идиомах этого ряда и оценка эмоциональная — все они при употреблении выражают пренебрежение говорящего к агенсу идиомы (ср. другой образ в идиомах *сидеть сложа руки, лежать на боку* или *на печи,* в котором явно выражены лень и бездеятельность). Примеры подобного рода можно без труда увеличить.

Чтобы показать, что "национальные цвета" фразеологического компонента языка обусловлены не только и не столько условиями материальной культуры народа или его исторического опыта, но еще и культурой духовной, приведем третий круг примеров, из которых видно, что в содержании идиом заложено и это духовное основание — нравственная, этическая, эстетическая и т.п. система ценностной ориентации в мире, выражающаяся в соотнесении с эталонами и стереотипами, характерными и для других текстов, содержанием которых является отображение этой системы ценностей, — для фольклора, религиозных и литературных источников, для обрядов, обычаев и т.д.

Например, такие идиомы (III), как *трепать юбки* (что является частью прототипической "сцены" — гуляя по улицам, обтрепывать подол длинной юбки), *ходить по рукам, переходить из рук в руки, шлюха подзаборная* (из *шляться под заборами*), а также фразеологическое сочетание *гулящая баба* удивительным образом восходят к одной "корневой" (по Дж. Лакоффу и М. Джонсону [1987]) метафоре: "перемещаться без определенной цели — следовательно, вести праздный образ жизни". Но даже метафорическая интерпретация не открывает всех секретов этих выражений, обозначающих женщину "вольного поведения". А между тем образ "гулящей" женщины связан с двумя стереотипами. Один из них — это ассоциативно-образное восприятие гулящего человека как вольного (гулящие люди — это люди вольные, обычно беглые от своих господ). Другой связан с народным менталитетом, отраженным в пословицах, где женщине определено место в доме: "Мужик да собака всегда на дворе, а баба да кошка всегда в избе" и под. Тем самым интерпретация этих выражений на основе соотнесения их ассоциативно-образных

восприятий со стереотипами, отражающими народный менталитет, раскрывает их культурно-национальный смысл и характер, который и является содержанием культурной коннотации.

Примеров подобного рода также можно привести сколь угодно много (ср. приведенную выше соотнесенность с культурно-национальным стереотипом синонимического ряда к *бить баклуши*). Но главное, на что необходимо обратить внимание, — интерпретация, соотносящая образное основание единиц фразеологии с эталоном или стереотипом, выступающими как культурные знаки, довольно редко "наводится" самим буквальным прочтением их плана выражения даже при раскрытии значения страноведчески маркированных компонентов. В самом деле, какую культурно-национальную специфику можно усмотреть в идиомах типа *трепать юбки, гонять собак* или фразеологических сочетаниях типа *пышная женщина, капля жалости, сострадания* и т.п. Только на достаточно больших идеографических (или тематических) массивах становится очевидной связь образного основания идиом или фразеологических сочетаний с культурно-национальным миропониманием, т.е. ценностно-ориентированным менталитетом народа — носителя языка. В этом есть определенная закономерность: только целостные фрагменты языковой картины мира позволяют обнаружить прототипическое основание в разнообразии образов, а это последнее осознается в связи с тем или иным культурным знаком. Иначе каждой единице фразеологического состава соответствовал бы свой эталон или стереотип. Более того, в самом отборе образов, лежащих в основании идиомы или фразеологического сочетания, прослеживается определенный "стиль" мировидения, характерный для той или иной лингвокультурной общности. Ср., например, образы, лежащие в основе болгарских идиом, обозначающих праздное времяпрепровождение: *клатя си краката* — букв. 'качать ногами', *билки диря по баири* — букв. 'искать лекарственные травы по холмам', *меря улиците* — букв. 'мерять улицы' и др.

То, что мировидение и миропонимание корреспондируют друг с другом, можно подтвердить примерами, характеризующими отображение интеллектуальных способностей женщины — одного из центральных терминов культуры, средствами фразеологических единиц. В народном менталитете женщина — скорее "недо-человек" (что может быть связано и с библейским ее происхождением из ребра Адамова): *Курица — не птица, баба — не человек; У бабы волос долог, а ум короток* и т.п. Сообразно с таким миропониманием, следует ожидать, что и в языке это найдет свое отображение; отсюда — *девичья память, женская логика*, а если женщина умна, то говорят, что у нее *мужской ум*, и, наконец, сложился стереотип — *глупая баба*.

Таким образом, можно предположить, что язык хранит и передает из поколения в поколение те устойчивые сочетания, которые прямо или опосредованно — через соотнесенность ассоциативно-образного основания с эталонами или стереотипами национальной культуры выражают народную мудрость как в ее архаичных догматах, так и в панхроничных. А сама возможность восстановления этой национально-культурной памяти обеспечивается тем, что идиомы

и фразеологические сочетания соотносятся через отношение когнитивной интерпретации с системой культурно-национальных знаний народа — носителя языка об эталонах и стереотипах этой культуры как в ее материальной, так и духовной областях. Эти знания "включаются" в интеракцию при употреблении единиц фразеологии в речи как культурно-значимые фреймы этих единиц, организованные как сцены, сценарии, планы и под. (см. [Минский 1983]). Рефлекс этих знаний и образует содержание культурных коннотаций (о чем уже упоминалось выше). Благодаря такой "когнитивной памяти" единиц фразеологии, они являются своего рода "кладезем премудрости" народной, сохраняющим и воспроизводящим менталитет народа от поколения к поколению. Выявить эту "когнитивную память" — значит обнаружить культурно-национальную окраску единиц фразеологии, установить связь их культурных коннотаций с миропониманием народа, а тем самым — определить еще один участок взаимодействия языка и культуры.

Именно такой постановкой проблемы отличается исследование культурно-национального своеобразия фразеологических единиц от изучения их национально-культурной специфики, ориентированного, как уже отмечалось выше, скорее на объяснение в их составе присущих национальному языку в его историческом развитии названий предметов материальной культуры или каких-то исторических реалий с целью показать источники происхождения фразеологизмов (см., например, [Мокиенко 1989]). В своем теоретически обоснованном виде такой подход применительно к русскому языку разработан в [Верещагин, Костомаров 1980].

Основная задача исследования культурно-национальных особенностей фразеологических единиц — выявить характер связи фразеологического состава языка с мировидением данного народа, определить виды корреспонденции между фразеологической единицей как знаком и эталонами и стереотипами группового опыта народа, т.е. установить типы культурных коннотаций единиц фразеологии. И уже на базе этого знания рассмотреть, как взаимодействуют язык (его фразеологический компонент) и культура в ее национальной форме. Очевидно, что эта задача может решаться и на материале лексики.

Сформулированная выше постановка проблемы может быть прояснена в виде следующих вопросов: 1. Если культура "включена" во фразеологические единицы и если они кумулируют и транслируют из поколение в поколение культурно-национальное миропонимание, то не "навязывается" ли оно носителям языка, не является ли "лингвистически относительным" (в смысле гипотезы Сепира—Уорфа) в той мере, в какой речь идет о фразеологическом компоненте языка. 2. Каковы источники тех фоновых культурных знаний, тех культурных знаков, которые создают культурные коннотации единиц фразеологического состава языка. 3. Если единицы фразеологии сами становятся экспонентами культурных знаков, то не осознаются ли они сами как эталоны и стереотипы.

Естественно, в рамках данной статьи исчерпывающе ответить на эти вопросы, тесно связанные между собой, не представляется возможным,

тем более что (2) — задача скорее культурологии, а не лингвистики: проблема культурного знака при всей его прозрачности с точки зрения "здравого смысла" — базовая проблема культурологии, не имеющая еще общепринятого решения. Достаточно отметить, что само понятие "культура" столь расплывчато, что его объем и содержание колеблются в зависимости от задач исследования, о чем свидетельствуют материалы, помещенные в [Советская этнография 1981; Этнопсихолингвистика 1988]. В самом общем виде можно считать, что существуют две формы культуры: материальная, или "опредмеченная", и духовная, или "распредмеченная", каждая из которых служит целям ориентации человека в нормах жизнедеятельности. А культурная традиция — это "выраженный в социально организованных стереотипах групповой опыт, который путем пространственно-временной трансмиссии аккумулируется и воспроизводится в различных человеческих коллективах" [Маркарян 1981, 80].

Поскольку в центре внимания культуры и культурной традиции находится человек, разворот проблематики фразеологии в русло антропологической парадигмы требует ответа на сформулированные выше вопросы, ибо от ответа на них зависит и ответ на такие, например, вопросы, почему фразеологизмы удерживаются в языке веками при явной их языковой аномальности, почему они вновь и вновь образуются в языке и в каждую эпоху в них включается свой культурный "слой"? Думается, что есть более сокровенный смысл их присутствия в языке, чем отводимое им место на периферии языка. И этот смысл мы усматриваем в их способности соотноситься с эталонами и стереотипами миропонимания, не только воспроизводя, но и формируя его.

Если признать, что фразеологический состав языка способен воздействовать на формирование менталитета лингвокультурной общности (о чем свидетельствуют примеры, приведенные выше), то вместе с этим вновь всплывает вопрос — влияет ли язык на формирование картины мира и не находится ли, в частности, миропонимание в плену у языковой картины мира (в нашем случае — фразеологического ее фрагмента).

Как известно, корни этой проблемы уходят в европейском языкознании к ряду высказываний В. фон Гумбольдта о том, что язык связан с формированием духовной силы нации (см., например, [1984, 47]). Под влиянием этих идей мысли о воздействии "народного духа" на язык и языка на само миропонимание высказывались и А.А. Потебней: "...как и в жизни лица, так и в жизни народа должны быть явления, предшествующие языку и следующие за ним... психология народа должна показать возможность различных национальных особенностей и строения языков как следствие общих законов народной жизни" [1892, 46, 48]. И культура народа — носителя языка должна найти свое отображение в содержании языковых единиц.

Нишей для этого отображения в содержании единиц фразеологического состава языка являются те образные аналогии, которые лежат в основе их значения: сам выбор образов связан с мировидением,

является итогом культурно-национального осознания этих образов, т.е. соотнесения их с культурно-значимыми эталонами и стереотипами миропонимания. Следовательно, единицы фразеологического состава языка не только отображают значимые для "народного духа" свойства или ситуации, но и воплощают ассоциируемое с ними миропонимание, воспроизводят его как "продукт" группового опыта.

Роль образов, используемых языком, в категоризации "духовного (по Гумбольдту) присвоения мира" получила уточнение в концепции Л. Вейсгербера, который считал, что это присвоение возможно только при "вмешательстве" языка за счет его образных средств, создающих сам "стиль" прорыва познающего субъекта в реальность. "Внутренние формы" языковых единиц и образуют "промежуточный мир" (см. подробнее [Баранов, Добровольский 1990]). Этот "промежуточный мир" вбирает в себя результаты культурно-значимой интерпретации образного основания внутренней формы языковых единиц.

Эти постулаты, утверждающие воздействие языка на миропонимание и тем самым — на лингвистическую относительность мировоззрения, не представляются столь несостоятельными, как это неоднократно отмечалось в литературе вопроса — по крайней мере по отношению к культурно-национальному аспекту миропонимания. Тем более что все критики этой концепции признают, что как раз образные средства языка (а следовательно — и образные единицы фразеологического состава) и создают собственно языковую картину мира.

"Язык помнит и хранит тайны, — замечает В.Б. Касевич, — в нем сокрыт высший смысл" [1990, 25]. Проявление этого высшего смысла состоит и в том, что, "утратив в определенный период "долингвистическую" (доязыковую) невинность, человек уже не может полностью отвлечься от языка" [Там же]. Мы бы добавили: план содержания языка и закрепленные за ним культурные коннотации сами становятся знанием и, следовательно, — источником когнитивного освоения. В самом деле: фразеологические единицы, если они сохраняют "память" об основаниях их культурно-значимой интерпретации — эталонах и стереотипах национальной культуры, сами становятся экспонентами культурных знаков в той мере, в какой образно-ассоциативные их комплексы связаны с осознанием этих эталонов и стереотипов.

Выступая в роли экспонентов культурных знаков, фразеологические единицы не только включаются в синхронно действующую систему культурно-национального миропонимания, но и, транслируя ее фрагменты из поколения в поколение, "навязывают" это миропонимание носителям языка, участвуют в его формировании как отдельной языковой личности, так и языкового коллектива. И если фразеологическое богатство языка, отражая на основе отбора образов корреспонденцию с культурными эталонами и стереотипами, "помнит" основания этого отбора для "присвоения" материальной и духовной культуры, то на базе изучения этой "культурной памяти" единиц фразеологии возможно исследовать то своеобразие миропонимания народа — носителя языка, которое внедрилось в фразеологический компонент языка и вопроизводится вместе с употреблением его единиц. К примерам, приведенным выше, можно добавить еще ряд, в которых находит

отражение обиходно-бытовое отношение мужчины к женщине как к "Евиному племени": *аппетитная, пышная, сладкая, ядреная баба* или *пальчики оближешь, кровь с молоком, в самом прыску* и под. В этих примерах просматривается достаточно эталонное восприятие женщины (точнее — бабы) как "лакомого куска", которое также передается из поколения в поколение именно в "мужском языке" — женщины так не говорит о себе, ни тем более эти атрибуты не могут быть употреблены по отношению к мужчине (**аппетитный, пышный* и под. *мужчина, мужик* или **Мужчина, мужик — пальчики оближешь* и под.). Очевидно, что вместе с усвоением языка "присваивается" и этот гастрономический взгляд на женищину, становясь достоянием миропонимания языковой личности. Иными словами, эталоны и стереотипы, закрепленные в культурных коннотациях единиц фразеологии, типизируют и отображают все разнообразие культурно-национального миропонимания, начиная от духовно-нравственных сфер и кончая обиходно-бытовыми.

Итак, если при формировании единиц фразеологии в самом отборе образов прослеживается интерпретативная их связь с культурно-национальными эталонами и стереотипами, эта интерпретация "воскрешается" в коннотациях, отображающих взаимосвязь ассоциативно-образного основания единиц фразеологии и его культурную интерпретацию, а сами единицы выступают как экспоненты этой культурной информации, принимая на себя роль эталонов и стереотипов, т.е. культурных знаков.

Осознание этой особенности фразеологических знаков отразилось в утверждениях о том, что они, отображая обиходно-эмпирический (в том числе — и связанный с реалиями), исторический или духовный опыт некоторого языкового коллектива, безусловно связаны с его культурными традициями (см., например, [Телия 1981, 13]), что "целый ряд фразеологизмов содержит в своей семантике национально-культурный компонент, причем или синхронически, т.е. с позиций современного языкового сознания, или диахронически, т.е. по причине сопряженности словосочетания-прототипа с национальной культурой" [Фелицина, Мокиенко 1980, 9]. Однако вопрос о том, как осуществляется эта связь единиц фразеологии с национальной культурой, существует ли она в форме ассоциативно-образной культурной коннотации, "национально-культурного компонента" или "фоновой доли значения" (по Верещагину—Костомарову [1980]) и под., решается по-разному, что видно хотя бы из различия в тех терминах, которые приведены выше.

С нашей точки зрения, культурно маркированная коннотация возникает как результат интерпретации ассоциативно-образного основания фразеологической единицы (и лексической — тоже) посредством соотнесения его с культурно-национальными эталонами и стереотипами. Интеракция ассоциативно-образного восприятия идиомы или фразеологического сочетания и эталонов или стереотипов, выступающих как культурные знаки, и составляет содержание культурно-национальной коннотации (о чем уже упоминалось выше). Последняя существует только в интерактивном режиме, т.е. осознается постольку,

поскольку языковая личность обладает культурно-языковой компетенцией. Думается, что эта компетенция "впитывается с молоком матери" — вместе с освоением языка (в частности — фразеологического его состава) — с одной стороны, а с другой — с освоением тех эталонов и стереотипов группового опыта, характерного для данной лингвокультурной общности, которые являются составной частью культурно-национального миропонимания.

Важно отметить, что именно эта интеракция самым непосредственным образом воздействует на эмоциональную оценку — того чувства-отношения, которое связано с восприятием обозначаемого фразеологической единицы через призму ассоциативно-образного его представления. Так, в приведенных выше примерах, обозначающих пустое времяпрепровождение, ассоциативно-образное основание каждого из них вписывается в представление об имитации деятельности — во-первых, а во-вторых — сама имитация, т.е. тот способ, которым она осуществляется, явно нарушают стереотип, предписывающий трудиться "в поте лица", который согласуется с обиходно-бытовым здравым смыслом: если чем-то заниматься, то с пользой для дела. По этой причине *бить баклуши, гонять собак, плевать в потолок* и т.п. не только "плохо" (рациональная оценка связана здесь с денотативным аспектом значения — 'заниматься мелкими, незначительными делами'), но еще и вызывает пренебрежение говорящего, поскольку "битье баклуш" и т.п. способы имитации деятельности воздействуют на психоэмоциогенное восприятие, служа стимулом для эмоциональной реакции, которая в языковых значениях "снимается" в форме чувств-отношений, отражаемых в словарях в виде помет: *неодобрительно, презрительно, пренебрежительно, уничижительно* или *одобрительно* и под.

Характерной чертой единиц фразеологии является их тяготение к отрицательному полюсу оценочной шкалы и к негативному же спектру чувств-отношений. Эта тенденция, как известно, сопряжена с тем, что все хорошее в ценностной картине мира и все позитивное для психоэмоциогенной сферы сознания воспринимаются как норма: человека раздражает дискомфортное состояние, а комфортное приносит скорее покой, чем радость. В связи с этой тенденцией во фразеологическом составе закрепляются в подавляющем большинстве не эталонные и стереотипные культурные коннотации, а как раз отклоняющиеся от них, поэтому единицы фразеологии, выступая в качестве экспонентов культурных знаков, манифестируют антиэталоны и антистереотипы. Так, фразеологические сочетания типа *девичья память, женская логика, ум* и под. коннотируют антиэталоны, подавляющее количество идиом, обозначающих поведение, также несут сведения, соотносимые с антистереотипами группового опыта: *преграждать путь* (или *дорогу*), *замазывать рот, вставлять палки в колеса* и т.д.

Итак, основной целью культурологического анализа единиц фразеологического компонента языка является выявление и описание культурно-национальных коннотаций, узуально сопровождающих значение в форме образных ассоциаций с эталонами, стереотипами и другими

культурными знаками (обычаями, поверьями и т.п.) и соотносимых друг с другом посредством когнитивных процедур, придающих этим коннотациям осмысление.

Вопрос о выделении того культурного пространства, в рамках которого осознаются эталоны и стереотипы, может быть решен только на базе комплексных исследований культурологов, этнографов и лингвистов. Разработка этой проблемы должна стать частью программы этнолингвистики — того направления в языкознании, которое, как пишет Н.И. Толстой, "ориентирует исследователя на рассмотрение соотношения и связи языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного творчества, их взаимозависимости и разного рода корреспонденции [1983, 182]. Именно в такой постановке проблемы и была предпринята выше попытка определить содержание культурной коннотации.

Говоря о роли этнолингвистики в исследовании духовной культуры предшествующих поколений, Н.И. Толстой упоминает важность описания этнических "корней" фразеологизмов (типа *куда Макар телят не гонял; черта с два!; родиться в сорочке; не все дома* и т.д.) и на вопрос В.М. Мокиенко, относится ли историческая фразеология к этнографии или лингвистике, отвечает: "без особых сомнений: относится к этнолингвистике" [Указ. соч., 189—190]. Представляется, однако, что этнофразеология должна иметь своим предметом не только восстановление этнических "корней" единиц фразеологии, но также исследовать интерактивное взаимодействие ассоциативно-образного восприятия этих единиц с культурно-национальным миропониманием как фоновым знанием данной лингвокультурной общности. Насущные задачи этнофразеологии в ее синхронном аспекте — выявить, как фразеологический компонент языка в своих образах отражает, подобно зеркалу, миропонимание, характерное для "народного духа", и как, в какой форме единицы фразеологии воспроизводят это народное миропонимание в процессах речи и тем самым — формируют его, становясь достоянием языкового сознания. Только на базе этих данных возможно полноценное сопоставление фразеологических компонентов славянских языков (как, впрочем, и языков неродственных) как с целью описания сходств и отличий фразеологических составов, так и, что более важно, для сопоставления на уровне культурно-национальных тезаурусов, отражающих взаимосвязь и взаимодействие единиц фразеологии с народным менталитетом во всем многообразии его проявления в фольклоре — в пословицах, поговорках, загадках, сказках, в эталонных устойчивых сравнениях, имеющих непосредственное отношение к условиям жизни носителей данного языка, к их материальной и духовной культуре, а также к символизирующей деятельности национального мировосприятия (типа *упрямый, как баран, черный, как смоль, свободный, как ветер, птица* и т.д.), в обычаях, поверьях, в религиозных и других текстах и т.п.

Создание такого тезауруса — настоятельная необходимость для описания культурно-национальной специфики фразеологического компонента языка. Его контуры можно представить в виде идеографических (или тематических) полей единиц фразеологии и набора

этнолингвистических параметров, содержанием которых должна являться характеристика всех признаков этих единиц, имеющих культурологическую значимость.

В таком тезаурусе прежде всего необходимы сведения об этнически характерных этимонах фразеологических единиц, образующих историко-этимологический "срез" тезауруса (разработка этой информации уже ведется в русле описания этнических "корней" фразеологизмов, предпринятого В.М. Мокиенко, см., например, [1989], а также в выявлении этимонов этих единиц [Шанский, Зимин, Филиппов 1987]). Необходимо подчеркнуть, что сведения подобного рода важны не только для установления родства культур народов — носителей языка, но и для установления связи этих этнических "корней" и этимонов с современным мировидением и миропониманием, т.е. с их культурными рефлексами в значении фразеологизмов. Так, по данным А.Б. Страхова, "в славянских заговорных формулах отсыла болезни, стихии или вредящего демонического начала обращает на себя внимание структурно-семантическая устойчивость характеристики локуса этого отсыла — "иного" мира, или "никакого локуса" [1988, 92—93]. Это представление сохранилось в наивной картине "запредельного" пространства, представленного фразеологическими единицами *к черту на рога* (или *на кулички*), *куда Макар телят не гонял, за тридевять земель* и т.п., которые сами стали эталонами очень отдаленного локуса (ср. моделирование близкого локуса как соматически достижимого пространства: *под носом, под рукой, под боком, бок о бок, в двух шагах* и т.п., также ставших эталонами обиходно-бытовой пространственной ориентации).

В этом тезаурусе должны содержаться и сведения о материальном сходстве фразеологизмов с экспонентами культурных знаков из других моделирующих культуру систем, а также комментарии к сужению или расширению как самого значения фразеологической единицы, так и его культурной коннотации за счет интеракции с содержанием исходного культурного знака. Так, фрагмент пословицы *стреляный воробей* (ср. *стреляного воробья на мякине не проведешь*) сам становится эталоном "хитроумной опытности" за счет "сжатия" сюжета, а *не провести на мякине* такого "сжатия" не претерпевает, очевидно благодаря страноведчески маркированному компоненту *мякина*.

Культурно-национальная интерпретация компонентов с символьным осознанием также должна иметь место в тезаурусе. Ср. символьное прочтение компонента *душа* в *душа отлетела, отдать Богу душу* и дохристианские следы значения этого компонента, вовлеченные в настоящее время в это символьное же осознание: *душа нараспашку, душа в пятки ушла, жить душа в душу* и т.п. Ср. также *кровь* как символ жизненных сил в *пролить кровь, до последней капли крови, пить* (или *сосать*) чью-либо *кровь* или как "знак" родства — *родная кровь, плоть от плоти, кровь от крови* и др., которые восходят еще к дославянской культуре, но сохраняют свою символическую функцию и в настоящее время. Компоненты с символьным прочтением во многом обусловливают содержание культурной коннотации единиц фразеологии.

Поскольку национальная культура шире, чем культура этническая, в культурно-национальном тезаурусе необходимы и комментарии к заимствованиям типа *разрубить (Гордиев) узел, испить чашу, нести крест* и т.п.

Одной из наиболее важных "зон" культурно-национального тезауруса единиц фразеологии являются сведения о соотнесении ассоциативно-образных коннотаций с культурными знаками из других моделирующих миропонимание систем. Как уже отмечалось выше, культурологическое "пространство" этой зоны связано с семиотическими системами фольклора, обрядов, поверий и т.п. вплоть до стереотипов и эталонов современной "массовой культуры". Например, культурные коннотации, характерные для идиом, обозначающих женщин "вольного поведения", соотносимы со стереотипами, зафиксированными в пословицах, что уже отмечалось выше, а фразеологизмы, возникшие в России в период перестройки, удивительным образом корреспондируют с ее восприятием как плавания по бурным волнам политического моря во главе с капитаном, более того, эти фразеологизмы стали своего рода стереотипами политического курса: курс прокладывают *штурман перестройки* и *лоцманы*, нельзя *раскачивать лодку, загребать влево* (или *вправо*), иначе *корабль перестройки пойдет ко дну* и т.д.

Итак, исследование единиц фразеологического состава языка в культурологических их "фреймах" — как этимологически восстанавливаемых, так и осознаваемых членами данной лингвокультурной общности — должно способствовать более содержательному определению их статуса как культурно маркированных знаков. Нет сомнения в том, что фразеологический компонент языка не только воспроизводит черты культурно-национального миропонимания, но и формирует их. И каждый фразеологизм, если он содержит культурную коннотацию, — только частица в мозаичном полотне национальной культуры. Обращение к культурно-национальному мировидению, а через него — к миропониманию показывает, что единицы фразеологического состава языка прямо или косвенно — через их культурные коннотации связаны с духовной и материальной культурой народа. Но чтобы описать эту связь фразеологического состава языка с культурно-национальным образом мира, необходимо опираться на идеографические массивы данных, поскольку миропонимание, отраженное в языковой картине мира, организована как тематически концептуальное пространство. Такой путь исследования способен дать ответ на вопрос: как отображены особенности культурно-национального менталитета славянских народов не только в их прошлом, но и в настоящем в зеркале фразеологического состава их языков, отображающего эталоны и стереотипы "народного духа".

*Баранов А.Н., Добровольский Д.О.* Лео Вейсгербер в когнитивной перспективе // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 49. № 5. 1990.

*Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.* Лингвострановедческая теория слова. М., 1980.

*Гумбольдт В. фон.* О различии строения человеческих языков и его влияние иа духовное развитне человечества // В. фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.

*Касевич В.Б.* Язык и знание // Язык и структуры знания. М., 1990.

*Лакофф Дж. Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.

*Маркарян Э.С.* Узловые проблемы теории культурной традиции // Советская этнография 1981. № 2.

*Минский М.* Фреймы для представления знаний. М., 1979.

*Мокиенко В.М.* Славянская фразеология. М., 1989.

*Потебня А.А.* Мысль и язык. Харьков, 1892.

Советская этнография, 1981, № 2—3.

*Страхов А.Б.* О пространственном аспекте славянской концепции небытия // Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора. I. М., 1988.

*Телия В.Н.* Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. М., 1981.

*Толстой Н.И.* О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос. М., 1983.

*Фелицина В.П., Мокиенко В.М.* Русские фразеологизмы. Лингвострановедческий словарь. М., 1990.

*Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.* Опыт этимологического словаря русской фразеологии. М., 1987.

*Эккерт Р.* Историческая фразеология и лингвострановедение // Русистика, 1990, № 2.

Этнопсихолингвистика. М., 1988.

V

*В.В. Иванов*

# ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДИАЛЕКТОВ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ НА КАРТАХ ОБЩЕСЛАВЯНСКОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АТЛАСА

Прошло 15 лет с того времени, когда на VIII Международном съезде славистов в 1978 г. председатель Международной комиссии Общеславянского лингвистического атласа Р.И. Аванесов последний раз ознакомил славистическую общественность с историей работы над ОЛА и с результатами, достигнутыми к этому времени. Р.И Аванесов говорил об истории создания Атласа, о его проблематике, Вопроснике, о территории, охватываемой ОЛА, и о сетке населенных пунктов, о принципе картографирования и двух типах транскрипции — фонетической и обобщающей, о легендах, комментариях к картам и индексах (конкретном материале, собранном эксплораторами), т.е. обо всем том, что было результатом долгих обсуждений, дискуссий и раздумий славистов разных стран, участвующих в работе над Атласом. Все то, о чем на съезде говорил Р.И. Аванесов, нашло свое отражение в вышедшем в том же 1978 г. Вступительном выпуске ОЛА, который казался предвестником скорого появления первых основных выпусков Атласа. Работа над этими выпусками интенсивно шла после окончания сбора материалов в 1975 г., и уже в 1979 г. в Москве в издательство "Наука" были сданы 1-й выпуск лексико-словообразовательной серии "Животный мир" и 1-й выпуск фонетико-грамматической серии "Рефлексы *ě"; можно было рассчитывать, что они увидят свет в 1981 г. Однако этим ожиданиям не суждено было сбыться: внутри Международной комиссии ОЛА возник конфликт, связанный с несогласием Болгарской национальной комиссии с некоторыми решениями, принятыми в Атласе (прежде всего — с определением языкового статуса некоторых населенных пунктов на территории Греции и Турции), — конфликт, приведший вначале к приостановлению издательской работы над первыми выпусками ОЛА, а затем — в 1982 г. — к выходу из ОЛА Болгарской комиссии и к отзыву ею болгарских материалов Атласа. Однако несмотря на то что вопрос об издании ОЛА после 1979 г. стал неясным, работа над Атласом продолжалась: регулярно собирались участники этой работы, составлялись карты последующих выпусков, решались новые возникающие проблемы картографирования, транскрипции и т.п. Это свидетельствовало о том, что участники работы над ОЛА верили в то, что Атлас будет, хотя, конечно, отсутствие перспективы издания накладывало определенный отпеча-

ток на всю деятельность Международной комиссии. Именно отсутствием такой перспективы, а также некоторыми иными обстоятельствами было обусловлено то, что ни на IX съезде славистов в Киеве, ни на X — в Софии Международная комиссия ОЛА не представляла славистической общественности отчетов о работе над Атласом и планах своей дальнейшей деятельности. Надо сказать, что и до и после выхода из ОЛА Болгарской национальной комиссии тогдашнее руководство Академии наук СССР, Отделение литературы и языка которой должно было осуществлять все издание Атласа, предпринимало значительные усилия для ликвидации конфликта, однако когда эти усилия не увенчались успехом, Академия наук СССР не сразу согласилась на то, чтобы Общеславянский лингвистический атлас осуществлялся бы без болгарских материалов. Только в конце 1984 г. было принято решение "разморозить" издание ОЛА и делать его без болгарских данных, а вместе с тем — отказаться от советской "монополии" на это издание и осуществлять его в разных странах-участницах (замечу в скобках, что такую же позицию, как в ОЛА, Болгария заняла и в другой международной лингвистической организации — в Лингвистическом атласе Европы: она вышла из этой организации, однако руководство ЛАЕ не приостанавливало издание Атласа. Вместе с тем замечу и то, что и в Общеславянском атласе, и в Лингвистическом атласе Европы надеются, что Болгарская академия наук изменит свое решение и что болгарские диалектологи будут принимать участие в работе как над ОЛА, так и над ЛАЕ). С 1985 г. работа Международной комиссии ОЛА перешла на новую ступень, и сегодня, на XI съезде, уже можно подводить реальные итоги и говорить о реальных перспективах работы над ОЛА в ближайшие годы.

Я уделил специальное время характеристике периода после VIII съезда славистов прежде всего потому, что Международная комиссия ОЛА, председателем которой я являюсь, отчитывается сегодня перед XI съездом в той работе, которая проделана участниками Общеславянского атласа за прошедшее после 1978 г. время. Если в докладе Р.И. Аванесова на VIII съезде речь шла о том, что будет или должно быть в Общеславянском лингвистическом атласе, то сегодня уже можно говорить о том, что уже есть , что уже видно, что уже реально дают карты ОЛА для изучения диалектов славянских языков в их истории и современном состоянии.

Таким образом, предлагаемый доклад, с одной стороны, является отчетом о деятельности Международной комиссии ОЛА за период после VIII съезда славистов, а с другой — характеризует некоторые результаты лингвогеографического изучения славянских диалектов, представленных на картах первых выпусков Общеславянского атласа.

Как я уже говорил, вместе с решением о начале издания выпусков ОЛА было принято и решение о том, что издание этих выпусков следует осуществлять не в одной Москве, как это предусматривалось первоначально, а во всех странах-участницах, чтобы была равна их доля в создании ОЛА. С этой целью возвратившиеся из издательства "Наука" 1-й выпуск фонетико-грамматический и 1-й вы-

пуск лексико-словообразовательной серии ОЛА в 1986 г. стали окончательно готовиться к изданию соответственно в Белграде и Москве; оба эти выпуска вышли в 1988 г. На очередных заседаниях Международной комиссии ОЛА были приняты решения о подготовке 2-го фонетико-грамматического выпуска "Рефлексы носовых" и 2-го лексико-словообразовательного выпуска "Животноводство" — в Варшаве (2-й фонетико-грамматический выпуск в силу большого его объема был разделен на два: "Рефлексы *ę" и "Рефлексы *ǫ", которые изданы в 1990 и 1991 гг. соответственно в Москве и Варшаве). Последующие выпуски планируются таким образом: в настоящее время находятся в работе 3-й и 4-й выпуски лексико-словообразовательной серии — "Растительный мир" (будет издан в Минске) и "Сельское хозяйство" (будет издан в Братиславе); параллельно ведется работа над фонетико-грамматическими выпусками "Рефлексы редуцированных", "Рефлексы *tort, *tolt", "Рефлексы r̥, l̥", "Рефлексы *o, *e" и над лексико-словообразовательными — "Народная техника", "Строительство. Транспорт", "Домашнее хозяйство. Приготовление пищи" и "Одежда и обувь. Гигиена и медицина". Работа над этими выпусками находится на разных стадиях и будет закончена в разные сроки, ведется она разными национальными комиссиями, имеющими, конечно, разные кадровые и организационные возможности, но — главное — все страны-участницы в равной степени участвуют не только в обработке материалов и в составлении карт, но и в издании Общеславянского атласа.

Надо признать, что решение об издании выпусков в разных странах-участницах ОЛА создает как преимущества по сравнению с их изданием в одном месте, так и недостатки в этом издании. Главное преимущество заключается в том, что издание выпусков осуществляется параллельно, т.е. одновремено к изданию готовятся по меньшей мере два выпуска (а по нашим планам параллельно будут готовиться и три выпуска). Это дает возможность ускорить все издание ОЛА и, следовательно, быстрее дать славистам новый и весьма богатый материал по диалектам славянских языков. Недостатки же, выявляющиеся при таком параллельном издании выпусков, связаны с разными полиграфическими возможностями стран-участниц. Нетрудно, скажем, увидеть разницу между фонетическими выпусками, изданными в Белграде и Варшаве, и лексико-словообразовательным и фонетическим — изданными в Москве: в Москве нет возможности издать книгу такого формата, какой возможен в Белграде и Варшаве. Это, конечно, нарушает единство Атласа как целостного научного издания (вероятно, было бы странным видеть многотомный словарь, отдельные выпуски которого имели бы разный формат), но, к сожалению, преодолеть эти трудности пока не удается (и едва ли их можно будет преодолеть и в обозримом будущем). Поэтому мы стремились и стремимся к тому, чтобы сохранить внутреннее единство выпусков. Это достигается путем одинакового их построения: каждый из них имеет предисловие к выпуску, систему фонетической транскрипции (а в лексико-словообразовательных выпусках — еще и систему обобщающей тран-

скрипции) и список населенных пунктов; одинаково оформляются и титульные листы выпусков. Поэтому представляется, что все же решение о параллельном издании выпусков в разных странах-участницах было правильным: если учесть трудность работы над составлением карт, трудности их полиграфического исполнения, сложность набора разноязыкового материала и в целом дорогостоящность издания, — если учесть все это, то можно утверждать, что издание Атласа в одном месте, в одной стране не только могло бы растянуться на неопределенный срок, но и было бы вообще под угрозой срыва.

Хотя 1-й фонетико-грамматический и 1-й лексико-словообразовательный выпуски ОЛА сдавались в издательство "Наука" уже в 1979 г., когда вопрос об их издании встал заново в 1985 г., оказалось, что к этому времени уже накопился опыт работы над картами, легендами и комментариями, какого не было в 1978—1979 гг. Поэтому при подготовке этих выпусков к изданию надо было проделать огромную работу по исправлению карт, легенд, комментариев и по уточнению фонетической и обобщающей транскрипции. Определенные коррективы необходимо было внести и в связи со снятием в выпусках болгарских материалов. Вся эта большая работа требовала напряжения усилий славистов Югославии и СССР (прежде всего Москвы), которым было поручено издание выпусков "Рефлексы *ě" и "Животный мир". Выход в свет этих выпусков явился первым реальным результатом деятельности Международной комиссии ОЛА, который показал новые подходы к интерпретации собранного по славянским диалектам материала и новые возможности в изучении их истории и современного состояния.

В этом плане следует прежде всего сказать, что программа создания ОЛА предусматривала как основной историко-сравнительный аспект изучения диалектов славянских языков, и поэтому в ее основу был положен генетический принцип, принцип установления диахронического тождества слов и морфем, исходя из позднего праславянского состояния. Особенно отчетливо этот принцип обнаруживается в фонетико-грамматической серии Атласа, точнее — в фонетических его выпусках, которые уже вышли или готовятся. Уже сама тематика выпусков — "Рефлексы *ě", "Рефлексы *ę", "Рефлексы *ǫ" — показывает отчетливую направленность Атласа на выяснение процессов развития определенных праславянских явлений в истории отдельных славянских языков в их диалектном разнообразии. Однако вместе с тем программа предусматривала и другой аспект исследования — синхронно-типологический, — весьма важный для ОЛА как атласа, охватывающего целую семью хотя и близкородственных, но существенно отличающихся по своему строю языков. Однако этот аспект в силу главным образом историко-сравнительной направленности ОЛА представлялся на этапе подготовки первых выпусков делом будущего: во Вступительном выпуске ОЛА замечалось, что "наряду с картами на данное слово — например, на ту или иную праславянскую фонему — в ОЛА на определенном этапе развития работы должны быть даны карты обобщающие,

охватывающие целые фрагменты — бóльшие или меньшие — языковой системы. Если первые строятся на материале отдельного вопроса, нередко даже отдельного слова данного вопроса, то вторые могут составляться на базе целого комплекса вопросов, т.к. только комплекс вопросов может характеризовать данный фрагмент системы языка" (Выпуск, 32). Однако в действительности оказалось, что уже первый фонетический выпуск ОЛА позволил обратиться к синхронно-типологической характеристике диалектов славянских языков. В этом выпуске помещено 70 карт, 65 из которых дают материал, характеризующий рефлексацию праславянской фонемы <ě> в отдельных словах и формах, т.е. материал, позволяющий представить историю данной фонемы в диалектах славянских языков в той или иной ситуации, представить фонетические рефлексы <ě> в той или иной позиции, в тех или иных словах или формах. И вместе с тем здесь представлено пять обобщающих карт: "Фонологический статус рефлексов *ě/*ě:", "Фонетические рефлексы *ě в позиции максимальном дифференциации", "Отношение рефлексации *ě к ударению", "Влияние вокального количества на рефлексы *ě" и "Влияние консонантного окружения на рефлексы *ě". Этих обобщающих карт не было первоначально — идея их создания возникла в процессе работы в 1985—1987 гг. как результат наблюдения фактов, отраженных на историко-сравнительных картах. В обобщающей карте "Фонологический статус рефлексов *ě/*ě:" представлено фонологическое "поведение" рефлексов *ě/*ě: в отношении к другим элементам современных диалектных вокальных систем. Цель этой карты — представить судьбу праславянской фонемы в ее отношении к другим функциональным единицам праславянской системы вокализма независимо от сегодняшней фонетической реализации этой фонемы (ОЛА, Ф I 148). На карте "Фонетические рефлексы *ě в позиции максимальной дифференциации" показаны общие тенденции развития *ě в диалектах славянских языков, а именно артикуляционные передвижения рефлексов прежде всего по вертикальной оси, т.е. вверх или вниз, в сравнении с гипотетически принимаемой артикуляцией этого гласного в праславянском (там же, 150). Карта "Отношение рефлексации *ě к ударению" в синхронном плане показывает отношение рефлексов *ě к ударению на основе анализа фонетической реализации этой праславянской фонемы, т.е. дает ответ на вопрос, влияет ли ударение на рефлексацию *ě, сохранил ли этот гласный свое специфическое качество, отличающее его от всех других праславянских гласных, под ударением и без ударения или растворился в рефлексах других праславянских гласных (там же, 152). На карте "Влияние вокального количества на рефлексы *ě", обнаруживаемое в словенских, сербскохорватских, чешских, словацких и польских диалектах (в других диалектах этого влияния нет), представлены результаты непосредственного влияния вокального количества, когда *ě и *ě: прямо обнаруживают разные рефлексы, и опосредованного — когда дифференцированное отношение к вокальному количеству накладывалось не на *ě, а на те гласные, с которыми *ě предварительно совпал (там же, 154). Наконец, на карте "Влияние консонантного

окружения на рефлексы *ě" представлен материал, свидетельствующий о прогрессивном и — чаще — регрессивном влиянии согласных или их последовательностей на рефлексацию праславянского *ě (там же, 156). Все эти карты построенные на данных, собранных для ОЛА, носят структурно-типологический характер и являются свидетельством того, что Атлас дает возможность не только для историко-сравнительного, но и для типологического изучения современных диалектов славянских языков, для установления их дифференциации по их типологическим особенностям.

Точно так же во 2-м выпуске "Рефлексы *ę" из 46 карт пять являются обобщающими, носящими структурно-типологический характер. Это карта "Фонетические рефлексы *ę в современных славянских диалектах", которая показывает диференциацию славянских диалектов в зависимости от фонетического качества континуантов *ę и на которой четко выделяются ареалы неназализованного рефлекса и рефлексов с синхронной и асинхронной назализацией (ОЛА, Ф Па, 114); это карта "Влияние вокального количества на рефлексы *ę," которое обнаруживается только в словенских, сербскохорватских, чешских, словацких и польских диалектах и которое являлось или непосредственным, когда *ę и *ę: прямо давали разные рефлексы, и опосредованным, когда дифференцированные отношения к вокальному количеству накладывались не на *ę, а на результаты совпадения *ę с другими гласными (там же, 116); это карты "Фонологический статус *ę" и "Фонологический статус *ę:", первая из которых показывает рефлексы краткого *ę на всей территории ОЛА, а вторая — охватывает только ту территорию, на которой и в настоящее время существуют различия гласных по длительности или имеются другие следы старых количественных различий; карты показывают, где рефлексы *ę и *ę: остаются самостоятельными функциональными единицами, а где совпали с другими единицами и с какими (там же, 118, 120); наконец, еще одна обобщающая карта — "Влияние консонантного окружения на рефлексы *ę" — показывает, что развитие *ę в масштабах славянского континуума определялось двумя тенденциями: регрессивным ассимилятивным воздействием последующего мягкого согласного, что имеет довольно широкое распространение, но на "разорванных" ареалах (почти все западнославянские и северо-восточнорусские диалекты), и прогрессивное воздействие предшествующих небных, которое охватывает меньшую, но более компактную территорию (словацкие, западноукраинские, некоторые южнославянские диалекты); по результатам влияния окружающих согласных на рефлексы *ę выделяются, таким образом, четыре группы диалектов: с наличием результатов регрессивного воздействия мягких согласных, с наличием результатов прогрессивного воздействия небных и губных, с наличием результатов регрессивного воздействия согласных, разных по способу образования (польские говоры с ренизмом, некоторые македонские с ренизмом), — и диалекты с отсутствием следов влияния консонантного окружения на рефлексы *ę (украинские, белорусские и почти все русские диалекты).

Было бы важно провести сопоставительный анализ сводных карт двух первых фонетических выпусков ОЛА, который, возможно, позволит "нащупать" внутренние связи сходных по явлениям рефлексации *ě и *ę славянских диалектов в типологическом плане. По видимому, такой анализ целесообразно делать по мере выхода очередных выпусков ОЛА, с тем чтобы в конечном итоге можно было бы создать типологию фонетико-фонологических систем славянских диалектов.

Таких карт структурно-типологического характера нет в 1-м выпуске лексико-словообразовательной серии "Животный мир", хотя принципиально такие карты в этой серии вполне возможны: во Вступительном выпуске предусматривалось, что "в области лексики, словообразования и семантики... наряду с частными различиями (обозначение одного понятия разнокорневыми словами, однокоренными, но различными в словообразовательном отношении, семантическими различиями генетически одного слова и т.д.) появится необходимость решать и общие вопросы системного характера (лексико-семантические группы — например, названия частей тела, деревьев, ягод...; цветообразначения, времена года, временные понятия, родство и свойство;... глаголы говорения, волеизъявления ... и т.д.)" (Выпуск, 33). В 1-м выпуске этой серии карт, решающих общие вопросы системных отношений, нет — в нем дано 48 карт, в основе которых лежат ответы на вопросы ономасиологического характера: "Как называется предмет *x*?", причем одни карты оказываются чисто лексическими (т.е. основная дифференция диалектов обнаруживается в различиях корней), другие — словообразовательными (основная дифференциация — по словообразовательным элементам), третьи — лексико-словообразовательными. Вместе с тем этот выпуск содержит карты такого характера, который не был первоначально предусмотрен программой — это так называемые мотивационные карты, которые в определенном смысле могут быть расценены как типологические.

Такие мотивационные карты появились и в первых выпусках Лингвистического атласа Европы, включавших в себя карты, построенные на материале разносистемных европейских языков, полученном в результате ответов на ономасиологические вопросы Первого вопросника ЛАЕ, построенного на основе Вопросника Общеславянского лингвистического атласа (ЛАЕ, 4). Анализ как славянского, так и европейского диалектного материала показал, что в разных языках номинация может осуществляться по одним и тем же признакам, причем одни и те же или сходные признаки, лежащиеся в основу номинации, оказываются в языках, расположенных в разных концах Европы, и даже в языках неродственных, что свидетельствует о типологической общности акта номинации, и в то же время нередко в диалектах одного и того же языка встречаются разные типы номинаций. В первых выпусках ЛАЕ появилось несколько таких карт (*кузнечик, ласка, сосулька* и др.). Такие карты есть и в выпуске ОЛА "Животный мир", правда, их немного — всего три, но они весьма показательны с точки зрения типологической

характеристики процессов номинации в славянских языках. Мотивационные карты, посвященные названиям головастика, божьей коровки и светлячка (ОЛА, Л I, 90—91, 112—113, 120—121), показывают сходства и различия в принципах их номинации в разных славянских диалектах, и эти сходства и различия, свидетельствующие, повторяю, о типологической общности акта номинации, могут быть проецированны на соотьетствующий материал других европейских языков, и тем самым славянский материал войдет как часть европейских данных в общую типологическую характеристику языков народов, населяющих Европу.

Что касается структурно-типологических карт лексико-словообразовательного характера, то в текущих выпусках лексико-словообразовательной серии такие карты должны будут найти свое место, хотя, надо признать, что сама концепция обобщающих лексико-словообразовательных карт вырабатывается с определенными трудностями, но, думается, что решение этого вопроса все же будет найдено. Во всяком случае, уже сейчас можно говорить о том, что работа над такими картами ведется.

Таким образом, уже первые изданные выпуски ОЛА представили исследователями-славистам не только новый материал по фонетике и фонологии, лексике и словообразованию, но и новые подходы к интерпретации зарегистрированных в славянских языках и их диалектах фактов. Лингвистическая география вообще дает возможность наглядно увидеть то, что трудно уловить при изучении диалектов в фонетико-фонологическом, грамматическом или в лексико-словообразовательном планах при монографическом описании или при составлении словарей (хотя, конечно, и такие описания, и составление диалектных словарей весьма важны и необходимы). Это тем более очевидно, когда идет о таком лингвогеографическом предприятии, как Общеславянский лингвистический атлас, на картах которого лингвистический ландшафт славянского мира представлен во всем его многообразии, в единстве и в различиях диалектов славянских языков. Взгляд на историю и современное состояние этих диалектов, охватывающий всю славянскую территорию, позволяет глубже, а — главное — объктивнее оценить пути развития славянских языков и их связи и отношения, сложившиеся к настоящему времени. Вместе с тем такой взгляд дает возможность уточнить сложившиеся в науке представления о некоторых процессах и явлениях в языковой истории славянства. Конечно, то, о чем сейчас было сказано, в полной мере может быть осущетствлено только после создания всего задуманного Общеславянского лингвистического атласа, но многое возможно увидеть уже теперь, когда стали выходить лишь первые выпуски ОЛА: уже сейчас появляются исследования, в которых материалы этих выпусков используются для выдвижения и обоснования новых выводов об истории и современном состоянии диалектов славянских языков.

В связи с этим следует напомнить, что с самого начала работы над ОЛА предполагалось, что его карты выявят такие языковые и диалектные изоглоссы, существенные для славянских языков и

диалектов в целом, и такие объекты, которые нельзя обнаружить, создавая микроатласы и национальные атласы. Это предположение начало оправдываться, когда публикация первых выпусков ОЛА создала возможность анализа карт распространения тех или иных диалектных явлений на территории, занимаемой славянами. Уже те обобщающие карты в 1-м фонетическом выпуске, о которых я выше упоминал, явились результатом анализа конкретных карт, посвященных рефлексам <ě> в отдельных словах и формах. Эти карты обнаружили такие изоглоссы, которые нельзя было провести без общеславянского материала и которые показали связи диалектов разных славянских языков и их различия в определенном звене фонологической системы. Именно результаты такого обобщенного анализа были изложены в одном из докладов на IX съезде славистов: анализ карты, посвященной рефлексам <ě> в максимально независимом фонетическом положении, показал, что на большей части славянской территории среди рефлексов <ě>, размещенных на оси *e* — *i*, во многих говорах преобладает *e*, и лишь в польских, части македонских и спорадически в словенских диалектах артикуляция рефлексов <ě> стала более низкой и широкой. Таким образом, эта карта представила определенное явление, прослеженное в пределах всего славянского континуума, и показала дифференциацию этого континуума в целом в зависимости от рефлексации <ě>. Это доклад явился первым публичным представлением итогов работы над ОЛА, первым анализом карт Атласа и первой ласточкой новых наблюдений и решений, опирающихся на материалы ОЛА.

Можно считать, что сейчас наступает время действительно серьезных исследований, основанных на анализе карт Общеславянского лингвистического атласа. В этой связи позволю себе, с разрешения автора, обратить внимание на работу Т.И. Вендиной, публикуемую в очередном сборнике "Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 1991—1993" и посвященную ареалогическому комментированию 1-го лексико-словообразовательного выпуска ОЛА "Животный мир". Как известно, диалектная дифференциация славянских языков традиционно устанавливается на базе фонетических и морфологических критериев, что обусловлено устойчивым представлением о противопоставленности диалектов по особенностям в фонетике и морфологии. Факты их противопоставления по лексике всегда были случайными и отрывочными, да и не всегда достаточно объективными; что касается словообразовательных противопоставлений, то они вообще не учитывались, так как по существу не подвергались изучению. ОЛА впервые создал возможность поставить вопрос о дифференциации диалектов славянских языков на лексико-словообразовательном уровне. Правда, на VIII съезде славистов В. Помяновская представила членение южнославянских говоров по данным лексики и словообразования, однако это были данные одной славянской территории, а не всего славянского континуума, к тому же во многом ограниченные фактами, зафиксированными в словарях. В 1-м выпуске ОЛА на его 48 картах картографирована лексика четырех тематических групп: названия диких жи-

вотных, птиц, земноводных и насекомых, в каждой из которых имеется свой набор корневых и суффиксальных морфем. Анализ карт показал, что в славянских диалектах обнаруживаются общие тенденции в судьбе этих лексических групп. Во-первых, это тенденция к сужению праславянских лексем за счет распространения регионализмов: общеславянские корни сохраняются в основном только в названиях животных и птиц; среди аффиксальных морфем общеславянским является лишь суф. *-ica*. Каждая карта фиксирует разнообразие корневых морфем, что иллюстрирует неодинаковую сегментацию языковым сознанием диалектоносителей одного и того же семантического пространства, и не меньшее разнообразие аффиксальных морфем. При этом важно, что не только по корням и аффиксам, но и цельным лексемам славянские диалекты противопоставляются друг другу. Во-вторых, это высокая степень подвижности диалектизмов, о чем свидетельствуют отчетливо выявленные зоны повышенной вариативности корневых и аффиксальных морфем. В-третьих, это процесс активного взаимодействия с литературной лексикой, следствием чего является возникновение лексической и словообразовательной синонимии и утрата диалектизмов (сильнее всего это выявляется в названиях диких животных). Подвижность диалектизмов приводит к образованию непрерывного диалектного континуума, в пределах которого выделяются различные ареалы. Карты 1-го выпуска дают возможность установить пространственную стратификацию совокупности лексико-словообразовательных явлений, соотносимых с определенными языковыми группами. Лингвогеографический анализ изоглосс и изоморф обнаруживает, что они чаще всего связывают диалекты, входящие в одну языковую группу, хотя немало и таких, которые связывают диалекты разных языковых групп. Анализ направлений изоглосс позволяет установить их устойчивую повторяемость. Так, например, для русских диалектов преобладают связи с украинскими, польскими и сербскохорватскими; в целом их связи с западнославянской группой сильнее, чем с южнославянской; для польских диалектов сильны связи со словацкими, украинскими и сербскохорватскими; их связи с восточнославянскими диалектами вдвое сильнее, чем с южнославянскими; для сербскохорватских сильны связи с украинскими; в целом их связи с восточнославянскими диалектами сильнее, чем с западнославянскими, но все же отчетливее, чем у других южнославянских. Своеобразные отношения устанавливаются и для других славянских диалектов. В каждой группе языков обнаруживаются говоры, имеющие самые сильные общеславянские связи: в восточнославянской — это украинские диалекты, в западнославянской — польские, в южнославянской — сербскохорватские. В общей сумме изоглосс отчетливо выделяются восточнославянские. Анализ карт приводит в выводу, что восточнославянские (прежде всего украинские) диалекты являются как бы центром современного диалектного ландшафта Славии, так как именно здесь пересекаются многие изоглоссы, различно членящие славянский языковой мир. Вполне вероятно, что следующие выпуски лексико-словообразовательной серии чем дальше, тем больше будут уточнять картину диф-

ференциации славянских диалектов на лексико-словообразовательном уровне. Вместе с тем возникает, по-видимому, необходимость соотнесения данных этой серии с данными выпусков серии фонетико-грамматической как для корректировки полученных результатов, так и для проверки диагностирующей силы лексико-словообразовательных критериев. Но как бы то ни было, ясно видно, что ОЛА заставляет иначе, чем прежде, решать вопросы о дифференциации и классификации славянских диалектов, о их связях и отношениях в современную эпоху, но тем самым и в их истории, ибо фронтальное географическое обследование славянских языков дает возможность истолкования территориальных различий того или иного явления как отражений временнóй последовательности и пространственных направлений исторических процессов становления этих языков. Во всяком случае, известные утверждения о том, что отдельные части славянства, не соответствующие существующим ныне славянским языковым группам, в разные исторические эпохи в силу разных экономических, политических, культурных и иных причин находились в сложных и все время меняющихся отношениях друг к другу, что распад праславянского языка не был таким прямолинейным, как это может казаться, — утверждения, опирающиеся на разрозненные факты, а иногда и только на интуицию исследователей, — с созданием ОЛА получают твердые основы и достаточно убедительную аргументацию.

Вместе с тем, возвращаясь к тому, что программа ОЛА имела прежде всего историко-сравнительную проблематику славистики, т.е. была построена таким образом, чтобы решать вопросы генетического характера, вопросы истории складывания современных славянских языков в их диалектном многообразии, — возвращаясь к этому аспекту ОЛА, следует сказать о значении Атласа для изучения истории славянских языков, прежде всего для исторической фонетики и этимологии. Именно в этих областях историко-сравнительного славянского языкознания в настоящее время появилась возможность пересмотреть некоторые факты и дать иную интерпретацию таким явлениям, которые, казалось, получили уже давно определенное объяснение. Если даже сомневаться в том, что те решения ряда вопросов истории славянских языков, которые ныне предлагаются на основе анализа данных ОЛА, можно считать окончательными, все же следует признать, что материалы Атласа заставляют вернуться к ранее высказывавшимся и высказываемым теперь положениям. В качестве примера сошлюсь на доклад А. и Я. Басара на VIII съезде славистов о рефлексации начального **kv-* в слове *květь* в современных славянских диалектах в котором показано, что распределение различных рефлексов этого сочетания на территории Общеславянского атласа совершенно определенно подтверждает мнение Поржезинского, Штибера и других лингвистов о непоследовательности процесса протекания второй палатализации задненебных в восточнославянских диалектах, что проявилось в развитии *tv, sv* на месте **kv* в этом диалектном ареале. Можно вспомнить в этом плане доклад Я. Басара на IX съезде славистов о праславянском слове **paǫkъ* и его фонетических реализациях в современных славянских

диалектах, где была предложена новая этимологическая интерпретация этого названия: карта, составленная на основе данных, собранных для ОЛА, дала возможность высказать утверждение, что в праславянском языке наличествовал параллелизм корневого гласного ǫ//ę. Восточнославянские языки, а также чешский, словацкий, сербскохорватский и лужицкий, в которых рефлексу корневого гласного предшествует протетический *u, v, w* или где имеет место регулярный рефлекс заднего носового, отражают развитие праславянского **paǫkъ;* на остальной же части славянской территории реализуется развитие формы **paękъ*, доказательством чего является наличие *j*, предшествующего рефлексу **ę*.

В этой связи обращу внимание на анализ карт, фиксирующих рефлексы **ъ, *ь* перед слогом с гласным полного образования, составленных и проанализированных Л.Э. Калнынь. Эти карты являются составной частью еще не вышедшего (он готовится в Югославии) выпуска фонетико-грамматической серии "Рефлексы **ъ, *ь*", а их анализ представлен в статье Л.Э. Калнынь в уже упоминавшемся сборнике "ОЛА. Материалы и исследования 1991—1993". Эти карты чрезвычайно важны для исторической фонетики славянских языков, так как они по-новому освещают проблему, которая казалась в достаточной степени решенной. Речь идет о том, что в позиции перед слогом с гласным полного образования редуцированные, как известно, находились в слабой позиции и, по правилу Гавлика, должны были утратиться. Однако карты ОЛА показывают, что во многих славянских диалектах редуцированные в этой позиции, прежде всего в начальном слоге, не утрачивались, а давали *о, е,* т.е. выступали как сильные. Это обстоятельство вновь ставит перед славистами вопрос, является ли развитие *о, е* в подобных случаях результатом фонетического процесса, или оно обусловлено нефонетически, а именно — выравниванием основы в парадигме слова или устранением сложных консонантных сочетаний, возникших в результате утраты слабых редуцированных. В русской исторической фонетике принято в общем нефонетическое объяснение, хотя вместе с тем в ее традиции принято считать, что редуцированный в начальном слоге слова мог быть сильным, если он находился под ударением, в этом случае качество гласного в следующем слоге роли не играло.

Анализ диалектного материала на картах ОЛА по русским диалектам, знающим широкое распространение *о, е* на месте *ъ, ь* перед слогом с гласным полного образования, и соотнесение этого факта с мнением о роли аналогии как способе преодоления фонетического процесса разъединения словоформ многих слов в связи с утратой *ъ, ь* заставили исследователя поставить два вопроса генетического характера: во-первых, когда реализовывалась аналогия — до или после падения редуцированных, т.е. когда возникла потребность в выравнивании парадигмы — в предвидении разъединения словоформ, или когда это разъединение состоялось; во-вторых, — и это наиболее важно, — почему унификация парадигмы путем включения интерконсонантного гласного действовала избирательно и не распространялась на многие слова, также получившие чередование "ноль:

гласный" в корне. Привлечение фонетических аргументов для объяснения этого факта оказывается недоказательным.

Поэтому выдвигается предположение, что *о, е* на месте *ъ, ь* в таких случаях появляются в результате нормального развития сильного редуцированного в первом слоге корневой морфемы. Карта ОЛА, показывающая рефлексы *ъ* в род. ед *мъха* в западно- и восточнославянских диалектах доказывает вероятность того, что развитие редуцированных в начальном слоге перед слогом с гласным полного образования было фонетическим процессом: в подавляющем большинстве этих диалектов на месте *ъ* засвидетельствован гласный, и распространенность этого явления подрывает возможность объяснения фонетического облика словоформы морфологической аналогией. Морфологическая аналогия, проявляющаяся всегда индивидуально, не могла действовать как стимул изменения фонетического облика слова в большом собрании диалектов, на уровне макросистемы. Признание нефонетического происхождения гласного на месте *ъ* в *мъха* означает признание морфологической аналогии таким необъяснимым феноменом, который распространяется на огромной территории и на большой временно́й протяженности, ибо падение редуцированных шло в разное время в разных языках, что едва ли правомерно. В связи с этим высказывается мнение о древнем диалектном различии, основанном на разном статусе *ъ, ь* в начальном слоге перед слогом с гласным полного образования: там, где они были слабыми, они утрачивались, а там, где сильными, — развивался гласный. Иначе говоря, перед падением редуцированных в славянских диалектах, по-видимому, были варианты праформы с сильным — при ударении на корне — и слабым — при ударении на окончании — редуцированным (мъ̑хъ — мъха́), причем последний вариант был присущ меньшему количеству говоров — преимущественно восточнославянских, образующих достаточно компактный ареал. Таким образом, включение в систему доказательств фактора большого языкового пространства, что позволяет сделать Общеславянский атлас, обнаруживает, что традиционно принятые аргументы при объяснении тех или иных явлений в одном языке или диалекте могут терять свою объяснительную силу.

Можно с уверенностью говорить о том, что последующие выпуски Общеславянского лингвистического атласа привнесут еще немало нового в наши представления об истории и современном состоянии диалектов славянских языков.

Выпуск — Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск. Общие принципы. Справочные материалы. М., 1978.

ЛАЕ — Atlas Linguarum Europae. Premier Questionnaire. 1976. Рус. пер.: Лингвистический атлас Европы. Первый вопросник. Ономасиология, основной словарный состав. М., 1976.

ОЛА, Ф I — Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая, вып. 1. Рефлексы *ě. Белград, 1988.

ОЛА, Ф Па — Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая, вып. 2а. Рефлексы *ę. М., 1990.

ОЛА, Л I — Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная, вып. 1. Животный мир. М., 1988.

*И.А. Попов, Ю.С. Азарх, Т.И. Вендина, А.С. Герд,*
*О.Н. Мораховская, З.М. Петрова*

# ЛЕКСИЧЕСКИЙ АТЛАС РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ В КРУГУ СЛАВЯНСКИХ АТЛАСОВ

Работа над Лексическим атласом русских народных говоров во многом подготовлена опытом европейской, в том числе славянской, лингвистической географии. Публикация национальных атласов славянских языков не только стимулировала бурное развитие исследований по диалектной лексике и словообразованию, но и доказала надежность и эффективность использования этих данных в сравнительно-сопоставительном изучении славянских языков и разработке проблемы их диалектного членения. Осознание этого факта привело к появлению атласов, посвященных собственно лексико-семантическому уровню языка (см., например, ASJ[1], лексико-словообразовательную серию ОЛА[2], ЛАЕ[3], лексический том ДАРЯ[4] и др.). Успехи, достигнутые польской, лужицкой, словацкой, украинской и русской лингвистическими школами в картографировании диалектных различий на уровне лексики и словообразования, общий уровень развития славянской лингвистической географии требуют нового подхода к интерпретации и картографической репрезентации материала. И хотя во многих атласах еще не преодолен принцип атомарности и последовательно не выдержан системный подход, однако положительные результаты работы национальных коллективов дают возможность, опираясь на их опыт, идти по пути дальнейшего его усовершенствования.

Идея создания Лексического атласа русских народных говоров (ЛАРНГ) возникла еще в 70-е годы[5]. Однако основные усилия диалектологов были в то время направленны на реализацию проектов ДАРЯ, ОЛА и СРНГ. Эти работы, давшие толчок интенсивному изучению лексики русских говоров различными методами, подготовили почву для ЛАРНГ. В 70—90-е годы появляются многочисленные областные словари, исследуются отдельные группы слов, выделяемые по тематическому принципу или на основании тех или иных лингвистических критериев. Публикуются периодические сборники ОЛА, выходит в свет "Лексический атлас Московской области"[6]. Эти работы со всей очевидностью показали, что широкий круг проблем, связанных с лексико-семантическим уровнем языка, может быть решен лишь при условии всестороннего охвата диалектного материала и более углубленного подхода к его собиранию и изучению. Еще во вступительных статьях к "Атласу русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы"[7] Р.И. Аванесов неоднократно обращался к недостаткам собранного для этого атласа материала, подчеркивал необходимость выяснения значений картографируемых слов в их соотнесенности с именуемым объектом, включения в программы по лексике разных типов словесных знаков и слов разных грамматических классов. И сегодня сохраняет свою

актуальность утверждение Ф.П. Филина о том, что нам пока неизвестны ареалы огромного количества диалектных слов[8]. Таким образом, составление ЛАРНГ — одна из актуальных задач русской диалектологии. И не только потому, что нам неизвестны границы распространения большинства диалектных слов, но и потому, что на современном этапе развития социальной жизни процессы изменения говоров, утраты в них специфически диалектного протекают особенно интенсивно. Собирание материала поэтому должно быть осуществлено по максимально полной программе на основе того системного подхода, который был выработан как при подготовке ДАРЯ[9], так и в моногографических исследованиях отдельных групп и разрядов лексики[10].

Задача ЛАРНГ — показать в пространственной проекции вариативные звенья словарного состава русских народных говоров, представить лексические, семантические и словообразовательные различия, выявить особенности в организации тематических и лексико-семантических групп (ЛСГ). В соответствии с этим объектом картографирования является слово или устойчивое словосочетание как элемент лексической системы говоров, их семантическая и словообразовательная структуры. Для определения закономерных соответствий или противопоставлений между диалектными номинациями, их семантикой и словообразованием в ареальном плане используется системный подход. Это обусловлено как современной методикой изучения словарного состава территориальных диалектов, так и требованиями лингвистической географии, объектом картографирования которой являются не разрозненные, а системные факты. Важное значение в разработке системного подхода при лингвогеографическом изучении лексики имеет теория диалектных различий, предложенная Н.С. Трубецким, реализованная Р.И. Аванесовым и его последователями. Поскольку основным принципом теории систем является принцип целостности, системный подход при лингвогеографическом изучении диалектной лексики, в отличие от дифференциального подхода, характерного для большинства областных словарей, предполагает равное внимание к любому члену диалектного различия, независимо от того, представляет ли он собственно диалектную лексическую единицу или же слово (вариант слова), входящее одновременно в состав литературного языка или общерусского просторечия.

В типологии диалектных различий лексико-семантического уровня (см. работы Н.И Толстого, О.Н. Мораховской, П.Е. Гриценко и др.) в качестве основных типов выделены собственно лексические диалектные различия в наименовании одного и того же понятия (различия в плане выражения) и собственно семантические диалектные различия в значениях одного и того же слова (различия в плане содержания). Существенный пласт диалектных различий составляют лексико-внеязыковые диалектные различия, о которых подробно писал Р.И. Аванесов. Структурно-семантические диалектные различия — различия в отношениях между словами в частных лексико-семантических системах — это различия в лексико-семантических парадиг-

мах и в ЛСГ, т.е. в лексическом выражении этих парадигм. Они могут быть существенно осложнены этнографическими (вообще внеязыковыми) различиями. Все эти типы диалектных различий найдут отражение на картах ЛАРНГ.

Территориальные границы Атласа — европейская часть России до Урала (60° восточной долготы), т.е. они значительно шире, чем в ДАРЯ и русской части ОЛА. При разработке сетки ЛАРНГ учитывались, с одной стороны, обширность территории и географический аспект лингвистической географии, а с другой — особенности лексико-семантических ареалов в говорах, т.е. лингвистический аспект лингвистической географии[11]. Сетка населенных пунктов (1068 точек обследования, т.е. более редкая, чем в ДАРЯ, но более частая, чем в ОЛА, что обусловлено величиной картографируемой территории и объемом Программы) предполагает обязательное обследование 1—2 населенных пунктов в одном административном районе.

Хронологические рамки ЛАРНГ — 80-е годы нашего столетия до времени завершения сбора материалов, т.е. Атлас отразит лексику современных говоров на временном отрезке в 25—30 лет.

Основной базой данных ЛАРНГ являются материалы полевых экспедиций. В качестве дополнительного будут привлекаться материалы картотек областных словарей и сведения, полученные методом анкетирования.

Программа ЛАРНГ строится по тематическому принципу. Ввиду обширности макросистемы диалектного языка она состоит из крупных разделов, внутри которых выделяются более узкие тематические группы. Вопросы сформулированы от значения к слову и от слова к значению, что дает возможность выявить структурно-семантические и деривационные различия.

Довольно высокая степень изученности русской диалектной лексики дала возможность разработать такую Программу, в которой в соответствии с методикой системного анализа могут быть выявлены дифференциальные семантические признаки, лежащие в основе формирования лексико-семантических микрогрупп. Например, в лексико-семантической группе 'дождь' на основе дифференциальных семантических признаков 'интенсивность', 'длительность', 'размер осадков', 'их количество', 'температура' выделяются микрогруппы:

ЛСЛ[12] 564 Дождь (общее название): *дожжа, дождец, вода небесная...*
ЛСЛ 565 Небольшой кратковременный дождь: *дождек, дождец, дождюк...*
ЛСЛ 566 Затяжной, ненастный дождь: *дожжа, дожжова, замочь, обложник, глухое ненастье...*
ЛСЛ 567 Мелкий дождь: *бус, бусенец, бусенок, бусовец, бусовник, бусяк, облог, подсевок, ситник...*
СЛ 568 Теплый грибной дождь: *грибник, грибовик, грибовник...*
ЛСЛ 569 Проливной дождь, ливень: *дожжака, залив, заливень, заливенный дождь, завальный дождь...*
Л 570 Дождь со снегом: *облой, обморозь...*
Л 572 Мелкий, частый (о дожде): *бусой, спорный...*

ЛСЛ 573 Обильный, проливной: *грудный, завальный, залевный, залойный...*

ЛСЛ 574 Идти (о дожде): *дождевиться, дождять, западать...*

ЛСЛ 575 Начинаться, накрапывать: *замолаживаться, задождять, запасть, заварюсить, затрусить, зацурить...*

ЛСЛ 576 Моросить: *бусить, бухмариться, заморгосить, замшить...*

ЛСЛ 577 Сильно идти, лить: *бузовать, бучить, дождять, запластывать, полить...*

ЛСЛ 578 Дождливый (день и т.п.): *дождевитый, дождяной, замолчливый...*

Л 579 Отсутствие дождя: *недождь...*

Таким образом, в Программе учитываются, с одной стороны, взаимосвязанные природные явления, характеризующие их признаки и процессы, а с другой — разнообразные дифференциальные признаки слов, что дает возможность полнее представить состав ЛСГ, а в ряде случаев и фрагменты словообразовательных гнезд. Этот принцип последовательно выдерживается в разных разделах Программы.

Программа ЛАРНГ включает следующие тематические разделы: I. Природа: 1) растительность; 2) животный мир; 3) ландшафт; 4) метеорология; II. Человек: 1) соматическая лексика; 2) внешность, характеристика личности, социальные отношения; 3) семья, родственные связи; 4) народная медицина; III. Традиционная духовная культура: 1) верования; 2) обряды; 3) праздники и развлечения; 4) игры; IV. Трудовая деятельность: 1) полеводство; 2) огородничество; 3) садоводство; 4) животноводство; 5) птицеводство; 6) пчеловодство; 7) прядение, ткачество; V. Промыслы: 1) охота; 2) рыболовство; VI. Ремесла: 1) плотницкое дело; 2) столярное дело; 3) гончарное дело и др. VII. Материальная культура: 1) крестьянское жилище, хозяйственные постройки, строительство; 2) домашняя обстановка и утварь; 3) одежда, обувь, украшения; VIII. Питание: 1) виды пищи; 2) способы ее приготовления; IX. Пути сообщения, средства передвижения. В дополнение к тематическим разделам выделен список слов для проверки их значений и ареалов.

Отличительной особенностью Программы ЛАРНГ является не только ее тематическая полнота — около 5 тыс. вопросов (ср. в ДАРЯ — 100 лексических и 53 семантических вопроса), но и сопоставимость с Программами белорусского и украинского лексических атласов. В Программу ЛАРНГ включены также некоторые вопросы, имеющиеся в ОЛА и ДАРЯ. Это обусловлено, во-первых, существованием различий в территории картографирования, а во-вторых, принадлежностью материалов ЛАРНГ к иному (более позднему) временному срезу. В этом случае можно ожидать, что материалы ЛАРНГ, охватывающие бо́льшую территорию русского языка, в определенной степени отразят и динамику лексико-семантической и словообразовательной систем его диалектов. В то же время нельзя не сказать, что обширность территории картографирования и необходимость закончить сбор материала в обозримые сроки диктовали известные ограничения объема Программы ЛАРНГ

и строгий отбор ее вопросов. В связи с этим подготовлен и ряд кратких тематических вопросников для сбора материала анкетным методом. Они необходимы для увеличения плотности обследования территории, для проверки и уточнений собранных материалов (в том числе для уточнения изоглосс ряда лексем, словообразовательных моделей и лексико-семантических вариантов), для проведения оперативного пробного картографирования.

В Атласе предусматриваются разные типы карт: лексические, семантические, лексико-семантические, карты, посвященные струкрурно-семантическим, а также лексико-семантическим диалектным различиям, осложненным этнографическими (и вообще внеязыковыми) различиями, лексико-словообразовательные, собственно словообразовательные, мотивационные и др.

1. Лексические карты. Они построены по ономасиологическому принципу (от значения к слову). Картографируются названия одного и того же объекта номинации, будь то предмет, явление, действие или признак. Характерной особенностью большинства картографируемых диалектных различий лексико-семантического уровня является их многочленность и сложная многоплановость. Основной методический прием подготовки материала для картографирования — выделение в членах диалектных различий соотносительных признаков разных типов. Для лексических карт это признаки, по которым различаются разные слова (наименования одного объекта) и формальные варианты одного слова. Признаки, по которым различаются эти лексические единицы, были выделены впервые А.И Смирницким в работах, посвященных проблемам тождества и отдельности слова. В структурном аспекте они образуют определенную иерархию. Так, для структуры языка более важными представляются признаки, по которым различаются разные слова (разнокорневые или разноаффиксальные, являющиеся дериватами одного корня), менее важными — признаки, различающие варианты слова (*вы́шня ~ ви́шня, ту́ча ~ туча́, гли́на ~ гни́ла, береста ~ бересто* и т.п.). Независимо от их "весомости" в структуре языка они могут иметь различную ареальную значимость. Близкие варианты могут давать отдаленные друг от друга ареалы: например, вариант *сковоро́день* (по данным ДАРЯ) распространен в говорах верхнеднепровской, верхнедеснинской групп и на юге межзональных говоров типа А южного наречия, а вариант *сковоро́дня* образует небольшие ареалы в верховьях р. Ветлуги и в правобережье р. Волги между городами Кинешмой и Юрьевцем, т.е. совсем в других диалектах северо-восточной зоны. Другое обозначение сковородника варианты *печа́йник ~ печа́льник* встречаются в гдовской группе западных среднерусских говоров, представляя хотя и примыкающие, но вполне четко очерченные ареалы. Во многих случаях наблюдается примыкание ареалов разных вариантов одного слова с частичным их проникновением. Возможно и употребление их на одной территории. Любой тип лингвистического ландшафта представляет интерес, давая материал для его интерпретации.

2. Лексико-этнографические карты, построенные по тому же оно-

масиологическому принципу, но осложненные этнографическими данными. На картах этого типа может быть использован предложенный Н.И. Толстым[13] метод параллельного представления изоглосс и изопрагм (например, карта распространения типов гумен и их названий).

3. Семантические карты (от слова к значению). При их составлении применяется тот же методический прием — выделение в лексических единицах, объединенных тождеством звуковой формы (в ее формальных вариантах), дифференциальных семантических признаков. Семантические диалектные различия также отличаются, как правило, многочленностью и многоплановостью. Представляя собой в структурном отношении явление, подобное полисемии моносистемы, они, однако, отличаются тем, что члены их — разные значения одного слова — функционируют в разных коммуникативных общностях и по-разному участвуют в системных связях частных диалектных систем (ср. *бирюк* 'волк' и *бирюк* 'угрюмый, нелюдимый человек'). Сложная структура семантических диалектных различий заставляет осуществлять многопризнаковую классификацию, показывая в легенде к карте ряд более или менее самостоятельных блоков значений, например: слово *кут,* имеющее в русских говорах несколько десятков значений, почти в каждом из них имеет признак 'угол', однако в одних значениях это содержательное ядро лексического значения, в других — это перефирийный семантический признак, например, *кут* 'любой угол', а также 'угол в помещении' с добавлением признака 'внутренний' или 'один из определенных углов помещения'. Но в значениях, определяемых как 'то или иное место в помещении', признак 'угол' уже становится сопутствующим, так же как и в конкретных значениях 'кухня', 'спальня', 'прихожая'. В значениях, связанных с природными объектами ('конец залива', 'конец мыса'), этот признак также уже, видимо, не входит в ядро значения, хотя и составляет его ближнюю периферию (признак формы именуемого объекта).

4. Лексико-семантические карты — это карты, на которых представлены отношения между разными словами, составляющими ЛСГ или их фрагменты в частных диалектных системах. Отношения эти могут репрезентировать фрагменты разных типов лексико-семантических парадигм, а также фрагменты гнезд однокоренных слов. В качестве примера структурно-семантического диалектного различия можно привести названия жеребят в первые годы жизни. В русских говорах эта возрастная группа членится языковым сознанием носителей разных диалектов неодинаково: в одних говорах выделяются три периода (например, *сосун~стригун~третьяк*), в других — больше или меньше трех или же существуют лишь описательные обозначения типа *годовалый жеребенок.* Составление карт, отражающих лексико-семантические парадигмы или их фрагменты, достаточно сложная задача, особенно принимая во внимание обширность картографируемой территории. Наибольшие трудности вызывает картографирование яьлений, представляющих структурно-семантические диалектные различия, осложненные этнографическими различиями. Их

репрезентация трубует разграничения самой внезыковой ситуации, выделения ее разновидностей (например, разных типов и соотношений подполья, хода в него и предмета, закрывающего этот ход).

5. Словообразовательные карты. Они очень разнообразны по своему характеру и сущности.

5.1. Многие карты, построенные по принципу от значения к слову, будут одновременно и лексико-словообразовательными, поскольку на них найдут отражение все словообразовательные форманты, участвующие в оформлении картографируемого слова, и способы его деривации, например: в русских говорах, по данным ДАРЯ, противопоставлены как разнокоренные названия одной словообразовательной модели 'поле, с которого убран урожай зерновых культур' (*жнивьё, житьё; жниви́ще, ржи́ще*), так и однокоренные, но разных словообразовательных моделей (*жни́вник, жнивня́к, жни́вка, жнитва́* и др.).

5.2. Собственно словообразовательные карты, представляющие:

а) распространение словообразовательных морфем и их вариантов. Подобные карты целесообразны, если объектом картографирования являются локализованные диалектные форманты (например, субстантивные суффиксы *-няг-ф//-няк-ф, -нюг-ф//-нюк-ф* у собирательных имен, *-инин-а* и *-ин-а* у сингулятивов, *-айда-, -анда-* у звукоизобразительных глаголов, приставка *во-* у прилагательных и наречий со значением степени проявления признака;

б) типы словообразовательного значения дериватов с одним и тем же форматом. В русских говорах, например, с суф. *-их-а* представлены: 1) наименования с модификационным словообразовательным значением "женскости" *(докториха, медведиха);* 2) конкретно-предметные имена с мутационным словообразовательным значением отношения к тому, что названо производящей основой, например, названия по какому-либо признаку: *голуби́ха* 'голубика', *желти́ха* 'неплодородная песчаная земля'; 3) слова с транспозиционным значением отвлеченного действия (*гамиха* 'гам, шум', *обнесиха* 'вьюга' и т.п.);

в) лексическую семантику дериватов с одним и тем же формантом. Подобные карты выявят диалектные различия в тематической принадлежности дериватов с однотипной словообразовательной структурой, например: в говорах известны не только названия ягод на *-ик-а,* но и трав (*рези́ка* 'осока'), видов пищи (*густи́ка* 'густая похлебка, каша'), овечьей шерсти по времени стрижки (*вешни́ка*), орудий (*тяпи́ка* 'мотыга') и др.

5.3. Сводные карты словообразовательных моделей отдельных ЛСГ. Подобные карты целесообразны прежде всего при картографировании моделей, характерных для так называемых закрытых, не пополняющихся ЛСГ, например, названия дикорастущих съедобных ягод (на карте будут представлены модели с суф. *-иг-а, -ик-а, -их-а, -иц-а, -ух-а* и др.).

5.4. Сводные карты словообразовательных типов дериватов с одинаковым частным модификационным словообразовательным значением. На отдельных картах, например, могут быть представлены модели

мелиоративов, пейоративов, сингулятивов, самок животных у существительных; у прилагательных, наречий и глаголов — модели с градационным значением, у глаголов — со значением фазовости или кратности действия и т.д.

5.5. Карты, посвященные сочетаемости формантов. При этом сочетаемость моновалентных формантов может быть показана на материале одной/ нескольких ЛСГ (ср. *березня́г, осиння́г, кустовня́г, бабня́г...; березню́г, осинню́г, кустовню́г, бабню́г...*), а сочетаемость поливалентных формантов может быть представлена на материале производных разных тематических групп. Объектом картографирования при этом могут быть и общерусские суффиксы существительны (*-к-а, -ин-а, -иц-а*), прилагательных (*-ов-, -к-, -н-*), глаголов (*-ова-/-ев-а*) и др.

5.6. Карты, показывающие различия в частеречной принадлежности и морфемном составе производящих основ однокоренных дублетов, например, видовые наименования убранного поля имеют в русских говорах следующие типы производящих основ: а) корневую десубстантивную (*грече́ище, овси́ще; гре́чье, про́сье*); б) аффиксальную десубстантивную (*пшени́чище, ячме́нище; пшени́чье, ячме́нье*); в) суффиксальную деадъективную (*гречáнище, овся́нище; гречáнье, гречко́вье, овся́нье*).

На базе тематических томов Атласа предполагается создание отдельного словообразовательного тома, где будут представлены обобщающие карты, раскрывающие специфику частеречного словообразования, а также словообразовательных категорий, свойственных разным грамматическим классам. Будучи тематически связанными с проблематикой каждого тома, эти карты дадут возможность интерпретировать и типизировать лингвистическую информацию, обобщив ее в серии синтетических карт.

6. Особое место в ЛАРНГ займут мотивационные карты, задачей которых является выявление различий в мотивировочных признаках картографируемых номинаций одного и того же референта. В русских говорах, например, представлены территориально противопоставленные наименования коллективной помощи в сельской работе с такими мотивировочными признаками, как 'помощь' (*помо́га, по́мочи, посо́бье, подсо́ба*), 'совокупность лиц, занятых общей работой' (*толокá, у́толока, себры́*), 'вид сельскохозяйственной работы' (*вы́жинки, дожи́нки, обжи́нки, помоло́тная*) и др.

7. Исторические (лексические, лексико-словообразовательные и семантические карты). Создание таких карт возможно при наличии богатых архивных материалов. Определенные сведения по лексике были собраны при подготовке "Опыта диалектологической карты русского языка в Европе" (1914). Эти данные могут быть использованы в работе над ЛАРНГ, что позволит представить пространственно-временную динамику в лексике говоров. Техническими средствами на картах и в комментариях должны быть показаны те исторические изменения, которые претерпел исследуемый материал в рамках указанного периода или, наоборот, сохранил устойчивость. В теоретическом плане такой подход явился бы попыткой

применения теории хронотопоизоглосс, предложенной Р.И Аванесовым[14].

8. Сводные карты изоглосс, выделяющие макро- и микролексические и словообразовательные зоны.

9. Карты диалектного членения говоров русского языка по данным лексики и словообразования.

10. Вспомогательные историко-археологические карты (расселение славянских племен и их соседей в X в., древнерусские княжества XII—XIV вв.).

Работа над созданием ЛАРНГ развернулась в период, когда в лингвогеографии сложились определенные традиции систематизации и картографической репрезентации лексического и словообразовательного материала. При разработке картографической концепции Атласа учитывались прежде всего опыт славянской лингвогеографии, достижения таких изданий, как ОЛА и ЛАЕ. Как известно, в этих атласах принята знаковая система картографических средств, техника, получившая признание во многих европейских, в том числе и славянских, атласах. Достоинство этой системы по сравнению с техникой изоглоссирования или фонирования, также использующейся в ряде атласов, прежде всего в ее наглядности, способности четко отразить на карте многоплановые диалектные противопоставления в пределах картографируемого слова, привязав их к определенному населенному пункту. Иерархия и соотносительность графически однотипных знаков, употребляемых при картографировании, позволяет передать информацию самого разного уровня абстракции (мотивационного, семантического, лексического, словообразовательного, морфологического, акцентологического, фонетического) и тем самым повысить информативную нагрузку карты. Использование же различных видов штриховок, фонов, изоглосс даст возможность усилить ее наглядность в передаче многоплановых диалектных противопоставлений.

Планируемое применение ЭВМ в работе над ЛАРНГ позволит оперативно вести обработку материала по любому из параметров, обеспечит надежную проверяемость фактов. Машинная форма хранения материалов Атласа даст возможность шире использовать в диалектологии статистические и автоматические методы для решения задач лингвистической географии. Специальные программы, ориентированные на графопостроитель, помогут осуществить и автоматическое создание самой карты, а в конечном счете и значительной части карт всего атласа. Разработка специальной проблемно-ориентированной базы данных ЛАРНГ даст возможность перейти к автоматическому режиму создания Атласа.

Круг проблем, связанных с интерпретацией карт ЛАРНГ, очень широк. Материалы, представленные в нем, будут иметь серьезное научное и культурно-историческое значение. Они помогут глубже познать процессы формирования и развития словарного состава русских народных говоров, связь русской диалектной лексики с лексикой других славянских и неславянских языков, процессы заим-

ствования иноязычной лексики русскими говорами, распространения ее на территории русского языка.

ЛАРНГ явится одним из основных источников при исследовании проблем этногенеза русского народа, его ранней этнической истории. В решении этих проблем, как известно, ведущая роль принадлежит комплексному анализу фактов языкознания, археологии, этнографии, антропологии, истории. Атлас, несомненно, займет свое место в ряду важнейших источников по истории русского народа.

Карты ЛАРНГ позволят впервые выявить, а также уточнить ареалы многих слов, отражающих языковую картину мира русского народа, тем более что на сегодняшний день русистика пока не располагает таким лингвистическим атласом, в котором нашли бы последовательное освещение различные звенья лексической системы диалектов в ее связи не только с материальной, но и духовной культурой.

Вместе с лексическими атласами белорусского и украинского языков, работа над которыми в настоящее время ведется, национальными русским, украинским и белорусским атласами и наднациональным общеславянским лингвистическим атласом ЛАРНГ станет одним из важнейших источников по истории восточнославянских диалектов. На его основе и в сочетании с новейшими достижениями археологии, этнографии, антропологии, географии станет возможным проведение комплексных междисциплинарных исследований, направленных на реконструкцию древнейших историко-культурных зон.

Атлас даст толчок дальнейшему развитию структурно-типологических методов в языкознании и диалектологии в частности. Лингвистическая карта, пересеченная изоглоссами, представляет собой один из типов структуры, но тип все еще мало изученный с точки зрения моделирования фактов языка. Интерпретация лексических карт через понятия варианта и инварианта, выявление черт эталонной модели карт того или иного типа, сопоставление с данными других атласов приведут не только к уточнению теоретических понятий лингвистической географии (таких как островные, маргинальные, центральные ареалы), но и методов современной структурной лингвистики в целом. ЛАРНГ послужит основой и для разработки типологии лексических и словообразовательных ареалов.

Сегодня наш долг, долг лингвистов перед отечественной культурой и наукой не в последнюю очередь и в том, чтобы по крупицам от области к области, от района к району собрать все, что еще живо в народной памяти и образной русской народной речи.

[1] Atlas slovenského jazyka. T. III. Tvorenie slov. Č. 1—2. Br., 1981; T. IV. Lexika. Č. 1—2. Br., 1984.

[2] Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. 1. Животный мир. М., 1988.

[3] Лингвистический атлас Европы. Atlas Linguarum Europae, Vol. 1. Commentaires Premier Fascicule: Van Gorcum. Assen, 1983.

[4] Диалектологический атлас русского языка. Т. III. Лексика. М., 1993.

[5] *Попов И.А.* Лексический атлас русских народных говоров (проспект). Л., 1974.

[6] *Войтенко А.Ф.* Лексический атлас Московской области. М., 1991.

[7] Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы / Ред. Р.И. Аванесов. М., 1957. С. 64—66, 81—84.

[8] Лексика русских народных говоров. М.; Л., 1966. С. 3.

[9] Вопросы теории лингвистической географии / Ред. Р.И. Аванесов, В.Г. Орлова, М., 1962.

[10] *Толстой Н.И.* Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды. М., 1969; *Клепикова Г.П.* Славянская пастушеская терминология. Ее генезис и распространение в языках карпатского ареала. М., 1974; *Мораховская О.Н.* Исследование предметной лексики русского языка с применением методов лингвогеографии. Автореф. дис. ... доктора филол. наук. М., 1982; *Гриценко П.Ю.* Моделювання системи діалектної лексики. Київ, 1984.

[11] *Аванесов Р.И.* К вопросу об Общеславянском лингвистическом атласе (территориальный охват и сетка обследования). Slavia, 1962, roč. 31, seš. 4. S. 501—512.

[12] Каждый вопрос Программы снабжен специальной пометой, указывающей на возможные различия: лексические (Л), словообразовательные (СЛ), семантические (СМ).

[13] *Толстой Н.И.* Некоторые вопросы соотношения лингво- и этнографических исследований // Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л., 1974. С. 22.

[14] *Аванесов Р.И.* Описательная диалектология и история языка // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963. С 300.

# Приложение

*В.П. Вомперский*

## У ИСТОКОВ РОССИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ: Е.Р. ДАШКОВА

Исполнилось 250 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой, выдающегося деятеля русской науки и культуры XVIII в. Е.Р. Дашкова — крупный организатор отечественной науки: она была единовременно директором императорской Академии наук в Санкт-Петербурге и президентом Российской Академии — научно-исследовательского общества по изучению русского языка, древнерусской словесности, отечественной истории. Женщина разносторонних дарований, она профессионально занималась не только историко-филологическими, но и естественнонаучными исследованиями. Е.Р. Дашкова — крупный филолог XVIII в., писатель, переводчик, минералог, ботаник.

По своему происхождению она принадлежала к элите русского аристократического общества. Е.Р. Дашкова родилась 17 марта 1743 г. в Санкт-Петербурге в семье сенатора графа Романа Илларионовича Воронцова. Ее крестная мать — императрица Елизавета Петровна, а крестный отец — великий князь, будущий император Петр III Федорович. Она рано потеряла мать, ей было в то время 2 года. Ее и сестру Елизавету взял на воспитание их дядя Михаил Илларионович Воронцов — канцлер Правительства России. Для племянниц и своей дочери М.И. Воронцов содержал домашнюю школу. В ней Е.Р. Воронцова получила прекрасное образование и воспитание. Она свободно владела четырьмя иностранными языками: английским, французским, немецким и итальянским, профессионально занималась живописью и музыкой. Остальное она дополнила самообразованием.

К 16 годам у Е.Р. Воронцовой была прекрасная личная библиотека в 900 томов. В ней были книги выдающихся европейских писателей, философов, мыслителей, ученых: Пьера Бейля, Шарля Луи Монтескье, Мари Франсуа Вольтера, Никола Буало, Клода Гельвеция и др. Она писала в своих «Записках»: «Я купила "Французскую энциклопедию" под редакцией Д. Дидро и Д'Аламбера и "Большой исторический словарь" Луи Морери. Никогда драгоценное ожерелье не доставляло мне больше наслаждения, чем эти книги; все мои карманные деньги уходили на покупку книг. Иностранные артисты, литераторы и министры всевозможных держав, находившиеся в Петербурге и посещавшие постоянно моего дядю, должны были платить моей безжалостной любознательности» [1, с. 6].

Семнадцати лет она вышла замуж за князя М.И. Дашкова и стала княгиней Е.Р. Дашковой.

Натура властная и принципиальная в своих убеждениях, ставившая государственные интересы выше личных, Е.Р. Дашкова участвовала во многих событиях, имевших историческое значение для судеб России. Так, она возглавила заговор против императора Петра III Федоровича, привлекла к нему своего мужа М.И. Дашкова, дядю Н.И. Панина, братьев Орловых, Н.В. Репнина и гвардейских офицеров Измайловского полка, который возвел на престол Екатерину II.

В дворцовых событиях 1761—1762гг. соединились в неразрывный узел семейное и общественное благо, личные и государственные интересы. Великий князь Петр, не скрывая, третировал свою жену Екатерину Алексеевну и выражал желание жениться на своей фаворитке Елизавете Романовне Воронцовой, сестре Е.Р. Дашковой. И в этой сложной ситуации Е.Р. Дашкова предпочла выбрать принципы общественного, государственного блага, а не личного и семейного.

Ее приводила в ужас мысль, что на престол вступил необразованный человек, не любивший свой народ и ставивший себе в заслугу свое подчинение прусскому королю, ибо «ограниченность его ума, воспитание и естественные наклонности выработали из него хорошего прусского капрала, а не государя великой империи» [1, с. 47]. Если не было бы этого заговора и на престоле остался Петр III Федорович, то историческое развитие России сложилось бы иначе: не было бы Г.А. Потемкина-Таврического, П.А. Румянцева-Задунайского, А.В. Суворова-Италийского. У России не было бы Азова, Крыма, северных причерноморских земель, Бессарабии, побед при Ларге, Кагуле, Фокшанах, Рымнике, Измаиле, все польские земли отошли бы к Пруссии и Австро-Венгрии. Такое легко предположить.

Е.Р. Дашкову связывала большая бескорыстная дружба с Екатериной II. Екатерина II оказывала ей такое внимание, каким она не удостаивала ни одну из придворных дам. Но тем не менее между Екатериной II и Е.Р. Дашковой возникали иногда конфликты по серьезным поводам. И тогда Е.Р. Дашкова часто вспоминала предостережение, высказанное Петром III: «Дочь моя, помните, что благоразумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон». К этим словам Петра III она сделала в своих «Заметках» следующее многозначительное примечание: «Я часто вспоминала эти слова впоследствии» [1, с. 15].

Но жизнь Дашковой была омрачена и семейными несчастьями, неожиданной смертью мужа 28 лет от роду (Е.Р. Дашкова стала вдовой на 21 году своей жизни), смертью талантливого сына Павла в 1807 г., собственной болезнью, ссылкой в декабре 1796 г., по распоряжению императора Павла I, в Новгородскую губернию в имение сына.

Сохранился портрет: «Княгиня Екатерина Дашкова в ссылке». Простая крестьянская изба, полка книг, на столе книги и черниль-

ница с гусиным пером. Е.Р. Дашкова в теплом халате и в колпаке сидит в холодной избе. Хлопоты ее друзей привели к тому, что ей было разрешено вернуться в свое подмосковное имение Троицкое. После убийства Павла I и восшествия на престол Александра I ей предложено было возвратиться к своим обязанностям в Российской Академии и Академии наук в Санкт-Петербурге, но Е.Р. Дашкова отказалась от всех придворных обязанностей и осталась в Троицком, где умерла 4 января 1810 г.

Свое образование Е.Р. Дашкова завершила в зарубежных путешествиях по Германии, Англии, Франции, Голландии, Швейцарии, Италии, где она посещала университеты, библиотеки, картинные галереи, церкви, монастыри, ателье знаменитых художников, театральные представления. В этих путешествиях она расширила свой культурный и научный кругозор. Она установила духовные контакты со многими философами, писателями, художниками, которые одарили ее своей дружбой. Е.Р. Дашкова много раз встречалась и беседовала по важным общественным вопросам с Дени Дидро, с Вольтером, со швейцарским поэтом и художником Гюбером, с английскими учеными Робертсоном, Блэром, Смитом, Фергюсоном. Нравственный облик Е.Р. Дашковой запечатлел в своих сочинениях Дидро: «Это серьезный характер. По-французски она изъясняется совершенно свободно. Она не говорит всего, что думает, но то, о чем говорит, излагает просто, сильно и убедительно. Сердце ее глубоко потрясено несчастиями, но в ее образе мысли проявляются твердость, возвышенность, смелость и гордость. Она уважает справедливость и дорожит своим достоинством... Княгиня Дашкова любит искусства и науки, она разбирается в людях и знает нужды своего отечества. Она горячо ненавидит деспотизм и любые проявления тирании. Она имела возможность близко узнать тех, кто стоит у власти, и откровенно говорит о добрых качествах и недостатках временного правления. Метко и справедливо раскрывает она достоинства и пороки новых учреждений» [1, с. 263—264].

Философской основой филологических взглядов Е.Р. Дашковой является философия рационализма (картезианство) и философия эмпиризма и сенсуализма. Разум как категория вечная и неизменная определяет принципы языковедческих взглядов Е.Р. Дашковой. Разум, понимаемый ею в картезианском смысле, дает возможность отделить случайное от необходимого, частное и несущественное от важного и существенного, выявить познаваемую субстанцию. Но рациональное познание, считает она, невозможно без чувственного опыта. Философские сочинения Е.Р. Дашковой демонстрируют попытку вывести содержание человеческого сознания из чувственного опыта. Она считала, что уму свойственна особая сила, вызываемая внутренними принципами, не зависимая от опыта.

Подобное соединение в теории разных форм познания — рационализма и сенсуализма на первый взгляд кажется противоречивым и необычным, но на самом деле является естественным для состояния филологической науки XVII—XVIII вв. Как справедливо отмечают историки науки, «во всей этой достаточно сложной картине

рационализма XVII в. ведущей линией, движущим импульсом является, однако, одно — выражаясь современным языком, превращение рационализма из теории в метод» [2, с. 14—15].

Е.Р. Дашковой особенно близки были Д. Дидро, М. Вольтер, Ш. Монтескье, К. Гельвеций, П. Гольбах. Она перевела сочинение К. Гельвеция «Об уме» под заглавием «О источнике страстей» [3], отрывок из первого тома трактата П. Гольбаха «Система природы» [4], «Опыт о эпическом стихотворстве» М. Вольтера [5]. В духе французских просветителей она написала две статьи с энциклопедическим толкованием содержания понятий «воспитание» и «так» [6].

Филологические взгляды Е.Р. Дашковой покоились на усвоении идей рациональной и универсальной грамматики Пор-Рояля. Ей были близки идеи А. Арно и К. Лансло, которые полагали, что с помощью их метода, базирующегося на анализе мысли с позиций способности разума, можно изучать языки разных систем.

В конкретных исторических условиях 80—90-х годов XVIII в. Е.Р. Дашкова воспринимала себя прямым продолжателем филологического дела М.В. Ломоносова, считала себя ученицей гениального русского ученого. Особенно видна органическая связь с филологическими воззрениями М.В. Ломоносова в программной речи об исследованиях по русскому языку, которую она произнесла 23 октября 1783 г. при открытии Российской Академии. В этой речи, построенной по законам ораторского жанра XVIII в. и сотканной на аллюзиях, заимствованных из посвящения великому князю Павлу Петровичу «Российской грамматики» М.В. Ломоносова, она говорила: «Вам известны обширность и богатство языка нашего. На нем сильное красноречие Цицероново, убедительная сладость Димосфенова, великолепная Вергилиева важность, Овидиево приятное витийство и гремящая Пиндра лира не теряют своего достоинства. Тончайшие философские воображения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи <...> Многоразличные древности, рассыпанные в пространствах отечества нашего, обильные летописи, дражайшие памятники праотцов наших, каковыми немногие из существующих ныне европейских народов поистине хвалиться могут, представляют упражнениям нашим обширное поле» [7, с. 5—10].

Е.Р. Дашкова восприняла как свою филологическую концепцию М.В. Ломоносова, в которой были органически объединены проблемы общего языкознания, изучения грамматики, словарного состава и стилистической дифференциации русского языка, а также проблемы теории словесности и художественного творчества. Однако ей оказалась чуждой идея сравнительно-исторического изучения языков, сформулированная М.В. Ломоносовым. Так как она не обладала навыками научной историко-филологической подготовки, она не смогла с достаточной точностью знания разграничить и описать различие между русскими и старославянскими элементами в истории русского языка.

Особенно важен в жизни Е.Р. Дашковой 1783 год. В декабре 1782 г. Екатерина II предложила ей место директора Академии

наук в Санкт-Петербурге. Президентом в это время был гетман Малороссии граф К.Г. Разумовский, делами Академии он не занимался. Фактическим руководителем Академии был ее директор С.Г. Домашнев. Человек невежественный и деспотичный, он восстановил против себя почти всю Академию. Академики были вынуждены заявить протест в Сенат.

24 января 1783 г. новым директором Академии наук в Санкт-Петербурге была назначена Е.Р. Дашкова. Е.Р. Дашкова с большим уважением относилась к ученым. Благодаря ее усилиям было увеличено число академиков, углублены научные исследования, она оживила деятельность академической гимназии, академического университета. Было организовано чтение публичных лекций по различным вопросам естественных и гуманитарных наук на русском языке. Она наладила работу академической типографии, навела порядок в финансовых делах Академии, изгнав из нее лихоимцев и взяточников.

По ее настоянию и ходатайству архитектор Дж. Кваренги построил главное здание Академии наук на набережной Васильевского острова.

23 октября 1783 г. состоялось открытие Российской Академии, предназначенной для изучения русского языка, русской словесности и отечественной истории. Российская Академия была учреждена по предложению Е.Р. Дашковой.

Е.Р. Дашкова составила «кратное начертание императорской Российской Академии» (устав), которое было утверждено Екатериной II. В уставе 19 статей. Перед Российской Академией поставлены следующие задачи: «Вычищение и обогащение российского языка, общее установление употребления слов оного, свойственное оному витийство и стихотворство. К достижению сего предмета должно сочинять прежде всего российскую грамматику, российский словарь, риторику и правила стихотворения».

В составе Российской Академии должны быть 60 постоянных членов Академии, в их числе и два непременных секретаря. Главное условие ставится перед кандидатами: члены Академии должны избираться «из известных людей, знающих российский язык». Здесь речь идет о филологах — ученых и литераторах. Число их в Академии должно быть не менее 35. С 1783 по 1796 г. было избрано 78 действительных ее членов. Члены Академии избираются пожизненно. «На убылое место» кандидата в члены Академии может представлять каждый член Академии и ее председатель.

Председатель Академии и непременные секретари «имеют как почести, так и голос, равные с прочими членами Академии». Научные заседания в Академии проводятся один раз в неделю. В течение всего времени председательства Е.Р. Дашковой в Российской Академии происходило 364 научных собрания. Сама она руководила 263 собраниями.

Для достижения целей, с которыми была учреждена Российская Академия, необходимо было заручиться содействием тех, кто был готов положить свой труд в общее дело. Поэтому выбор первых членов Российской Академии производился ее президентом Е.Р. Даш-

ковой (в старых документах ее часто именуют «председателем»). В состав Академии вошли наиболее известные ученые того времени, преимущественно члены Академии наук в Санкт-Петербурге, профессора Московского университета и других высших учебных заведений. Лучшие писатели, составлявшие красу и гордость тогдашней литературы, по праву заняли свои места в академии русского языка и словесности.

В числе членов Российской Академии были и представители высшего круга русского образованного общества, одушевленные любовью к родному языку и литературе, деятели народного просвещения.

Президентом Академии была назначена Е.Р. Дашкова. В состав Академии вошли филологи А.А. Барсов, Д.М. Соколов, Амвросий Серебренников, П.А. Алексеев, Аполлос Байбаков, писатели И.П. Елагин, М.М. Херасков, А.В. Храповицкий, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин, Я.Б. Княжнин, В.П. Петров, И.Ф. Богданович, В.В. Капнист, И.И. Хемницер, Д.И. Хвостов, историки и археографы И.Н. Болтин, М.М. Щербатов, А.Н. Оленин, А.И. Мусин-Пушкин, архитекторы В.И. Баженов, Н.А. Львов, натуралисты И.И. Лепехин, Н.Я. Озерецковский, С.Г. Забелин, математики и астрономы П.Б. Иноходцев, С.К. Котельников, С.Я. Румовский, деятели просвещения С.Е. Десницкий, И.И. Мелиссино, Ф.И. Янкович де Мириево, государственные деятели И.И. Шувалов, Г.А. Потемкин-Таврический, А.А. Безбородко, А.С. Строганов, О.П. Козодавлев, Р.И. Воронцов, церковные деятели Гавриил Петров — митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский, Дамаскин Семенов-Руднев — епископ Нижегородский, Иннокентий Нечаев — архиепископ Псковский и Рижский и другие.

Главным предприятием Российской Академии в период руководства Е.Р. Дашковой был «Словарь Академии Российской» (1789—1794). Этот словарь принес громадную пользу культуре и просвещению России. Это был первый толковый словарь русского литературного языка — важнейшая веха в истории науки о русском языке. В словаре была разработана система толкования значения слов, которая легла в основу определения лексико-грамматического значения всех последующих словарей. Впервые в истории отечественной лексикографии составители описали принципы стилистической характеристики слов русского языка.

В 1784—1787 гг. Российская Академия издала так называемые «Аналогические таблицы» в пяти частях. Это был предварительный словник для «Словаря Академии Российской». Он содержит в себе более 100 000 слов, расположенных по алфавиту. При составлении «Аналогических таблиц» были использованы рукописные словари лексикографов XVIII в. А.И. Богданова, К.А. Кондратовича, печатные словари, церковные книги, произведения древней и новой литературы. Таблицы предназначались для раздачи членам Российской Академии с тем, чтобы они определяли значения слов, описывали их стилистическую характеристику, дополняли этот список новыми словами и иллюстрированными примерами. На основе этой предва-

рительной работы и был составлен и напечатан «Словарь Академии Российской» [8, с. 36].

Общий план словаря, основные его начала были составлены непременным секретарем И.И. Лепехиным и академиком С.Я. Румовским, Н.Я. Озерецковским, А.П. Протасовым и П.Б. Иноходцевым.

Е.Р. Дашкова приняла самое непосредственное участие в разработке плана словаря и словарной работе. Сама она собрала свыше 700 слов на буквы «Ц», «Ш», «Щ», описала семантику, дала их грамматическую и стилистическую характеристику. Кроме того, она описала семантику многих слов, выражающих нравственные и этические понятия, например слова *друг, дружба, нрав, нравственность, неверность, нравоучение* и т.д.

Для ускорения и усовершенствования работ по созданию словаря Е.Р. Дашковой были определены грамматический, объяснительный и редакционный отделы. Для описания научной и терминологической лексики был организован специальный технический отдел.

«Словарь Академии Российской» составлялся в течение 11 лет, за срок очень короткий (Французская Академия, например, создавала толковый словарь французского языка на протяжении 60 лет). Из 60 членов Российской Академии в составлении Словаря участвовали 47, так что «Словарь Академии Российской» был общим трудом не только по названию, но и в действительности.

Успешной работе способствовали хорошая организация труда лексикографов и умелое использование предшествующего опыта составителей словаря.

Много слов и выражений было заимствовано из церковной литературы. Значительное место среди источников занимают памятники древней русской литературы. Обширно представлены летописи. Много примеров взято из «Русской правды», «Синопсиса», «Судебника» и «Уложения 1649 года».

Составители Словаря выбирали примеры из современной научной литературы, из литературно-художественных и научных журналов. На страницах академического Словаря встречаются ссылки на «Описание земли Камчатки» С.П. Крашенинникова, «Путешествия по разным провинциям Российского государства» П.С. Палласа, «Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах от древних времен до ныне настоящего» М.Д. Чулкова, на «Трудолюбивую пчелу», «Труды Вольного Российского собрания при Московском университете», журнал «Собеседник любителей российского слова».

Составители Словаря постоянно обращались к филологическим и эстетическим идеям М.В. Ломоносова. Его влияние обнаруживается повсюду: в выборе слов и в иллюстрациях, в способе их объяснения, в указании на стилистическую характеристику слов и оборотов речи, во взгляде на литературный язык. В основу Словаря составители положили грамматические и стилистические идеи М.В. Ломоносова, изложенные в «Российской грамматике» и в «Пре-

дисловии о пользе книг церковных в российском языке». Академик М.И. Сухомлинов подсчитал, что из общего числа примеров, взятых из произведений художественной литературы XVIII в., более 9/10 приходятся на иллюстрации из произведений М.В. Ломоносова. Составители цитируют также произведения Феофана Прокоповича, А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова, В.П. Петрова, Екатерины II, Я.Б. Княжнина, Н.Н. Поповского и др.

«Словарь Академии Российской» появился в эпоху, для которой были характерны поиски национальной языковой нормы и стремление к регламентации речевого употребления. «Словарь Академии Российской» — это нормативный словарь, описавший в исторической перспективе лексическую систему русского языка второй половины XVIII в. Словарь был издан в шести частях (томах) с 1789 по 1794 г. В нем помещено 43 257 слов, расположенных по гнездовому, этимологическому принципу.

Тип словаря определяется принципами, положенными в основу отбора слов, количеством описываемых слов, характером объяснения их лексического значения.

Нейтральная лексика, лексика, употребляемая во всех стилях русского литературного языка второй половины XVIII в., составляет основной пласт «Словаря Академии Российской» как словаря нормативного.

Для обозначения живой, народной речи используются пометы «просто», «просторечие» и «простонародное». Помета «просто» или «в обыкновенном языка употреблении» применяется для характеристики лексики народного языка и вообще живой разговорной речи, которая противопоставляется книжным, устаревшим или мертвым формам церковнославянского языка, или словам, составляющим характерную особенность высокого литературного стиля. К «простонародному употреблению» составители относят те слова и фразеологизмы, которые свойственны речи простого народа, т.е. связаны с демократическими слоями общества, с городской и крестьянской средой. В понятие «простонародное» входят также формы, характеризующиеся по представлениям стилистики того времени «низкой» экспрессией и употребляющиеся в языке произведений «низкого слога»: в «низкой комедии», в «простонародных песнях», в комической опере (об отражении русской разговорной и народной речи в словаре см. [9]).

В Словаре есть и диалектная лексика, но она дается выборочно. Составители руководствовались в данном случае личными вкусами или выбирали те слова, которые употреблял в своих стихотворных произведениях М.В. Ломоносов.

Значительную часть лексики Словаря составляют слова с пометой «славенское». Словоупотребление в книжной речи, прежде всего в высоком стиле литературного языка, было положено в основу стилистической характеристики слов, которые имели в словаре помету «слав.». «Славенское» была пометой не только стилистической, но и этимологической. Проблема этимологии понималась составителями как проблема источника заимствования. Помета «слав.»

использовалась при словах, которые были извлечены из библейских текстов и церковных книг. Этой пометой снабжались старославянизмы, древнерусизмы, заимствования из греческого и латинского языков, найденные в церковных книгах.

Составители вводят в Словарь и такую категорию слов, которую они называют «старинными» или «обветшалыми». Как считали авторы Словаря, устарелые, мало или редко употребляемые слова, заимствованные из различных исторических источников, способствуют пониманию истории русского народа, старого быта и культуры, народной психологии.

Проблема заимствованных слов была решена следующим образом. Те заимствования, которые «уже издревле вошли в язык российский от общения и соседства с азиатскими народами; некоторые слова греческие, в священном писании употребляемые, и те, коих по корню российскому произвесть и вновь составить неудобно, как-то в математике, *интеграл, дифференциал* и сему подобные; наконец, и те, кои означают должности и чины, — должны быть помещены в словарь».

Члены Российской Академии считали необходимым помещать в Словарь те заимствования, которые издавна вошли во всеобщее употребление. «Исключив все слова чужеземные, надлежало бы делать новые названия одежды, сосудов, орудий, животных, различных веществ и произведений отынуды привозимых и пр <..>. Если на место им подобных их делать вновь, то их труднее будет ввести в общее понятие и употребление, нежели удержать те, кои долговременным употреблением усыновлены в языке нашем» (см. [10, с. 127—128]).

При выборе технических слов и выражений и терминов ремесел Академия стремилась удержать их в словаре на том основании, что эти названия «большей частию суть народные». Приводимые слова и выражения обыкновенно называются речениями и наречиями. Словарь описывает военные, мореходные, торговые, плотнические, пивоваренные речения, речения каменщиков, сапожников, кожевников и т.п.

Что касается терминов математики, химии, астрономии, физики, геологии, медицины, географии, то здесь лексикографы придерживались следующего правила: включать в словарь те термины, которые выражают необходимые и главные понятия науки.

Выдающиеся деятели отечественной культуры — Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, В.Г. Белинский, И.И. Срезневский, В.В. Виноградов и др. — высоко ценили «Словарь Академии Российской».

По распоряжению Е.Р. Дашковой 5 августа 1794 г. в Академии был учрежден грамматический отдел, которому было поручено составить новую «Российскую грамматику», руководствуясь «наиболее грамматиками Максима Грека (имеется в виду московское издание «Славенской грамматики» Мелентия Смотрицкого 1648 г. — *В.В.*) и Ломоносова» [10, с. 195].

Узнав, что профессор Московского университета А.А. Барсов, ученик М.В. Ломоносова, написал «Российскую грамматику», Е.Р. Дашкова обратилась с просьбой выслать рукопись его труда, чтобы

использовать новейшие достижения грамматической мысли в работе над Словарем и над «Российской грамматикой», над которыми трудились члены Российской Академии[1].

Велики заслуги Е.Р. Дашковой перед русской литературой и русской журналистикой. Она автор «Записок», законченных в Троицком 27 октября 1805 г. Это не собрание дневниковых записей, а сочинение, построенное по законам литературной теории. Правильно пишет исследователь творчества Е.Р. Дашковой Г.Н. Моисеева: «Все произведение пронизано просветительской идеей общественного блага, служению которому следовала Е.Р. Дашкова. Чувство долга — постоянная тема ее общественной и частной жизни, что характерно для литературы русского классицизма конца XVIII — начала XIX в. Пожалуй, самым интересным в ее «Записках» предстает образ автора. Эта образованная, умная, энергичная женщина сделала много для развития наук и просвещения в России конца XVIII в.» [1, с. 269, 271]. «Записки» Е.Р. Дашковой — одно из лучших произведений мемуарного жанра в русской литературе XVIII в.

Е.Р. Дашкова написала несколько комедий, из которых наибольшей популярностью пользовалась комедия «Тоисиоков, или Человек бесхарактерный». Главный герой Тоисиоков не имеет ни воли, ни характера. В XVIII в. считали, что в пьесе изображен Л.А. Нарышкин, который играл роль шута при дворе Петра III и Екатерины II. Ему противостоит главная героиня Решимова. Она обладает волей, энергией и характером. В Решимовой выражены черты личности автора пьесы (см. [11, 12]). В 1799 г. Е.Р. Дашкова написала драму «Свадьба Фабиана, или Алчность к богатству наказуемая», которая до сих пор находится в рукописи. Эта пьеса представляет собою переработку и продолжение драмы А. Коцебу «Бедность и благородство души».

Много сделала Дашкова и для развития русской журналистики. В 1763 г. она основала ежемесячный литературный и философский журнал «Невинное упражнение», в 1786 г. — научный и литературный журнал «Новые ежемесячные сочинения» (1786—1796) (всего вышел 121 номер журнала; редакторы-издатели академики Н.Я. Озерецковский и А.П. Протасов), в 1786 г. — журнал «Российский феатр, или полное собрание всех российских феатральных сочинений» (1786—1794), в котором печатались лучшие произведения русской драматургии того времени: комедии, драмы, оперы (всего вышло 36 номеров журнала), Е.Р. Дашкова была фактическим руководителем и издателем журнала «Собеседник любителей российского слова, содержащий разные сочинения в стихах и в прозе некоторых российских писателей» (1783—1784) (вышло 16 номеров журнала; соредактором журнала был О.П. Козодавлев). Она печатала свои прозаические и стихотворные произведения и переводы в этих журналах, но, как правило, они публиковались без указания имени

[1] В настоящее время «Российская грамматика» А.А. Барсова издана (М., 1981) под редакцией и с предисловием Б.А. Успенского. Подготовка текста и текстологический комментарий М.П. Тоболовой.

автора или под псевдонимом; а поэтому полного списка ее сочинений нет. И здесь при внимательном изучении русской журналистики возможны неожиданные открытия[2].

Таковы главные итоги жизни и творчества Е.Р. Дашковой. Таков ее поистине неоценимый вклад в русскую культуру.


1. *Дашкова Е.Р.* Записки 1743—1810 / Подготовка текста, статья и комментарий Г.Н. Моисеевой. М., 1985.

2. *Степанов Ю.С.* Пор-Рояль в европейской культуре // Грамматика общая и рациональная. М., 1990.

3. Журнал «Невинное упражнение». М., 1763. Месяцы генварь — июнь.

4. Опыт трудов Вольного российского собрания при Императорском Московском университете. М., 1774. Ч. 1.

5. *Дашкова Е.Р.* Опыт о эпических стихотворениях Вольтера. СПб., 1781.

6. Собеседник любителей российского слова. Ч. 1. СПб., 1783.

7. Известия о учреждении и упражнениях императорской Российской Академии // Сочинения и переводы, издаваемые Российскою Академиею. Ч. 1. СПб., 1805. С. 9—10.

8. Сводный каталог русской книги XVIII века. 1725—1800. М., 1962. Т. 1.

9. *Сорокин Ю.С.* Разговорная и народная речь в «Словаре Академии Российской 1789—1794 гг.» // Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М.; Л., 1949. Т. I.

10. *Сухомлинов М.И.* История Российской Академии. Вып. 8. СПб., 1888.

11. *Дашкова Е.Р.* Тоисиоков. Комедия в пяти действиях. СПб., 1786.

12. Российский феатр, или Полное собрание всех феатральных сочинений. (б. м) 1788. Ч. XIX. С. 239—317.

13. *Голицын Н.Н.* Библиографический словарь русских писательниц. СПб., 1889. С. 77—82.

14. История русской литературы XVIII века. Библиографический указатель. Л., 1968. С. 240—244.


[2] В настоящее время библиография оригинальных, переводных сочинений и эпистолярного наследия Е.Р. Дашковой представлена в изданиях [13, 14].

# СОДЕРЖАНИЕ


I

*О.Н. Трубачев.* Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения ..... 3

*Ж.Ж Варбот.* История славянского этимологического гнезда в праславянском словаре ..... 23

*Л.В. Куркина.* Паннонославянская языковая общность в системе диалектных отношений праславянского языка ..... 36

*Е.А. Хелимский.* Ранняя славянская христианская терминология в венгерском языке ..... 46

*В.А. Дыбо, Г.И. Замятина, С.Л. Николаев.* Праславянская акцентология и лингвогеография ..... 65

II

*Е.М. Верещагин.* Языкотворческая деятельность первоучителей славян Кирилла и Мефодия: к уточнению вклада древнееврейского языка ..... 89

*В.М. Живов.* Гуманистическая традиция в развитии грамматического подхода к славянским литературным языкам в XV—XVII вв. ..... 106

*Е.И. Демина.* Традиция и новые тенденции развития славянских литературных языков в преднациональный период ..... 121

*Л.Н. Смирнов.* Литературный словацкий язык эпохи национального возрождения: теоретические проблемы становления и развития ..... 136

*А.Д. Дуличенко.* Литературная ляштина Ондры Лысогорского в контексте западнославянских языков и в связи с литературными микроязыками современной Славии ..... 151

III

*Н.И. Толстой, С.М. Толстая.* Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав **vesel-*) ..... 162

IV

*М.И. Лекомцева, Т.М. Николаева.* Просодический ландшафт славянства ..... 187

*Вяч. Вс. Иванов, А.В. Головачева, Т.Н. Молошная, Т.Н. Свешникова.* Типология грамматических категорий в славянских и балканских языках ..... 207

*А.В. Бондарко.* Предельность и глагольный вид (к проблематике славянской функциональной аспектологии) ..... 219

*И.С. Улуханов.* Состояние и перспективы развития исторического словообразования славянских языков ..... 232

*Е.А. Земская, О.П. Ермакова, З. Рудник-Карват.* Теоретические проблемы сопоставительного изучения словообразования славянских языков (семантико-функциональный аспект) ..... 248

*Г.П. Нещименко.* К проблеме словообразовательной динамики (на материале славянских языков) ..... 263

*В.С. Храковский.* Условные конструкции в славянских языках (семантика, исчисление) ..... 278

*Н.Н. Пшеничнова.* Тип диалекта (славянский диалектный континуум) ..... 290

*В.Н. Телия.* Культурно-национальные коннотации фразиологизмов (от мировидения к миропониманию) ..... 302

V

*В.В. Иванов.* История и современное состояние диалектов славянских языков на картах Общеславянского лингвистического атласа ..... 315

*И.А. Попов, Ю.С. Азарх, Т.И. Вендина, А.С. Герд, О.Н. Мораховская, З.М. Петрова.* Лексический атлас русских народных говоров в кругу славянских атласов ..... 328

ПРИЛОЖЕНИЕ

*В.П. Вомперский.* У истоков российской филологии: Е.Р. Дашкова ..... 339

Научное издание

СЛАВЯНСКОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ.
XI СЪЕЗД СЛАВИСТОВ.
**Доклады российской делегации**

*Утверждено к печати*
*Отделением литературы и языка РАН*

Руководитель фирмы "Наука-культура" *А.И. Кучинская*
Редактор издательства *Т.М. Скрипова*
Художественный редактор *Н.Н. Михайлова*
Технический редактор *О.В. Аредова*
Корректор *Н.Л. Голубцова*

Набор выполнен в издательстве
на электронной фононаборной системе

Подписано к печати 14.07.93
Формат 60 × 90 1/16. Гарнитура Таймс
Печать офсетная. Усл.печ.л. 22,0
Усл.кр.-отт. 22,0. Уч.-изд.л. 28,1
Тираж 594 экз. Тип.зак. 103 Заказное

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство "Наука" 117864 ГСП-7,
Москва В-485, Профсоюзная ул., 90
2-я типография издательства "Наука"
121099 Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ